95 коп. Индекс 73276



«Нева», 1990, № 11, 1—208

11/1990 НЕВА

11/1990

ISSN 0130 — 741X

Д. ГРАНИН

Наш дорогой Роман Авдеевич
Повесть



Стихи, рассказы, статьи и очерки писателей Финляндии

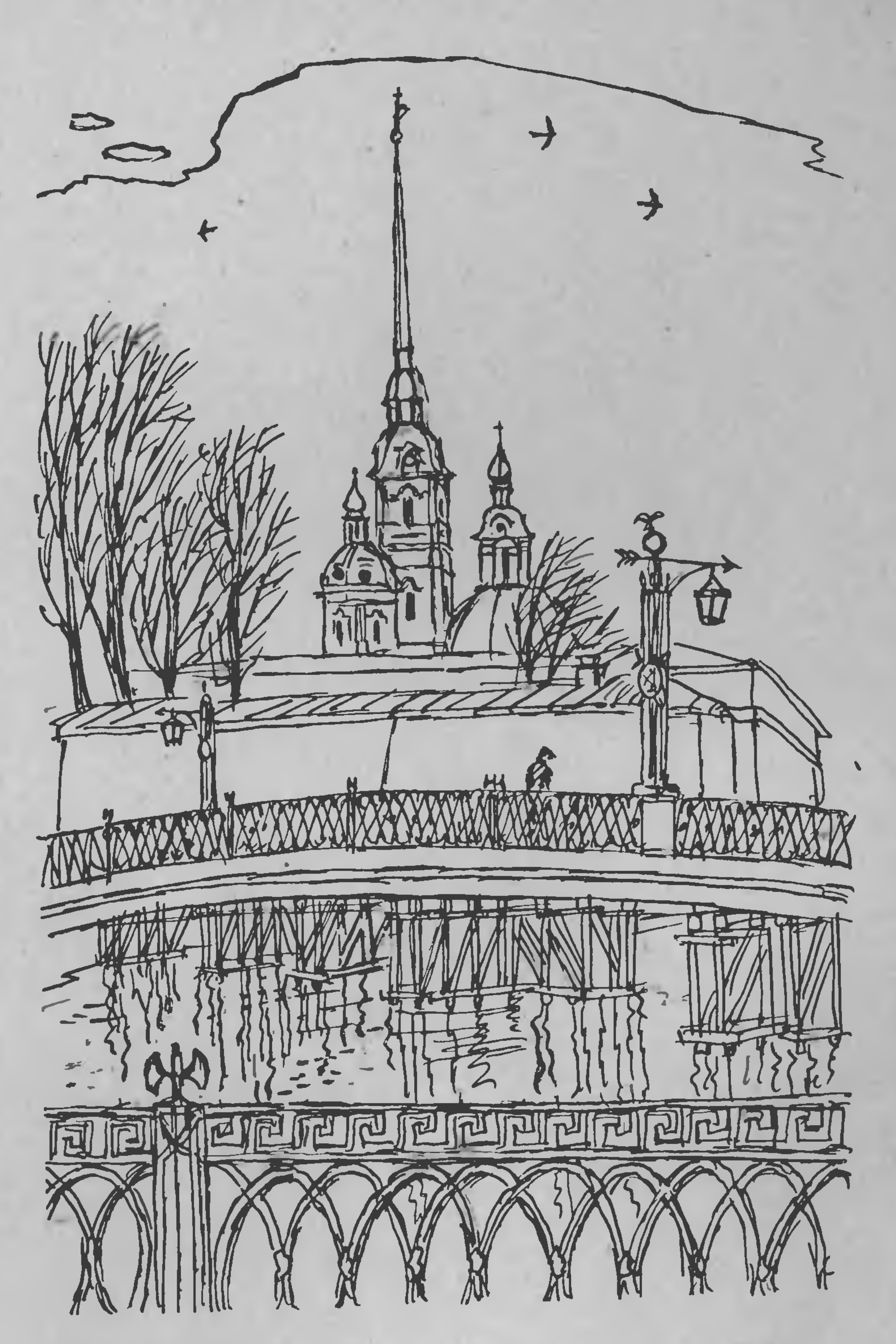
К. МАЛАПАРТЕ

Капут
Роман

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

А. ЯНОВ

Русская идея и 2000-й год



Петропавловская крепость

Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

11/1990

СОДЕРЖАНИЕ

Выходит
с апреля
1955
года

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»



Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

От России в двух шагах:

Дело прошлое:

Совсем недавно. Совсем давно:

Есть такой анекдот...

В этом номере среди других материалов опубликованы новеллы, стихотворения, статьи, эссе писателей Финляндии. Редакция благодарит за содействие в подготовке номера Общество финской литературы (Хельсинки) и Генеральное консульство Финляндии в Ленинграде.

Сдано в набор 27.07.90. Подписано к печати 02.10.90. Формат бумаги $70\times108^1/_{16}$. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 24,24 уч.-изд. л. **Тираж 615 000 экз.** Заказ № 277.
Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Даниил
ГРАНИН

НАШ ДОРОГОЙ РОМАН АВДЕЕВИЧ

I

Предлагается описание ряда деяний и любопытных казусов из жизни одного забытого ныне государственного мужа второй половины XX века. Начинал он свое восхождение в нашем городе, поэтому автор имел возможность собрать и записать те истории, которые во множестве ходили среди обывателей. Зачем это автору понадобилось? Трудно сказать. Может быть, потому, что записи такие не поощрялись. Не принято было записывать, вот он и записывал. Предавать эти истории огласке запрещалось, их постоянно энергично опровергали, и посему они прочно сохранялись в памяти горожан. Изустная, так сказать, история. Без документов и фотографий. Порой некоторые происшествия смахивают на анекдоты. Однако они происходили. Автор ни в коем случае не хотел бы обличать свой город или свою эпоху. Наоборот, будучи патриотом и того и другого, автор изо всех сил пытается понять, действительно ли мы заслужили Романа Авдеевича. Утверждение, что каждый народ заслуживает того правителя, которого имеет, давно вызывает некоторые сомнения.

Роль выдающейся личности, как известно, велика. Был ли герой этих записей выдающейся личностью? Наверное, поскольку роль его в истории нашего города велика. В то же время автору кажется, что не обязательно быть выдающейся личностью, чтобы играть в истории большую роль.

В прежние времена отцы нашего города не могли играть большой роли потому, что у них не было особо большой власти. Но в последней половине нашего века власть так увеличилась, что наш Роман Авдеевич обладал властью ничуть не меньше какого-нибудь монарха. То есть не какого-нибудь, а настоящего самодержца. С той разницей, что монарх передает свою власть детям и, следовательно, заботится о том, чтобы не развалить свою страну и не довести подданных до бунта.

Про королей, царей, императоров собирали анекдоты, изречения, затем печатали их. Про наших правителей — не собирают и не издают ни в коем случае. Между тем, особенно в глубинке, можно услышать такие истории, такие чудеса там творят местные начальники, какие ни одному самодержцу и не снились. Собирают ли эти истории, не гибнут ли они бесследно в провинциальной робости наших железобетонных захолустий? Если у нас что и известно, если про что судачат, то только про Москву. Хотя из-за кремлевских стен многое не увидишь. В нашем же городе укрыться труднее, свои стены, конечно, имеются, но пониже и пожиже.

По мере того, как записи пополнялись, оказывалось, что Роман Авдеевич, хотя фигура и достоверная, зафиксированная во всех документах, но в то же время как бы и химера, ибо никаких государственных следов его пребывания не осталось. Все стерто, замазано, зашпаклевано так, словно его никогда и не было. Числится — однако, лица не имеет, не упоминается, не состоит. С другой стороны, ничего исключительного тут нет: у нас любого правителя стоит снять, и сразу выясняется, что заслуги его преувеличены, властью он злоупотреблял, подданных, а также природу довел до бедственного состояния. Имя его вычеркивают из словарей, энциклопедий, мемориальные доски снима-

ют, и вскоре считается, что такого деятеля не было, никаких следов его существования найти нельзя.

Одно время автор хотел создать галерею правителей нашего города. Идея эта воодушевила краеведов. После долгих хлопот им отдали бывший музей отца народов, который так и не успели открыть. Были собраны художественные портреты, бюсты, фотографии, а также некоторые личные вещи персеков, их шляпы, грамоты, газетные вырезки. Однако в последний момент власти спохватились, увидев в этой галерее сатирический умысел. Оказалось, что все персеки были замешаны, уличены, причастны... Вывеску «Галерея персеков» так и не успели повесить. «Персек» — так называют у нас сокращенно первых секретарей, ибо они-то и являлись нашими правителями. Первым «персеком» окрестили у нас одного пышущего здоровьем и любовью к себе, Достойнейшего. Щеки его были покрыты нежным пушком и смуглым румянцем, так что сравнение с персиком напрашивалось само собой. Следующий за ним нежного румянца не имел, но был достаточно упитан и сочен, название «персик» подошло и к нему. Слово «персек» произносится как-то посредине между «персеком», то есть первым секретарем, и «персиком», то есть фруктом. Термин укрепился и вошел в словарь народных говоров нашего региона.

Галерея персеков, по мысли автора, должна была служить наглядным пособием для изучения истории города. Был персек, который приказал сносить ограды, заборы, для «развития духа коллективизма». Прежде всего, снесли художественные, фигурные решетки, те, которые были занесены в альбомы. Это он успел. Обыкновенные кирпичные и дощатые заборы остались. Следующий выстроил новые будки для регулировщиков в виде эмалированных подстаканников. Третий персек остался в памяти населения тем, что завивался, делал маникюр и клал румяна. Портреты его выставлялись в витринах, украшенные хвойными ветками... Автор ни в коей мере не собирается соперничать с бесподобной щедринской «Историей города Глупова». Наш город носит совсем другое название и, хотя расположен неподалеку от Глупова, однако, находится полностью в иной эпохе. Кроме того, автор поставил себе куда более скромную задачу,— рассказать всего лишь об одной персоне, о «дорогом Романе Авдеевиче», как величали его много лет все выступающие.

II

Появился Роман Авдеевич на своем посту внезапно. Собственно, все они появлялись непредвиденно, спускались вдруг сверху, как парашютисты. Как всякий новый начальник, он повел себя грозно, возмущался прежними порядками. Неважно, что до своего появления он, оказывается, пребывал в аппарате предыдущего персека. Пребывал в безвестности. Безвестность имела свои преимущества. Роман Авдеевич терпеливо ждал своего часа. Но делал вид, что ничего не ждет. Не следовало засветиться раньше времени. А так как он не числился претендентом, то на него не обращали внимания. Борьба шла между вторым и третьим лицами. Они держали друг друга мертвой хваткой. Честили, поносили, уличали, общипывали друг друга до наготы. Тут и возник Роман Авдеевич. Он стоял в сторонке, руки по швам, ожидая команды, свободный от групповщины, невыполненных обещаний, и взгляд Центра успокоенно остановился на его свежем лице.

Впоследствии выяснилось — произошло все это не так уж случайно. Роман Авдеевич давно был помечен крестиком. За что? За аккуратность. Очень хорошо он составлял списки или регламент для ведения собрания.

Еще в школе он знал, что далеко пойдет, недаром он уверял своих одноклассников, что пароходы и колхозы будут носить его имя. Такую он поставил себе задачу и не разбрасывался. Он не был мечтателем. Ум его отличался практичностью, он не засорял свою голову беллетристикой, стихами или математикой, химией. Он знал цитаты, даты, штаты, а также имена-отчества. Память на сей счет имел превосходную. Никого и ничего не забывал. Профессионально важнейшее качество крупного руководителя. Доперсековый период его жизни несколько противоречив и неясен. Иногда Роман Авдеевич приводил примеры из своей жизни станочника, иногда — из трудовых будней на колхозной ферме.

Став персеком, он округлился, разгладился, уплотнился, то есть приобрел больший удельный вес и законченность. Круглое лицо его, снабженное острыми ушками, имело нечто кошачье и в то же время обрело свойственное новой должности румяно-загорелое персиковое обличье. Своеобразие Роману Авдеевичу придавали два признака — правильные черты его облика никогда не менялись, они отличались законченной неподвижностью, ругался ли он, грозил, хвалил — все в нем сохраняло то же выражение железной непреклонности, отлитое раз и навсегда. Вторым отличием его был малый рост. Не так чтобы уж очень, но некоторое несоответствие возникало. Об этом Роман Авдеевич знал и втайне досадовал. Он носил туфли на высоком каблуке, держался пряменько, даже несколько вытягиваясь. Впрочем, известно, что многие великие люди отличались небольшим ростом,— например, Наполеон, Нерон, Гитлер, Чаушеску, а также Сталин, которому на трибуне Мавзолея ставили скамеечку, чтобы он смотрелся вровень со своими соратниками. Кроме того,— Пушкин, Павлов, Лев Толстой и Эмиль Золя. Рост, то есть высота великих людей, чрезвычайно интересовала Романа Авдеевича. Набиралось довольно много великих людей, которые имели росточек ниже среднего. Тем не менее Роман Авдеевич испытывал из-за этого некоторый дискомфорт.

III

Внутренняя жизнь города с появлением Романа Авдеевича сильно оживилась. Вновь, как в былые времена, население призвали к борьбе. Врагов народа уже не стало, космополитов и абстракционистов извели в предыдущих кампаниях, диссидентов же для массовой борьбы явно не хватало, диссиденты размножались главным образом в Москве и других столицах. Борьба с инакомыслием кое-какая велась, но не ожесточенно, местные инакомыслящие быстро отказывались и переставали мыслить. Надо было найти что-то свое, местное, необыкновенное. Необыкновенное — это значит новое, а новое — это значит хорошо забытое старое. Пытливый ум Романа Авдеевича отыскал среди старых заброшенных кампаний одну незавершенную и политически не использованную. То была кампания против собак в городе. Казалось бы, при чем тут «персек», достойно ли ему заниматься подобными мелочами? И кампанией это не назовешь, скорее — мероприятие районного уровня. Но это мы с вами так рассуждаем, на уровне обыденного сознания. А у Романа Авдеевича сознание было не обыденное. У него была психология истинного борца. От одной борьбы он шел к другой. «И вся-то наша жизнь есть борьба!» — строку эту он пел с особым чувством. «Массы должны иметь конкретных противников, с которыми можно бороться,— учил он,— еще лучше иметь врагов. Надо таких врагов находить. Готовить их надо и поставлять. Хороший враг тот, кого можно побороть, это дает народу чувство удовлетворения».

Всеобщая борьба шла в это время за продовольственную программу. Как победить в такой борьбе, никто не знал. Картошка, к примеру, сгнила,— где тут враг? Роман Авдеевич нашел другой подход. Он взял ведущий дефицит продовольствия — мясомолочный продукт. Допустим, не хватает мяса. А почему? Кто, кроме трудящихся, потребляет мясо? Присмотритесь. Мясом кормят, оказывается, собак, ну еще кошек. Улавливаете? Не бродячие, не бездомные, а именно домашние собаки пожирают мясопродукт. Трудовой человек стоит в очереди за мясом, ему не хватает мяса. Почему? Потому что мясо уходит на собак. Предложили подсчитать количество собак в каждом районе. Считали, не стеснялись. Затем умножили на дневной рацион, на колбасу, баранину и прочее, умножили на количество районов,— и перед потрясенным обывателем предстал главный виновник нехватки мяса. Спрашивается — что надо делать? Поднять гнев людей на тех, кто позволяет себе держать собак и кошек в такой период народной жизни, гнев на этих собачников, на хозяев этих овчарок, мурок, такс, бульдогов... Благодаря Роману Авдеевичу был открыт огромный источник мяса. «Уничтожив собак, мы ре-

шим один из основных пунктов продовольственной программы!» Роман Авдеевич учил нас, что мелких вопросов в политике нет, важно найти новый подход, повернуть проблему, открыть в ней политический смысл. «Гений — это ведь всего лишь человек, который умеет видеть мир несколько иначе, чем все остальные люди»,— писал о нем журналист Ставридов.

Борьба с собаками развернулась по всем направлениям. Запретили выгул их, уничтожили собачьи площадки, ввели налоги, увеличили штрафы, организовали прессу, радио, появились активисты кампании, ибо у каждой кампании есть свои энтузиасты и передовики. Расширили движение за счет кошек. Роман Авдеевич не любил и кошек, он не любил никаких бесполезных, ничего не производящих животных, он признавал только те существа, которые годились в пищу рабочему классу. Нельзя сказать, чтобы собако-кошко-владельцы сдались, они тоже боролись, писали, обращались куда только могли: в редакции, в профсоюзы, министерства, разные отделы ЦК, Совмина, Верховного Совета, творческие союзы... Сопротивление в такой борьбе воодушевляет. Жалобщики вынудили Романа Авдеевича сделать следующий шаг — были опрысканы химическими составами собачьи площадки города. Собаки стали слепнуть, их приходилось усыплять. Знаменитая эта кампания была, как видите, не мелким ведомственным делом, Роман Авдеевич поднял ее на высоту, на уровень решения экономической проблемы. Жаль, что остальные регионы страны не подхватили его начинания.

Собак в городе не стало видно, мяса тоже. Оно все реже появлялось в магазинах. Но к этому времени Роман Авдеевич уже развернул другую борьбу.

IV

Кроме кошек и собак, Роман Авдеевич не любил творческую интеллигенцию. Откровенно говоря, он всякую интеллигенцию не любил, но творческую особенно. Вначале он не любил ее инстинктивно, не зная про нее ничего. Поют, играют, картинки рисуют — что это за работа, это же не продукция, в план-отчет не входит. Познакомился он с творческой лабораторией на памятнике Отечественной войне. Надо было рассмотреть проекты памятника. Специалисты год рассматривали их и отбирали. Но одно дело искусствоведы, художники, архитекторы, другое — первый секретарь. Спрос с него. Он отвечает, ему доверено, а почему — потому что он лучше понимает, что нужно городу и народу. Следовательно, он лучше знает, что хорошо и что красиво. Вот скульптор поместил в центре композиции золотого мальчика. Партизаны, солдаты, все они смотрят на маленького золотого мальчика. Однако на вопрос, что эта фигура означает, скульптор точного ответа не дал: думается, что, скорее всего, мальчик выражает Надежду, Победу, Веру, Будущее... Много красивых слов и никакой окончательной формулировки. Неясно. Роман Авдеевич смотрел на скульптора задумчиво, понимал, что такой вопрос могут задать ему самому. И что он ответит? И вообще, что это за памятник, если он вызывает вопросы?

Всем известно, что Победа должна изображаться в виде женщины. При чем тут мальчик? «Победа» — она женского рода. Победа должна быть солидной, роскошной женщиной с мечом или венком или еще с каким-то символом. Удалить придется мальчика. Заменить! В прежнее время Роман Авдеевич велел бы поставить на этом месте, в центре, если не женщину, то генсека, разумеется, нынешнего, поскольку он участвовал, но увы... Подумав, Роман Авдеевич предложил заменить мальчика фигурой матроса, флот тоже участвовал, а представителя флота не видно, и остальных надо проверить, чтобы все виды оружия были налицо...

Скульптор что-то возражал, но недолго.

Указания Романа Авдеевича были выполнены, и получилось неплохо, во всяком случае у членов ПзБэ, которые приезжали, памятник не вызвал вопросов, выглядел он богато. Красный гранит блестел, свежие венки всегда лежали, памятник был представлен на премию. Показывая его, Роман Авдеевич чувствовал себя участником творческого коллектива, и его доля труда

была воплощена в бронзу. С тех пор он смело поправлял и по линии кино, живописи и других искусств.

Будучи в мастерской скульптора, Роман Авдеевич обратил внимание, что работает скульптор один, в отдельном помещении. Обстоятельство это удивило нашего Первого. Расспросив, он узнал, что и другие скульпторы работают в одиночку, кто где. И художники таким же образом заточены, каждый в своей мастерской, писатели и композиторы соответственно работают на дому. Когда хотят, тогда и начинают работу, когда хотят, заканчивают. Ни учета, ни отчета. Никто их не проверяет. Могут шататься в рабочее время по улицам, могут неделями ничего не делать. Пробовали ему осторожно напомнить насчет вдохновения, особенностей творчества, он слушал холодно, потом спросил:

— А почему это вы за них хлопочете?

Примолкли. Тогда он сказал:

— Думаете, я не знаю про труд художника? Все известно. Советский художник не кустарь-одиночка. Архитекторы — кто, по-вашему? Тоже художники. А являются на работу вовремя, уходят со звонком, работают в коллективе у всех на виду. И обеспечивают нужды города.

В заключение предложил подработать положение о переводе всех отрядов творческой интеллигенции на коллективную работу. Создать студии, совместные мастерские, распределить по жанрам, по темам — маринисты, лирики и тому подобное. Чтобы все являлись вовремя и усаживались за свои партитуры и рукописи на весь рабочий день. Обеспечить пишущими машинками, мольбертами, душем, шкафчиками.

Идею высоко оценили наверху, но исполнение посоветовали делать постепенно, поэтапно, чтобы не будоражить мировое общественное мнение, поскольку вступили в период, когда приходится с ним считаться.

Что это такое, «общественное мнение», и почему надо «с ним считаться», этого Роман Авдеевич никогда не понимал. Он ездил в Европу с делегациями и мог сравнить. Не твердая там была власть. Все время менялась. С какой стати они оглядывались на газеты, на избирателей, на телевидение? Общественное мнение он лично мог бы за неделю привести в порядок, к общему, как говорится, знаменателю. Реальностью для Романа Авдеевича было мнение начальства, прежде всего генсека, а значит, его помощников, его консультантов. Далее — заведующих отделами, всех, кто докладывал Главному, общался с ним. Вот чьи мнения решали, их мнения следовало знать, их мнения были дороги. Что касается городского населения, то какое значение имели их мнения, на кого они выходили? Те мнения, о которых ему докладывали, были, как правило, благоприятные. Находились, конечно, критиканы, с ними проводили работу. Предупреждали. По-хорошему. Роман Авдеевич предпочитал не вступать в контакты с такими людьми. Например, художник Попонов, опять же из кругов творческой интеллигенции, выступил у себя в Союзе художников весьма нелестно по поводу идеи «Всеобщей коллективизации» художников. Так он извратил мысль Романа Авдеевича об *Интенсификации* творческой работы.

Без ответа такого рода выпады оставлять нельзя. Власть должна в этих случаях давать предметный урок. Спустя некоторое время на каком-то активе, отвечая на вопросы, не то чтобы в основном докладе, а как бы случайно, когда пришла записка о спекулятивных ценах и заработках, Роман Авдеевич привел пример спекуляции — покупает человек холста на трешку, красок на десятку, а картину продает за тысячу. Два дня ее мазал, и вся работа. Это как расценивать? Можно ли назвать такое искусство народным?

Зал возмущенно загудел. Закричали: «Фамилию! Кто такой?» Роману Авдеевичу пришлось назвать Попонова.

Попонов стал добиваться приема, хотел объясниться, но не добился. Творческую интеллигенцию Роман Авдеевич велел не принимать. Затем и остальную интеллигенцию.

Полностью избавиться от просителей он не мог, персеку полагалось принимать граждан. Они, эти граждане, с их бессчетными, ничтожными проблемами — прописки, жилья, ремонта, с их жалобами на других начальников, каким-то образом проникали сквозь любые щели, несмотря на бюро

пропусков, охрану одну, вторую, лезли, как мошкара, совали в руки свои заявления, письма, плакали, кричали, грозили...

V

Однажды утром, одеваясь, Роман Авдеевич обнаружил, что брюки его пошли морщинами. Сперва он подумал, что похудел, попробовал подтянуть их, однако они не подтягивались. Выходило, что штанины стали длиннее. Взял переодел другой костюм. И там было то же самое, там тоже брюки складками нависли, вроде как спадают. И третий костюм так же. Призадумался Роман Авдеевич. Застыл. Тяжелое, неприятное раздумье охватило его. Пришлось даже на работу позвонить, предупредить, что задерживается. Долго он сидел, пытаясь вникнуть, что бы это значило. Перемерил еще несколько брюк, у него их было много, на все случаи, и всюду получалось одно и то же. Причем те костюмы, которые были сшиты год с лишним назад, у тех брюки еще больше спадали, топорщились мелкими морщинами книзу. Не могли же все брюки враз стать длиннее. Каким образом? И что вообще сие могло означать? Весь день он пребывал в мрачной задумчивости, вечером же, придя домой, заперся в своем кабинете, стал у дверной коробки и, как в детстве, карандашом на уровне макушки провел черточку, незаметную тонкую линию-отметку. Кроме того, заказал себе туфли с каблуком чуть повыше.

VI

Вскоре Роману Авдеевичу удалось радикально решить проблему с посетителями. Решил по-своему свежо, смело, так, как никто до него не решал. Автор не собирается приукрашивать деяний своего героя, как это обычно делают биографы, но и не хочет превращать свою летопись в памфлет. В идеале следовало бы придерживаться фактов, то есть излагать те анекдоты и истории, какие ходили по городу. Однако объективности при этом достигнуть невозможно, приходится всегда делать отбор, слишком их было много, слухов, среди них самые фантастичные.

Вроде бы невероятно, вздор, факты не сходятся, а верили. Повторяли охотно, передавали дальше. Что-то, значит, соответствовало, потому что устная молва вещь капризная, она не все слухи берет, у нее идет отбор, только чем она руководствуется, мы плохо знаем. Например, с появлением Романа Авдеевича воцарилось опасение, что к каждому телефону подслушку поставили. Что за подслушка, как она выглядит, никто не знал, но все знали, что их подслушивают. Телефон накрывали подушкой, уходили в ванную шептаться. У кого телефона не было, те все равно шептались, грешили на радио, на электросчетчик, на верхних соседей.

Автор на своем примере убеждается, что история не может быть объективной. И никогда не была объективной. Тем более наша история последнего полувека. Там не то чтобы объективной, так и субъективной не сыщешь, так, чтобы историк взял и высказал то, что он на самом деле думает. «Только не поймите меня правильно»,— вот что историка беспокоит.

Теперь-то, конечно, легко выставлять всех персеков виноватыми, да кто знал, как все кончится? Обыватель наш — а между прочим, и автор тоже был рядовым обывателем,— не зря отдавал должное Роману Авдеевичу, не то чтобы гордился им, но и не стыдился перед другими городами, и отмечал даже некоторое умственное превосходство нашего персека.

Некоторые утверждают, что Роману Авдеевичу подсказал один ученый решение проблемы посетителей,— может, профессор,— но ряд данных говорит за то, что Роман Авдеевич мог и самостоятельно разработать эту конструкцию, ибо имел диплом инженера. Автор тут полностью на стороне героя. Нужда — великая придумщица. Роман Авдеевич искал выход из положения

и нашел. Очень уж у него сложилась критическая ситуация. Это потом выяснилось. Точная дата его открытия неизвестна. В городе узнали о нем после скандала, который разразился в приемной Романа Авдеевича. В один прекрасный день к зданию обкома явилась делегация одного завода и потребовала, чтобы их принял Первый. Это так говорится, что *одного* завода, завод был исторический, известный на всю страну. Делегация настроена была в соответствии с революционными традициями и ни к кому другому, кроме персека, идти не желала.

Им говорят: «Он на совещании». Делегаты, видать, к этому были готовы, знали, что первая отговорка у всех начальников — совещание. Ничего нового придумать не могут. На это делегаты заявляют, что подождут и будут ждать хоть до утра.

Дело у них было вот какое: заводские садовые участки собирались у них отобрать. Территория понадобилась для какого-то объекта. Сколько ни хлопотали, куда ни обращались, ничего не добились. Все указывали пальцем на потолок, оттуда, мол, идет, сверху. На самом деле, как потом выяснилось, Роман Авдеевич инициатором хотя и не был, но не препятствовал такому решению, поддерживал. Не имел он расположения к садовым участкам. Считал, что участки эти отвлекают людей от основной работы, рождают частнособственнические инстинкты. А как инстинкт родится, так человек звереет. Копается в земле все свободное время, мысль его работает на урожай, на ягоды, на морковку и соответственно теряет интерес к политической жизни... Было еще обстоятельство, о котором Роман Авдеевич не говорил. Директора заводов жаловались ему, да и он сам замечал, что, построив домик, разведя огороды, человек менялся, возражать начинал, спорить, некоторая независимость у него появлялась, страх убывал...

Делегация стояла на своем, в переговоры не вступала, мудро рассудив, что никогда не следует вникать в обстоятельства начальства. Далее вестибюля их не пустили. Офицеры в зеленых погонах стояли в дверях, как на государственной границе. Когда им пропуск предъявляли, рассматривали его недовольно, будь их воля, они бы вообще никого не пускали.

Делегаты расположились в вестибюле основательно. Сперва думали, что персек не знает. Незадолго до этого он приезжал на завод, выступал про его величество рабочий класс, требовал заботиться о его нуждах, проявлять внимание к каждому человеку. Так что должен был принять. По-видимому, не допускали к нему аппаратчики, боялись, что он узнает правду и нагорит им. Так они думали первый час. На второй час стали думать, что расчет, может, как раз идет на то, чтобы думали, что он ничего не знает. Чем дольше начальство ждешь, тем умнее становишься. В конце третьего часа захотели перекусить, не тут-то было — в столовую не пускают. Туда тоже пропуска нужны. Дед, был такой в составе делегации,— говорит: «Вот и хорошо, заодно голодовку объявляем». Плакат написали, выставили. Тут все волшебно изменилось, пришло в движение. Помощник охнул, побежал докладывать шефу, и вскоре делегацию пригласили наверх. Все же рабочему человеку у нас идут навстречу. Завели делегацию в небольшой зал, усадили в мягкие кресла. Вспыхнули лампы. Телевизор в углу мерцает. Помощник предупреждает: «Сейчас, товарищи, перед вами появится Роман Авдеевич». Словно бы конферансье. Странно прозвучало это «появится», но через минуту действительно Роман Авдеевич появился собственной персоной, только на экране телевизора. В цвете — сам розовый, костюм темно-синий, галстук в желтую полоску. Всё крупным планом, в подробностях. Сидит, бумаги читает. Некоторые подумали, что это телефильм. А на кой им фильм? Помощник приставил палец к губам, предупредил, что Роман Авдеевич сейчас слушать будет: включат микрофон, телевизионную камеру, так что он будет видеть делегатов на своем телевизоре. Делегаты — его, он — делегатов. Культурно и современно.

— Зачем это? — спросил дед Ульян, ничего не поняв.— Где он сам-то?
— У себя в кабинете,— сказал помощник.
— Кабинет-то где его?
— В конце коридора.
— Этого, что ли? Так чего ж он там спрятался?

В это время Роман Авдеевич поднял голову, посмотрел на делегатов, сказал:

— Здравствуйте, товарищи, слушаю вас.

Делегаты переглянулись. Дед Ульян сказал восхищенно:

— Вот это техника! Хорошо устроился.

— Это он чтобы за руки не здороваться. Заразы боится,— предположил кто-то.

— Может, он нас заразить боится, у него забота о рабочем человеке на первом месте.

— Прогресс! Со всеми можно через трубку общаться.

— Что ж он, и с женой через трубку?

— Как чай раньше пили, вприглядку.

— Зато экономия времени большая. Голова на экране доклад произносит, а сам в это время в гальюне сидит. Тулова-то не видно.

Зубоскалят хитрованы, словно бы между собой, словно бы передачу обсуждают.

— Вы его сами живым, на ощупь, когда-нибудь видите? — спрашивают у помощника.— Может, его вообще в натуре нет, одно изображение записано.

Помощник, бедняга, сигналит им, что шеф все слышит, угомонитесь. Они как бы не понимают, знай себе травят.

— Или кто играет его? Наняли артиста подходящего.

Обсуждают без стеснения: щеки его налитые, то ли гримом разрисованные, то ли настоящие. Надо ли разговор вести с таким лицом, может, лучше в Москву обратиться. Кто-то даже матюжка пустил, вспоминая, как Роман Авдеевич выставлял себя защитником рабочего человека, в грудь себя бил. Вдруг дед Ульян сказал:

— Чего навалились, наверняка радикулит у него. Может, конечно, и другая причина медицинская имеется, всякое бывает.

Именно от этих слов Роман Авдеевич на экране свекольно налился, что-то выкрикнул, кулаком стукнул, затем щелкнул выключателем, и экран погас. Помощник за голову схватился, мужики заахали: мы, мол, не разобрались, да если б знали, что нас слышат... Дед Ульян оправдывался: «Я по себе рассуждал, меня, бывает, так радикулит схватит, не разогнуться».

Трудно объяснить было, почему именно на его сочувствие вспылил Роман Авдеевич, казалось бы, пожалел его дед... Какая-то была тут несообразность, только позднее разобрались.

VII

Можно считать, что рабочий класс не поддержал нововведения, зато чиновный аппарат по достоинству оценил инициативу Первого. При обычном порядке проситель как войдет в кабинет, как усядется в кресло, так его оттуда клещами не вытащишь. Проситель этот добивался приема, стоял в очереди месяц-полтора, так что, войдя, он, пока не выговорится, не уйдет, у него все заготовлено, он и заспорит, и будет канючить, и в слезы пустится. Никак от него не отделаться. А телевизионная техника — она позволяет: «Извините, ничем больше помочь не могу», тумблером кляцнул, и конец, на экране никого, хочешь-не хочешь — стороны расстались. Аппаратный народ поддержал всей душой новую систему, внедрил ее. Телеприемные оборудовали себе заведующие отделами, добились этого и замы. Им сделали боксы поменьше, с черно-белыми экранами. Пропускная способность увеличилась втрое. Начинание Романа Авдеевича было подхвачено, вошло в жизнь.

Скандал, который произошел с делегацией, в городе обсуждался бурно. Интеллектуалы доказывали, что Роман Авдеевич просчитался, допустил оплошку. Надо было выйти к рабочим, сделать исключение. Пропагандисты не знали, что возразить, у всех появилось недоумение, трудно даже понять, в чем оно состояло. Никто тогда не представлял подспудной причины. Во всем этом деле имелось одно обстоятельство, никому в ту пору не известное, настолько интимное, почти неприличное, что нельзя было, чтобы о нем знали.

Дело в том, что Роман Авдеевич понял, что уменьшается в росте. Тщательно измеряя себя по отметинам на дверном косяке, он обнаружил, что укорачивается. Укорот происходил рывками: то месяц-полтора ничего, то вдруг отметочка снижается, вчера еще было нормально, а сегодня — хлоп и на какой-нибудь зазорчик снизился, съехал вниз. Вроде бы незаметно, но Роман Авдеевич навострился различать каждое сокращение, ничтожный миллиметр. Потеря этого миллиметра приводила его в отчаяние. Никому не заметно, а он-то знал. Отчего происходила эта потеря, непонятно. Измучившись, он решил обратиться к врачу. Но к какому? Не к хирургу же. Не только в специальности было дело, врач требовался такой, чтобы довериться можно было. От своих домашних и то таиться приходилось. Ведь если б узнали, если б просочилось,— считай всё. Конец карьеры.

Вот он и не хотел выходить к посетителям, избегал личного общения, когда выходить надо было из-за стола.

Лег Роман Авдеевич на очередное обследование,— это регулярно полагалось особо ценным людям,— и, когда дошло до невропатолога, со смешком пожаловался, что видит сон дурацкий про укорот... Врач осмотрел, расспросил, нашел организм вполне здоровым, однако что-то его поразило в нервной системе или в какой-то другой системе, потому что Роман Авдеевич слышал, как врач, не удержавшись, выразился про систему, чем-то она его не устраивала. Однако никаких лекарств не прописал, сказал, что следовало бы «скоррелировать». Для этого требуется наблюдать и наблюдать. На это Роман Авдеевич согласия не дал. Ясно было, что ничего такого явного с ним не происходило, если медицина обнаружить не сумела, то окружающие тем паче, и в то же время нечто скрытое происходило. А наблюдать за собой будет он самолично.

VIII

В обращении с подчиненными, аппаратом и всеми другими подразделениями наш дорогой Роман Авдеевич применял собственную методику. Сила начальника в страхе, утверждал он. Отнюдь не в любви, как считают некоторые. Любовью управлять нельзя. Всем люб не будешь. Страх же для всех годится. Страх сильнее любви. Со страхом не заспоришь. Прежде всего Роман Авдеевич по-хозяйски использовал богатейшие запасы страха, что были накоплены в каждом подчиненном еще в грозные культовые времена. Не пропадать же им. Разумными порциями он стал пускать их в дело. Сажать к тому времени было уже не принято. Однако, если намекнуть туманно, то срабатывало. Впрочем, Роману Авдеевичу и не приходилось угрожать. Он внушал свой собственный персональный страх. Более того — трепет. Фронтовики, бывалые люди, приходили в оробелое состояние без видимой причины, слова поперек ему сказать не решались. Спорить с ним никто не спорил. Поначалу было вскидывались и наталкивались на неподвижный взгляд холодных голубых глаз — давай, давай, выкладывай, посмотрим, что ты за штучка. Ничего не возражал, слушал, молчал, пока спорщик не запинался, постепенно угасая. Замораживал он любого. Никто не мог выдержать его неподвижного взгляда. По выражению Пононова, это был взгляд черепа. Хуже всего было, когда он просто смотрел, без всякого крика, без замечаний. Природа наделила его специальным даром холода и тьмы. Он не скрывал своих убеждений: без страха управлять нашим народом нельзя. Он твердо верил в могущество страха. Сам народ хочет страха,— так он считал, и имел теорию о том, как страх цементирует общество, способствует сплочению, порождает, если угодно, энтузиазм. Сознательность в каком-то смысле — дитя страха, человек стремится оправдать свой страх, хочет показать, что он поддерживает идиотскую идею начальника не из-за страха, а потому, что эта идея имеет глубокий смысл. Не беспокойтесь, смысл этот он придумает, найдет. Отсюда система наша получала своих теоретиков, защитников.

Многие начальники страх любят употреблять, да не знают, где его нынче взять, из чего сделать. Роман же Авдеевич разработал самобытную систему. Берет он, например, и без всякой причины человека с должности, допустим,

секретаря горсовета, посылает директором совхоза в глубинку. На укрепление. Секретаря райкома на киностудию ставит. За что, почему — без объяснения. Все гадают, что сие значит, чем не угодили,— неизвестно. В этом-то и заключался прием. Если бы из-за служебного промаха, всем ясно, на чем погорел. Кто исправно работает, тому, значит, нечего бояться. Ничего подобного, бояться все обязаны. На любом месте. Неизвестно чего бояться. Чтобы трепетали даже в исправном состоянии. Не от работы чтобы страх шел, а от самого Романа Авдеевича, гнева его, происходящего по таинственной причине, покарать гнев может любого, в любое время. Ну, и награждать тоже надо без явных причин.

Чем больше страха, тем преданности больше. Пусть стараются, но как бы ни старались, все равно надо, чтобы тайна оставалась.

Его, например, в коридоре завидят и скорее сворачивают, стараясь куда-нибудь юркнуть, не попасть на глаза, из которых несло стужей казематов; как говорят: взглянет — лес вянет. Он шествовал по красной ковровой дорожке вдоль строя трехметровых дубовых дверей, как будто принимал парад. Каждый шаг его был значим.

Торжественное заседание предстоит. Сообщают, допустим, известному ученому, что ему в президиуме надо сидеть. Он готовится, как-никак почет и уважение. Приходит. И тут ему администратор объявляет: «Извините, отмена произошла, не будете в президиуме».— «Как так, почему?» В ответ администратор выразительно закатывает глаза к потолку. И человек сник, сражен. С некоторыми сердечные приступы происходили.

Когда Роман Авдеевич устроился поплотнее в кресле, освоился, огляделся, увидел он, что сия высота заурядная. Подобных бугорков на просторах нашего отечества сотни. Персеки на них появляются и исчезают, не оставляя впечатления в памяти высшего начальства. Хочешь пробиться — умей отличиться! Легко сказать, но как именно? Многие поколения чиновников решали этот проклятый вопрос — как им выделиться? Как добиться успеха? Цена может быть любая, важно — как.

Выделиться — значит понравиться. Понравиться — значит заслужить внимание, не подчиненных, разумеется, не горожан, от которых ничего не зависит, а начальства, лучше всего наивысшего, чем-то им запомниться. Что касается нижестоящей публики, населения, то им надо обещать, обещать и обещать: назначать сроки, приводить цифры планов, ассигнований, выставлять нарисованные проекты, показывать, как растут уловы рыбы, изготовление холодильников, выпуск сыров. Начальство этим не привлечь, к начальству нужен ход необычный, потому что всё хожено-перехожено, перепробовано, какие только ключи и отмычки не подбирали, тысячный, можно сказать, конкурс идет из века в век. Толкаются, карабкаются со всех сторон, всё в дело пускают. Роман же Авдеевич не спешил. Не дергался попусту. Смотрел. Ждал. И вот однажды обратил он внимание на некую самую что ни на есть обыденную процедуру. Примелькавшуюся, формальную, которую никто не замечал, вроде наглядной агитации. Висит и висит. Так и тут — издавна повелось, что каждый праздник посылают открытки. Поздравительные. Стандартные. Ну, членам правительства улучшенного качества. И вся недолга. Роман Авдеевич задумался — почему, собственно, такое безразличие? Неужели *они* не заслужили особого внимания? Наш персек набрался духу и круто изменил порядок. Каждому члену ПэБэ он приказал готовить индивидуальную открытку. Допустим, новогоднюю. Уже в ноябре затребовал эскизы. Задачу поставил нешуточную. Создать рисунок такой, чтобы: 1) соответствовал деятельности; 2) учитывал проблемы, поставленные на сегодняшний период, соблюдая при этом меру (не рисовать же химические удобрения или подшипники!). Требовалась художественная фантазия, выдумка. Чтобы легким намеком повеяло, «как запахом хвои»,— его слова! — и в то же время чтобы красиво. При этом текст тоже индивидуальный. Без казенщины, без вольностей, соблюдая почтение. Вариант за вариантом отвергал, добиваясь наивысшего качества. Наконец дал добро. Печатают. В одном экземпляре! Кроме общих праздников, еще стали создавать ко дню рождения. Ответственная работа была, печать проверялась тщательно, чтобы ни малейшего брачка. Лучших печатников ставили. Замысел Романа Авдеевича состоял в том, чтобы открытка эта была не просто почтовым отправлением, а произведением. Если к ней приложить внимание, все чувства свои, то заметят. Обязательно обратят внимание. Через такую мелочь легче оценить. Потому что сравнить можно, выявить из потока прочих поздравлений. Конечно, сил и времени эта работа отнимала много. Надпись — кому золотом, кому серебром, кому выпуклую, кому вязью, под старину... Сколько тонкостей было! Не хватало, например, прилагательных. Членов-то одиннадцать, плюс кандидаты. Кандидатам следовало чуть поменьше размером, а уж Генеральному — и обрез золотой, и конверт особенный. Роман Авдеевич психологию своего Олимпа изучал досконально, личное внимание значило больше, чем освоение какой-нибудь новой технологии или досрочный пуск. Новая технология может подождать, а «день ваших именин» ждать не будет. Уже тогда его прозвали «анализатором». От слова «лизать», то самое, анальное...

Ни от кого члены ПэБэ не получали таких роскошных открыток, как от нашего Романа Авдеевича. Кто-нибудь скажет — мелочь, и ошибется, потому что мелочей в деле внимания к человеку не бывает. Это были достижения искусства, ими можно было хвалиться, и спустя годы, уйдя в отставку, члены ПэБэ показывали их, как свидетельство народной любви.

Любой знак внимания, если в него вкладывать душу, дает результат. И результаты стали появляться.

IX

Отметка на дверном косяке снизилась на три миллиметра. Разом. Величина для Романа Авдеевича была ощутимо болезненной. И произошло это вскоре после того, как ему передали от Самого благодарность за превосходную открытку. Роман Авдеевич смотрел на новую нижнюю черточку на белой краске косяка, и ликующее его настроение испортилось. Одна за другой черточки, еле заметные, спадали. Когда-то, в детстве, они лесенкой поднимались. Мать отмечала на таком же, только некрашеном косяке, и они бодро скакали вверх. Не так резво, как он хотел, но вверх. Теперь же, когда он стал ступенька за ступенькой подниматься, метки двинулись вниз, чуточку, но неуклонительно вниз и вниз. От чего-то это зависело. «Корреляция», как сказал врач. В словаре иностранных слов «корреляция» означала «связь между явлениями», то есть одно явление вызывает другое. Странная, неприятная догадка мелькнула у Романа Авдеевича, настолько она показалась дикой, что он отогнал ее. Тем не менее, она упорно возвращалась, она не могла не вернуться, ничего другого не было, чем-то надо было заполнить недоумение.

X

Среди своих предшественников Роман Авдеевич особо интересовался судьбой одного персека, которого он для себя назвал Персек первый, или Персек Красивый. Первый, потому что из всех наших персеков он единственный, кто сумел проделать весь путь, предстоящий Роману Авдеевичу. Вскарабкивался, долез, используя каждую трещинку, и забрался в салон-вагон. Красивый, потому что был и впрямь красавец. Рослый, лицо мужественное, волосы волнистые, чуть тронутые сединой, весьма представительный мужчина — этакий русский богатырь. Роман Авдеевич подозревал, что внешность более всего помогала ему. И голос, раскатистый, душевный. Роману Авдеевичу показывали кинохронику — Красавец на трибуне — в каракулевой шапке, сам что-то кричит демонстрантам в микрофон. Тогда еще артистов на это дело не использовали.

Аппаратная история существует без письменных источников. Она передается от поколения к поколению, изустно живет, пробиваясь сквозь протоколы,

безжизненные отчеты, живет, как мох на скалах, невидная история, но ах, какая поучительная. Начал Красавец с того, что разоблачил предыдущего персека. Тот решил построить ресторан на телевизионной башне. И чтобы ресторан вращался. Где-то он в таком пировал. Построили. Строили долго. Когда закончили, тут-то наш Красавец пригласил на башню комиссию, комиссия стала смотреть и установила, что из башни видны военные объекты. Ресторан запретили. Предыдущего прогнали. Поставили Красавца, тот выяснил к тому же, что все средства на строительство больниц вбуханы в эту башню и ресторан, тем самым все медицинские проблемы нашего города были отложены на несколько лет.

Все у Красавца ладилось, все у него выглядело надежно, образцово, как бы специально выделанное под руководителя. Такого хотелось иметь во главе, и обязательно изображать в полный рост. Со временем, видно, и он сам стал любоваться собой, прямо-таки не сводил глаз с себя.

Возможно, черточку эту опасную Роман Авдеевич различил, поскольку знал дальнейшую его судьбу.

В один прекрасный день Красавца взяли в столицу, в салон-вагон, где он быстро обустроился, характер у него был компанейский, любил выпить, спеть, ходок был по женской части, это не запрещалось. Коллеги его большей частью в этом разделе работы не отличались, однако любопытство проявляли. Постепенно укрепилась за ним репутация «рубахи-парня», «свойского мужика», и так, шажочек за шажочком, приближался он к Главному. Одних оттолкнет, других пересорет, переговорит — технология втирания сложная. Слово «втирание», пожалуй, несправедливо, в то время Красавец действовал искренне, без задней мысли, иначе бы его обнаружили. Его облекли доверием и сделали вторым лицом. Как поясняли Роману Авдеевичу — глуповат и не опасен.

Второе лицо — роковое лицо. Казалось бы, рядышком, один шажок стоит сделать, а никак. Не перешагнуть. Существует невидимая, заколдованная черта. Сколько примеров история давала — допустим, происходит естественная смена, должно на место усопшего прийти второе лицо; вдруг поднимается вихрь, в результате второе лицо куда-то уносит, на месте первого обнаруживается совершенно неожиданный человек. Второе лицо всякий раз исчезает. Не удается ему достигнуть. История терпеливо учит нас, но никто не хочет обучаться у нее. Начальства на ее уроках не увидишь. Начальство уверено, что с его приходом наступает нечто такое, чего никогда нигде не было.

Неизвестно, по какому поводу в голову Красавца закралась мысль, что он мог бы управлять народами не хуже Главного, и осанкой, и вальяжностью он более соответствует. А уж прической и говорить нечего, у Главного никакой прически быть не могло. Для первой роли в такой огромной стране нужен был и человек державного вида. Нехитрая эта мысль утвердилась в его искусно причесанной голове, и когда Главный отбыл в очередной заморский вояж, наш претендент стал посещать одного за другим своих содельщиков. Речь он заводил о том, как Главному совмещать разные должности. Надо бы позаботиться о его здоровье, освободить его, допустим, от секретарства. Оставить ему сельское хозяйство, или какую-нибудь почетную должность. Есть такое мнение. С ним осторожно соглашались, не зная, чье мнение. Формула насчет мнения всегда срабатывает. Тем не менее, возникал вопрос, от которого никто не мог удержаться — кого ставить будем?

Красавец улыбался, блистая крепкими зубами. Ясно кого, кого же еще, если не его. Никаких уклончивых формул он не применял, рубил напрямую — его ставить! И похохатывал. И ему ответно смеялись. Конечно, он мог бы ответить изящнее, допустим, как Отелло: «Когда явилось сомнение, то с ним и решение». Но он не читал Шекспира. Мог бы привести английское выражение: «Подходящий человек на подходящем месте»; сказал бы «как повелят боги», сказал бы что-нибудь многозначное в духе Талейрана или Вольтера, не называя вещи своими именами. Ну, хорошо, не привык к таким тонкостям, пожал бы плечами и скромненько: «Это уж вам решать». Мог бы, а в том-то и шутка, что не мог, язык бы не повернулся себя не выставить. Попутно приходится заметить, что почему-то все крылатые слова и изречения произносят Наполеон, Кромвель, Людовики, Черчиль, русские цари и их министры. Наши же начальники говорят, говорят, а произнести ничего прочного не могут.

Хоть бы промолчал наш соискатель, нет, не сумел, и на том просчитался. Когда вернулся Главный, ему доложили. Один за другим докладывали и закладывали, ибо многие считали себя достойными. Вызвал Главный к себе претендента и начал его препарировать: «Интригами, значит, занялся, на мое место собрался?» Тоже прямым текстом шпарит и раскрывает досье о прошлых делах нашего Красавца-жизнелюба. Жалобы на него, письма наших горожан-идеалистов. Мы смеялись над их надеждой, что там, в столице, прочтут и примут меры, оказывается кто-то прочел и положил в папочку до нужного момента. Подошел, наступил этот момент. Было там еще кое-что, Главный взял его за шкирку и мордой об эту папочку. Заговорщик наш отрекался, молил о прощении, чего-то нес жалкое, только всхлипы доносились из кабинета. Рык, матюг, и в ответ всхлипы. Главный разошелся: «Смердюк!.. Мудила! — слышалось.— Нарумянился, буй кудрявый! Мы с тебя портки снимем и пустим голяком, покажем, какой ты есть ...дун!» Язык у Главного был богатейший, в этом, между прочим, была разница между ними, не говоря об остальном.

Заговорщик выполз из кабинета чуть ли не на карачках, измочаленный, мокрый, ничего не осталось от его красы. Передают, что волосы его висели, сам он крупно дрожал, никто не осмелился подойти к нему помочь. Побрел он в коридор, держась за стену, и там грохнулся на пол. Вызвали врачей. Появился Главный, постоял над ним, посмотрел, произнес беспощадно: «Если загнется, похороним на Красной площади, выздоровеет — исключать будем!» Нравы там, на верхотуре, суровые.

Определили инсульт. Отнялась речь, парализовало. Лечили, как положено, заграничными лекарствами. Консилиумы. Улучшений не наступало. Днем сажали в коляску, возили по саду. Уход был наилучший. На праздниках портреты Красавца вешали в ряду прочих, как положено. Обыватель знать не знал о происшествии. Жизнь членов происходила по неведомым законам. Однажды кто-то из них исчезал, куда неизвестно, появлялся новый, художники на том же туловище малевали другую физиономию. Говорят, что цоколь еще не статуя. У нас же важнее был цоколь, статуи на нем могли меняться.

Бывший Красавец слушал радио, смотрел телевизор, вроде что-то понимал, но говорить не мог, мычал, моргал, кривился — словом, выражал какие-то свои суждения по разным вопросам.

Шли месяцы, и наступил день, когда объявили об уходе Главного, конечно, по состоянию здоровья. И о назначении нового. Красавец наш, несмотря на сплошной паралич, оставался членом всего, а Главный — несмотря на могучее здоровье, был от всего отставлен. Переворот все же произошел, свергли только аккуратнее, умнее, учтя опыт Красавца.

Он же, бедолага, услыхав это и увидев на экране изображение Нового, пришел в страшное волнение, задергался, захрипел, вдруг руки его затряслись, он приподнялся в коляске, встал во весь рост, закричал довольно внятно: «Я должен быть Главным, я, это я...!» Можно было подумать, что к нему вернулась способность говорить. Становился синий и повторял без конца эти слова, ничего другого, выкрикивал, как заклинание. Вскоре он скончался.

Хоронило его новое руководство как полноправного члена своего синклита. Соблюли принятый ритуал — речь от руководства, от рабочих, от молодежи и от интеллигенции. Траурные флаги, оркестр... На поминках помощник его, подвыпив, сказал, что у нас — то слишком рано, то слишком поздно, никак не попадем в срок, история сбилась с ног, выправляючи.

Раздумывая над этой судьбой, Роман Авдеевич доходил до маленького сосудика в мозгу, который вздувался, вздувался от страха и лопнул. От него все зависело. Неустойчивая система. А если бы не лопнул — Главный поорал бы и отошел, успокоился, наверняка простил бы, очень он был самоуверен, беспечен.

В этом месте автор хочет продолжить мысль своего героя. Сосудик или тромбик не предусмотреть, и получается, что жизнь сотен миллионов зависит

от тромбика в примитивном полушарии того Красавца. Если так, то никаких закономерностей в истории не установить, и история — это скорее искусство, чем наука. Коллеги немедленно начнут про поступательное движение производительных сил, нужды народов, диктующие сквозь хаос случайностей, автор знает про это, читал, однако что можно возразить обывателю, которого не интересуют сотни лет, нужные для поворота истории? Ему про личные его сроки извольте, про отпущенные шестьдесят или семьдесят лет. Мелочь? А зачем ему тогда вся наука, если она в сроках человеческой жизни ничего понять не может? Нет уж, вы будьте любезны в микропроцессах разберитесь, если вы считаете жизнь обыкновенную малой величиной. Астрономы и те предсказывают кометы и затмения, а историки прошлое не могут предсказать, какое оно будет, наше прошлое, спустя десять, двадцать лет.

Во всяком случае, Роман Авдеевич сделал вывод. Не переживать, беречь сосуды. Пока сосуды целы, есть шанс, всего можно дождаться. Не принимать к сердцу. В голову не брать. Гори все прахом. Соратникам генералиссимуса сносу не было, железные мужики были, без нервов, без душевной маеты, им все по касательной шло. Жили соответственно по девяносто и больше, и в ус не дули, хотя вроде в страхе, жен ихних и братьев-сестер сажали, ссылали, а они хоп хны. Геронтократы. «У нас не автократия, сказал один из помощников Главного, а гарантократия».

XI

Нашего дорогого Романа Авдеевича заметили. Все чаще стали приглашать наверх. Допускали и присматривались. Никто его не учил, не предупреждал, он сам, своим чутьем, своим умом должен был ориентироваться в чащобах власти. Надо было следить за каждым своим словом, как ты его произносишь, какой жест при этом делаешь. Например, если Главный «хекал», то и другие начинали «хекать», и Роман Авдеевич перешел на «хекание». Хлопать не раньше, чем они захлопают, смеяться тоже со всеми.

Малейшее не то,— и пропал, перетолкуют, преподнесут в самом скверном виде, и все многолетние усилия насмарку. Там, точно охотник в лесу, хрустнуть веткой нельзя, вспугнешь свою добычу.

Он стал *вхож.* Великое понятие тех времен. Людей его должности и прав много, а вхожих — несколько. Вхож — значит можно позвонить наверх, и соединят. Можно приехать, и примут, не сегодня, так завтра. Вхож — значит можно прийти просто так — посоветоваться, и с тобой поговорят не только по делу. Вхож туда — значит к обычным начальникам — министрам, зампредам, можно запросто, с ходу, с поезда. Не так важна должность, как вхожесть. Быть вхожим — значит иметь особые привилегии, тайный знак превосходства.

С тех пор как нашего Романа Авдеевича стали приглашать на заседания в Москву, почти на самый верх, помощники его, готовя материал, ломали головы. Фактически это должен быть не материал, а полный текст выступления. Тема была известна, но вот «за» или «против», отклонить или поддержать — неизвестно. Предположим, вопрос об абортах: запретить? разрешить? воззвать к сознательности? Какие факты подбирать — не поймешь. Мнение самого Романа Авдеевича выяснить невозможно. Не говорит. Произносит слова о защите интересов женщин, об укреплении семьи, толкуй как хочешь: хочешь в пользу абортов, хочешь — наоборот. Помощники никак опознаться не могут. Роман Авдеевич, похоже, одобряет и тех, и других. В результате одни готовят ему выступление — за аборты, другие — против, соревнуются, кто убедительней. И представьте — берет оба текста. Одно выступление кладет в один карман пиджака, другое — в другой. На заседании, смотря куда склоняются прения, вынимает то или другое выступление и читает. Важно не перепутать. Оказывается, такая избрана была альтернатива. Помощники, когда раскусили, в чем тут нюанс, обрадовались, большое облегчение почувствовали, никто не увидел в этом ничего предосудительного. Наоборот, поняли, что искусство руководителя, видимо, в том и состоит, чтобы не идти против обстоятельств, а умело использовать их — вот задача!

Престиж руководителя поднимает престиж города. Зря некоторые намекали, что Роман Авдеевич подлаживался, ловчил, не имел своего мнения. Критиковать легко, а как быть, если мнения расходятся, колеблются, и на чьей стороне Сам, не определить? Попробуйте точно угадать момент, когда взять слово. Тут нужна тончайшая наблюдательность. Сверхчувствительность нужна. Нельзя оказаться в противоречии, нельзя и запоздать. Если мнение Самого выяснилось, тогда уж поздно высовываться.

По каким-то ему одному ведомым признакам Роман Авдеевич первый определял единственно решающую минуту, поднимал руку, делал ею движение, обозначающее — «Ладно, рискну!», доставал из нужного кармана бумагу и попадал в яблочко. Постепенно, раз за разом, Роман Авдеевич наращивал репутацию человека решительного, прозорливого. Надо было видеть, как, достав бумагу, он зачитывал свое мнение, с выкладками, цифрами, цитатами из первоисточников. Волновался, голос его дрожал, как будто Роман Авдеевич набрался духу и осмелился изложить наболевшее Чувствовалось, что человек давно обдумывал проблему, имеет твердое суждение, основанное на фактах.

Со временем аппарат его — вышколенные ребята, вежливые, чисто выбритые, с непроницаемо-зеркальными глазами — стали находить нормальным, что настоящий крупный руководитель имеет не одно мнение, а два. Такова диалектика роста и закона нового мышления. Иначе нельзя.

Найдутся, особенно в наше время, молодые, которые возразят — ради чего, собственно, следовало так угодничать? Так терять свою личность? И будут при этом брезгливо кривиться. Но человечно ли презирать игрока, проигрывающего последнюю рубашку? Влюбленного, готового терпеть унижения? Разве они вольны в том чувстве, что безраздельно властвует над ними? Так и с Романом Авдеевичем. Одна, но пламенная страсть владела всеми его помыслами, определяла все его действия. Каждый его поступок так или иначе был связан с великой целью, поставленной им. Автору не в каждом поступке удавалось найти эту связь, случались у Романа Авдеевича и отступления, жизнь самого целеустремленного человека не выглядит как прямая линия. Но, несмотря на путаницу зигзагов, обходов и уклонений, можно проследить неукоснительное движение Романа Авдеевича вперед и вверх. Только вперед, только вверх. На четверть века раньше, где-нибудь в 1937—1938 годах, движение его происходило бы куда быстрее. То были хотя и опасные, но дивные времена головокружительных взлетов. Буквально за несколько месяцев люди делали блестящие карьеры. Быстрее, чем на войне. Ныне же приходилось прорубать свой тоннель сантиметр за сантиметром. Мускулы души Романа Авдеевича крепли в этой каждодневной работе, воля росла, ум изощрялся, стал гибким, находчивым. Если бы удалось незаметно подменить Роману Авдеевичу цель, подставить ему, допустим, научную цель, то нет сомнения, что человечество приобрело бы крупного изобретателя, получило бы средство от ураганов, новый пятновыводитель, лекарство от СПИДа, словом, что-то для всеобщей пользы.

Боже ты мой, стоит придумать устройство переводить страсть властолюбия в иную, такую же могучую, всё одолевающую энергию, допустим, милосердия или мастерства, и какую добавку сразу получило бы человечество, сколько выдумки, живительных сил приобрели бы наши чахлые добродетели!

Увы, нет такого средства, и замечательные характеры, подобные Роману Авдеевичу, все так же рвутся к чинам, сминая все на своем пути, к возможности владеть судьбами населения, править, приказывать, ибо если не они, то кто же?

Вопрос этот отнюдь не риторический. Роман Авдеевич считал себя достойным высоких постов. Наивысших. Впрочем, и пост, и должность — не те понятия, они из словаря карьериста. Автора, к сожалению, все время сносит на какие-то привычные ему типы, тех же карьеристов, которых наше время плодит в несметных количествах. Роман же Авдеевич нечто иное, автор даже затрудняется его определить, потому что надо войти в такую психологию, которую и вообразить не хватает духу. Сам Роман Авдеевич не решался себе

сформулировать. Карьеристу нужно иметь под собой все больше учреждений, предприятий, людей. У нашего Романа Авдеевича мысль шла другим путем, в качественно ином направлении, и отнюдь не безопасном: он хотел стать вождем! Руководить народом. Не обязательно всем народом, но какой-то частью народа, например, республикой. Формально у него для этого имелись все данные: читал он доклады отчетливо, имел неплохую дикцию, имел диплом, поскольку кончил какой-то технический институт, имел хорошую анкету. Всего у него было в меру, тут тоже надо избегать перебора. Один из конкурентов Романа Авдеевича имел ученую степень, кандидат, может, доктор наук. На этом и спекся. Чересчур ученый. Докторская его степень раздражала начальников. Равняться надо было на верх, а там — один с грехом пополам кончил железнодорожный техникум, другой — заочно педагогический институт, и то когда заведовал отделом в республике, так что преподаватели приезжали к нему в кабинет принимать экзамены. У третьего числилось: «Учился в пищевом техникуме». Кончил или нет,— это перестало иметь значение с тех пор, как человек достиг. Раз достиг, то, значит, дело не в образовании, может, потому и достиг, что «мы университетов не кончали». Диссиденты злословили, что все члены, мол, были недоучки — инженеры были никудышные, учителя плохие, специалистов из них не получалось, вот и устремились в общественную работу. И к нашему Роману Авдеевичу тоже пытались приложить эту теорию. Всякие мудрецы — схоласты. Не понимали, что, может, тупыми инженерами-обалдуями члены были потому, что призвание имели другое: знамя нести хотели, взвалить на себя бремя государственных забот. Если бы они попали в техникум, где готовят вождей, они были бы там отличниками. Так ведь нет такого училища.

В любой конторе, от министерства до жакта, на вокзалах и больницах, в домах отдыха и на пароходах висели плакаты с портретами членов и кандидатов. Этакан галерейка олигархов — членокотека. Все в одинаково черных костюмах, черных галстуках, одинаково суровые, они испытующе взирали на Романа Авдеевича, начиная с его детских лет, а затем — в школьные и студенческие годы. Можно сказать, он вырос под их присмотром. Они были почти бессмертные, а уж непогрешимые — это точно, как боги.

Однажды, будучи еще аппаратным чиновником, находился он в столичной командировке и там попался на глаза тогдашнему нашему персеку. То ли у него приболел помощник, то ли еще почему, но взял он с собою Романа Авдеевича на охоту. Да не просто на охоту, а с участием Самого. Был тогда наш персек на «взлете», пригласили его, а он взял нашего героя, ибо полагалось иметь при себе помощника.

После охоты расположились на пикник по-русски, что означает выпивон. На природе, под дубами, по-простецки, стол некрашеный, табуретки, костер, кабан на вертеле. Когда олигархи хорошо «приняли», пошли байки-потешки, и двое приближенных олигархов повздорили. Из-за чего, Роман Авдеевич не слышал, ибо стоял поодаль, с прочими помощниками. Слово за слово, и сцепились. Задрались. Самым простейшим образом: матерясь, лупили друг друга кулаками, ногами, таскали за седые волосы... Никто их не разнимал. *Сам* хохотал, остальные подзуживали. Роман Авдеевич взирал зачарованно,— это были те самые боги, бессмертные, чьи лики словно на иконостасах сияли перед ним все эти годы. Вот тут и посетила впервые его дерзкая мысль, крамольнейшая, которая никому из окружающих не пришла в голову, а ему пришла: а чем он хуже? Несмотря на весь его трепет выходило — не хуже. Он из их рода.

С того дня все определилось, выстроилось. На примере Романа Авдеевича можно показать, как человек, который все силы ума и воли сосредоточит на поставленной цели, может пройти ох как далеко. Желание — оно и есть способность.

А если желание страстное, все себе подчиняющее, то это вообще как талант. Роман Авдеевич ведь не желал стать поэтом, музыкантом. Он желал стать вождем, в виде члена ПэБэ. Значит, у него к этому ПэБэ был талант. Может, были у него еще к чему-то способности, только он в себе их не разыскивал и путь свой по лестнице успеха представлял наиболее почетным.

С годами, чтобы удержаться на этой скользкой лестнице, приходилось все больше гнуться, пластаться так, что не осталось в нем ничего своего, все было принесено в жертву, все было запрятано и там сгнило.

Ряд историков доказывает, что Роману Авдеевичу способствовали случайности, историки прослеживают, как одна случайность за другой выталкивали его на поверхность. Получается, что личных заслуг у Романа Авдеевича не имелось, вместо него мог быть и другой. Однако почему-то этого не произошло, хотя в соседних краях появлялись такие выжиги, такие начальники, про которых и вспоминать неприятно, лишь руками разведешь, каких прохиндеев земля рожает. Уж они бы никакой случайности не упустили. Нет, наш Роман Авдеевич обязан своему возвышению не легкомысленной игре случаев, не слепой безответственной фортуне, только самому себе он обязан, своей целеустремленности.

XII

Жизнь даже крупного начальника, которому все подчиняются, все его боятся, полна неприятностей. Дорога его идет «через тернии к звездам». Древнее это выражение чрезвычайно нравилось Роману Авдеевичу. Смысл его был многозначен, например, «к звездам» можно было понимать по-разному, не обязательно астрономически. Тернии тоже. Тернием, например, оказался знаменитый в городе человек, академик Сургучев. Сколько раз ему предлагали переехать в Москву, должность давали, он отказывался. Одно это выглядело в глазах Романа Авдеевича странным. Числились за академиком и другие проступки. Например, на одном научном семинаре его коллега, выступая, сравнил многообразные таланты Романа Авдеевича с универсальностью Петра Великого, на что академик в своем слове согласился, сделав лишь одну оговорку, что «Петр Первый получил свои таланты от природы, а Роман Авдеевич от льстецов». Согласитесь, замечание бестактное.

Куда серьезней дело обернулось с очередной работой академика. Выяснилось позднее, что она была как раз неочередная. Это была внеплановая работа Никто не заставлял ее делать. Она и в план и в показатели не засчитывалась Директор Института утверждал, что ни в каком плане ее не утвердили бы Она шла по разделу инициативных работ. Что-то в этом роде. В науке это почему-то разрешается. Директор ссылался на то, что в прошлом многие работы так делались, периодическая система тоже Менделеевым не планировалась. Сам Сургучев заявил, что он якобы случайно набрел на открытие методики.

Редакция вполне благопристойного академического органа, ознакомясь со статьей Сургучева, пришла в волнение. Принесли ее Главному редактору. Тот прочитал, схватился за голову, позвонил Сургучеву, уговаривал взять статью обратно. Сургучев наотрез отказался. Редактор вызвал сотрудников, предупредил, чтобы все сохраняли редакционную тайну, и отбыл наверх посоветоваться. «Наверх» это великое благо каждого руководителя. Правда, последнее время там стали отпихиваться, «решайте сами», «тут мы не указчики», но, перелистав статью Сургучева, отпихиваться не стали. Передали ее еще выше, этажи перезванивались, засовещались, сделали запрос Роману Авдеевичу, тот ничего не знал, зато насчет Сургучева высказал неудовольствие. Он резонно полагал, что от ученого, который печатается за границей, вряд ли можно ожидать чего хорошего.

«Ладно болтать,— довольно грубо оборвала Москва,— не владеешь вопросом, сперва ознакомься, до чего вы там дошли»,— и предупредили, чтоб уладил, «снял вопрос», и «по-хорошему». Рукопись переслали. Засекреченную. По наивысшему грифу: «совершенно секретно, особой важности». Так что самому Роману Авдеевичу выдали под расписку. Без права показать своим консультантам-референтам.

Давно он не занимался самоличным чтением. Политическая литература, философская — все это ему обзор делали. Художественную (местных авторов) — излагали содержание.

Статья Сургучева была небольшая, но плотная. Вникнув, Роман Авдеевич понял, почему наверху всполошились, почему бросили ему упрек: «Ничего себе, пригрел...». Сам он, захлопнув папку, заходил по кабинету, расстроенно поглядывал на телефоны, позвонить бы кому, посоветоваться, да кому позвонишь с таким делом? Это надо же додуматься — предложить способ, как определить эффективность работы партийных руководителей. Мало предложить — разработал методику! Всестороннюю, поскольку, как отмечал академик, считалось испокон веков, что партийную работу нечем измерить, нет таких показателей, что она неуловима, невещественна, как эфир. Нечто нематериальное, во всяком случае, недоказуемое. И в то же время кое-кому ведомая. Тайна ее в том, что видима она была лишь сверху, снизу же или сбоку оценить ее никак невозможно. Кажется, работник и туп, и невежда, а его выдвигают, и тянут, и опекают. Значит, что-то имеется. Объективный метод Сургучева применялся просто, как термометр. Измерить можно было любого персека. С поправками на местные условия. Любой обыватель, если получил бы данные, мог бы определить.

Факт этот, конечно, весьма обеспокоил, само появление такой идеи было непростительно, она могла появиться лишь у человека чуждого.

Разговор с Сургучевым происходил трудно. Академик не хотел понимать идеологическую вредность своего открытия. Выпучив свои близорукие выцветшие глазки, он разводил руки, да господь с вами, да ведь вы должны радоваться, вам можно будет избавиться от болтунов и дураков.

— Подбор кадров, кадровая политика — важнейший рычаг партии,— втолковывал Роман Авдеевич.— Неужели вы думаете, что у нас нет методов, мы без вас, слава богу, разберемся.

— Не разберетесь,— говорил Сургучев.— Если до сих пор не разобрались, то не разберетесь.

— Но вам-то что? Вам-то какое дело?

— Это в каком смысле?

— Вы же не имеете отношения, вы же беспартийный человек.

— Имею. Очень имею. И страдаю от ваших охломонов.

Тут Роман Авдеевич оживился.

— От кого именно? В чем?

— Ах, если бы один,— сказал академик.— Их тьма. Попробуйте на моем месте,— он почесал свой малиновый висячий нос.— Они у вас, как на подбор.

— Напрасно вы обобщаете,— произнес Роман Авдеевич со значением.— Прислушались бы. Если у вас есть конкретно на кого материал, мы готовы.

— Что готовы? — недоуменно спросил Сургучев.

— Назовите, кто вам мешает. У нас должно быть взаимопонимание. Мы вам всегда шли навстречу. Мы же вас академиком сделали, премию дали.

— Вы? — спросил академик совершенно недопустимым тоном.

— А кто же еще?

— Я полагал, мои работы...

Роман Авдеевич хмыкнул, как можно язвительней. Ничего в городе не делалось без его ведома. Депутатов сперва выбирал он, потом население, и судей, и секретарей; он утверждал директоров, с ним согласовывали начальников и почты, и милиции, и вокзала, а уж кого на академика, это подавно.

— Значит, как у Щедрина,— сказал академик.— Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению воли начальства,— и сам засмеялся, продолжая распивать принесенный чай и похрустывать печеньем.

Следовало ему вести себя поскромнее, учитывая, что биография его была и без того подмочена. Сидел! В молодости был на Беломорканале. Никакие научные труды этого не перекроят. Некоторые утверждают — почетная фигура для нашего города. И что с этого, спрашивается? Какая польза от него Роману Авдеевичу? Одни хлопоты и неприятности.

— Мы контролируем вашу работу, а вы, значит, хотите наоборот? Нас контролировать хотите? — спросил Роман Авдеевич и устремил на академика свой замораживающий взгляд, от которого люди теряли дар речи. Академик отставил чашку, вытер губы.

— Хочу,— признался он.

Собственно, это словечко окончательно решило его участь. Да еще некоторая надменность, как будто именно от него, Сургучева, что-то могло зависеть, от его мнения о Романе Авдеевиче и всех сидящих в этом здании.

С этого времени работу Сургучева засекретили, предупредили, что упоминать ее, ссылаться на нее нельзя, нарушение будет рассматриваться как разглашение гостайны. Сам академик по своим анкетным данным доступа к своим материалам был лишен. Выезд за границу ему был запрещен, сделали его невыездным. Настырным иностранцам сообщали, что он или болен или занят. Наперекор официальным сведениям Сургучев писал, что здоров, рад был бы приехать на симпозиум, да не пускают. Явно нарушал правила приличия. Пошел на конфронтацию. Нанес урон авторитету власти. Немудрено, что однажды вечером его избили в его же парадной. По его заявлению, трое парней, ничего не объявив, молча стали избивать. Он упал, они потоптали его, впрочем, аккуратненько, учитывая хрупкий стариковский костяк. Так что крупных телесных повреждений не осталось. Плащ порвали, костюм. В милиции интересовались, не взяли ли чего. Записали: «Факта ограбления, по словам потерпевшего, не было».

— Такой нюанс свидетельствует о личной почве,— сделал вывод начальник милиции.— Сведение счетов, может, ревность?.. Вам бы надо уяснить свою коллизию.

— Коллизия в том состоит,— сказал академик,— что еще при Николае Первом поставлено было, что имеющих высшее образование нельзя сечь и подвергать прочим телесным наказаниям.

Когда Роману Авдеевичу доложили о его словах, он резонно заметил: «А у нас нынче равенство!»

Академик слег. Кандидатуру его выдвинули на пост вице-президента Академии наук. Роман Авдеевич считал это выходом из положения. Ученых лучше всего усмирять, назначая их на высокие посты. Практика показывает, что они быстро становятся исправными чиновниками. Звания их создают ореол начальству.

Строптивый Сургучев, вместо того чтобы благодарить и радоваться, отказался, не оценив хлопоты персека, и остался в нашем городе. Пришлось за ним устанавливать постоянное наблюдение, чтобы он не вздумал каким-то образом опубликовать свою крамолу.

Вся эта история притормозила восхождение Романа Авдеевича, но упорно, как муравей, он обходил препятствие за препятствием, так что эффективность его партийной работы была велика.

XIII

Однажды Роману Авдеевичу во сне явился художник Попонов, которого он велел выслать как тунеядца, за его выпады. Художник во сне раздавал прохожим открытки, где были кошечки с бантиками и поздравительным текстом для начальства. Все читали, смеялись и показывали пальцем на Романа Авдеевича. Он хотел утаиться, побежал. За ним погнались собаки, кошки. Он влетел в какой-то дом. Там сидел высоченный человек. Роман Авдеевич закричал ему: «Спасите, спасите!» Человек наклонился к нему, и Роман Авдеевич увидел над собой академика Сургучева. Лицо академика было в синяках. Криво улыбаясь, он двумя пальцами поднял за шиворот Романа Авдеевича и стал измерять его штангенциркулем. И все сдвигал и сдвигал губки штангеля. А вокруг сидели собаки, оскалив морды, и кошки с горящими лунными глазами.

Роман Авдеевич проснулся весь в поту. Страшная догадка проникала в него из этой ночной тьмы, и ее никак было не отогнать. Под утро он тихо встал, прошел к себе в кабинет. Отметки на косяке были помечены датами, и теперь перед Романом Авдеевичем ясно открылась подлая зависимость: как только он предпринимал что-то такое для своего продвижения — он уменьшался. Стоило подняться на ступеньку лестницы, ведущей туда, и он стано-

вился ниже. Смутное подозрение и раньше мелькало у него, теперь же все обозначилось явственно и безвыходно, это и была, очевидно, та самая «корреляция», которую искал доктор.

На следующий день Роман Авдеевич как бы невзначай осведомился у заведующего отделом науки,— был такой, поскольку надо было, чтобы кто то ведал наукой — как там дела у Сургучева. Оказалось, что академик не посчитался с фактом избиения его и продолжает выступать в прежнем духе.

Когда Роман Авдеевич увидел его во сне, академик чего-то бормотал. На следующий день он приснился опять и сказал уже явственно: «Лопнет чашка терпения!» Смысл был неясен, но неприятен.

С этого времени начался новый период жизни Романа Авдеевича, период трагических противоречий. Движение наверх требовало поступков, новаторских, заметных, на которые могли обратить внимание. Например, хотелось запретить итальянский фильм, не пускать его в прокат. По всей стране он шел, а в нашем городе чтобы не давать. И концерты рокеров. Шум, крик — почему? В Москву напишут. Из Москвы позвонят, спросят, в чем дело? А в том, что мы блюдем. Идеологию блюдем и не допустим. У вас в Москве иностранцы, дипломаты, вам деваться некуда, а мы чистоту держим, здоровье идеологическое сохраняем. Ну, конечно, докладывают наверх — вот, мол, что позволяет себе. А там на это вполне благоприятно замечают — молодец, твердый мужик, линию хранит, ничего не боится. И, явственно представив себе все это, Роман Авдеевич не мог удержаться — запрещал.

Бояться ему было нечего, устройство нашего механизма он изучил: чем правее, тем вернее; запрещай — не ошибешься; тот отвечает, кто разрешает,— всё это были азбучные истины. Мучило другое: всякий раз, принимая решение, он прикидывал, во что оно может обойтись, теперь-то цена была известна. Но ведь иначе не выкарабкаешься. Чтобы приблизиться, надо что-то совершить. А уменьшаясь в росте, можно дойти до того, что нельзя будет его взять туда, наверх, на самый верх,— неприлично станет, потому что есть предел. Правда, там, на самом верху, там пределов нет, там и совершать такого, чтобы уменьшало, не обязательно, там можно, наоборот, разрешить себе и ослабить, страху поубавить.

В понятии «самый верх» не было ничего отвлеченного. Роман Авдеевич имел на сей пост образ зримый, до малейших подробностей. Полыхали знамена, медно гремели духовые оркестры, и он, Роман Авдеевич, в цепочке нескольких человек поднимался по гранитным ступенькам на трибуну Мавзолея — на самую верхнюю трибуну страны — и занимал предназначенное ему место в коротком ряду людей, расположенных по обе стороны от Хозяина. Лицо каждого, здесь стоящего, было известно стране, их портреты плыли, колыхались над колоннами демонстрантов. Все глаза были устремлены наверх, к ним поднимали детей, чтобы те видели. И он, Роман Авдеевич, приветственно поднимает руку, отвечая их радости. И тогда внизу по площади перекатывается мощное «ура-а!», по всем прилегающим улицам, по всей стране. На боковых крыльях уступами стоят десятки, сотни избранных, и они тоже поглядывают не столько на идущих по площади, сколько наверх, на посвященных.

В праздники, с утра, он должен был выстаивать на нашей городской дощатой крашеной трибуне. Столицу он мог увидеть только по телевизору вечером. Вперялся, не отрываясь, ревнивым взглядом отмечая, кто где стоит, кто как выглядит, кто с кем перекинулся, и так вглядывался, что начинал различать там себя: он стоял среди них, тоже в шляпе, третьим от Хозяина, росточком всего чуть пониже других. На вершине, на такой высоте, что личный рост не имел значения. То был апофеоз, сладостный финал, ради которого стоило терпеть! Финиш, победа!

Судя по этому видению, он успевал добраться, но если фактически, то страхи и сомнения раздирали его на части всякий раз, когда он принимал решение. Порой и можно было удержаться, а не мог. Терзался, понимал вред, какой ианосил своему телу, и опасения грызли, и кошмарные картины возникали — лилипут, карлик выходит к трибуне и не видно его, мальчик-с-пальчик, уродец, над которым потешаются,— видел все это, ужасался и все равно остановить себя был не в силах.

XIV

В столичном журнале появился фельетон про некоего крупного начальника, названного Василием Романовичем. Отличительной его чертой была универсальность. Он выступал на съезде архитекторов и давал ценные указания по новым стилям градостроительства. Заодно поправлял и направлял строителей, подсказывая им новые материалы, ориентировал их на лучшее использование техники. С не менее интересными идеями обращался он к педагогам, занятым дошкольным воспитанием. Он сумел доказать им, что начинать воспитание надо с самого раннего возраста. Выезжая на места, он собирал, допустим, совещание льноводов, произносил вступительное слово, выслушивал специалистов и заключал докладом, где ставил задачи и намечал перспективы развития льноводства. На следующий день он приветствовал международный форум онкологов, говорил им о важности борьбы с раком, затем собирал энергетиков по поводу аварийности. Известны его речи на юбилее Общества генетиков, Института полупроводников и Института востоковедения. Трудно измерить диапазон его знаний. Он участвовал в научной конференции политологов, в симпозиуме экономистов, в международной встрече астрофизиков. Каждое его выступление разрешало все сомнения и споры специалистов. Слова его звучали твердо, фразы были выверены, недаром они печатались на первых страницах газет. Несомненно, это был ум, подобный могучим талантам Возрождения. Может быть, равный гению Леонардо да Винчи. Если из отечественных, то универсум не меньший, чем Михайло Ломоносов. Честно говоря, и у Ломоносова не было такого размаха. Музейным работникам он показывал наши советские принципы экспозиции, чем они отличаются от буржуазных, мог сориентировать овцеводов и лесозаготовителей.

Маленький, крепенький, он зычно, не задумываясь, отвечал на любые вопросы если не подробно, то в принципе. Никогда еще не удавалось поставить его в тупик. Некоторые детали напоминали Романа Авдеевича, например, запись в книге почетных посетителей в точности была повторена: «Был на ледоколе. Произвел большое впечатление». Кроме того, отдельные словечки горячего словолюба Василия Романовича соответствовали выражениям Романа Авдеевича: «Если я говорю, значит, это никуда не денется», «надо делать много больше-лучше», «наша линия идет не в зад»...

Гаврики положили фельетон перед Романом Авдеевичем, подчеркнув красным все места соответствия. Роман Авдеевич разгневался, хотел было звонить в редакцию, ему отсоветовали. Стоит ли признаваться в том, что не явствует. Факт, что фельетон напечатали не случайно. Кой-кому Роман Авдеевич, руководитель нового типа, стоял поперек дороги. Соображение это несколько успокоило персека, прибавило ему веса.

Строго говоря, фельетонист исказил факты. У него Василий Романович фигура плоская, одномерная. На самом деле Роман Авдеевич умел увлечь аудиторию своими выступлениями. Он создавал напряжение схватки с противником. Каким противником — неизвестно, важно, что коварным, замаскированным. Трудности, недостача, невыполнение — все становилось подозрительным. Мелькали чьи-то тени, проблескивали намеки. Его речь отличалась убежденностью. Он отвечал за все и за всех, поэтому он должен был всем указывать. Тяжело, трудно, но что поделать: такова была его работа. Они все сами жаждали, чтобы он приехал. Добивались. Упрашивали. Обижались, если приезжал второй секретарь. Значит, недооценивает библиотекарей, связистов, милицию. Конференция не конференция, перевыборы не перевыборы, если он не приедет. Они готовят ему примеры, на самом деле все выступление готовят, а потом цитируют и ссылаются на его слова, написанные ими же. Благодаря своей исключительной памяти он мог повторить без бумажки слово в слово. Но он усиливал текст, заострял, украшал его розами обещаний, и они бурно аплодировали. В сущности, он презирал их. Стоило ему с кем-то поздороваться за руку, и тот был уже на седьмом небе. Они ждали указаний, без этого они терялись. Специалисты, а все они чего-то боялись, их надо было направлять, подгонять. Он всегда знал где, в каком месте они будут хлопать. Потому что

они обязаны были хлопать. Это был ритуал. И они соблюдали его добросовестно, даже с радостью. Выйдя из зала, они спрашивали друг друга — а что он сказал? Никто не мог толком пересказать. Они не понимали, что это хорошо, что важно чувство приобщения к борьбе и движению вперед. Роман Авдеевич любил приводить своим секретарям слова какого-то француза: «Если бога не было бы, его следовало бы выдумать». У него это звучало иначе: «Если противника нет, его следует выдумать».

Будь Роман Авдеевич похож на Василия Романовича, ему бы не удалось долго продержаться, уж продвинуться — тем более. Все же без каких-то привлекательных черт трудно, известно, например, что в высоких кругах Роман Авдеевич славился своими карточными фокусами, он неплохо забивал козла, и, вот уж никогда не скажешь, любил петь. Он пел полузабытые романсы, с чувством прижимая руки к груди.

Ты сидишь у камина
И смотришь с тоской,
Как печально огонь догорает...

Гладкое белое лицо оставалось неподвижным, но глаза увлажнялись.

Журнал Роман Авдеевич распорядился в продажу не пускать, подписчикам тоже не доставлять. «Как так?» — спросил начальник связи. Очень просто, сказали ему в секретариате Романа Авдеевича, сам соображай. Хочешь быть — умей вертеться. Условие, конечно, непростое, поэтому у нас такие ловкие начальники подобрались, умеют вертеться. Журнал с фельетоном граждане не увидели, решили, что это столичные сплетни. Попозже редактора журнала сняли, разумеется, по иному поводу.

Слушая очередное выступление Романа Авдеевича на дискуссии историков, участники перешептывались: «Леонардо!», кличка приклеилась, и кое-кто из угодников стал употреблять ее даже с гордостью. Пока художник Попонов не изготовил картину — обрамил физиономию Романа Авдеевича волнистой бородой Леонардо, седыми локонами, накинул ему на пиджак плащ, дал в руки циркуль, кисти, на фоне президиума, за длинным столом, крытым красною скатертью, все это в виде «Тайной вечери», а сам Леонардо на трибуне. Получилось узнаваемо, наши городские умельцы быстро отпечатали картину в виде литографии и открыток и стали продавать из-под полы. Их застукали. Вышли на Попонова. Позвали его кой-куда, предложили на выбор: или посадим, или уезжайте из города. Начальство не ссылалось на законы, на статьи. И Попонов тоже не требовал, все решили полюбовно. Бесполезно с ними тягаться, сказал он автору. Не судись — удавишься. Согласно его философии, подобные события надо воспринимать спокойно, как явления природы. Не вступать же с ними в этические отношения. Холодная осень, град, жара, они не требуют протеста или благодарности. Это данность. Так же, как наш дорогой Роман Авдеевич, данность, порождение существующего порядка, физиономия необходимости.

Провожали его совсем немного людей, остатки нашего инакомыслия. Выпили из горла на перроне, возле вагона.

— Наплюй, Попонов, наплюй на него,— повторял один из художников.— Мы доживем, наше дело дожить, для этого надо плевать.

— Плевать можно только вниз,— отвечал Попонов.— Вверх не получается. Я пробовал.— Он оглядел приятелей, стоящих поодаль двух «сотрудников» в одинаково серых костюмах и подмигнул автору.— Я кто? Я подданный. Не гражданин, а подданный самого передового государства, вот оно мне и поддало, поэтому мы что? Имеем право поддать,— он помолчал и сказал громко: — Скучная у нас страна. К тому же, ее любить надо.

XV

Все исторические события происходили в Москве, там проводились исторические пленумы, принимали исторические решения, произносили исторические речи. В нашем городе ничего исторического не получалось, потому что для исторических событий необходимо присутствие исторических лиц. Исторические же лица к нам не приезжали. Роману Авдеевичу все же удалось добиться согласия одного члена Пз Бз баллотироваться на выборах от нашего города. Ныне мало кто помнит Кузьму Андреевича, а в те времена он являлся фигурой весьма внушающей и влияющей.

История, она любит, прежде всего, первых лиц. Она привыкла со времен самодержавия располагаться по царям. Монарх такой-то сменяет монарха такого-то, и начинается новая эпоха. У каждого царя имелся свой раздел в учебнике истории. Удобно и никакой путаницы. Вторые и третьи лица, великие князья и претенденты не в зачет. На самом-то деле именно они определяли, Роман Авдеевич прекрасно понимал, кто готовит решение, от кого зависит назначение. Такой человек, как Кузьма Андреевич, благополучно перемещался из одной эпохи в другую и всегда оставался нужным. Он ведал идейным снаряжением, обеспечивал идеологией, снабжал лозунгами, командовал борьбой с чуждыми взглядами, вкусами. Он один досконально знал это таинственное идейное хозяйство, в чем состоит наше превосходство и почему гибнет капиталистическая система.

Встречали его на вокзале. Как человек старого склада, как его Учитель, самолетов он не признавал. Не торопясь, поездом, в салон-вагоне. Встречу Роман Авдеевич организовал по высшим правилам преданности. Перрон мылом вымыли, милиции новенькую форму выдали, в буфете салфетки вставили в стаканчики целыми, не нарезанными на крохотные треугольнички. Кузьма Андреевич вышел из вагона, обнялся с Романом Авдеевичем — целоваться в то время еще не полагалось, да и Роман Авдеевич еще «не достиг». Шествовали они по перрону в некотором сопоставлении: Кузьма Андреевич — высокий, тощий, старомодный плащ из серого габардина болтался на его костлявой фигуре, как на вешалке, вид нездорово-желтый, засушенный. Рядом — наш Роман Авдеевич, хоть и маленький, зато румяненький, крепенький, как наливное яблочко, одет модно, с иголочки. Кузьма Андреевич как бы олицетворял минувшую культовую эпоху, последний сталинист. Наш же олицетворял довольную собой пирующую эпоху, которую затем окрестили «застойной», хотя с большим успехом ее можно назвать «застольной». Контраст был эффектный. Позади — свита, длинный хвост, особенно женская часть — вся в заграничных плащах, импортных перчатках (тогда импортное только им доступно было). Правда, некоторая одинаковость имела место: сапожки у всех серые, австрийские, шарфики у всех японские, зеленые, и улыбки у всех тоже одного размера.

Шли они по начищенному перрону, и помощник Романа Авдеевича осведомляется у помощника Кузьмы Андреевича насчет обеденного меню шефа. Тот помощник предупреждает этого помощника, что шеф его строго соблюдает диету, ему прописаны на сегодня рыбные блюда. Какую именно рыбу,— допытывается наш помощник. Тот помощник говорит — лучше будет постную. Наш помощник уточняет, какую именно — судак или форель, или еще что. В точности, впрочем, неизвестно, как появилась в разговоре форель, действительно ли данная порода была согласована с самим Кузьмой Андреевичем, в каком контексте, может, Кузьма Андреевич сказал безразлично — «любую, лишь бы не жирную», может, помощник сказал «можно форель», или «годится форель». Может, он, помощник, сам любил форель. Как бы там ни было, форель была названа, и без всяких вариантов. Наш помощник заверил его помощника, что все будет в порядке. Пока Кузьму Андреевича горячо принимал трудовой коллектив, а он принимал цветы, обходил цеха, затребовали форель, и вдруг выяснилось, что форели в городе не имеется. Такой произошел провал. Нету и все, ни одной рыбины типа форели на данный момент нигде — ни в спецсадках, ни в ресторанах Интуриста — нету, полный абзац, как говорится. Положение для города постыдное.

Начальнику, который отвечал за обед, пришлось доложить начальнику отдела, начальник отдела явился, опустив голову, к помощнику Романа Авдеевича. Дальше надо было выходить на самого Романа Авдеевича. Это на вид мелкий вопрос, а попробуй такое сообщить! Вызвали хозяйственников, те

пораскинули своими тертыми мозгами и рекомендовали связаться с Ереваном, где должна иметься севанская форель. Связались по ВЧ. Форель в наличии имелась, хоть вагон отгрузят. Вагон ни к чему, у нас все горит, нужно успеть к обеду Единственное средство — самолет. Простым рейсовым поспеет к вечеру. Придется спецрейсом, военным самолетом. Через командующих договорились: на радиосвязи сидела группа, которая обеспечивала ход операции. Загрузили чан с живой форелью. У нас в аэропорту самолет ждала машина Милицейскую с мигалкой пустили впереди для скорости. Повару чан был доставлен с опозданием на двадцать минут, но повар — молодец, справился. Обед был подан вовремя. Обедал Кузьма Андреевич без аппетита, похлебал немного овощного супчика, форели съел один кусочек, ложечку пюре картофельного, больше ничего не захотел. Откушал и спросил, сколько с него причитается. Наши молодцы руками замахали — «да что вы, разве можно, да вы же ничего не ели, да вы в гостях!» Но Кузьма Андреевич был строг: «Я этого не люблю. У меня правило: как вы, так и я. Как положено любому гражданину, никаких привилегий». Категорически пресек. Считали, считали, согласно меню и раскладке: суп и рыбное второе — тридцать четыре копейки. Кузьма Андреевич достал потертый кошелек, аккуратно отсчитал мелочь, директор столовой принял растроганно, как дар городу, и все кругом кивали и умилялись, счастливые свидетели скромности великого гражданина. Глаза Романа Авдеевича увлажнились. Чувство любви и гордости за кандидата переполняли его.

XVI

Сам Роман Авдеевич тоже был скромен в быту. Квартиру имел в три или четыре комнаты, в точности неизвестно, никто у него не бывал. Жил в обыкновенном доме среди общего безмолвного населения. Ни машины своей, ни стереосистемы, ни собственных ковров или люстр драгоценных. Все, что было из обстановки, было не его, а государственное. И белый рояль, и картины. На всем имелись, между прочим, инвентарные номерки. Ах, да, одежа, обувка. Это он, конечно, приобретал за свой счет, как все прочие. И это было, откровенно говоря, даже как-то странно Роману Авдеевичу, потому что он считал себя человеком государственным; это означало, что говорил он, действовал от имени государства и партии. Если имел мнение, то мнение было не его, а мнение власти. И на нем все должно было принадлежать государству. Решения, замечания, требования — всё было государственное, как будто он был лишь репродуктором, вещателем. И сам он давно и твердо уверился, что все, что он делает, произносит, имеет, принадлежит не ему, а государству. Поэтому он все совершал с такой уверенностью. Лично он мог бы ошибиться, но государство и партия, от имени которых он действовал, никогда не ошибались. Только вот насчет роста...

Подойдет он к проклятому дверному косяку своего кабинета, и неподвижное лицо его дрогнет, исказится. Что делать, как быть? Надо бы закрутить гайку еще на оборот, припугнуть очередного критикана, или этого шумливого фрезеровщика — героя, который сор из избы тащит, надо бы, а получишь очередной укорот. Господи, дело-то какое получается, принципиальным-то за свой счет приходится быть. Если бы за счет кого чужого, если бы кого выслать, исключить, да ради бога, и сомнения бы не было, но тут за свой собственный счет расплачиваться приходилось, своими миллиметрами, своим и без того недостаточным ростом. И остановиться, отказаться невозможно. Пробовал, но жизнь сразу теряла смысл, если не продвигаться к мечте своей, то зачем жить, спрашивается. Взойти, подняться туда, положить руки на прохладный полированный гранит Мавзолея или в президиум главного зала войти из бокового входа вместе с посвященными под гром аплодисментов, чтобы зал поднялся, приветствуя, и скупо улыбнуться, слегка кивая на долгие несмолкающие. Стоя, мягко хлопать в ответ.

Власть — понятие неограниченное, в том смысле, что власть не имеет пределов, она постоянно стремится все к большему. Ведь почти у каждого

человека есть какой-то шматочек власти. Власть над детьми, над несколькими подчиненными, над покупателями или больными. Казалось бы, Роман Авдеевич обладал властью немалой, и над тысячами и тысячами людей. Мог дать квартиру, осчастливить орденом, назначением, мог прославить, упомянуть, послать в загранкомандировку. Ему льстили, старались угодить, о нем писали, его боялись. Но эта власть была неполной. Стоило ему выехать за пределы области, и власть кончалась. Приезжал он в Москву и стоял в очереди в буфет наряду с другими персеками и даже вторсеками. Появлялась обыкновенность, пропадала единственность.

С точки зрения обывателя, занятого добыванием сарделек, обоев, колготок, книг, ваты, жизнь Романа Авдеевича была завидно-роскошной: никаких очередей, живи на всем готовом. Оно вроде и так. Больше того, этот обыватель он не знал некоторых подробностей, потому что не соприкасался. И с ним Роман Авдеевич не соприкасался. И если бы даже хотел, то все равно не мог бы соприкоснуться. Никоим образом. Так было все устроено, что соприкоснуться их жизни не могли. Лечился Роман Авдеевич и его домочадцы в спецполиклинике, а в этой спецполиклинике был отдельный вход, то есть подъезд для персека и вторсека. Питались они в особой столовой, где была еще особая комната. В магазины он не ходил, ни в какие магазины, даже в радиомагазины, даже в посудные. Взять, например, книги. Ему приносили списки вышедших книг, и он ставил птички против тех книг, которые ему нужны. То есть нужны не для прочтения — книг он не читал,— а нужны потому, что надо иметь. Кроме того, он их расставлял. Это он любил. Разглядывать. Знакомиться. Память у него была хорошая, так что он запоминал и автора, и название, и обложку. Или взять транспорт. Тоже никакого соприкосновения. Ездил он в отдельном купе. Позже — в отдельном салон-вагоне и спецсамолете. Отдыхал в спецсанатории. Там все было огорожено, даже пляж. И кусок моря. Товарищи на лодках дежурили, следили, чтобы посторонние купальщики не подплывали близко.

Одна знакомая автора, будучи в Крыму, ходила по горам, потом спустилась вниз к морю по какой-то козьей тропке. Вышла на пляж. Пустой. Разделась, легла на лежак. Подходит к ней сестра в белом халате — чего желаете, боржом, нарзан или сок какой? Она говорит — боржомчику. Принесли. Выпила. Спрашивает — сколько с меня. Вопрос этот и погубил все. Поднялся переполох. Появился милиционер, и ее под белы рученьки выпроводили с пляжа, да еще протокол составили.

Улицы, по которым ехал на работу Роман Авдеевич, заасфальтировали под паркет. Покрытие поддерживали в идеальном состоянии. Машина катилась не шелохнувшись, так что Роман Авдеевич мог газету читать. Впереди мчалась милицейская, завывая и сгоняя всех на край к поребрику. «Хозяин едет,— раздавалось на панелях,— хозяин в городе». Роман Авдеевичу нравилось, когда его звали хозяином. Правда, к этим фразам еще кой-чего добавляли, но об этом гаврики не сообщали. Роль гавриков в жизни персеков велика. Гаврики — это такой народ или племя, которое своего лика не имеет, никто из них не считает себя гавриком, по отдельности они не существуют и не могут существовать, как муравьи, но все вместе они окружают персека, славят его, раздувают его значение, тащат его наверх. Это их способ существования.

У всякого персека имеются гаврики, которые должны создавать авторитет, положение, значимость. Они играют на повышение своего персека. Точную границу между «должны» и «хотят» установить трудно. Взять ту же историю с трассой поездок Романа Авдеевича. Гаврики в своем рвении пытались вообще закрыть движение по улицам «следования». Выяснилось, что для этого придется строить новые мосты и объезды. Тогда закрыли проезд грузовиков. Гаврики этим не удовлетворились, шумели, шумели и сняли с «правительственной трассы» автобусы и троллейбусы. Жители попробовали жаловаться, им укоризненно сказали: вы что же, против безопасности правительства? Другие гаврики прикрыли овощной магазин в доме, где жил Роман Авдеевич. Чтобы не было шума от очередей и завоза.

Колбаса, ветчина, которыми питался Роман Авдеевич, доставлялись из особого цеха мясокомбината. Костюмы ему шили в спецателье. Вход в здание обкома был у него отдельный, он имел свой лифт. Никто и никогда не видел Романа Авдеевича в трамвае, а также в кинотеатре или, допустим, в бане. Невозможно даже представить его в метро на эскалаторе, в потоке прочих пассажиров. Невольно перебираешь — где и как мог обыкновенный горожанин соприкоснуться с бытием своего персека. Нет, конечно, общее было: например, электричество или телевидение общее; вода одна и та же, что в чайнике автора, что у Романа Авдеевича в ванной. Так что какие-то вещи нас соединяли.

Сам Роман Авдеевич порой жаловался на отъединение от народа. Однако, как он говорил, порядок этот был заведен не им, он являлся всего лишь жертвой установленных и утвержденных правил, которые лишали его простых человеческих радостей. Выпить с прежними дружками не мог. С бабами гулять не полагалось...

Родным пришлось от дома отказать. Слишком много их объявилось, откуда-то понаехали племянники, дядья двоюродные, шурины, свояки. Слетались, как мухи к столу. Всех устраивать надо, некоторые сами устраивались от его имени. Хорошо Генеральному, тот строго ограничил своих родичей. Только ближайшие получали спецудостоверения, книжечки, коричневой кожей обтянутые, фотография и текст, заверенный печатью особого отдела: «предъявитель сего является родственником такого-то». Все остальное несущественно. Покажет книжечку, и далее не требуется качать права, грозить, намекать. Действует безотказно. Вполне достаточно, чтобы не надоедать своему родственнику. Замечательное это организационное изобретение сберегло много драгоценных часов государственного времени Главы.

Наш же дорогой Роман Авдеевич не имел таких прав. Ему пришлось отбиваться самолично, засекретить свои телефоны, запретить доступ. Он лишился родных: ни именин, ни свадеб, ни поминок. Себя показать не мог. Надо отдать должное родственникам, многие поняли, «иначе с нами нельзя», как выразился кум Романа Авдеевича, назначенный директором бани, «нам острастка нужна».

Соответствующие гаврики смотрели за персеками, кроме того персеки смотрели друг за другом ревниво. Большой Хозяин тоже следил за их толкотней, не желая нарушать равновесие. Все у него было сбалансировано. Каждый держался за другого и держал его. Чтобы не рыпался. Этим достигались сцепление, монолитность и сплочённость. Никто не падал и не передвигался. Вообще перестали шевелиться. Стабильность нужна, повторяли они, не учитывая, что Роману Авдеевичу каждый день был дорог.

XVII

Делегацию в город-побратим возглавил Роман Авдеевич, выучил кой-чего по-французски, поскольку побратим находился во Франции, и взял с собой гостинцы. В гости-то надо с подарками ехать. Чем их, французов, можно поразить; книги, вазы, пластинки — все не то, не поразишь. Капстрана, надо что-то беспартийное дарить, и такое, чего у них нету. А чего у них нету? Референты-консультанты судили-рядили и явились с рекомендацией: поднести несколько картин. Абстрактных, из музейных запасников. То, что у нас пылится без пользы, всякие квадраты-гипотенузы. А у них там, у французов, большая мода на такую мазню. Уговорили. Вызвали директора музея. Ее недавно поставили на это место, поскольку не справилась в райкоме. Выслушала она и робко сослалась на правила, на закон, на министерство. Для Романа Авдеевича министерство не препона, тем более министерство культуры. Звонок по ВЧ, и порядок, избавимся от формалистов. Гаврики отобрали несколько холстов. Рамки не понравились Роману Авдеевичу — копеечные, стыдно дарить, велел подобрать золотые, резные. Но тут воспротивился главный хранитель, умоляя чуть ли не на коленях не губить картины, не нарушить волю художников.

В первый же день по приезде Роман Авдеевич вручил один гостинец на приеме в мэрии. Мэр, похоже, смутился, невозможно, такой драгоценный подарок. Французы от восторга заахали. Роман Авдеевич похлопал мэра по плечу — бери, не тушуйся, пользуйся нашей добротой. Другую картину вручил Клубу промышленников, потом какой-то ассоциации. Газеты напечатали большие фотографии подаренных картин, портреты Романа Авдеевича, правда, подлецы-фотографы сняли его с открытым ртом, да еще в рост — совсем маленький рядом с мэром. Пресса писала про знаменитых русских авангардистов, авторов картин, оценивали картины баснословно дорого. Роман Авдеевич был доволен. Знай наших, держава на высоте!

После одного из обедов повезли его осматривать соборы. Витражи, орган, фрески, все древнее, один собор древней другого, и все уникальные. Куда-то в подземелье спустились, где вообще восьмой век, гробницы, алтари, химеры. Следующая еще древнее. Роман Авдеевич делал внимательное лицо, кивал и покачивал головой из стороны в сторону, что должно было означать: «Надо же!» Мелкие эти движения производил он машинально, сказывался навык долгого сидения в президиумах, где Роман Авдеевич освоил трудное искусство изображать внимающего. На самом деле ему не было дела до происхождения этих витражей, росписи куполов, до этих статуй, тщательно реставрированных деревянных распятий, алтарей. Прошлое его не интересовало, тем более чужое. Роман Авдеевич хвалил, удивлялся, пока ему не надоело, да еще к тому же немного развезло от вина, и он вдруг рассердился. Что это они своей стариной чванятся, у нас тоже, слава богу, не меньше. У нас церкви есть тоже древние, третьего века до нашей эры!

Тут даже переводчик вылупился на него, и тихонько переспрашивает: «Вы, наверное, хотели сказать — после рождества Христова».

— Я как сказал, так и переводи,— гаркнул на него Роман Авдеевич.

— Но позвольте...

— Твое дело переводить,— угрожающе повторил Роман Авдеевич. И тот перевел. Французы переглянулись, говорят: «Это удивительно. Неужели такое возможно, мы понятия не имели». Тактично сказали так, что Роман Авдеевич ничего не почувствовал кроме гордости за то, что сумел сбить с них спесь.

Вместо церквей и соборов Роман Авдеевич попросил показать ему трущобы, в которых ютятся безработные. По словам хозяев, трущобы давно уже, лет двадцать назад, ликвидированы. Безработных мало. Пусть мало, но есть ведь, настаивал Роман Авдеевич, не верил он буржуям ни на грош. Должны же быть контрасты. Повезли его в какой-то район мелких коттеджей. Цветники, качалки, в аккурат дачный поселок обкомовский, который он строил у нашего озера. Понял он, что правды от них не добиться. «Знаем мы эти приемчики,— сказал он помощнику.— Сами пользуемся». И все же ему удалось найти. На газоне спящего оборванца. Попросил разбудить его. Заговорил с ним. Оказалось, что тот не работает, то есть безработный, бродяжничает, то есть бездомный. Роман Авдеевич обрадовался, хотел сфотографировать его, но тот почему-то не дался.

— Скажите ему, что я из Москвы, Советский Союз! — зачем-то громко, как глухому, прокричал Роман Авдеевич.

На оборванца это не произвело впечатления. Роману Авдеевичу пояснили, что он клошар, то есть убежденный бродяга, не работает потому, что не желает, и пособия не желает получать, и еще чего-то не желает, какой-то благотворительности...

Брехня, сказал Роман Авдеевич, и обратился к бродяге, давай, говорит, перебирайся к нам, в страну трудящихся, чего тебе здесь гнить. Бродяга зевнул, почесал бороду, а был он весь заросший, пышный, как Карл Маркс, спрашивает: много ли народа к вам уезжает и можно ли у вас не работать? Дальнейшие их переговоры сложились не в пользу нашего персека, тем не менее он сфотографировал его рядом с собой, и снимок этот показывал на своей лекции пропагандистам.

Переводчика после этого сменили, Роман же Авдеевич укрепился в своем превосходстве и на следующем обеде произнес тост, опубликованный в газетах

без всяких комментариев. Это вообще типично для Романа Авдеевича. Все, что он делал и произносил, заграничная пресса приводила, не комментируя.

Бокалы, которые наполняли добросовестные официанты, Роман Авдеевич столь же добросовестно опорожнял. Белое, красное, а также розовые вина, всю эту кислятину, он за серьезный напиток не держал.

— Позвольте поднять этот тост,— Роман Авдеевич всегда тост не произносил, а поднимал,— за процветание вашего города.— Тут бы ему остановиться, и все были бы довольны. Но идеология не позволяла. Идеология требовала обличать проституцию, безработицу, наркоманию, кризисы... Перечисляя их беды, он расчувствовался, готов обнять был, прижать их к своей груди, научить их жить, чтобы они поняли, что сопротивление бесполезно, они исторически обречены, им не выбраться из противоречий. Никакое НАТО им не поможет. Он даже пропел куплет:

Всю Европу за три перекура
Из конца в конец пройдем мы хмуро
И дойдем до города Чикаги
Через речки, горы и овраги.

Новый переводчик переводил без всяких купюр. Впечатление было громадное. Особенно когда он стал рекомендовать им провести коллективизацию. «Почему еще держится наш капиталистический строй?» — спросил его какой-то обозреватель. Роман Авдеевич сразу же поставил его на место: «Да потому держится, что у вас противоположные взгляды, ваша идеология обанкротилась!»

После обеда он потребовал показать ему разложение, как это все происходит. Если рассматривать события обратным ходом, то видно, как неукоснительно Роман Авдеевич приближался к невероятному происшествию, тому самому, которое будет занесено в его досье и сыграет свою роковую роль.

Заведение, куда привезли Романа Авдеевича, было дорогое и фешенебельное. Посетителей немного, каждый располагался в мягком кресле. Всего рядов десять. Полутемно. Стойка бара, за стойкой полуголая барменша, воздух пряный, пахнет вином и пороком. Сцена маленькая, уютная, задрапированная. На сцене представление идет. Обычное для таких подвальчиков: мужчина и женщина раздеваются, готовясь к любовному поединку. Затем на широкой постели начинается показательная схватка, со всеми приемами, каждый демонстрировал свою технику. Музыка, охи, зубовный скрежет. Бегущий свет вроде и усиливает, вроде и дразнит, мешая уловить самое этакое. За натуральным актом последовали вариации, то двое мужиков, то две красотки наслаждались, то появлялся треугольник — две девицы терзали одного парня.

Роман Авдеевич возбудился, при этом негодовал и поносил, и сравнивал наше общество, которое никогда не позволит подобного срама. Уйти, однако, отказывался. Он вертелся, вскакивал и все требовал, чтобы ему переводили. А что, собственно, было переводить? Чего тут непонятного? Измучил и переводчика, и провожатых французов. Это тоже сыграло свою роль. Катастрофа разразилась во время номера со знаменитой мадам Жюли. Она славилась своей находчивостью, репликами, умением вращать грудями, поднимать их кверху, как спаренные зенитные пулеметы, или наставлять на зрителей. Все ее семьдесят килограмм были распределены наиболее аппетитным образом.

Дальнейшие события излагаются на основе очерка в одной из бульварных газет, которая не постеснялась бы исказить факты, но была и другая статья в эмигрантском листке, где другой журналист позволил себе исказить факты точно таким же образом. Пользуясь этими двумя искажениями, автор примерно восстановил ход событий.

В этот вечер Жюли изображала любопытную простушку. Она как бы впервые увидела столько мужчин, к тому же респектабельных, и никак не могла сообразить, чего ради собрались здесь. Сверкая белыми зубами, она обращалась к залу с вопросами, ей отвечали со смехом, чтобы развлечь гостей, она спела им несколько куплетов, но ведь не за этим же они сюда явились. Спрыгнув со сцены, она пошла по рядам, расспрашивая, удивляясь. На ней была коротенькая юбка, высокие сапожки и больше ничего. «Бронзовое тело Жюли на фоне алых кресел соблазнительно блестело. Ее звонко шлепали по заду, пощипывали, гладили». Описания эмигранта были красочнее, и доброхоты, перечитав его очерк, послали в Москву, откуда он пошел распространяться. Итак, напевая и переговариваясь, садясь на колени, поигрывая своими прелестями, она не переставала выяснять, неужели всего этого у них нет дома? Роман Авдеевич восхищенно вскрикивал. «Ну стерва, ну дает!» — аплодировал и не чувствовал опасности.

Подойдя к ряду, где восседал Роман Авдеевич, она наметанным глазом выделила его из приезжих провинциалов и немцев-туристов, как нечто экзотическое. Может быть, тому способствовал его парадный черный костюм, накрахмаленная рубашка, может, некоторый испуг, когда они встретились глазами. Он вдруг забеспокоился, потребовал у переводчика, чтобы к нему она не подходила со своим похабством. Переводчик перевел это провожатым французам, те что-то сказали Жюли. Неизвестно, что они сказали, как они это сказали. В конце концов, Жюли, свободная гражданка свободной страны, могла ослушаться. Или заинтересоваться. Почему это не подходить и чего, собственно, боится этот господин. Он что, советский? — спросила она. Откуда-то они всегда узнают советских. Вроде бы не так уж часто имеют с ними дело, а узнают. Не исключено, что эти французы из мзрии могли сказать ей: валяй, валяй, посмотри, что у него там. Во всяком случае простушка Жюли проявила живое любопытство к советскому гостю и, громко рассуждая, как у них там, разрешают ли коммунистам заниматься этим делом и каким способом, направилась вдоль ряда к нему. Роман Авдеевич всерьез испугался. «Не допускайте ее, остановите»,— шипел он. Физиономия его вспотела. Был момент, когда он хотел бежать, но Жюли успела ухватить его, обнять, прижаться к нему. Волнение Романа Авдеевича привлекло особое внимание зала. Жюли обыгрывала свою находку, расспрашивая, есть ли у них такие части, и вот такие. Если бы он воспринял это со смехом, шлепнул бы ее по заду, тиснул за грудь, все, может, и обошлось бы, но он стал вырываться от нее, кричать: «Это провокация! Я протестую!» Всеобщий интерес усилился. Такое поведение здесь было в новинку. Кассирша вышла из кассы. Жюли приговаривала: «Это же очень приятно, чего ты боишься?» — «Что она говорит,— кричал Роман Авдеевич,— я официальное лицо!» — отбивался он, плюхнулся в кресло. Жюли немедленно уселась к нему на колени и стала хозяйничать над его брюками, причем с такой многоопытной ловкостью, что как Роман Авдеевич ни удерживал свое прикрытие, оно пало. Лучи прожекторов скрестились на них, высвечивая подробности сражения. Попытки Романа Авдеевича высвободиться Жюли пресекала, сбросить ее с седла было невозможно. Незнание языков позволяло каждому вести свою партию, не вступая в полемику. Усилия Жюли увенчались успехом. Роман Авдеевич кричал: «Вы не имеете права! Я буду жаловаться!» «Тем временем свершилось восстание плоти,— как описывал эмигрант.— Подобно любому восстанию, тщетны были угрозы, ни заклинания, ничто не действовало на восставшего. Коммунистическая идеология терпела поражение. И бдительность, и соображения карьеры, страхи перед последствиями, все отступило. Глупенькая Жюли недоумевала над паникой хозяина. Она предпочитала иметь дело с более разумной его частью. Ей удалось целиком освободить эту милую и привычную ей часть».

Далее эмигрант в своем рвении переходит на порнографию, французский журналист вдается в размышление об Эросе, боге, соединяющем народы, о сладостном языке любви, едином для всех, не требующем переводчиков:

«Под руководством нашей очаровательной Жюли-освободительницы зал, наконец, увидел победу над партийными органами. Блеснуло несколько фотовспышек. Хозяин его был в ужасе, но Жюли нежно приветствовала борца за свою свободу и независимость».

Копии этого очерка ходили по рукам. Их изымали, делали все возможное, чтобы погасить нежелательные толки. Впоследствии в наших органах появились каким-то образом добытые фотографии и положены в досье. Положены, подклеены, пришиты — автор не знает, как это у них заведено. Автор многое бы дал, чтобы ознакомиться с досье на своего героя. Без сомнения, там собраны драгоценные материалы, которые не найти ни в одном архиве. Сам Роман Авдеевич не знает про многие донесения на него и отчеты, записи. Даже в зе-

ните его славы это досье оставалось недоступным. Видел ли вообще хоть кто-то свое собственное досье? Вряд ли. Чужое еще могут показать. И то листочек-другой.

Автору известно, что и на него имеется папка. Пухлая, увесистая. Она стоит где-то на стеллаже, имеет номер, цвет. Все время туда что-то добавляют. Недошедшие письма, сведения о друзьях, о поездках, о жене, детях, и то, как он собирал материалы о персеках. Все это пронумеровано, разложено хронологически, аккуратнее, чем в собственном архиве. Целая жизнь, которая бесшумно шла по пятам: разговоры за спиной, сообщения людей, которых он считал приятелями, шелест магнитофонных лент!.. Там хранятся давно забытые случаи, встречи, его женщины, его признания и страхи, неосторожные слова, перетолкованные, подчеркнутые. Собрано все подсмотренное, подслушанное, присочиненное, и в результате сложен портрет почти незнакомый. Но как знать, может, то были блестки жизни подлинной, загнанной в подполье, в шепот, той жизни, которую не удалось прожить.

XVIII

Тем временем в Хозяине происходили заметные перемены. Первыми это заметили аппаратные люди, гаврики высшего эшелона. Появилась путанность в мыслях. Но это было еще ничего, темную мысль, ее можно перетолковать по-нужному. Хуже, что в речах сбивчивость появилась. Забывать стал. Мог в речи одну и ту же страницу дважды зачитать. Верные люди посоветовали Роману Авдеевичу не медлить. Шутка ли, столько сил ухлопано на расположение, первый кандидат, чтобы забраться в тележку... Другие кандидаты ведь не дремали. Наговаривали на него, устроили, например, подвох в момент награждения. Было так: среди прочих нашему Роману Авдеевичу должны были орден вручать. Церемонию передавали по телевидению на всю страну. Генсек оглашал фамилии и давал ордена маршалам, генералам, затем очередь дошла до его сына, который кем-то работал, скорее всего за границей (дети начальства большей частью работали за границей). Зачитав собственную фамилию, Генеральный несколько удивился и впал в задумчивость. Довольно долго он пребывал в отключке, пока до него дошло, что это не его будут награждать. Вручил орден своему сыну. Камера нацелилась на Романа Авдеевича, чья очередь подошла. Персек наш засиял, устремился к своему Генсеку. Стал замшево-нежный, такой любящий, каким мы никогда его у себя в городе не видели. Приблизился он к Создателю всех персеков, подскользил, как по льду, что-то произнес, переливается перламутром, губы приготовил для поцелуя. Перед этим кто-то из маршалов удостоился поцелуя, и наш Роман Авдеевич тоже всем своим коротким корпусом устремился к поцелую, губы его стали вытягиваться все длиннее, длиннее, образуя хоботок, как у муравьеда. Хоботок этот дотянулся почти до самого лица первого лица, но тот оставался в неподвижности, не сделал никаких ответных перемещений. Возможно, он опять отключился, а возможно, интрига сработала. Тяжкая это была минута для Романа Авдеевича. Областной же народишко ликовал. И что поучительно,— в других регионах зрители также получили удовольствие, о чем есть данные в письмах и телефонных переговорах, что свидетельствует об ожесточении нравов и накопленных чувствах к руководителю.

Сорвался всесоюзный поцелуй. Можно считать, на всю страну произошел конфуз. Автор боялся, что Романа Авдеевича хватит сердечный удар. Но в который раз автор убеждался, что герой его великий человек, не предусмотренный никакими правилами. Нервное устройство его не имело ничего общего с устройством обыкновенного человека. Хоботок Романа Авдеевича повисел в пустоте, втянулся, а лицо стало еще более любящим и счастливым. Прямо-таки обожающим. Будто он удостоился наивысшей милости. Тут нечеловеческая сила духа требуется. Или полное его отсутствие — духа то есть.

Вскоре после награждения выяснилось, что завод, о котором Роман Авдеевич рапортовал, вовсе еще не построен и продукции не дает, только строительная площадка огорожена глухим забором. Радиопередачу даже об

этом протолкнули. Роман Авдеевич огорчился, но не за себя, за Хозяина, в какое, мол, его положение ставят, некрасиво это, не человечно. На активе одна работница выступила, спросила: правда ли, что содержат специальную корову, которая обеспечивает молоком персека и его семью. На что Роман Авдеевич расхохотался — до чего дезинформация доходит, как клеветники распоясались, надо же как партию атакуют! Ни в одном глазу смущения не было. Он обладал прямо-таки потрясающей неуязвимостью. Автор полагал, что, может, это от сознания безнаказанной своей власти. Но и после катастрофы Роман Авдеевич ни в чем не усомнился. Что касается несостоявшегося поцелуя, то всему окружению было заявлено, что это происки одного южного персека, козни нерусской группы. Южные люди, опекавшие Старшего на курортах, они раньше других обнаружили маразмирование и «захватывают позиции, оттесняя нас».

К сожалению, автор плохо знает историю других персеков. Внешне они все выглядели одинаково, произносили одни и те же речи, одинаково «хекали», ездили в одинаково длинных черных «Чайках», имели неразличимую охрану. Когда персеков перемещали из одного города в другой, обывателю лучше не становилось.

В тот год кто-то из самых ветхих членов Верхотуры «ушел в стену», как выражались гаврики, место в «тележке» освободилось, и толкотня вокруг нее усилилась. Все старались пробиться, успеть что-то получить, захватить, утвердить. Метались, подсовывали бумаги, упрашивали, умоляли, чтоб вырвать последние блага. Отпихивали друг друга, ставили подножки, нашептывали, обещали, везли подарки, заключали соглашения, мелькали рога и хвосты, пахло серой, бесовская карусель вертелась все быстрее. Кто-то, вышвырнутый на обочину, застрелился, с кем-то произошла автомобильная катастрофа, с другим инфаркт. Игра пошла по-крупному.

Патриарху пора было на покой, но его крепко держали гаврики всех мастей: и персеки, и министры, и помощники, и референты, и советники,— вся великая рать начальников не желала отпускать его. Их не смущало, что он уже плохо соображал, плохо двигался, они боялись перемен и готовы были без конца поддерживать полужизнь Вождя. По-своему они любили это мычащее, с трудом ходящее тело. Им нужно было, чтобы оно продолжало существовать. Пока он был кое-как жив — они жили, дивно жили, полнокровно жили...

Ему ставили стимуляторы, непрерывно лечили, заменяли органы. В одном соседнем государстве Глава таким образом прожил больше года. Лежал, дышал, мычал. Сердце билось — считался живой. В отставку не подавал — считался Главой. А раз Главой, значит, все остаются на своих местах. И у нас хотели достигнуть такого положения. К тому же наш еще двигался, мог ходить.

Южные и восточные персеки наперебой зазывали Патриарха к себе. Каждый рассчитывал, что если удастся заполучить, то во время визита, в размягченном состоянии можно будет договориться.

Для визита нужен был предлог. Нечто основательное, непреложное, требующее приезда Самого именно в наш город. Мобилизовали местных краеведов, ученых всех направлений, чтобы искали круглую дату основания, открытия — что-нибудь этакое инициативное, мирового замаха. Роман Авдеевич имел ум дальнозоркий, вообще мозг его работал непрерывно. И вот однажды находят ему среди старых проектов царских времен проект возведения Великой Защитной Стены, должной заслонить город от постоянных северных ветров. По расчетам, такая стена обеспечивала городу постоянный теплый климат. Экономия только на топливе дала бы десятки миллионов рублей. Проект царем Александром Третьим был отдан на экспертизу известному немецкому академику Куперману, затем Петербургскому академику Фокину и забракован ими обоими, как безумный. Рукою его величества было начертано «Curieus!», что Роману Авдеевичу перевели как «любопытно» — Роман Авдеевич велел не отвергать с ходу, а подсчитать, прикинуть. Строительство получалось грандиозное. Ничего подобного в Европе не было. Это могло выглядеть почище великих строек коммунизма, если подать с толком. Выгоду, тоже при умелом подсчете, удалось увеличить. Эшелоны сбереженно-

го угля, плюс окон не надо заклеивать, шубы не нужны, насморк и гриппы исчезнут, следовательно, выход на работу возрастет. Уборка снега отпадает. Сохранность крыш обеспечена. Травмы зимние долой. Ежегодно тысячи людей не ломают руки-ноги на обледенелых улицах — неисчислимый эффект получался! Защитное сооружение окупало себя за какие-нибудь три-четыре года, а дальше наступал сплошной доход и благополучие. Призваны были все средства информации. По телевидению показывали страшные действия северных ветров, обморожение, заносы, красивые многоцветные проекты сооружения. Нашлись, как водится, противники. Скептики уверяли, что город обходился триста лет без Стены и обойдется. Экономисты доказывали, что лучше строить больницы, жилье, дома престарелых, библиотеки, овощехранилища, гостиницы. Всерьез нельзя было принимать такие рассуждения. Не пригласишь же на закладку дома престарелых Первого человека. Не тот повод. Да и какая в этом слава городу. Другое дело Стена, сооружение уникальное, единственное, которое может прославить страну. Хуже было, что взбудоражились некоторые специалисты, они доказывали, что ветры нужны, без них город задыхаться будет от заводских выбросов. Сколько их ни уговаривали, как ни взывали к патриотизму, они твердили свое. Форменные фанатики. До того дошли, что отправились в Москву протестовать. Их, конечно, вернули назад, кое-кого поместили в психбольницу, со всеми ихними таблицами и диаграммами. Кто признал свои ошибки, тех вскоре отпустили, других пришлось лечить.

На каком-то совещании по Стене вдруг к Роману Авдеевичу пробился один профессор и стал криком кричать о губительности проекта. Сыпал словечками — турбулентность, ламинарность, волюнтаризм; упрекал в том, что не было объективной экспертизы, грамотного моделирования. Как он проник на совещание, неизвестно. Если бы речь шла только про аэродинамику, на него можно было спустить специалистов, они уже рвались со всех сторон. Но профессор выставил и экологию и экономику, поставил под сомнение не размеры Стены, а ее необходимость. Утверждал, что от Стены город задохнется, и ссылался на расчеты свои и иностранных коллег, с которыми он, оказывается, консультировался. Был он длиннющий, носатый, склонялся над Романом Авдеевичем, как цапля. Нужно было его проучить, чтобы другим не повадно было. Роман Авдеевич зашел с тыла, не там, где ожидал профессор. Наша партия, сказал он, живет коллективным разумом, чем же аэродинамика лучше нашей партии. Время одиночек в науке кончилось, все делают коллективы. Только им под силу решать комплексные задачи. Напрасно профессор так много берет на себя, позволяет столь пренебрежительно отзываться о заключении коллектива специалистов. Говорят, что профессор ведущий ученый, заслуженный. Может быть. Но ученых незаменимых сегодня нет. Надо будет, поставим еще десять, двадцать специалистов и заменим. Профессор настаивает на своей объективности? Спрашивается, кому нужна такая объективность, если она непатриотична и демобилизует.

— Спорить нам не о чем,— сказал Роман Авдеевич в заключение.— Мы находимся с вами на разных идейных позициях.

Профессор аж захлебнулся от возражений и сник. Тогда плюрализма не существовало, иметь другие идейные позиции, чем персек, было слишком опасно.

Вскоре профессора вывели из Ученого Совета, лишили кафедры, и он уехал за границу, к тому же в США. Так что Роман Авдеевич как в воду глядел, распознав его непатриотичность.

Ясно, что профессору не надо было предъявлять свое мнение. Тем более, что никто его об этом не просил. Типичная привычка интеллигентов, им лишь бы поправлять власть. Только успокоишь народ — поверят, как появляются опровергатели. Кто такие? Интеллигенты. Это их главное занятие. Учителя просили исторический журнал открыть. Журналисты настаивали свою газету издавать. Молодежь — еженедельник для молодой семьи. Всем было отказано: нет бумаги, ждите. Тем самым вопрос сняли, успокоили общественность. Так нет, нашлись голубчики, раздобыли цифры, кому на какие ненужные новые издания отпускают бумагу, и поднялась буча.

Выступая перед аппаратом, Роман Авдеевич развивал свою идею о том, что раньше были кулаки, недобитое дворянство, нэпманы, теперь вместо них — интеллигенты, так же враждебные к власти. Сколько власть ни делает для интеллигенции — не помогает. Она по природе своей — враждебна. Наша главная опасность — интеллигенция. Она мешает управлять страной. Это у них в крови. Расплодилось ее слишком много. Интеллигент — это не профессия, а отношение к власти. Есть ученые, врачи, даже писатели, которые твердо на наших позициях. Остальные не заслуживают доверия. Как тот профессор-аэродинамик. Уехал, и пусть катится. Всю эту публику следовало бы продавать капиталистам за валюту.

Интеллигенты возмущали его всем своим обликом, манерами, всей внешностью своей. Одет бедно, кажется затрюханный горюн, из простого народа, и все равно просвечивает — не наш. Помалкивает — и то иначе. Улыбочка у него виноватая, а обязательно с намеком. Морщится, слушая персека, ударения не нравятся. От матерщины тоже кривится. Роман Авдеевич любил нарочно при них выразиться по-народному, ни женщин, никого не стеснялся.

Интеллигент, он пальто готов подать какой-нибудь библиотекарше, он пробирается меж рядов обязательно лицом к сидящим и все извиняется, а не извиняется, что задницей к президиуму, нет. И то и дело «ради бога», «извините, если не вовремя», «вас беспокоит такой-то». Он чуял их безошибочно по раздражению, которое поднималось в нем.

Слава богу, наверху его поддерживали, может, и не так уж гласно, как хотелось бы, но не препятствовали. «Давить их всех,— требовал он,— не надо нам этой шатии, пусть в столицу переселяются. Или туда-то». Благодаря его настойчивости в городе среди начальства не осталось никого из заподозренных в интеллигентности. В столичных инстанциях он тоже избегал интеллигентных. Интеллигент, он стесняется, свой же человек запросто даст понять, что ему дочь надо устроить в Институт, другому — родных прописать, квартиру отремонтировать, у каждого в чем-то нужда, поэтому он готов помочь с фондами, механизмами, штатами. С такими людьми все идет от сердца к сердцу.

В нашем дорогом Романе Авдеевиче столичные люди видели Претендента. Он нравился. На его знамени были написано: твердость, строгость, порядок! Знамя стояло в чехле, но слова эти были начертаны на его гладком лице, в его пристальном взгляде. Каждый Претендент имел своих людей. Роман Авдеевич предпочитал «крутых ребят». Число его людей росло. Их ждали хорошие должности, возможность употребить власть. Пока что они помогали обеспечить ему Стену. Великая цель рождает великую энергию. Заслуга Романа Авдеевича тут бесспорна. Если бы не его настойчивость, остался бы город без Стены. Ему удалось добиться утверждения у Самого, и город обрел Великую стройку.

XIX

С завистью смотрел Роман Авдеевич телевизионную передачу о визите Геронтосека в одну из южных республик. Кавалькада машин двигалась в пестром людском коридоре. Весь город был наряжен в национальные костюмы. На перекрестках, на площадях шли народные пляски. Всюду стояли столы с фруктами, винами. И ликование, километр за километром сплошные шеренги ликующих лиц. Арки, увитые цветами. Оркестры, халаты, флажки, бубны... С балконов свисали шелковые полотнища с портретом «корифея» нашего века, как назвал его местный персек. Такого южного изобилия мы выставить не могли. Еще сложнее было с подарками. Тамошний персек расстелил ковер неслыханной ручной работы, на ковер поставил наборный столик, инкрустированный бог знает чем, на столик золотой кинжал, усыпанный бриллиантами. Все это в дар. Поди-ка переплюнь. А переплюнуть надо было.

Был момент, когда Генеральный смутился, поморщился от перебора лести и даров. Гримасу эту Роман Авдеевич отметил и вместо роскоши во главу угла поставил «надежность пролетарской любви».

У нас горожане стояли не шеренгами, а кучно, с портретами. Покровитель двигался от одной толпы к другой. Машина останавливалась, и горожане выкрикивали заготовленные приветствия. Покровитель стоял в открытой машине, тоже что-то произносил, и в ответ гремело искреннее «ура!», «спасибо!». Иногда он что-то спрашивал, ему отвечали. То есть происходил процесс общения, был непосредственный контакт. Люди оставались на площадях среди цветочных клумб, потрясенные простотой и доступностью вождя. Кортеж удалялся, клумбы грузили, везли вперед на следующую площадь. Вместе с ними, в обгон, машина с сотрудниками, одетыми в рабочие спецовки, комбинезоны. Передвижная волна народного признанья катилась впереди колонны без всяких сбоев, недаром энтузиазм репетировали и корректировали несколько раз.

На стройплощадке, обставленной клумбами, состоялся митинг. Взобраться на трибуну Правитель не мог, он устал. Подняли его на руках. Горожане наши, народ добрый, сердечный, стали жалеть старика — хлопали ему изо всех сил, руками махали. Видимо, ощутив это сочувствие толпы, он заплакал и сказал, что хочет на покой, побыть с внуками. Народ заволновался, женщины зарыдали, но ему подали листки с речью, и он успокоился, прочел ее. Грянули оркестры, молодцы в синих комбинезонах как бы по команде предводителя положили на землю камень, старик никелированным мастерком постучал по нему, взметнулся фейерверк, запел хор. Роман Авдеевич подошел к микрофону и сказал прочувственно о сооружении, которое будет стоять века и носить имя своего Основателя. Голос его дрожал, глаза увлажнились, он тоже проникся величием этой минуты, потому что видел он перед собой не эту рыхлую развалину, а того Великого Генсека, о котором приходилось помалкивать, того единственного, которому он поклонялся, портреты и бюсты которого запретил уничтожать.

По указанию Романа Авдеевича, в запаснике Музея отвели особый зал, где плотно друг к другу стояли рядами бюсты Того, за ними фигуры Его, накрытые полотнищами целлофана. Сквозь тусклую пленку просвечивали гипсово-белые, розового гранита, обожженного дерева, мраморные, бронзовые, керамические изображения Отца Народов. Стены были завешаны его портретами, их были сотни, Генералиссимусов в мундирах, в шинелях, во френчах, они сидели, приветствовали, сосали трубку, рассматривали планы, карты. Все были написаны заслуженными, народными, академиками, ныне известными и ныне безвестными лауреатами, написанные в серебристой гамме, крупными мазками, мелкими, остро, мягко, сочно, сдержанно, но всегда с трепетным желанием проникнуть в непостижимость гения...

Иногда Роман Авдеевич приезжал сюда.

Надо заметить, что чувство к Истинному Вождю народов продолжало жить в душе Романа Авдеевича независимо от официального курса. Он преклонялся перед его беспощадностью, умением расправляться со своими врагами, перед его коварством... Так что автор был неточен, когда говорил, что персек не бывал в музее. Бывал. Правда, только в этом зале, но бывал. Ходил под суровым взглядом столикого вождя. Шеренги стояли наготове, резерв главного командования. В этой своей тайной любви Роман Авдеевич никогда не признавался, но были минуты, когда в образе нынешнего Генсека возникал перед ним тот Первый Генсек, незабвенный Учитель, создатель всеобщего страха...

В заключение Роман Авдеевич преподнес макет Стены, сложенной из драгоценных минералов, с барельефом Основателя. Макет понравился, Роман Авдеевич был обнят и поцелован.

XX

На стройке Стены потребовались специальные краны и бетоноукладчики. Изготавливала их японская фирма. Валютные фонды к тому времени были полностью исчерпаны. «Да мы соберем,— заверили гаврики,— народ откликнется. Все отдадим. Народ у нас щедрый! Миллион? Миллион соберем, вы только разрешите».— «Дурни вы,— отвечал им Роман Авдеевич,— ваш миллион неконвертируемый, зачем он японцам». Гаврики и сами это знали, но им, ревнителям, надо было показать себя. «А что у нас конвертируемо,— спрашивали они,— мы все отдадим, хоть жен, хочь дачи».— «Жены ваши тоже не конвертируемы,— говорил Роман Авдеевич,— и дачи ваши со всеми вашими привилегиями».— «А озеро наше,— предложил мэр.— Давайте озеро загоним, не пожалеем». Он был у нас отчаянный, совершенно рисковый человек. «Или белые ночи».— «Белые ночи конвертируемы,— сказал Роман Авдеевич,— только скандал поднимется».— «А на что нам белые ночи, у всех черные, и у нас будут черные»,— разошелся мэр. «Не знаю, не знаю, все же достопримечательность,— сомневался Роман Авдеевич,— кроме того, может, белые ночи в ведении Интуриста. Или Совмина?»

Практически же в процессе обсуждения у Романа Авдеевича возникла идея. Осенило его. Вспомнилась его поездка в город-побратим, подаренные картины. А что если продать картины из музейных, те, что в запасниках? Судя по всему, это даст немалые суммы. Эксперты действительно оценили картины в запасниках достаточно высоко. Гаврики бурно поддержали идею Персека. Комиссия отобрала для продажи ряд картин, уладила вопрос с министром культуры, благо тот был уже приучен. Он даже несколько раз раздражался, в смысле, когда наконец покончено будет с этими картинами, то есть давайте, ребята, загоните их полностью. Он и сам бы продал их, да неудобно, поскольку министр культуры, беспокойства же от них много, то и дело донимали его — почему не выставляете, прячете от народа...

В Японию послали нашего мэра. Продав картины, он закупил нужные механизмы, заодно купил себе машину «тойота» и привез контейнер с подарками — стереосистемы, персональные компьютеры, мебель. Пошли слухи, что дело тут нечисто. Поступили претензии от строителей. Подъемник прибыл без запчастей. На них мэр сэкономил. Бетоноукладчик оказался не той марки. Зато «тойота» ходила безупречно. Спустя полгода фирма, с которой имел дело мэр, попала под суд. На процессе выяснилось, что фирма дала взятку мэру. Об этом писали японские газеты. Наш мэр в интервью опроверг «домыслы буржуазной печати».

Начальник строительства и другие начальники выступили по телевидению в защиту мэра, против клеветников. Обыватель, между тем, узнав, что пишет японская пресса, стал доказывать, что мэр брал взятки не только у капиталистов, но и у своих горожан. Брал за квартиры, за дачные участки. Поднялся шум, скандал быстро разрастался. Нашлись люди, которые, забыв «про чувство чести и долга», как выразился Роман Авдеевич, «апеллировали к нашим врагам», то есть передали сведения западным корреспондентам. Те подхватили, «раздули сенсацию». Роман Авдеевич не собирался уступать мэра крикунам и клеветникам. Нельзя было допустить, чтобы весь «этот элемент» почувствовал свою силу и «раскачал стихию». Он приказал принять самые жесткие меры. Народу только покажи свободу, и пойдет-посыпется. Особо ретивым очернителям давали по пятнадцать суток, чтобы успокоились. Отшумят, тогда потихоньку разберемся со всеми заявлениями.

Пришлось, правда, собрать пресс-конференцию. Поступило такое указание. Чтобы погасить страсти. Вел ее сам Роман Авдеевич. На ней мэр заявил, что машину «тойота» он приобрел для Общества автолюбителей, что касается механизмов, то благодаря им стройка не остановилась. Роман Авдеевич сказал, что надо было идти на жертвы. Кстати, «мы доказали, как можно наше искусство поставить на службу социализму. Это для искусства почетная роль».

Французская журналистка спросила, разумно ли так транжирить национальные сокровища, не осудят ли их за это потомки. На этот неприятный вопрос Роман Авдеевич кивнул как бы согласно.

— Мы ведь их продали временно.

Все корреспонденты заудивлялись.

— Очень просто,— сказал он и улыбнулся миролюбиво, редко можно было видеть на гладко-натянутом лице Романа Авдеевича такую улыбку.— Все нам вернется, не беспокойтесь. После победы мирового социализма. Так что никто не осудит.

После этой конференции Романа Авдеевича назвали «ястребом», чем он гордился.

Сведения о взятках мэру продолжали поступать в Москву. Отчаянные молодые следователи выявили только что отстроенный дом, который был весь распродан. Мэр не являлся ни на какие допросы, продолжал работать как ни в чем не бывало. Проводил совещания, принимал делегации, давал указания, вручал награды.

Веселый толстяк, подвижный, шумливый, он заявил, что снова собирается в Японию налаживать отношения с другими, более солидными фирмами. Психологию этого человека, секрет его неуязвимости автор так и не сумел раскрыть. Ни одна версия не подходила. Допустим, человек привык к вседозволенности, но все же если его публично называют жуликом, хапугой, должен возмутиться, оскорбиться или должен смутиться, устыдиться, подать в отставку. Ни того, ни другого не происходило. Как будто его нельзя было ничем оскорбить. Ничего не доходило до него. Единственный раз он возмутился, когда один из выступавших назвал его игнорантом. «Вот за это ответишь! — загремел он.— Кто из нас кто, мы еще разберемся!»

В те времена история с мэром не была исключением. Сановники, уличенные в бесчестных сделках, продолжали служить, не снисходя даже до оправданий. Степень их защищенности поражала. То была, по сути, социальная защищенность целого слоя. Выведена была порода людей, нечувствительных к укорам чести и достоинства. Мэр наш являл собою наиболее полноценный экземпляр этой породы. Став героем почти международного скандала, он все так же наслаждался жизнью и своим положением. Не беспокоился, ни о чем не хлопотал, знал, что в обиду его не дадут. Он не был ни чинолюбом, ни чиноискателем, скорее он был чинопользователем. Пользовался он своей должностью всласть. По-прежнему собирал подчиненных в своем огромном дворцовом кабинете, вельможно шутил, произносил тосты на приемах, нисколько не заботясь, о чем шушукаются за его спиной. Как он был начальником, так и будет. Им положено шушукаться, ему командовать. Не здесь, так где-нибудь послом, начальником управления, директором издательства. Найдут чем. Он жил в счастливом убеждении, что о нем позаботятся. Его матушка — Система — не отринет своего сына, каким бы непутевым он ни был.

В праздники он укатил на охоту. Три дня пировали с женским ансамблем, плясали, стреляли, парились в сауне, и пили. За это жучили, но ведь праздник, в праздник и у воробья пиво.

На обратном пути у шофера он отнял руль и помчал. При обгоне врезался в самосвал, да так, что мгновенно, охнуть не успев, очутился в том мире, где нет дорожных правил и заграничных фирм.

Безвременный его уход разом снимал все деликатные проблемы. Крепко он выручил Романа Авдеевича. Все устроилось как нельзя лучше. Словно бы кто-то постарался. За это мэр получил пышные похороны, трогательные слова прощания. Его именем назвали районную библиотеку, в которой он никогда не был, так как не был ни в одной библиотеке, назвали и проспект.

XXI

Последующие события происходили за горизонтом видимости автора. Проникнуть в жизнь высших властей автор не в состоянии. Что там творится, как они там существуют, действуют, этого из провинции не увидать и не узнать.

Недавний разговор со столичным историком отчасти избавил автора от провинциального комплекса.

— Думаете, мы в столице осведомлены? Ни черта мы не знаем. Слухов полно, а сведений нет. Как сказал один поэт, все это похоже на драку бульдогов под ковром в темной комнате. Время от времени выкидывают оттуда нового пенсионера, вот и все наши сведения.

Конечно, автор понимает, что поэт использовал художественный образ, даже гиперболу, наверное, разрешенную в поэзии. Образ этот, однако, часто вспоминается автору, особенно при описании того, что происходило в дальнейшем, когда достоверных сведений поступало все меньше.

Известно было, что шансы Романа Авдеевича после закладки Стены резко подскочили. Рост его тоже заметно сократился. Теперь это был уже не рост, а росточек. Пришлось еще поднять каблуки, сделать толще подошву.

Однажды утром Роман Авдеевич стоял перед зеркалом, прилаживая галстук. Сзади подошла жена, которую он давно перестал замечать, подошла и вдруг погладила его. Лицо ее выражало что-то вроде жалости.

Этого еще не доставало. Он собирался было поставить ее на место и тут заметил в зеркале, что она выше его. Такого не могло быть. Когда они познакомились, она была ниже его. Это ему и понравилось. Что же она — растет? Вдруг до него дошло, что дело не в ней. Он побагровел, закричал на нее за неприлично пышную прическу, за безобразно высокие каблуки. Она ничего не могла понять, она уверяла, что прическа обыкновенная, что она всегда на таких каблуках ходит. Роман Авдеевич топал ножкой, ярился: «Порнография! — кричал он.— Ты что себе позволяешь! Ты кто такая, тебе доверено!» Обычно смиренная жена тут взбунтовалась, зарыдала, ни за что не желая менять прическу, не соглашалась на низкий каблук: «При моем росте мне нельзя! — твердила она — ты тоже...» — и посмотрела на него так, как никогда не позволяла себе, как бы прозрев!

Она, конечно, поделилась со своими подругами, откуда и расползлось. Через семейную брешь и доходят до нас основные сведения о великих людях. Наибольшая утечка идет через жен. Любя или не любя, они все равно выбалтывают внебрачные тайны. «И увидел он, что она увидела это, и понял, что это плохо»,— было бы сказано в Библии, если бы история сия была бы достойна этой бессмертной книги.

В другие времена Роман Авдеевич нашел бы, как поступить с этой женщиной, но сейчас ему нельзя было совершать резкие поступки, если он хочет взойти, он должен безупречно соблюдать брачный союз.

Может быть, это также заставило Романа Авдеевича предпринять еще более отчаянные усилия. Иногда какие-то бытовые обстоятельства, какой-нибудь прыщ или разбитая чашка...

Буквально в последний момент он изловчился оттолкнуть южного персека, одного, другого, и вскочить в тележку. Какой-то он сумел предъявить козырь. Что это было, неизвестно. Разные ходили слухи. Говорили, что он рухнул на колени перед Патроном и поведал ему про свой укорот. Только введение его в состав сможет спасти его от порчи, которую напускают враги. Говорили, что он сыграл на засилии инородцев. В критические минуты у Романа Авдеевича появлялась сила убедительности и буквально вирусная способность проникать сквозь все преграды.

Как бы то ни было, назначение состоялось, он взошел и отбыл в столицу. Перед отъездом Роман Авдеевич собрал композиторов, поэтов и предложил написать песни про Стену. «Хорошая песня была бы лучшим подарком мне и коллективу строителей»,— сказал он прочувственно. И что интересно — написали песню, сделали рок-оперу, поставили фильм.

XXII

Стройка Стены тем временем развернулась вовсю. Начальство старалось, считая, что это любимое детище Романа Авдеевича. Остальные городские строительства заморозили, все материалы шли на Стену, все механизмы, машины, кабель, бензин — все посылали к «Стене Романовне», так прозвали ее городские остряки.

Бригады бетонщиков соревновались, и бригада Козодоева поставила чуть ли не европейский рекорд. Вскоре в том районе, где возвели первый участок Стены, ветры действительно стихли, но в неподвижно сыром воздухе повисли дымы и газы. Туман не рассеивался. На самом деле это был смог, однако его

запретили так называть. Население ближних улиц стало задыхаться, дома чернели, покрывались копотью, все происходило так, как предсказал проклятый немец Куперман. Серый плотный чад заполнил дворы, переулки, улицы; фонари горели и днем, машины шли с включенными фарами. Обывателям разъяснили, что это трудности переходного этапа, все изменится, когда Стена будет выстроена полностью, достигнет проектной отметки...

Время от времени из столицы звонил Роман Авдеевич, справлялся. Ему докладывали, что все идет отлично. «А чего же жалобы идут?» — спрашивал он. Его успокаивали, что это реакционеры-консерваторы. Ну, тогда лады, соглашался он одобрительно, ибо, как все большие начальники, жаждал душевного покоя, покой ему нужен был для созревания новых замыслов.

Он действительно добросовестно готовился. Один из наших гавриков рассказывал, как однажды в Москве был вызван к нему вечером, его провели в апартаменты, оставили ждать. Любопытствуя, он заглянул в одну из комнат, увидел посреди трибуну, обыкновенную трибуну, на ней стоял на скамеечке Роман Авдеевич и произносил речь, глядя перед собой в трюмо. «Надо укрепить!.. Придется навести порядок!» — выкрикивал он, поднимая руку вбок, вверх, то под одним углом, то под другим. Гаврик тихонько попятился, вернулся в прихожую и долго никому не говорил о виденном.

Столичный историк, о котором уже шла речь, выступая в нашем лектории, обмолвился, что Роман Авдеевич вполне мог стать Правителем, заполучить главную должность, дело, мол, шло к этому. Историк был человек осведомленный, и замечание его вызвало волнение в аудитории.

— Господи, спаси и помилуй,— громко сказал кто-то.— Как страшный сон.

Автор со страхом представил себе, как морок, висевший над нашим городом, распространился бы по всему отечеству, погрузив его во мрак и безнадежность.

Было это, естественно, уже после катастрофы. До этого виды у Романа Авдеевича росли. Он там, в Москве, быстро обжился, весь с головой ушел в ихние козни, передвижки, кто кого, кто с кем, кто чей человек.

Потом, как известно, нас постигла «невозместимая потеря». Как ни старались гальванизаторы и реаниматоры, как ни тянули, наступил горестный миг, пришлось распроститься с Кормильцем, отпустить его в мир иной. А жаль было, очень уж удобен был, и оказалось, многих разных деятелей устраивало его уже бессловесное и бесчувственное существование. Начальники во всех городах и весях искренне горевали. Роман Авдеевич от души рыдал на похоронах. Отрыдав, ринулся в бой. Дорога на самую вершину к месту вождя открылась прямая, короткая.

Обыватель, как всегда, больше заботится о себе, чем о руководителях. Обыватель, он и есть обыватель, в потере Руководителя он прежде всего увидел надежду, что строительство Стены, может, затормозят, а то дышать совсем невмоготу стало. Народ до того довели, что на доске почета под портретом знатного бетонщика Козодоева кто-то приписал: «Удушитель ты наш!» Выпад этот страшно расстроил Козодоева, ночью он со своей бригадой и кирками и ломами стал прорубать отверстия в Стене. Его схватили, куда-то увезли, обыватель же, учуяв, что из отверстия хоть как-то продувало, принялся энергично расширять дыру.

Стройка, тем не менее, продолжалась. Население ждало, не последует ли какого разоблачения от нового начальства. Обыватель у нас половину жизни своей ждет, когда снимут начальство, разоблачат и последует перемена к лучшему. Наконец, начальство снимают, перемены происходят, но все остается по-прежнему, и снова народ ждет. Еще когда Романа Авдеевича забрали в столицу, некоторые возрадовались. Послабления, однако, не произошло. Новые персеки и секи ежедневно звонили в столицу получать указания, показывая, как без Романа Авдеевича плохо. Если не звонили, то звонил сам Роман Авдеевич, сверял, чтобы курс и направление не расходились.

Бедствия от Стены усиливались, само начальство дышало с трудом. Какие-то лиловые грибы стали расти на крышах, появились насекомые, не известные энтомологам, они селились на балконах и по ночам завывали.

Решено было наряду с возведением производить прорубку ворот для продува. Это потребовало дополнительных ассигнований, которые помог выхлопотать Роман Авдеевич. Так что его заслуга тут несомненна. Академик Сургучев предложил было совсем прекратить возведение, но это было наивно, ему резонно возразили, что затрачено на стену уже триста миллионов, куда ж их списать, осталось достроить на каких-нибудь двести миллионов, так что лучше завершить стройку. А уж затем решать дальнейшую судьбу.

XXIII

Что там наверху творилось, какие схватки вели сплоченные единомышленники — неизвестно. Столичный лектор, человек причастный, понятия не имел, сказал, что вряд ли при нашей жизни откроется. Никто не ждал, не гадал, когда в один прекрасный, воистину исторический день, нам выкинули, согласно метафоре поэта, «из-под ковра» нашего дорогого Романа Авдеевича в виде «пенсионера» «по состоянию здоровья», на которое он никогда не жаловался. Каким приемом удалось подшибить нашего претендента, на чем он поскользнулся — автору не удалось выяснить. В городе никто не знал, ни в одном здании, похоже, не имели сведений. Впрочем, это никого, кроме автора, не интересовало. Город возликовал, взорвался радостью. Со времен Победы не было у нас такого праздника. Без всяких призывов люди высыпали на улицу, поздравляли друг друга, обнимались. На площади играл оркестр. Люди дарили прохожим цветы, угощали пивом. Из других городов звонили, поздравляли, от нас звонили в столицу. Наверно, так веселились и радовались французы, разрушив Бастилию. Откуда-то стали появляться исключенные, выгнанные с работы, бежавшие из города, мы не представляли себе, сколько их накопилось.

Глядя на этих людей, автор вспоминал, как годами они на всяких собраниях и заседаниях дружно аплодировали Роману Авдеевичу, приветствовали его без всякого понукания. Писать историю своего времени трудно. Автор на своей шкуре убедился, в каком жалком положении находится историк. Вот пишет он, допустим, историю Романа Авдеевича, и в самый пиковый момент гаснет свет, тьма и неизвестность прерывают биографию героя. Только что он был на вершине власти и славы, и вдруг мы видим его в шлепанцах, заурядным обывателем, даже неблагонадежным, состоящим под присмотром. Можно сказать, упал на дно жизни, волшебная перемена судьбы. Так, по крайней мере, полагал народ, и поэтому пуще веселился: пусть похлебает наших щей, пусть потискается в автобусе...

Спустя тридцать лет историк, конечно, проникнет, однако к тому времени людей, которых это волнует, не останется, такие вот порядки в нашей истории.

Через месяц известили, что Роман Авдеевич к нам в город не собирается, и любезным согражданам спрашивать ни о чем не придется. Живет он в дачном поселке под столицей, на своей даче. То есть не на своей, а на казенной, трехэтажной, благоустроенной, поскольку есть в ней бильярд, сауна с бассейном, кинозал, бар и прочие необходимые удобства. В этом поселке целое лежбище выпавших в осадок. Областные персеки и республиканские, никто из них не возвращается в свои города. Наоборот, сбегают сюда, в столицу, подальше от благодарных сограждан, для которых не щадили себя. Все они персональные пенсионеры, перпенсы — как зовут их домашние. У всех папки, набитые газетными вырезками с их фотографиями, докладами. Крепкие, зычные мужики, увенчанные золотыми звездами, орденами, они живут, не тужат.

Недавно в музей города, на имя автора пришла бандероль с двухтомником избранных статей и выступлений Романа Авдеевича. Вишневой кожи переплет, финская бумага, под портретом дарственная надпись зелеными чернилами «Городу революционных традиций на добрую память о совместной работе» и красивейшая подпись.

Некоторые молодые сотрудники музея предлагали выставить этот дар. Не разрешили. Начальство все портреты Романа Авдеевича приказало не списы-

вать, не актировать, а тщательно перенести в запасники, в ту залу, к Вождю, где так любил прогуливаться персек.

Народишко хоть и радовался отставке и надеялся, что Романа Авдеевича привлекут за Стену к ответу, все же откровенничать избегал. На вопросы автора мычали, вздыхали, «чего там вспоминать, всякое бывало». Не верили, ждали, поживем-увидим; не угадывай в три дня, угадывай в три года; сказал бы словечко, да волк недалечко, и вообще промеж двери пальца не клади. Автор по своей наивности горячился, настаивал, подбадривал, заверял, не понимая, что у нас историк, особенно летописец, должен стараться жить долго и незаметно, тогда он хоть что-нибудь узнает про свое время. Автор суетился, дергался, полагая, что вот теперь-то, после отставки Романа Авдеевича, откроются все подвалы, вместо этого однажды раздался междугородный звонок. Ласковый голос сообщил, что будет говорить сам Роман Авдеевич собственной персоной. Надо признаться, что автор видел Романа Авдеевича только в президиумах, на трибуне, лично знаком не был, не имел такой возможности, то есть находился в положении обыкновенного населения. Немудрено, что звонок этот ошеломил автора, тем более, что Роман Авдеевич после нескольких слов вдруг спросил, как движется работа над книгой о нем. Автор пришел в полное смущение, спросил, откуда, мол, известно, Роман Авдеевич засмеялся — на том, как говорится, стоим, такая у нас служба, чтобы все знать. Пишем потихоньку, сказал автор. Роман Авдеевич одобрил, дело полезное, для молодежи особенно нужны достойные примеры. «Чего ж ко мне не обратился,— спросил он, легко перейдя на ты,— как же писать, не пообщавшись со своим героем?» Автор забормотал, что не осмелился беспокоить, но Роман Авдеевич прервал его, отечески пожурил и пригласил приехать к нему в Подмосковье, привезти рукопись, ознакомиться; неважно, что не кончена, неважно, что черновик, внесем поправочки, уточним, посоветуем и в дальнейшем поспособствуем. Автор мямлил, отнекивался, ссылался на здоровье. Человек воспитанный, добрый, он не умел отказывать наотрез, а тут еще Роман Авдеевич заострил голос — не покойник же он, рано списываете, боишься к опальному ехать, не бойсь, и сделал намек, не то чтобы угрожающий, скорее предупредительный, как будто ножичком поиграл. Так что давай, не откладывай, заключил он с уверенностью.

Друзья и сослуживцы автора считали, что такой случай грех не использовать. Настоящий историк должен жертвовать, если надо, и своим самолюбием, и поклониться, и притвориться, лишь бы материал заполучить.

XXIV

Забор был глухой, высокий. Автор нашел кнопку, позвонил, вскоре в дверке открылся «глазок», тетка выслушала его, и через некоторое время он попал внутрь. Широкая аллея вела к трехэтажному дому с колоннадой. Дом, облицованный диким камнем, походил на замок или крепость. Автора привели на веранду, где за светло-желтым полированным столом сидел хозяин. Издали он в точности совпадал с портретом, тем самым...

Когда-то, Первого мая, автору доверили нести портрет Романа Авдеевича. В те времена демонстранты носили портреты всех членов и кандидатов наподобие хоругвей. Несли по всему городу, до трибуны. Несущим давали пятерку или отгул, словом, какое-то поощрение. Прошли площадь, стали расходиться, и автор с мужиками завернули в какой-то подъезд отметить праздник. Раздавили одного «малыша», другого, потрепались, разошлись, портрет же забыли под лестницей. От этого у автора потом были неприятности, выговор влепили и никакого отгула. И вот сейчас портрет этот сидел перед ним. То ли автор волновался, то ли хватил лишнего по дороге для смелости, но такое возникло воображение, что от радости автор руки раскрыл, просиял, готовый схватить и нести в местком эту невесть откуда появившуюся находку.

Роман Авдеевич от такого восторга закивал благосклонно и привстал навстречу автору.

Как потом выяснилось, стоял он на скамеечке, но все равно обнаружилось пугающее несоответствие. Пока Роман Авдеевич сидел, все выглядело нормально. Теперь же голова и особенно белое гладкое эмалированное лицо не годились маленькому туловищу ребенка. За это время он превратился в карлика. Но уменьшался он непропорционально. Корпус его сплюснуло, грудь, плечи раздались вширь. Ножки стали крохотные, череп же остался прежний. Все исказилось, как в потешном зеркале, в комнате смеха, памятной автору с детства, когда из всех зеркал, куда ни посмотришь, повсюду таращились уродцы, то вытянутые, то перекошенные, на паучьих ножках, с тонкой шеей.

Первое чувство был страх, вернее испуг, но Роман Авдеевич принял это за страх и был доволен. Он любил, когда его боялись. Его всегда боялись.

Автор вдруг очнулся, словно стряхнул с себя наваждение,— без селектора, референтов, микрофона, охраны Роман Авдеевич был просто плюгавик, смешно упакованный в костюмчик с галстучком. Каким образом этот сморчок мог командовать огромным городом и этот город трепетал и стонал от него, ловил каждое его слово, вникал в скрытый смысл? Вникали и находили!

Было стыдно. Автор чувствовал себя униженным.

— ...Фотоматериалами я тебя обеспечу,— говорил Роман Авдеевич.— Документов навалом. Главное, не тушуйся. Реальная сила у нас. Я предупреждал, не выпускайте интеллигентов на свободу! Интеллигенция хуже евреев! Без нас не обойтись! Нас-то больше! — Он выкрикивал все громче, голос у него остался тот же звучный, металлический.

Через некоторое время он уселся, за обрезом стола превратился в человека нормальных размеров.

— На Стену сейчас клевещут, хотя она олицетворяет могущество нашей Родины и социализма. Такого сооружения нигде нет. Поэтому и ополчились на нее. В народе ее называют ласково так, Стена Романовна. Ты намекни, что ей следовало бы присвоить мое имя. Не стесняйся. А то мы все стесняемся. Я пострадал за рабочий класс. Надо, чтобы люди об этом узнали. У рабочего класса нет другого защитника.

Он говорил все это всерьез, пересыпая намеками на какие-то силы, без которых ничего не получится, на своих людей, которых предостаточно.

Слушать его было тягостно. Как будто он играл императора Лилипутии, играл без юмора, с нелепым текстом.

Будь автор профессионалом-историком, самая глупая похвальба такого человека имела бы свой интерес, может быть, следовало вслушаться в его угрозы и недосказанность. Но автор был всего лишь любитель, дилетант, охваченный чувством разочарования, он перестал слушать своего героя. С горечью вспоминал он, сколько времени потрачено на сборы материалов, как приходилось кланяться бывшим помощникам, выпивать с ними, расспрашивать «соратников», архивариусов, как обхаживал он разных гавриков. Все они обманули его, обманули весь город, и он, автор, тоже всех обманывал, и сам себя обманул. Стоило ли это ничтожество таких усилий, такого страха, столь ких разговоров, волнений. Хотя бы злодеем был великим... Но бывают ли злодеи великими? Вот в чем вопрос!

Собирая факты, слухи, всякие байки, автор из них старательно складывал образ своего героя. Делал он это сообразно тем чувствам страха и уныния, которые царили среди горожан. Пустоты он заполнял домыслом, домысливали тогда все, анализировали, придумывали, искали мотивы, причины... Сейчас же, когда он увидел и услышал Романа Авдеевича воочию, размеры не сошлись. Сочиненный им образ был слишком внушителен и грозен. Живой Роман Авдеевич выглядел напыщенно, глупо, нес какую-то ерунду, из этого ничтожества, из этого мусора немыслимо было собрать недавнего претендента на престол. Было стыдно и скучно. Но тут автор вдруг рассмеялся. И продолжал смеяться, хотя Роман Авдеевич побагровел, что-то прикрикнул, загрозил. Автору все стало безразлично, он понял, что нет великих злодеев. Не бывает. Дайте возможность любому пакостнику, подонку получить безнаказанную власть, и он развернется не хуже Ричарда Третьего. Должность всего лишь меняет масштабы.

Злодейства может быть много, оно бывает долгим, страшным, но не великим. Глядя на Романа Авдеевича, автор думал, что если бы Сталина лишили власти, как бы он выглядел? Допустим, определили бы его счетоводом в артель, что осталось бы?..

По возвращении в наш город автора закидали вопросами. Рассказам его не поверили. Никто не мог представить Романа Авдеевича пигмеем. Насчет роскошной дачи, беседок, аллей верили, а вот про глупого, жалкого гномика не понимали. Как же он мог добраться до самого верха, ведь что-то наверное имелось! Какая-то идея нужна.

Примерно тогда автор стал замечать, что люди воспринимают эпоху Романа Авдеевича с некоторым смущением, не желая признаваться в том, что они были свидетелями всего того, что творилось. Как будто они отсутствовали, как будто они чужеземцы. Некоторые даже изумлялись — неужели это все было? Особенно молодежь. Они уверены, что весь этот абсурд — преувеличение старших, что нормальный человек не мог бы согласиться на такую жизнь.

В конце концов автор дошел до того, что сам усомнился — может быть, ничего этого и впрямь не было. Все присочинялось. Расстроенное воображение, фантасмагория... Он отправился к Стене. Она стояла неопровержимо, железобетонная, огромная. Правда, вся просверленная, пробитая большими и малыми дырами. Из отверстий со свистом врывался в город свежий ветер. Сюда приходили после работы измученные духотой, нечистым воздухом, подышать. Ходили вдоль Стены, сидели на скамейках. С годами вдоль всего сооружения образовался прогулочный маршрут. Оздоровительное общество оборудовало терренкур, насадило кусты. Не так давно Стена была закончена, сдана государственной комиссии. Строителей наградили, премировали. Вслед за этим началось обсуждение проекта сноса Стены. Проект был готов, специалисты подсчитали объем работ, он оказался грандиозным. По телевидению выступал председатель Фонда Ликвидации Стены, рассказал о масштабах Великой Разборки, какие мощные механизмы будут задействованы. Общественность поддержала его. Эффект нового детища Перестройки обещал быть замечательным.

Автор шагал и думал, что, когда Стену снесут, еще труднее будет доказать, что все описанное им было. Но, может, так оно и лучше. Перед одной из скамеек высился яркий плакат. Две пожилые женщины собирали подписи. Там стоял академик Сургучев. Они объяснили ему, что это письмо правительству с требованием сохранить Стену, иначе погибнет созданный с таким трудом терренкур, единственный в городе. Здесь образовался крайне полезный микроклимат... Листы были заполнены сотнями подписей. Сургучев взял автора под руку, и они пошли дальше. У следующей скамейки стояли школьники с алыми лентами через плечо и держали плакаты; на одном было написано: «Дайте нам дышать!». На другом: «В России хорошо только то, о чем правительство не заботится!». На алых лентах золотом было написано «Фолис». Это означало — Фонд Ликвидации Стены. Они бренчали кружками, собирая пожертвования. Они окружили Сургучева и Автора, наперебой разъясняя им, как в результате ликвидации возродится город и возникнут замечательные условия чистой экологической жизни.

— Видите, дорогой мой,— сказал Сургучев автору.— Абсурд не является привилегией минувшего времени.

Они покидали деньги во все кружки, потом вернулись к женщинам, подписали их письмо и отправились дальше, обдуваемые оздоровительными потоками воздуха из отверстий Стены.

— Какой-то кусок ее надо бы оставить,— сказал Сургучев.— И сделать надпись: «Это было», а то ведь не поверят.

Ян-Кристер ВАЛЬБЕК

Риксдаг, правительство и президент

Риксдаг можно сравнить с хлевом,
где спикер перелопачивает снова и снова
всем давно знакомый навоз,
а депутаты бьют неустанно копытами
в защиту интересов своих партий,
цепочки звенят наподобие кандалов,
а мухи, жужжа, рассматривают запросы,
проекты законов лепят из мха,
который сперва сушат и причесывают,
бюджетные средства делят, словно лесную ягоду,
раскладывая ее в цветные ведерки из пластика,
деревенский дурачок станет требовать свободы личности,
а иной велит объединять свадьбы с похоронами.
Правительство можно сравнить с рынком,
премьер-министр будет взвешивать картошку,
уравновешивая крайности,
а государственный совет — состязаться,
кому достанется самая крупная клубника.
Предложения комиссий будут продаваться
пучками, словно выдернутая наспех репа.
Президента можно сравнить со статуей,
почивающей на результатах выборов
без риска внезапной смерти,
народ будет щелкать фотокамерой,
увековечивая сей исторический идеал,
автобусы с туристами станут кружить по площади,
а почетный караул — потеть на солнце,
движения теней в ходе дня
примут или отклонят предложения,
проливной дождик, промыв депутатов,
даст знак о необходимости перевыборов,
прожектора прогонят нетрезвых
и вся эта иллюзия растянется на века.

Перевела со шведского
Н. БЕЛЯКОВА

Ян-Кристер ВАЛЬБЕК род. в 1948 г. в г. Васа. Автор нескольких сборников стихотворений.

Бу КАРПЕЛАН

◆◆◆

В светлой тишине
смычок отчаяния настигает нас,
как сонного пловца холодная струя,
и взгляд становится острей.
В шестой Сибелиуса, в первой части
есть этот быстрый и внезапный взгляд.
Он прорезает сердцевину боли,
поверхность моря, тени облаков,
и вглубь уходит,— и не даст забыть
о самой глубине июньских дней,
так быстро унесенных ветром.

◆◆◆

На лестнице нам бросилось в глаза,
что прежде окон не было на запад,
на лес, на море,— но сказал владелец,
что старые дома вокруг снесли,
и многое открылось. Он покажет
вид сверху, если мы пойдем за ним.
Был бесконечен этот путь наверх
по винтовым изношенным ступеням.
Мы тяжело дышали. Мы старели.
Где были мы — на маяке, должно быть?
Но этот дом — жилище. Чтобы жить.
И вот во мраке, принесенном нами,
Нам кто-то дверь железную открыл.
Мы в белом зале. В окна и бойницы
Видны леса и в бухтах корабли.
А на земле, внизу, шумят деревья,
О чем-то нас предупредить хотят.
На дальней кровле догорало солнце,
плыл благовест, а тот, кто нас впустил,
он против света нам казался черным.

Перевел со шведского
Игн. ИВАНОВСКИЙ

Бу КАРПЕЛАН род. в 1926 г. в Хельсинки. Поэт, прозаик, драматург, автор книг для детей.

Ээва-Лииса МАННЕР

♦♦♦

Глядится берег в зеркало реки,
спокойно счастлив брак воды и неба;
прозрачна, глубока зеркальная фантазия:
стада пасутся в облаках
и темный лес без ветра шелестит.

И легкое касание крыла
разрушит чары —
как тонкий шелк признание в любви,
водой и светом сотканное миру.

♦♦♦

Кричит гагара.
Утром —
заиндевелых трав хрустальный перезвон.
Как боль — тоска.
Настала осень. Я у огня дрожу.
Под кожей — стужа.

♦♦♦

Я отправилась в путь.
Никуда не приехав,
в поезде постарела.
За окном увядали поля,
сжимался и морщился
сердца
табачный листок.

Перевела с финского
Л. АФОНИНА

Ээва-Лииса МАННЕР род. в 1921 г. в Хельсинки. Поэт, переводчик, драматург. Первая книга стихов вышла в 1944 г.

Пааво ХААВИККО

Похвала тирану

1

Удар за ударом наносит судьба,
а того, кто лишился чувств, ударяет бесчувственный.

2

Мужайся, Овидий! Ведь не бывает
кары, длящейся дольше жизни.

3

Жизнь устроена так,
чтоб тебя не тянуло родиться вторично.

4

Но в преисподней гораздо хуже:
там и женщин-то нет!

5

Не ухмыляйся! Не то уподобишься Будде
с отвисшей в ухмылке челюстью.
Не насмехайся! Тогда и не будет повода
для насмешек.

6

К тирану иди с головою, возложенной как бы на блюдо,
но руку, несущую блюдо, согни!
Тогда голова уцелеет.

7

Перед тем, как просить справедливости, убедись,
что ее удостоишься не по ошибке!

8

На пустячные вирши тиран вдохновляет, недоумевая,
что такого нашел в нем поэт?!

9

Деревья сажайте! Возможно, о ваши саженцы
как раз и споткнется фашизм.

Перевел с финского
И. ИНОВ

Пааво ХААВИККО род. в 1931 г. в Хельсинки. Поэт, драматург, прозаик, историк, эссеист. Автор многочисленных книг.

Пентти ХОЛАППА

♦♦♦

Нет никакой надежды, если
в последний или предпоследний раз
раскрылись на деревьях почки
и если сменит скоро зябкую весну
сернистый дождь с радиоактивных облаков.
Нет никакой надежды, если
в забвении былых своих любовей и в тревоге
покойники зимы прошедшей уходят в прах.
Нет никакой надежды, если
народ мой от арктических эрозий
в грязь превращается и если
гумус души моей, язык родной,
взмывает в никуда словесной пылью,
и хаосом, гримасами мутаций зверье исходит.
Нет никакой надежды, если
деревни нашей солнце среди полей необозримых млечного пути
уже взрывается и оставляет в беспредельном мире миллиардов лет
лишь след вибрации едва заметный.
Нет никакой надежды, если
глаза твои, пыланье факелов,
не освещают больше ход дней моих,
теперь похожий на заключенных строй, если глаза твои
его не обращают больше в свадебный кортеж.
Нет никакой надежды, если
в стихах моих нет твоего дыханья.

Перевела с финского
Т. ТЕРВОНЕН

Пентти ХОЛАППА род. в 1927 г. в Юли-Кииминки. Поэт, переводчик, журналист. Автор двенадцати сборников стихов.

Ларс
ХУЛЬДЕ́Н

◆◆◆

Большой поэт может быть мелким, вздорным,
неприятным, даже заурядным человеком.

Человек осторожно спустился с деревьев.
Он лишился надежной опоры деревьев.
Нет опоры верней, чем опора деревьев.
Где мечты наши? Может быть, в мире деревьев.

Но язык для поэта — как жизнь на деревьях,
На огромных и сильных ветвистых деревьях.
Продолжает поэт вспоминать о деревьях
И карабкаться вверх, как тогда, на деревьях.

Прочно держит поэта язык, как деревья.
Хорошо, если дружат с тобою деревья.
Хорошо быть большим и прямым, как деревья.
Гимн древнейший поют под ветрами деревья.

Не зови же поэта спуститься с деревьев.
Что такое поэт на земле, без деревьев?
Только червь в темноте под корнями деревьев.
Нет опоры верней, чем опора деревьев.

◆◆◆

Стал я слышать червей бормотанье.
Минуя в Иванов день
мою будущую могилу,
я расслышал их крики.
Самый дерзкий спрашивал прямо,
скоро ли буду я с ними.
Скоро, скоро, ответил я.
Они остались довольны.
Переговаривались оживленно
и делили меня наперед.
Кто подумает здесь, что я
содрогнулся, тот ошибется.
Напротив, я был согласен,
почему бы и нет.
Я хочу подчеркнуть,— все шло
спокойно, ведь это было
бормотанье, не больше,— и все же
я стал его слышать.

Перевел со шведского
Игн. ИВАНОВСКИЙ

Ларс ХУЛЬДЕН род. в 1926 г. в Якобстадте. Поэт, прозаик, ученый-лингвист, профессор Хельсинкского университета.

Хелви
ХЯМЯЛЯЙНЕН

Зеркало

Я в серебряном омуте зеркала одинокую вижу старуху,
каменеет ее голова,
увядают руки как травы,
я хочу отогнать ее смерть,
но сияющий ангел выходит, как из силепа, из тела старухи,
и неслышно иссохшая плоть опадает к его ногам.

Золотое окно кукушки

У кромки неба пепел золотой.
— июньской ночи свет неверный.
Луна — горящее окно,
единственное в мирно спящем доме.
Тоскует над пустым двором окно кукушки золотое.
Лиловой тенью дивный зверь скользит в ночи.

Прошлое

1

Но сердце не умеет забывать,
как забывают
отраженья воды.
В нем дремлют образы,
черты моих любимых,
текущий вспять поток
прошедшее послушно отражает.

2

Я ухожу по утренним полям
за именем твоим, дитя мое.
Дитя мое! — кричу, а эхом мне поток: дитя, дитя мое,
за жизнь мы платим смертью.

3

Спит среди знаков зодиака,
и волосы, как в ласковой воде, колышутся светло и невесомо,
как будто он крылат.
Спят звезды, и немыслимо тиха
та голова над звездною подушкой.

День скорби

Раз в году я даю себе право на скорбь,
в этот день я небесные окна закрою,
изгоню синеву,
и взойдет надо мной скорби черное солнце.
Не увижу цветов в этот день,
не услышу пения птиц.

Я имею право на скорбь в этот день, я имею право на скорбь.

Он убит был в сраженьи,
не омыть его ран,
он убит был в сраженьи,
кровоточат во мне его раны.

К опустевшим глазницам морей
подступили пески,
я имею право на скорбь перед образом солнцеволосым,
его смертные раны во мне.

В этот день не ищу утешенья в делах,
окна неба закрыты,
не оседланы кони.

Перевела с финского
О. ЛЕБЕДИНСКАЯ

Хелви ХЯМЯЛЯЙНЕН род. в г. Хамина в 1907 г. Автор книг стихов и прозы.

Юхан
БАРГУМ

Канберра, вы меня слышите?

В воскресенье утром снова позвонила Лева. Я только что встал, по настроение уже было вконец испорчено, потому что Ханнеле опять не ушла вчера домой и теперь похрапывала в моей постели, как хрюшка. Слышно Лену было очень хорошо, хотя в трубке почему-то звучал не только ее голос, но и эхо моего собственного, словно мы говорили одновременно.

Первым делом она спросила:

— Как здоровье Гамлета?

Она грассировала. Эта манера — подделываться под французский выговор — появилась у нее еще до того, как мать увезла ее с собой в Париж. Мы с Сусанной до последнего момента старались скрыть от дочери, что намерены расстаться,— и этим своим грассированием Лена словно намекала, что раскусила нас.

— Нормально,— сказал я.— А как твое?

— Что он делает?

— Ничего особенного.

— Ага.

Она умолкла в довольно долго молчала.

— Лена! Алло! Ты меня слышишь?

Она упорно отмалчивалась, и я не выдержал:

— Ну, ладно, ладно, привезу я его!

В трубке радостно завизжали и стали взахлеб благодарить папочку, а я сразу же пожалел о своем необдуманном поспешном обещании.

Как, скажите на милость, провезти хомяка в Париж?

По расписанию нам со Стиной в субботу нужно было репетировать три длинные сцены, и Сигге, конечно, пришел в ярость, услыхав, что в этот день мне необходимо быть в Париже. Более упрямого парня, чем Сигге, надо поискать, хотя только благодаря этому упрямству из него и вышел неплохой режиссер. К тому же мы с ним учились на одном курсе, и он меня знает как облупленного. Он метался по залу между рядами кресел, весьма убедительно разыгрывая вспышки гнева; я, в свою очередь, как мог, пытался изображать смущение, а Стина хихикала, выглядывая из-за кулис. Все режиссеры втайне хотят быть актерами и поэтому всегда выкладываются на репетициях. Когда я после вечернего спектакля вернулся домой, Ханнеле уже перемыла посуду, навела порядок, застелила постель, вынесла кипу старых газет и купила азалию, но из квартиры так и не убралась. Возникла некоторая неловкость, потому что со мною увязалась Стина, однако дамы как ни в чем не бывало уселись за стол, который Ханнеле накрыла на двоих заранее, еще до моего прихода, с темно-красной льняной скатертью и свечами. Дамы сидели, пересказывая старые сплетни о коллегах, а я тем временем доставал себе тарелку, зажигал свечи, разливал красное вино и вынимал из духовки два запеченных бутерброда с мидиями. Еще и до появления этих бутербродов на столе Ханнеле и Стина подчеркнуто наслаждались обществом друг друга, а уж тут началось такое взаимное расшаркивание и комплименты, что и под первым пришедшим в голову предлогом выскользнул в переднюю, оттуда прямиком на улицу, в ближайший бар, где и просидел сиднем, уставившись в стенку и не зная, как мне быть.

Когда я вернулся домой, дамы уже отбыли, благополучно прикончив бутерброды и вино. Ханнеле оставила ключ на столике в передней. Я лег, долго проворочался в постели, и когда за полночь затрезвонил телефон, я все еще не придумал, как пронесу хомяка в самолет через контроль.

Не знала этого и Сусанна.

Юхан БАРГУМ родился в 1943 г. в Хельсинки. Прозаик и драматург. Как прозаик дебютировал в 1965 г. сборником рассказов «Черно-белое»; роман «Темная комната» (1977) переведен на все европейские языки (русский перевод опубликован в журнале «Иностранная литература», 1983, № 12). Пьеса Ю. Баргума «Есть ли в Ковго тигры» (1989) включена в репертуар многих театров мира. В последнее время Ю. Баргум работает, в основном, в жанре рассказа.

— Что ты опять затеял? — спросила она. Слышимость была снова безупречная, я слышал ее частое порывистое дыхание — она всегда так дышит, когда сердится.

— Хочу приехать повидаться с дочерью.

— Ах, вот как! Не спрашивая, удобно ли мне?

— Почему же не спрашивая? Тебе удобно?

— И что это еще за блажь насчет Гамлета?

— Ты о чем?

— Лена сказала, что ты обещал привезти Гамлета.

— Угу.

— Ну, знаешь! Мы это уже сто раз обсуждали! Представляешь, как она расстроится?

— Почему?

— Если ты приедешь без него, неужели не ясно?

— Да привезу я его, привезу.

Последовало молчание, затем Сусанна пробормотала что-то по-французски, откуда-то издалека донесся голос Андре; наконец она спросила:

— И как ты, черт возьми, собираешься проделать это?

— Как-нибудь.

— Послушай,— сказала она устало,— так нельзя.

— Как?

— Я ничего не имею против того, чтоб ты приехал повидать Лену. Но я хочу, чтобы мы с тобой заранее договаривались об этих встречах.

— Вот именно.

— Что?

— Мы как раз с тобой и договариваемся.

Она вздохнула.

— Что касается Гамлета,— сказала она,— то нечего нам его навязывать. Он ей вообще больше не нужен. Она и думать о нем забыла.

— Мне так не показалось.

Сусанна опять вздохнула и замолчала, в трубке лишь слабо шелестело и где-то далеко далеко выкрикивали по-английски: «Канберра! Вы меня слышите? Канберра! Вы меня слышите?»; наконец Сусанна произнесла:

— Когда ты приедешь? И где ты собираешься жить?

Этот же вопрос мне задала тетка в бюро путешествий, где я покупал билет на самолет, хотя уж ее это вовсе не касалось. Признаться, я чертовски разозлился, когда понял, что не подумал о такой мелочи — где мне жить; словно я рассчитывал поселиться у Сусанны и Андре, хотя на самом деле мне это нисколько не улыбалось.

Выяснилось, что в центре Парижа есть дешевая гостиница «Финляндия».

Из общества защиты животных меня отправили в ветеринарный отдел министерства сельского и лесного хозяйства, оттуда — во французское посольство, и чиновник на ломаном английском языке долго втолковывал мне про какие-то бланки и справки с места работы (Гамлета?); словом, все было в точности так, как я и предполагал.

Оставался только один выход.

В шкафу Сусанны, где до сих пор были груды всякого хлама, я нашел кусок плотной материи и сшил мешочек, а к двум верхним углам пришил ботиночные шнурки; посадил Гамлета в этот мешок и застегнул английскими булавками. Завязав шнурки вокруг шеи, я надел плотную майку, чтобы прижать мешочек к телу, а поверх — рубашку и толстый просторный свитер.

Отлично. Гамлет тихо-спокойно лежал себе в мешочке. Даже если он зашевелится, под свитером это будет незаметно.

Подумаешь, несколько часов в самолете с Гамлетом на животе,— что может случиться?

Я сидел в кресле у прохода, прикрывшись на всякий случай газетой. Среднее кресло пустовало. Дама, сидевшая у окна, застыла в неестественно напряженной позе, словно под дулом пистолета. Гамлет вел себя смирно, я без помех прошел контроль, купил беспошлинного виски, выпил пива и пококетничал со стюардессой, уверявшей меня, что мы знакомы,— и все это время Гамлет сидел так тихо, что я совсем забыл о нем.

Дама у окна пригнулась и зажала нос.

— Простите,— сказала она,— уши закладывает.

Громкоговоритель без умолку вещал по-французски и на какой-то тарабарщине, должной изображать английский; моторы гудели, самолет тяжело, как нехотя, разогнался,— и тут Гамлет вдруг зашевелился.

Это началось так неожиданно, что я вздрогнул. Царапая передними лапками, он карабкался вверх, пытаясь вылезти из мешка. Ощущение было такое, будто он вот-вот станет прогрызать мне брюхо.

— Странное ощущение, правда? — сказала дама у окна.

— Что?

— Вот так лететь по воздуху. Они и свернуть не успеют...

Дама боязливо глянула в окошко и с многозначительным видом пустилась рассказывать истории об авиакатастрофах. Замельтешили стюардессы с подносами и напитками. Я ухитрился просунуть руку под свитер и погладить Гамлета, но от этого он только еще сильней взбесился. Дама потянулась ко мне через пустое кресло, точно хотела взять меня за руку. Я постарался изобразить на лице спокойную улыбку, хотя Гамлет по-прежнему скребся, и становилось уже больно. Дама с горящими глазами объясняла мне, что даже если пилоты заметят друг друга на расстоянии двух километров, до столкновения все равно останется четыре секунды. Я ее не слушал — Гамлет уже кусал меня сквозь мешок.

Его острые зубы кололись больно, как иголки.

Дама выставила перед собой целую батарею самолетных бутылочек с коньяком и принялась одну за другой их опустошать.

— Я работаю в статистическом управлении,— с виноватой улыбкой проговорила она,— я знаю, что с точки зрения статистики риск минимальный, но разве от этого легче?

Потом она снова пригнулась и зажала нос. Самолет снижался — мы делали посадку в Стокгольме. Гамлет неутомимо когтил меня передними лапками. Вдруг ему удастся продырявить мешок?

В транзитном зале Арланды я заперся в уборной и вытащил Гамлета из мешка. Стоило нам приземлиться, он успокоился. Он недвижно сидел у меня на ладони, смотрел своими глазами-бусинками и дрожал, словно в лихорадке.

У меня был припасен в кармане лист салата, но он не стал его есть.

— Похоже, и тебе не по душе летать, братец,— сказал я.

Самолет заполнили шведские и французские бизнесмены, направлявшиеся в Париж. Между мной и дамой у окна уселся пропахший чесноком толстяк, который что-то долго мне рассказывал по-французски, из чего я не понял ни слова, а потом уснул. Самолет вырулил на взлетную полосу, и Гамлет сидел тихо, притаясь, словно тоже спал. С завистью взглянув на посапывающего соседа, дама зажала нос; самолет разогнался, поднялся в воздух, разорвал облака,— и Гамлет сразу же принялся за свое.

Он упорно царапал и царапал по одному и тому же месту.

Снова появились стюардессы со своими тележками. Пропахший чесноком француз безмятежно дрых, дама запаслась новой батареей бутылочек, Гамлет не унимался, и вскоре я почувствовал, что случилось неотвратимое: он, наконец, проделал дырку в мешке.

Его острые когти впились мне в кожу.

Это было очень больно.

Дама у окна выпила еще полстакана коньяка и посмотрела на меня мутным взором.

— Вам, кажется, не по себе?

И вдруг Гамлет затих.

Я не ответил. Подмышки у меня взмокли от пота. Я не решался говорить, пока Гамлет сидел тихо, но тут же я понял, почему он вдруг стих: по животу у меня тоже что-то потекло.

— Не волнуйтесь,— успокоила меня дама,— по статистике летать гораздо безопаснее, чем ездить в машине.

Гамлет опять принялся за свое. Я чувствовал, что дырка на мешке все увеличивается. Он рвал и теребил ее зубами и не переставая царапался.

Оставалось одно: я сунул руку под свитер и схватил его.

Он пришел в бешенство. Он уже наполовину вылез из мешка. Он рвал, терзал и кусался, мне пришлось очень крепко сжать его.

Боль была невыносимая.

— Смотрите, вон и Париж,— пробормотала дама, еле ворочая языком.— Эй, вы, там, внизу!

Я закрыл глаза, стиснул зубы и, сдавив хомяка в руке, прижал его к животу, чтобы он не вырвался.

— Еще капельку,— сочувственно произнесла дама.

Гамлет словно понял ее слова и стал понемногу успокаиваться. Я чувствовал, что по мере того, как зажигалось табло, щелкали ремни и дама затыкала нос, он затихает, перестает кусаться, перестает скрести меня когтями; наконец его мокрый носик уткнулся в мой живот, похоже было, он заснул.

Все время, пока я проходил паспортный и таможенный контроль (у меня, как водится, перерыли ручной багаж), пока я ехал на автобусе до Порт-Мейе, где мне посчастливилось схватить такси, пока я удивлялся, почему именно на улице Сен-Дени, где находится моя гостиница, такие автомобильные пробки,— все это время Гамлет не шевелился. Не выносит он полетов, подумал я. Сняв пропотелую окровавленную одежду, я извлек его из мешка и только тут понял, почему он внезапно стих.

Я спустил его в унитаз, промыл рану на животе и позвонил.

— Привет, папа,— сказала Лена,— ты уже прилетел?

— Да.

Я стоял у окна, на улице внизу по-прежнему было столпотворение, масса народу на тротуарах и полным-полно гудящих французских машин.

— Ты его привез?

— Конечно.

Стоявшие у подъезда женщины одна за другой исчезали вместе с каким-нибудь одиноким прохожим, и я понял причину столпотворения.

— Ты где?

— В гостинице.

— Мама говорит, что приедет за тобой на машине.

— Только не сегодня.

— Сегодня, папочка! Обязательно сегодня!

— Нет, Лена, уже поздно, и я плохо себя чувствую

— Почему?

— Меня укачало в самолете. Приду завтра утром.

Одна из женщин увидела меня в окне и приветливо помахала рукой.

«Папа,— сказала Лена,— поцелуй Гамлета в мордочку от меня!» Наутро я исхитрился найти таксиста, который не только знал английский, но, к тому же, не поднял меня на смех, а отвез на другой берег в Сен-Жермен; был прохладный ясный день, парижане сидели в кафе, набросив на плечи шубы. В тесных кварталах за «Одеоном» нашелся зоомагазин. Таксист вошел туда вслед за мной и разговорился с продавцом. К моему удивлению, тот тоже не стал смеяться, а помог мне выбрать хомяка, как можно больше похожего на Гамлета, посадил его в коробку из-под ботинок, написал на крышке «Гамлет»,— все это почти даром. В такси шофер, обернувшись, озабоченно оглядел меня, сидящего с коробкой на коленях. «Желаю удачи»,— сказал он. Парижане семенили по тротуарам, ежась и засунув руки поглубже в карманы, под мышками у них торчали газеты или батоны с добрую клюшку длиной.

«Удачи мне как раз и не хватает»,— ответил я. Ведь моя затея была обречена на провал, явно обречена на провал!

Однако Лена с восторженным воплем сорвала крышку и, схватив хомяка, прижала к груди, а я вместо облегчения почему-то почувствовал досаду и пробормотал:

— Осторожней, черт возьми!

— Что?

— Не жми его так, ему же больно!

Они жили в огромной квартире близ Елисейских полей: высоченные потолки, белые стены с узкими фризами, повсюду зеркала, диваны и кресла светлой кожи, стеклянные столики и направленное освещение — ну прямо выставка дизайна. Сусанна подстриглась и начала курить сигареты «Голуаз»; она дружески обняла меня и сказала:

— Хорошо, что ты приехал. Как тебе удалось привезти хомяка?

— Проще простого,— ответил я.

Андре был на съемках, каких-то особенных, которые можно было проводить только в выходные.

— Ну, к этому я привыкла,— засмеялась она.

На ней было нечто пастельных тонов и полуизмятое, что придавало ей сходство с девчонкой. Она насмешливо наблюдала за мной, я я почувствовал себя не в своей тарелке. Уж не забыл ли я застегнуть брюки, подумал я. Она спросила:

— Как тебе это удалось?

Тут я увидел сиамского кота, который, жеманно растянувшись в кресле, пристально наблюдал за хомяком в руках у Лены.

— Правда, он симпатичный? — спросила Лена.— Знаешь, как его зовут?

— Я поставлю кофе,— сказала Сусанна и ушла на кухню.

— Гамлет,— догадался я и сел, почувствовав смертельную усталость.

Рана на животе ныла.

— Правда, здорово, папочка? — щебетала Лена.— Теперь у меня два Гамлета.

Кот лениво поднял голову, не сводя глаз с хомяка.

Они даже не приготовили для хомяка клетку, а через несколько часов все, кроме меня, вообще забыли о нем — кроме меня и кота, который, словно бы невзначай все

время держался поблизости. К вечеру, когда вернулся Андре, я посадил хомяка в коробку из-под ботинок и поставил ее на полку в Ленином шкафу, а кот, устроившись поудобней у Лены на кровати, поглядывал то на дверцу шкафа, то на меня с какой-то усмешкой на своей вытянутой кошачьей морде. Андре был устал и рассеян. Сусанна со смехом сказала, что он совсем как я: пока идут съемки фильма, находится будто в другом месте, только бренное тело возвращается домой ночевать.

Бренное тело своего не упустит, чуть было не сказал я, но воздержался: по ней было видно, что говорить этого не стоит.

Лена свободно болтала по-французски и называла его «папа». Если верить Сусанне, они прекрасно ладили. За ужином говорила одна Лена, по-шведски и по-французски вперемешку. Я выпил порядком вина, чтобы приглушить ноющую боль в ране, потом уложил Лену спать и посидел на краю кровати, как бывало, гладя ее по щеке. В шкафу буянил в своей коробке хомяк, и кот затаился возле дверцы, насторожив уши.

Я объяснил, что хочу пройтись пешком до гостиницы и полюбоваться на ночной Париж, но уже после нескольких кварталов мне стало невмоготу. На Елисейских полях я нашел американскую аптеку, где американским было только название. Я довольно-таки неплохо владею пантомимой, но изобразить мимикой дезинфицирующий раствор — выше моих возможностей. Я взял такси, и меня чуть не укусил терьер, лежавший на полу у переднего сиденья, где мне, по-видимому, сидеть не полагалось. Шофер помрачнел и всю дорогу до гостиницы бурчал что-то себе под нос. За неимением лучшего, я промыл рану виски, отчего стало так больно, что я долго не мог прийти в себя. Ближе к ночи на улице появилась вчерашняя барышня. Она снова помахала мне и улыбнулась, как старому знакомому. Она немножко говорила по-английски. Когда мы поднялись в мой номер, она предложила мне раздеться, если я хочу, но я предпочел остаться в рубашке.

На следующий день я пошел с Леной гулять по городу. Мы отправились в кафе, где она уверенно заказала какао со взбитыми сливками и две огромные вафли с вареньем, которые я не одолел: я все еще чувствовал себя неважно, хотя извел на промывку раны почти все виски. Лена пребывала в прострации, молчала и как бы отсутствовала; она доела мою вафлю и потащила меня на детскую площадку, и до прихода Сусанны мы с ней играли в нашу старинную игру с качелями, эта игра ей никогда не надоедала.

У Сусанны тоже был задумчивый вид. Пока Лена качалась, мы сели на скамейку, и Сусанна спросила:

— Она тебе рассказала про хомяка?

— Нет, а что?

Сусанна не ответила.

— Кот его сожрал?

Она кивнула.

— Я не виновата,— бросила она отрывисто,— у меня нет глаз на затылке!

— А что Лена? Она огорчилась?

— Не из-за хомяка. Но она переживала, что скажешь ты.

Лена перестала раскачиваться и внимательно смотрела на нас, как будто ей было слышно каждое слово.

— Ну, и что я, по-твоему, должен сказать?

— Ничего,— ответила Сусанна.— По-моему, об этом вообще больше не надо говорить.

Я промолчал.

— Пойми ее,— настаивала Сусанна,— она очень привязана к коту. А хомяка она давно забыла, я же говорила тебе.

Сусанна предложила отвезти меня в гостиницу, но я отказался под предлогом, что поеду прямо в аэропорт. Лена забралась на заднее сиденье маленького «рено», и они тронулись. Метров через десять они затормозили у красного сигнала светофора. Начинался дождь, Сусанна включила задний дворник, словно махая им на прощание. Лена прижалась лицом к стеклу. Я помахал рукой и улыбнулся, как бы давая ей понять, что Сусанна права: разве может хомяк сравниться с котом?

Прошла целая вечность, пока зажегся зеленый свет и они исчезли за углом.

В понедельник мне пришлось показать рану врачу, и я опоздал на репетицию, отчего должен был выслушать все обычные колкости в свой адрес: извини, мол, что начали без тебя. Решил-таки осчастливить нас визитом, ненадолго, на французский манер? Ты не возражаешь, что мы работаем по финскому, а не по французскому времени? Сигге включил в расписание третью картину, где Стине надлежало пять раз прогнать меня вокруг сцены, а мне — налетать на мебель, спотыкаться о ковер и под конец получить от нее пощечину. Стина всю душу вложила в этот эпизод, особенно в пощечину, но Сигге заметил, что я играю вполсилы, и наорал на меня, а когда не помогло и это, забеспокоился, выгнал всех на перерыв и, подойдя ко мне, спросил:

— Что с тобой?

— Ничего,— ответил я.

Харон

Стоя в каюте и накачивая морскую воду в посудомойку, она услышала голос мужа, донесшийся с палубы: «Кого это еще черт принес?». Электронасос, как всегда, еле качал, она нагнулась, чтобы подкачать вручную и услыхала реплику сына: «Ну и корыто!» Выпрямившись и с удивлением отметив, как сильно у нее колотится сердце, она выглянула из каюты и увидела странное судно, медленно плывшее по узкому проливу в гавань.

Это была яхта удлиненной формы, мореного до черноты дерева, с симметричными, как у парома, заостренными носом и кормой. Каюта была низенькая и без окон. Паруса безжизненно повисли — старые серые холщовые паруса без эмблем и надписей. Капитан греб плавными, уверенными движениями.

На крыше рубки сидел большой черный пес.

— Мать, кинь бинокль,— попросил сын.

— Некрасиво смотреть на людей а бинокль,— сказал муж не слишком строго и минуты через две спросил:

— Название видишь?

Сын покачал головой:

— И клубного флажка на ней нет!

— Хоть бы кто-нибудь объяснил ему, что эта гавань только для членов клуба, досадливо проговорил муж.

Она поднесла к глазам бинокль. Пес был крупный, с овчарку. Он застыл на крыше рубки с опущенной головой, будто задумавшись. Торс капитана раскачивался взад-вперед в такт взмахам весел. В тени паруса лицо его было темным, почти черным. Он греб, не обращая внимания ни на что вокруг. Длинные весла в его руках казались невесомыми. Он был совершенно лыс.

— Послушайте,— сказал муж,— даже если он член клуба, уж очень много он себе позволяет.

Тут капитан повернул голову. В бинокль она видела, как его огромные и какие-то очень светлые глаза безошибочно нашли ее и остановились на ней.

Она опустила бинокль. Почувствовала, что краснеет, словно школьница, и что сердце по-прежнему громко колотится в груди.

Вечером в гости наведался вице-президент яхт-клуба со своей новой женой. Новая жена была по крайней мере на двадцать лет моложе старой и выглядела соответствующе.

— Посмотрите,— пожаловалась она, демонстрируя ладони,— у меня все руки красные от этих веревок...

— Шкотов,— поправил вице-президент.

Новая жена хихикнула:

— Знаете, что он мне вчера сказал? «Трави кошку».

— Ну, что будем делать с этим? — спросил вице-президент, уводя разговор в сторону, и указал на темное судно, стоявшее на якоре посреди гавани.

— Знаете,— сказала новая жена,— этот тип проплыл прямо у нас за хвостом...

— За кормой,— терпеливо поправил вице-президент.

— Ну, кормой, а мы валялись пагишом в кровати и как раз собирались...

— В койке,— решительно оборвал вице-президент, начиная злиться от их улыбок, и повернулся к ней:

— Не иначе, это кто-нибудь из твоих избирателей.

Но она не обращала внимания на подобные шпильки. Она привыкла к ним.

— Надо бы его прогнать,— сказал вице-президент.

Муж кивнул.

И вдруг, словно услыхав это, капитан выглянул из каюты, бросил взгляд на них. Потом снова скрылся в каюте.

Некоторое время все молчали. Становилось свежо и сыро. Она поежилась.

— У тебя есть ялик,— сказал муж.

— Да ну его,— отозвался вице-президент,— с такими одиночками лучше не связываться... А впрочем, бери ялик и гонись за ним сам.

Она стала убирать бокалы и бутылки. Не очень-то это любезно, но наплевать. Она почему-то устала, ей надоела их пустая болтовня.

Я перегрелась на солнце, подумала она.

Ночью она проснулась от страха. Каюту наполняла тьма и мертвенная тишина, а сзади, казалось, стоял кто-то чужой и, как в детстве, протягивал к ней руки, чтобы схватить за горло. Она резко села.

Ни тьмы, ни тишины; сквозь сетку на окне, защищающую от комаров, светила луна, а сын и муж громко храпели.

Она вышла на палубу. Вокруг были безмолвие и гладь. Яхты стояли ровными рядами, повернутые носами к берегу, и постукивали борт о борт, словно беседуя. Вице-президент забыл спустить флаг. Она усмехнулась, представив себе, как стыдно ему будет утром и как его новая жена станет допытываться, что это значит...

А в самом деле — что?

Она вздохнула. Так бывало с ней всегда к концу отпуска: тяжесть на душе, непонятная тоска, будто вся жизнь состоит из бессмысленных событий, которые объединяет только одно: всем им приходит конец.

Вот и ее срок в парламенте подходит к концу. Скоро завертится этот неуклюжий механизм: все эти переговоры с представителями общественности, фамилии которых она никогда не может запомнить, все эти встречи с избирателями, этот бесконечный кофе... Ей досталась комиссия по энергетике: все проблемы, не касающиеся политики, дельцы из правления сваливали на нее. А ей было все равно. Что так, что эдак...

Ее избирателям тоже, как правило, было все равно.

Посреди гавани стояло на якоре темное судно. Рядом с белоснежными пластиковыми корпусами оно смахивало на музейный экспонат. Пес лежал на крыше рубки. Ей был виден лишь силуэт остроухой головы. От темного судна к ее яхте тянулась лунная дорожка. В водной ряби виднелось отражение пса, оно дрожало, разбивалось на осколки, отчего начинало казаться, будто у собаки три головы.

Она проснулась около восьми утра, за несколько минут до того, как по радио сообщили прогноз погоды, проснулась в непонятной тревоге, мучительно думая, потонул темный парусник или нет.

Ее это каждый раз злило, хотя пора бы ей было свыкнуться: тонущие корабли снились ей с тех пор, как она еще ребенком опрокинулась в легкой парусной лодке и чуть не утонула. Она отчетливо помнила, как вода хлынула в легкие, помнила усталость, переходящую в ощущение полного безмятежного покоя. Она никому не рассказывала об этом. Это была ее тайна, которая не касалась никого, тем более не касалась она этой проклятой посудины, самовольно вторгшейся в гавань.

Потом до нее донесся плеск весел. Уходят, с облегчением подумала она, приподняла сетку от комаров, открыла иллюминатор и высунула голову; ей хотелось с ребяческим озорством показать им длинный нос. Но она ошиблась: плеск был — от рыбацкой лодки, проплывавшей за кормой.

Она спросила, нет ли у рыбака камбалы на продажу. Рыбак кивком головы указал на темное судно.

— Все, что было, купил вон тот.

— Нахал,— разозлилась она.

Пес переместился на корму, на место рулевого, и устремил немигающие глаза вперед.

— Эй,—крикнула она, стараясь не обращать внимания, что сердце опять бешено заколотилось в груди.

Люк рубки медленно откинулся, и показалась голова капитана. Он не спеша выбрался в кокпит и уселся возле пса.

Он смотрел на нее в упор.

— Куда вам столько камбалы?

Человек неподвижно сидел рядом с собакой. Он не отвечал. От его лысого черепа отсвечивало солнце. Он смотрел на нее окаменевшими глазами.

— Неразговорчивый тип,— заключил рыбак, уплывая восвояси.

Капитан трижды кивнул.

И вдруг настил у нее под ногами заходил ходуном, будто в сильный шторм. Она села; схлебывая ртом воздух. Тело ее застыло, точно скованное, сердце отстукивало с перебоями, как старый двухтактный двигатель; тони же, беспомощно думала она, тони, черт бы тебя побрал! Она закрыла глаза и представила себе табло с результатами голосования: 199 — за, один отсутствует, а где-то сзади председатель палаты монотонно повторяет: «Потонул ли темный парусник?»

— Что с тобой, мать?

Из каюты высунулось заспанное лицо сына.

— А что?

— Это ты звала на помощь?

Капитан темного судна посмотрел на нее и снова кивнул, будто подтвердив их тайный сговор.

— Глупости,— сказала она.— Одевайся, нам пора.

Пока они с мужем разбирали паруса, сын готовил завтрак. Она не стала объяснять, отчего вдруг такая спешка. Она привыкла распоряжаться, да и сколько-нибудь подходящего объяснения придумать не могла. Пес с капитаном скрылись в каюте. Торопливо закрепляя большой фок, она бросала беспокойные взгляды на гавань, будто торопилась сняться с якоря и исчезнуть, пока они не появились вновь. Высунувшись из каюты, сонный вице-президент спросил, где они собираются причалить на следующую ночь. Муж ответил уклончиво, ну да Бог с ним, ее никогда не волновало, что все их знакомые уверены, будто на борту верховодит он. Потом вице-президент увидел неспущенный флаг и выругался. «Куда это ты так спешил вчера вечером?» — дружелюбно поддел муж, и вице-президент смерил его свирепым взглядом, но тут на глаза ему попалось темное судно, и он завел пространный монолог о клубных гаванях и незаконном вторжении в частные воды. «Не лезь в бутылку»,— оборвала она его неожиданно резко, и тут появилась новая жена, почти в чем мать родила, ворча: «Эти белые веревки мешают прыгать в море», и вице-президент, заорав: «Не веревки, а тросы, черт побери!» — поспешно затолкал ее обратно в каюту.

Сын поднял носовой якорь, муж взялся за руль — руль ему можно было доверить при несложных маневрах в гавани. Она подняла паруса. Яхта быстро набрала скорость и проскользнула мимо темного судна. Стоя с наветренной стороны, она на мгновение смогла заглянуть в чужую каюту.

Он смотрел на нее.

У него было грубое угловатое лицо с двумя глубокими морщинами от носа до уголков рта. В его облике было что-то мучительно знакомое, настолько знакомое, что она едва не поздоровалась с ним, хотя была уверена, что видит его впервые.

Его глаза по-кошачьи светились из темноты каюты.

Она поспешно отвернулась и ушла на корму.

— Подтяни грот, черт возьми,— сказала она мужу.

Потом она сама взяла руль. Ветер крепчал. Она вела яхту с резкими поворотами, мужчинам досталось повкалывать. Сменить передний парус она не разрешила, хотя фон тянул оснастку так, что шкоты и лебедки стонали. Пришлось им зарифить грот и лазить по круто наклоненной палубе, как мартышкам. Она вела яхту отлично, набирала максимальную скорость, наслаждалась, обгоняя другие парусники, не надевала штормовку, несмотря на то, что волны с наветренной стороны перехлестывали через палубу. Она шла, как на гонках, хотя обгонять им было совершенно некого.

К причалу возле магазина они дошли всего за три с половиной часа.

Собрав пакеты с мусором и пустые бутылки, она сошла на берег. Как всегда, ее узнали. Неважно, к этому она привыкла. Хозяин лавочки завел разговор о строительстве моста, полагая, что она в курсе дела, поскольку, как он говорил, она в свое время подписывала финансовый проект на рассмотрение парламента. Пришлось отделаться фразой насчет законных требований местного населения с одной стороны и интересами экологии с другой, при этом она не забывала методично набирать в корзину продукты; стремление делать по меньшей мере два дела сразу составляло основу ее политической жизни, к тому же она всегда торопилась. У кассы она узнала одного из членов местной партийной группы, который с ней демонстративно не поздоровался. К этому она тоже привыкла. Взяв пакеты, она поспешила на яхту, где муж и сын уже принялись за обед.

Она обозлилась, кажется, ведь объяснила им, что надо немедленно плыть дальше!

Раздраженная, она поднялась на борт и, не дойдя до левой ванты, внезапно остановилась, грохнула пакеты о палубу и что было силы, словно боясь свалиться за борт, ухватилась за штаг; ее прошиб пот, и она услышала голос сына:

— Гляди, отец!

Она смотрела на дно, где неторопливо колыхались водоросли, словно передавая ей тайное послание.

— Что ни говори,— сказал муж,— а эти старые лоханки ходят неплохо.

Водоросли продолжали колыхаться, будто заговорщически подмигивая ей.

Судно держало курс на восток. Серые холщовые паруса несли его с поразительной скоростью. Пес и капитан — оба сидели на корме, пес с наветренной стороны, капитан с подветренной. Судно прошло так близко от причала, что она ясно услышала плеск воды о нос и увидела светлые глаза капитана, когда он медленно повернул голову в сторону берега и уставился а нее взглядом.

Остаток дня яхтой пришлось управлять мужчинам. Первым делом они подняли малый фок. Впрочем, теперь это уже не имело значения. Сама она до вечера не выходила на палубу. Она неторопливо распаковывала продукты и рассовывала их по местам; просидела с консервной банкой в руке, недоуменно разглядывая ее: говядина и свинина в собственном соку, пряности, соль, специи, всякие приправы — столько обработки, столько труда, столько усилий затрачивается для того, чтобы на несколько часов продлить жизнь нескольким людям.

Она прилегла на койку у подветренного борта. Потом в каюту спустился сын.

— Где ночевать будем, мать?

— На Серой шхере,— ответила она.

— О'кей,— сказал сын,— там хоть никто мешать не будет.

Она покачала головой.

— Зря надеешься.

— Мать,— удивился сын,— что это с тобой?

Он стоял перед ней с озабоченным видом — одетый в штормовку, долговязый парень, с непомерно длинными руками и ногами и огромной лохматой головой, которой он то и дело задевал потолок. Сколько раз я уже его теряла, подумалось ей, не успеешь родить детей, как начинаешь их терять. Сын смотрел на нее, нахмурив брови, и ей представилось, как он стареет, как на его лице углубляются морщины, как редеют волосы и горбится спина; словно она на миг заглянула в далекое будущее.

— А у тебя еще так много впереди,— сказала она.

Она увидела, что он ничего не понял и испугался.

— Иди займись парусами,— велела она,— дай мне немного отдохнуть.

Она слышала привычные звуки: скрип шкотов, стон лебедок, стук фала о мачту. Сын стоял у руля. Она чувствовала, как ловко он справляется с волнами, вверх на гребень и снова вниз, он вел яхту лучше, чем отец. Время от времени она различала их силуэты на кокпите, где они вдвоем управляли яхтой. С ними все будет в порядке, рассеянно подумала она. От ритмичного покачивания яхты ее клонило в сон. Придется им вызвать заместителя, кто бы это ни был, подумала она и заснула.

Она проснулась от того, что муж громыхал кастрюлей с картошкой.

Она села на койке и уставилась на него широко раскрытыми глазами, словно не узнавая.

— Где мы?

— На Серой шхере, где же еще?

Она свесила ноги с койки, встала на настил и посмотрела на свои ноги: одна правая, другая — левая, в темно-синих спортивных туфлях; две ноги на настиле в яхте, муж варит картошку, сын укладывает парус в носовой части...

Придется решать эту головоломку по частям.

Она была так далеко...

— Как ты себя чувствуешь?

Она встряхнула головой:

— Я, кажется, задремала...

Муж рассмеялся.

— Мягко говоря.

Она сидела, понурившись.

— А этот не появлялся?

Муж посморел на нее с недоумением.

— Откуда ему знать, где мы?

Он решил, что она имеет в виду вице-президента. Ну и пусть.

Она вышла из каюты: вот руль, чтобы править яхтой, вот гик, но не все сразу, по очереди, одно за другим; они должны натянуть трос, но какое это имеет значение.

В заливе они были одни.

— Мне надо размяться,— сказала она и спрыгнула на берег, забралась на вершину островка и уселась там, глядя на запад, в сторону проливов между островками.

Ветер стих. Закатное солнце освещало красные вершины шхер.

Как много островков, подумалось ей, и всем им без меня будет хорошо, это уж наверняка.

И тут между двух островков она увидела его. Вечерний бриз раздувал серые паруса, темное судно с поразительной скоростью неслось к Серой шхере.

Когда оно входило в бухту, она увидела, как капитан обернулся в сторону горушки, где она сидела.

Целый вечер ни пес, ни капитан не показывались из каюты.

— Черт возьми, неужели на всем архипелаге нет другого места, кроме как у нас за кормой,— возмущался муж, да так громко, что крик разносился над водой. Она молчала. Машинально отправляла в рот куски еды, говядины и свинины в собственном соку, жевала, глотала с удивленным выражением лица, словно недоумевая, зачем это нужно.

Сын рассмеялся.

— Мать продумывает избирательную кампанию,— сказал он.

После ужина мужчины спустились в каюту чинить испорченный насос.

— Вымой посуду на берегу,— предложил муж.

Она уложила вилки и тарелки в пластмассовый таз и поставила их полоскаться в легком прибое у береговых камней. Одна тарелка всплыла на поверхность и, медленно покачиваясь на волнах, поплыла прочь. Она не стала ее ловить, неподвижно сидела, провожая тарелку взглядом. Тарелка плыла по волнам, как маленькое корытце, все удаляясь от берега и держа твердый курс, точно управляемая чьей-то рукой. Наконец, она достигла цели. Стукнувшись о борт темного судна, тарелка пошла ко дну.

На юге, над низким сосновым лесом поднималась луна.

Капитан вышел из каюты. На нем был черный аквалангистский костюм. Он бесшумно перелез через борт, соскользнул в воду и поплыл к берегу.

Слышно было, как в каюте муж с сыном проклинают заржавевшие болты. Осторожно поставив таз с посудой на палубу, она ушла.

Он сидел на корточках на полянке и ел бруснику.

Как можно тише она подошла к нему и остановилась у него за спиной, выжидая. Черный костюм блестел в лунном свете.

— Вот и я,— чуть слышно произнесла она.

Он не ответил. Не обернулся. Продолжал жадно есть, сгребая кустики в кулак. Она не знала, куда себя деть. Она тоже села на корточки и положила в рот ягодку. Брусника оказалась на редкость сладкой и вкусной. Входя в раж, она стала собирать обеими руками, яростно рвать ягоды, прожорливо, как он, запихивать их в рот, и вдруг ее сильно ударили по плечу, так, что она упала навзничь в заросли брусники.

Он стоял над ней. Светившая сзади луна очерчивала его темную фигуру белым контуром. Лицо было в тени, она различала лишь глаза, светившиеся, как две матовые лампочки.

Она тихо застонала и свернулась в клубок, будто новорожденный младенец.

Но он повернулся к ней спиной и, снова присев на корточки, продолжал есть.

— Поговори со мной,— жалобно попросила она,— ведь я ничего не знаю о тебе.

Он не отвечал.

Собравшись с духом, она подошла и положила руку ему на плечо.

От костюма веяло холодом.

Резким, грубым движением он сбросил ее руку.

В ту же минуту послышался отрывистый лай.

Он прислушался. Встал и повернулся к ней.

— Помоги мне,— тихо произнесла она.

Но он лишь смотрел на нее. Она силилась рассмотреть на его лице хоть какое-то выражение, что-нибудь привычное, насмешку или сострадание, сочувствие или презрение, гнев или утешение — хоть какое-нибудь человеческое чувство. Но на лице не выражалось ничего. Ни вопросов, ни ответов. Просто лицо, одновременно юное и старое, чужое и знакомое, и два пустых светлых глаза, которые словно сверлили ее насквозь.

Из бухты снова донесся собачий лай.

Он повернулся, быстрыми бесшумными шагами направился к лесу и исчез.

И она увидела, что брусника у ее ног пожухла и сникла, будто прихваченная морозом.

Сын уже лег спать. Муж сидел в кокпите, потягивая грог.

— Где ты была?

Пес с опущенной головой замер на крыше рубки.

— Гуляла.

— Долговато.

Она промолчала.

— Насос в порядке.

— Насос?

— Ну да, насос для морской воды. Возни с ним было до черта.

Капитан не показывался.
— Плохое настроение?
Она кивнула.
— Хочешь поговорить?
Она не ответила. Муж вздохнул.
— Темные стали вечера,— заметил он.
— Странный пес,— отозвалась она.
Муж удивленно посмотрел на нее.
— Какой еще пес?

Около полуночи, когда муж заснул, она встала с постели. Сын уронил подушку на настил. Она подняла подушку и осторожно подсунула ему под голову.
Потом тихо, чтобы не разбудить их, вылезла наружу. Конечно, они все равно бы не могли ничего поделать. Но она не хотела, чтобы ей мешали.
Пусть до поры до времени поспят.
Луна светила ясным холодным светом. Пес на крыше рубки приподнял голову и смотрел вперед, точно указывая путь.
Капитан приготовил длинные весла и ждал. Блики луны отражались а его лысине, и он трижды кивнул ей.
Она принялась снимать одежду, вещь за вещью, пока не разделась догола. Ей не хотелось останавливаться, хотелось снять волосы, кожу, лицо. Но она знала, что самой ей с этим не справиться.
Она трижды кивнула в ответ.
Потом перебралась через борт, медленно погрузилась в прохладную воду и поплыла к темному паруснику.

Наутро на корме нашли ее одежду. Темное судно исчезло.
Тело искали много дней, но безрезультатно.
Поиски темного парусника тоже были тщетны. Никто не видел, как он покинул Серую шхеру, никто понятия не имел, куда он делся.
В конце концов, все решили, что он приходил из дальних стран и теперь вернулся туда.

Перевела со шведского
Мария НИКОЛАЕВА

Леена КРООН

Язык — третий глаз

В зеркале я вижу два глаза. Третий увидеть невозможно потому что он невидимый. Но он существует — такой же, как у всех в этом городе. У человека не бинокулярное, а триокулярное зрение. Его третий глаз — язык.
Не знаю, делает ли он ваш взгляд более ясным и зорким, помогает ли заглянуть дальше?
Скорее наоборот: он вводит в заблуждение. Мы словно верим в чудо: «То, что я скажу тебе трижды,— правда».
Да и как можно не верить? Мы живем в доме из слов, слово — наш покров, наша защита, наша вторая кожа. Мы едим и пьем слова. Они прикрывают щитом необъяснимое, отделяют нас от бесконечности.
Сочинитель любит слова, но у него нелегкая задача — показать их коварство. Работа поэта — средствами языка разорвать его защитный покров. Поэту не скрыться за своими словами. Как и все, он во власти тирании действительности.

Леена КРООН родилась в 1947 г. в Хельсинки. Дебютировала как детская писательница; в произведениях для взрослых обращается к жанру «фантасмагории» и «абсурдистской» прозы.

Вот я и произнесла это слово — «действительность». Мне, писателю, следовало бы различать действительное и вымышленное. Но уже произнося это, я испытываю неловкость. Возможно ли провести эту границу? Говорят, что я сочиняю вымыслы, но это не так. Я считаю, что пишу о реальных вещах, таких удивительных, что их нельзя выдумать.
Похожее на вымысел оказывается реальным. А то, что мы привыкли считать реальным? Наверняка почти все это — вымысел. Учреждения и государства, валюты и облигации, законы и постановления — все это тени нашего воображения, отражения отражений, чистейший, тончайший вымысел. По сравнению с ними летящая по небу дымка облаков, воспоминания, страсти и даже сны гораздо более реальны.
Все, что люди придумали для себя и назвали правдой,— действительность второго порядка, метадействительность, действительность по договору. Без нее мы подобны одиноким животным. С действительностью первого порядка — временем, плотью, любовью и смертью — не затеешь игры и не заключишь договора. То, что зовут искусством, поэзией, свободно, как челнок у проворной ткачихи, скользит из одной действительности в другую. Может быть, их и не две? Кто знает их число, степени и порядки, длительность и границы?
Что могут они — действительность слов, искусство, поэзия? От них столь многого ждут: утешения, надежды, бессмертия. В нас живет слепая неистребимая вера: слово спасет наши тела и души. Как мы жаждем вернуться к абсолютному слову, которое было до нас, до всего сущего.
Но поэзия — не спасательный круг. Она — рот, рвущийся в крике от нашего голода и жажды, которых не заглушишь едой и питьем. Ничто не угасит этот огонь — даже дружба и счастливая любовь.
Что-то, коснувшись нас, проносится мимо, не уследить — куда. Мы видим лишь движение, не зная цели.
Поэзия рождается из ущербности и ложного понимания, из никогда не затухающего разногласия между действительностью и ее окружением. Всепонимание безмолвно, как смерть, поэтому каждый поэт умоляет: «Не понимайте все слишком быстро и окончательно».
Вне человека все в мире лишено значения. Все значения — дело рук человека. Право творить и выбирать их перешло к нам по наследству. В этом действе больше магии, чем в попытках алхимиков получить золото из простейших элементов.
В ушах человека — раба языка и праха — постоянно звучит гул колеса времени подобно тому, как не смолкает колесо обозрения в парке аттракционов в Тайнароне. Этот гул печалит нас. Но он же пробуждает в нас силы и энергию так же, как искусство, любовь, жажда знаний. Вечно звучит в человеке гул огромного колеса — голос крови, голос воды, голос одиночества.

«Я пишу, потому что моих стихов не понимают». В этом один из бесчисленных мотивов творчества.
Настоящее стихотворение никогда не объяснить полностью, до конца, потому что конца у него нет. Оно всего лишь разрыв, сквозь который порой удается не только заглянуть в мир людей, но и различить основы мироздания.
Стихотворение живет потому, что мы понимаем его неполно или неправильно. Ибо надо помнить, что и неправильное понимание — необходимо. Об этом писал Юрий Лотман. Понимание — даже мнимое — несет немоту. Не возникнет никакого разговора — он не нужен, если все ясно. Слова приходят, когда без них не обойтись, из ущербности и беды. Их плод завязывается в непримиримых противоречиях. Так же рождаются и стихи.
Литература — это особый уровень общения, особый строй с присущими только ему чертами. Она не похожа на обычное общение — это письма без ответа.
«This is my letter to the world that never wrote to me» [1],— писала Эмили Диккинсон. Но в каждой книге, в каждом стихотворении заключен вопрос. Сам автор не успеет получить ответа,— его, возможно, получит произведение, если в нем есть хоть малейший смысл. Этот ответ обычно выражен не в словах, но в тонких неуловимых изменениях в сознании некоторых людей, бросающих вокруг них легчайшие отсветы.
Небольшое произведение может пронизить лучами света и прошлое и будущее. С этого начинается его действие, и оно длится лишь потому, что мы никогда не поймем окончательно, где его источник.
Я считаю поэзию жизненным соком литературы, расплавленным пылающим ядром, вокруг которого конденсируются элементы времени, места и национальности. Но само ядро включает в себя только человеческое сознание. Я называю поэзией ту часть лите-

[1] Это мое письмо миру, который никогда не писал мне *(англ.)*.

ратуры, которую нельзя выразить ни в какой другой форме. Она не бросается в глаза, поэтому мимо нее проходят, не замечая. Она держится в стороне, чтобы ее могли найти.

Поэзия узнаваема. Ее главный признак — не внешний вид и не тема, не форма и не содержание, не красота и не правдивость. Поэзию узнаешь по ее полнейшей необязательности. Таким же ненужным было движение руки, когда она выводила изгиб спины бизона на стене Альтамирской пещеры. Поэзия пришла последней. Если ее не будет, все останется на своих местах — хлеб, страсти и сны, но это будет только видимость, так как верхняя почка окажется срезанной.

Поэзия движется там, где скрещиваются бесчисленные значения слов. Мы находим ее в точках пересечений, которые разрываются в нашем сознании.

Я вспоминаю «В первом круге» Олофа Лагеркранца. Он писал о языке поэзии: «Я представил себе клубок слов поэта. Беру одно слово большим и указательным пальцами, чтобы отделить его от остальных. Но оно держится прочно, словно росток, укоренившийся в земле. Корни не отпускают, а если и оторвутся, то сочатся кровью, как таинственный корень альрауна, открывавший дорогу в подземное царство».

Жесткий свет действительности расщепляется в призме стиха на цвета радости и свободы, расцветает павлиньим хвостом. Реальность языка живет в стихотворении трепетом, потоком, переливами, бесконечными соединениями и разрывами. Энергия стиха освободилась от той непримиримости, которая всегда остается между единичным и общим, между сознанием и его окружением.

Каждое слово в стихотворении окружает аура интерпретаций. Пожалуй, именно это облако с размытыми границами и есть живое слово. Оно дышит, разливая вокруг легкую дымку своего значения.

В строке Бьорлинга «Я видел светло-желтые сливы» сила каждого из четырех слов сравнима с потрясением. Здесь все равноценно — и сам зритель и видимое им, сливы и их цвет. В них самый сокровенный миг стихотворения — редкий миг чистого переживания, когда человек действительно видит, торжествуя. Бьорлинг пишет о доступном ареалу, весьма прозаическом, совершенно вневременном переживании. Увидеть нечто, что действительно существует, независимо от нас, по ту сторону наших забот и страхов, нечто, у чего есть форма, цвет и запах. Увидеть благородство плоти и чудо в зрелости слив.

Когда читаем у Сапфо: «Поет моя божественная лира»,— лира на самом деле звучит, она звучит и резонирует именно в этот момент. Вот как долго может длиться колебание струны, которой коснулись пальцы две тысячи лет назад. Говорят, что это отрывок, фрагмент. Таково и каждое стихотворение, каждая книга. Вся поэзия — это фрагмент мира свободы, в котором есть место не только законам, причинам и следствиям, рождению и смерти.

Перевела с финского
Л. АФОНИНА

Роза ЛИКСОМ

Забытые мгновения

Надо бы затащить драндулет в сарай, пока мать не разоралась. Проклятая развалина, на ней даже девок уже не повозишь по деревне, масло прямо в жопу каплет. Хорошо, что хоть заводится, могу газануть, если захочу. Это как-то успокаивает, когда проедешься и растрясешься, особенно когда на поворотах крутанешь как следует, не

Роза ЛИКСОМ (псевдоним) — ведущая представительница «молодой» финской прозы. Работает, в основном, в авангардистском жанре. Произведения Р. Ликсом основаны как на сугубо национальном материале, так и на впечатлениях, полученных во время длительного пребывания за границей, в том числе и в Москве. Автор повестей «Промежуточная станция „Гагарин"» (1987), «Го Москва Го» (1988) и др.

жалея — тогда легче. Теперь я с тем пугалом на людях уже не показываюсь, ну, а на лесной дороге можно, там никто глаза не пилит и не перешептывается. В деревне, ясно, удивляются, чего я там, в лесу, не видал. Начал с ружьем ездить, будто на охоту. Это чтобы деревенских и мать обмануть. Куда к черту стрелять, никогда я не стрелял и в цель не попадаю, разрешения на охоту тоже нет. Да ведь чем-то надо себя занять, как отец всегда говорит.

А ведь уже поздняя осень и впереди длинная зима. Надо до первого снега решить, брать мне ее или нет. Пару недель могу еще протянуть, пока она не «взорвется». Честно-то говоря, крыть нечем. Надо брать, если собираюсь здесь оставаться — а куда же я еще денусь, устроиться ведь негде. Только и буду болтаться по чужим местам, как идиот.

Когда все это решилось, я как раз чинил выхлопную трубу около сарая, как обычно. Хаарала заехал с ней прямо на двор. У меня глаза на лоб полезли, понял: что-то тут не так. Он уехал, а девчонка пошла прямо ко мне. Я продолжаю возиться с трубой как ни в чем не бывало. Она встала дура-дурой, глаза пялит и молчит. Я обозлился: какого черта, что ей тут надо на хуторе, чего приехала и уставилась.

— Тебе ведь уже рассказали,— начала она.

— А как же, конечно... Ч-черт, а зачем ты раззвонила по всей деревне?

Она заплакала. Я продолжал работать и второпях испортил резьбу на гайке.

— Когда пойдешь в больницу? — спросил я совсем нормальным голосом.

Она долго всхлипывала, прежде чем ответить.

— Никуда я не пойду. Оставлю ребенка. Рону и все — и пусть в деревне не ругают, не обзываются за спиной.

Мать моя!.. когда она это из себя выдавила, я уронил гаечный ключ и впервые как следует посмотрел на нее. Я ушам своим не поверил. Тупо смотрел на ее заплаканные глаза — и наконец до меня дошло, что она это всерьез.

— Ты что, совсем спятила?! — заорал я на нее.

— Может и так, только ребенок будет, возьмешь ты меня или бросишь,— прошептала она и нерешительно направилась к дому.

Я остался стоять у входа в сарай с комком в горле. И по-идиотски разревелся, в первый раз за двенадцать лет. Я понял, это конец. Все было не так, как надо. Никакой жены и ребенка я совсем не хотел. Хотел пожить как все, попробовать и с другими девчонками, и погулять как следует в своей молодой жизни. А молодость взяла и кончилась, чуть побольше года был ее срок.

Все казалось таким невероятным и несправедливым. Прошлым летом я начал ходить на танцы каждую субботу. Брательник научил танцевать. Танцы я люблю, и с мотороллером возиться тоже. Так и шло, танцы и еще кое-что. И вот стою и реву, взрослый парень, в голове все перемешалось, не знаю, что теперь будет, что придумать. Мать вышла из хлева и увидала меня.

— Чем реветь, лучше бы вовремя резинку натянул,— сказала она холодно, не глядя на меня.

Стыд и ненависть поднялись во мне, а девчонку я в тот момент готов был убить: это она во всем виновата.

Я залез на чердак и не выходил до утра. Пробовал собраться с мыслями, но ничего не получалось.

К утру задремал на пару часов, а когда проснулся, солнце из окна светило прямо на постель. Она ушла домой еще вечером. А у нас с отцом с самого утра началось представление.

Теперь я постепенно смирился с этой мыслью. Зимой пойду на лесоповал с бригадой Хааралы, да и она будет выглядеть по-человечески, когда выжмет из себя довесок. Жениться не стану, пока она снова не войдет в норму, в свою весовую категорию. Может, и можно жить с женой и ребенком. Они договорились, что она переедет сюда к нам и займет с детенышем боковушку. Ей у себя дома оставаться нельзя, там не желают считаться с ее положением. Они-то рассчитывали, что она кончит школу и найдет подходящего мужа. А и для них автрогон и все.

Говорить больше не о чем — только бы разрешили мне спать на чердаке, чтобы рядом с ней не ложиться.

Рай открытых дорог

Мы поженились четырнадцатого ноября, а к концу месяца все уже было капут. Если честно, в браке я состояла ровно на две недели дольше, чем надо. Я его и в глаза никогда не видала до того вечера, когда мы с девчонками с работы сидели в кабаке

«Пампам» за пивом, а он вошел, и я его засекла. Этот фрайер будет мой. К концу вечера я подошла к его столику и говорю: давай, что ли. Мы отправились на мою хату трахаться, и после я не могла заставить его смыться. Этот засранец вцепился в меня с той ночи, просто приклеился к постели. Остался спать, когда я пошла на работу, прихожу домой, а он все лежит, только теперь жопой кверху. На работу не пошел, и в магазин не сходил, и даже, сволочь, мусор не вынес. Я все это проглотила потому, что он как-то понравился мне, во всяком случае в постели, то есть когда не был в бесчувственном состоянии. А через неделю он говорит «давай поженимся», и я согласилась, потому что ноябрь и сволочная погода, и все фронты замерзли, включая «Пампам». Хорошо, думаю, погуляем с девчонками, какая разница, что за мужик, я выхожу замуж и баста. Свадьбу справляли в «Савое», я в белом платье, получили подарки, напились вдрызг, обхохотались и к концу все совсем обалдели. Потом настали будни, а этот зараза только решает кроссворды и воздух портит. Я бы и это проглотила, да только уже через неделю он начал ныть про свое тяжелое детство и сволочную молодость, и что никто его не любит, и что ему жить надоело. Я, черт побери, слушала этого зануду всю неделю, каждый вечер, а я-то думала, что нашла себе подходящего мужика. О'кей, после недели замужества я была уже сплошное нервное истощение и думаю, на что мне такая сопля. А на вторую неделю стало еще хуже, этот хмырь начал плакаться о какой-то бабушкиной смерти лет двадцать тому назад. Я ему говорю: ладно, мотай отсюда, а он мне показывает кольцо. Я свое выбросила в окно, а он все равно никуда не уходит. Попробовала вытащить его на площадку, но он был такой адски слабый, я ничего не смогла с ним поделать. Тогда я вызвала по телефону полицию и попросила забрать его от меня. Они поглядели на меня, потом на него, и ушли. А я взяла нож и пырнула в него пару раз. Он, подлец, даже и не сопротивлялся, загнулся прямо на моей кровати. Я позвонила в психушку и сказала, что мой муж покончил с собой, ударил себя ножом в сердце, и пошла к подруге по работе. Она меня утешала, говорит, бывает и такое. Утром мы выпили по чашке кофе и пошли на работу. А на следующий день мне звонят из полицейского участка, хотят знать подробности. Я все рассказала, сказала, что пошла в сортир газету читать, а он в это время убил себя. Они поверили, и деаки на работе считают, что я правильно сделала, так ему и надо, кечего зря морочить голову, ныть и в постели валяться. Пошел он ко всем чертям. Мне нужен настоящий мужик, чтобы дело делал, приносил монеты на квартирный кредит и жратву в холодильник. Какого черта, должен ведь и мужик иметь какие-то обязанности, раз живем вместе.

Перевела с финского
Е. ХЕЛЛБЕРГ-ХИРН

Яркко ЛАЙНЕ

На углу улицы

Здесь, в пустоте одиночества,—
мусор, всклокоченный ветром,
и песок.

Раннее утро
или поздняя ночь —
вянущий миг
между рожденьем и
смертью.

Качается фонарь,
над улицей кружат сухие листья,
как стая мертвых бабочек.

Потом — утро:
волнуя травы на лугу,
мальчишка
убегает от дождя.

Перевела с финского
Л. АФОНИНА

Яркко ЛАЙНЕ род. в 1947 г. в г. Турку. Автор нескольких сборников стихов и переводов. Первая книга вышла в 1967 г.

Челль ЛИНДБЛАД

Союз жильцов

1

Харри. Привет! Мы еще не знакомы. Ведь ты недавно сюда переехал? Я живу в квартире напротив. Меня зовут Харри... Как тебе здесь нравится?

Симон. Привет. Не знаю, не привык еще... Меня, кстати, зовут Симон. Заходи, пожалуйста.

Харри. Спасибо, не хочу мешать. У тебя наверняка дел невпроворот.

Симон. Да нет, нечего срочного. Не люблю спешки. Заходи, садись. Там, за ящиками, есть стул... Одну секундочку, кажется, кипит чайник.

Харри. Можно полюбопытствовать, что у тебя в них?

Симон. В ящиках? Книги. Хочешь чаю?

Харри. Нет, спасибо. Я так, собрался прогуляться, только на минутку заглянул... у меня есть к тебе одно дельце... А книг-то у тебя, видать, тьма! Ты их когда-нибудь считал?

Симон. Нет. Но, думаю, за тысячу перевалило.

Харри. За тысячу! И ты все прочел?

Симон. Почти. Кроме словарей и справочников, их, сам понимаешь, не читают от корки до корки.

Харри. Кем же ты работаешь?

Симон. Пишу. Перевожу и пишу статьи. У меня вышло несколько сборников.

Харри. Подумать только! Стало быть, теперь у нас в доме живет писатель!

Симон. Ну, что такое писатель, ничего особенного. Просто мне это занятие больше подходит, чем другие. А ты сам что делаешь?

Харри. Да я, знаешь ли, всего-навсего конторский клерк. Каждый день с девяти до пяти, одиннадцать месяцев в году. Зато уж в отпуске удается погулять на славу,— не то чтоб заслуженно, но, во всяком случае, с сознанием, что потрудился честно... А все-таки, где ты понастоящему работаешь? Разве можно жить одним писательством?

Симон. Иногда трудновато, но стараюсь.

Харри. Так что, у тебя нет профессии? В смысле — обычной работы?

Симон. Писать — это моя работа.

Харри. Понял, понял. Помнится, мы в школе писали сочинения. Вот мука-то была! Уж у кого-у кого, а у меня нет ни малейшей склонности к писанию!

Симон. Ты, вроде, зашел по делу?

Харри. Верно, я и запамятовал. Мы тут организовали «союз жильцов». А то не по-людски как-то: годами живем в одном доме — и только здороваемся.

Симон. И вот вы организовали союз. Я читал про такое в газетах. Они, кажется, в моде, эти союзы.

Харри. Да, почти в каждом доме есть союз жильцов, по крайней мере в нашем квартале. Кстати, меня выбрали председателем, так что я немного заважничал... Хочешь вступить в наш союз?

Симон. Чем вы там занимаетесь?

Харри. Да еще ничего толком не начали. Было всего несколько собраний. Оргсобраний — так это, вроде, называется... В субботу вот думаем переоборудовать старую прачечную под столярную мастерскую. Теперь ведь у всех стиральные машины.

Симон. Кроме меня. У меня нет.

Харри. Ну, ты живешь один, руками постираешь... Короче, приходи помогать в субботу. Сбор в одиннадцать, сделаем, сколько успеем, а потом — все в баню! Скинемся на ящик пива.

Симон. К сожалению, я занят в субботу. К тому же и толку от меня чуть в таких делах, только путаться под ногами буду.

Харри. Да брось, не боги ведь горшки обжигают. Там всего и дел — вынести разный хлам и мусор, всяк справится!

Симон. Конечно. Только я не смогу в субботу.

Харри. Жаль... Но, как говорится, ничего не поделаешь! Ладно, не буду больше тебе надоедать... Кстати, если хо-

---

Челль ЛИНДБЛАД род. в 1951 г. в Хельсинки. Журналист, прозаик; работает в стиле «кафкианской» и авангардистской прозы. Наибольшую известность снискал роман Ч. Линдблада «Перед сном» (1984).

чешь, могу тебе повесить полки. У меня есть дрель.

Симон. Спасибо, у меня не такие полки, которые надо вешать.

Харри. Ясно. Ну, тогда все. Если ты не против, буду бросать тебе в почтовый ящик информацию о деятельности нашего союза.

Симон. Конечно, сколько угодно.

Харри. Отлично. Хорошо мы с тобой поболтали! Ну, до скорого!

Симон. Пока!

2

Харри. Привет! Давненько не виделись. Я тебе звонил пару раз, но никто не берет трубку. Ты прочел бумаженцию, которую я тебе подкинул на той неделе?

Симон. Про вашу деятельность?

Харри. Про нее самую. На днях привезли биллиардный стол. Со временем думаем проводить соревнования, чтоб подстегнуть интерес. Главный приз — пять кило кофе!

Симон. Я не пью кофе. И в биллиард не играю.

Харри. Даже так? Ну, дело поправимое, научишься. Тебе наверняка понравится.

Симон. Не сомневаюсь. Только у меня нет времени.

Харри. Жаль. А как насчет шахматного клуба? В шахматы играешь?

Симон. Разве что сам с собой. Не особенно хорошо.

Харри. Стало быть, ничем тебя в наш союз не заманить?

Симон. Нет.

Харри. Жаль... Но послушай, но хоть чем-нибудь ты интересуешься же?.. Ах, да, книгами! Так давай организуем клуб любителей литературы, а? Или — знаешь что? — кружок начинающих писателей! Слушай, идея, а?..

Симон. Отличная идея. Если бы только я располагал временем. Но я, увы, всегда занят по вечерам, так что ничего не выйдет.

Харри. Да-а, ничем тебя не проймешь.

Симон. Ты не обижайся. Просто я на самом деле очень занят и не могу впрягаться еще в одну лямку, достаточно того, что есть... А сейчас я, извини, спешу.

Харри. Ты уходишь?

Симон. Да!

Харри. Ладно, не буду больше тебе мешать... Я вот только хотел спросить: ты смотрел вчера новости? Ведь просто какой-то ужас, верно? И сюда они добрались. Все взорвали. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Симон. Да, я читал в газете. Телевизора у меня нет.

Харри. Как нет телевизора?.. Ну, а радио хоть есть?

Симон. Есть, только оно испорчено.

Харри. Испорчено? Что ты говоришь!.. Кошмар какой, правда?

Симон. Ты о чем это?

Харри. Да о покушении.

Симон. А-а, покушение... Ну, и кто, по-твоему, за ним стоит?

Харри. Террористы, конечно, кто ж еще! Об этом все вечерние газеты пишут.

Симон. Это все шаблонные фразы, нет никаких прямых улик.

Харри. Пока — нет. Но полиция напала на след.

Симон. Она козлов отпущения ищет, твоя полиция.

Харри. Козлов отпущения, ты говоришь? Ну уж нет: она преступников ищет, вот кого! На то она и полиция, чтоб охранять порядок и закон.

Симон. А чьи они, все эти законы и порядки?

Харри. Ладно, не буду тебя больше задерживать. Да мне и самому пора. А насчет твоего радио...

Симон. Что насчет моего радио?

Харри. Ты говорил, что оно испорчено. Могу попытаться починить его. Я забыл тебе сказать: я ведь радиолюбитель и довольно-таки неплохо поднаторел в этом деле, скажу без хвастовства.

Симон. Так это твоя большая антенна на крыше?

Харри. Моя. Короче, давай сюда свое радио, попробую его исправить.

Симон. Спасибо, но... неловко както... Тебе лишние хлопоты...

Харри. Какие там хлопоты, наоборот! Я люблю с приемниками возиться, это мое хобби.

Симон. Очень любезно с твоей стороны... Погоди... Вот оно. Его, наверно, уронили при переезде: что-то там громыхает внутри.

Харри. Хорошая марка. Его запросто можно починить... У меня накопилась гора запчастей, руки чешутся пустить их в дело.

Симон. Я тебе заплачу.

Харри. Ни в коем случае! Лучшая награда для меня — если мне удастся наладить эту штуку. Кстати, не дашь ли ты мне почитать свою последнюю книгу? Я хотел купить, но ее нигде нет. В одной лавке говорят — все распродано, в другой вообще никогда про нее не слышали. У тебя нет лишнего экземпляра?

Симон. Конечно! Сейчас...

Харри. Спасибо. Я верну, как только прочитаю.

Симон. Нет-нет, это тебе в подарок. За радио.

Харри. Не говори «гоп»! В смысле, радио — это еще кот в мешке. А вдруг у меня ничего не получится с починкой?

Симон. Получится, не скромничай.

Харри. Я, конечно, буду стараться... Слушай, а может, ты, как это водится, напишешь что-нибудь на пустой странице, там, вначале?..

Симон. Хочешь автограф? Пожалуйста!.. Сию минуту...

Харри. Ой, какая толстая книга! Видать, долго ты ее писал. А называется... «Тиски». Гм... Какая любопытная обложка! И что это тут нарисовано?

Симон. Птица.

Харри. Да, верно, птица... А фотография сзади на тебя нисколько не похожа! Ах, ты тут с бородой!.. Что за издательство? Никогда о таком не слышал.

Симон. Это маленькое независимое издательство. Его больше не существует. Закрылось.

Харри. Вот как?.. Ладно, почитаем... А радио, как только будет готово, сразу принесу. Постараюсь поскорее. На той неделе.

Симон. Да мне не к спеху.

Харри. Ну, я пошел. Прости, что задержал тебя, ты ведь куда-то собирался. Желаю приятно провести вечер. Заглядывай как-нибудь ко мне: похвастаюсь своей радиоаппаратурой. Ну, пока!

Симон. Пока! Спасибо!

3

Симон. Алло!

Харри. Это я, Харри, прости, что так поздно. Не разбудил?

Симон. Нет, я еще не ложился.

Харри. Знаешь, что случилось? Жуть какая-то! Сегодня вечером произошло убийство. Только что объявили по радио.

Симон. Убийство? Ну, это дело обычное. Или кого-нибудь там знаменитого ухлопали?

Харри. Мужчину. Лет тридцати. Имя не назвали. Наверно, еще не нашли родственников. Но это не простое убийство! Это расправа!

Симон. Расправа?

Харри. Да. Его прикончили в собственной квартире! Связали руки за спиной и надели на голову черный колпак. Полиция опрашивала соседей — странно, почему никто из них ничего не видел и не слышал. Видимо, стреляли из бесшумного оружия.

Симон. Так что ж он, даже не вырывался, не кричал?

Харри. Полиция подозревает, что они ввели ему наркотик.

Симон. Они? Значит, все-таки выяснили, что убийца был не один?

Харри. По всем признакам — целая банда... Ладно, завтра обещали сообщить подробности... Я и подумал: дай-ка позвоню и расскажу тебе, ведь у тебя ни телевизора, ни радио. Кстати, радио я починил. Как раз нынче вечером.

Симон. Отлично. Спасибо! Если можно, я бы завтра зашел за ним.

Харри. Годится. Часиков в шесть? Выпьем кофейку, то есть чаю.

Симон. Не обязательно. Значит, договорились, в шесть?

Харри. Договорились. Увидимся. Пока! Прости, что позвонил так поздно.

Симон. Ничего, звони. Я редко ложусь раньше полуночи. Лучше всего работается по вечерам. Тебе машинка не мешает?

Харри. Нет-нет, не беспокойся. Я ее и не слышу. Почти безвылазно сижу в кладовке в наушниках... Страх какой с этим убийством! Ну, ладно, спокойной ночи. До завтра!

Симон. Спокойной ночи!

4

Харри. Добро пожаловать в мою халупу! Сейчас поставлю чайник. Или лучше пива?

Симон. Да, пожалуй. Что-то хочется пить.

Харри. Вот и хорошо. Мне тоже. Воздух здесь сухой. Ну, проходи... Да садись, садись на диван, он не кусается. Чувствуй себя как дома!

Симон. Ты куришь?

Харри. Нет, но если хочешь, кури. На столике у дивана пепельница.

Симон. Да нет, раз ты не куришь...

Харри. Пустяки, кури себе на здоровье, мне не мешает. У меня даже есть блок сигарет в серванте. Можешь взять пачку. Это мне приятель привез из-за границы, забыл, что я уже много лет как бросил курить.

Симон. Спасибо, я предпочитаю самокрутки.

Харри. Да что ты! Дешевле, что ли, обходятся?

Симон. И дешевле, и куришь меньше.

Харри. А еще дешевле вообще не курить. Хотя чего там — все мы не без греха. Твое здоровье!

Симон. Твое!

Харри. Вот так... Слушай, почитал я вчера твою книжку. Можно начистоту?

Симон. Давай.

Харри. Ну, вот... Даже не знаю, с чего начать... Я пытался вникнуть... но все там... не как в жизни, что ли... В смысле, книжка страшная, но выдумано все. Так не бывает.

Симон. Как не бывает?

Харри. Трудно объяснить... Написано вроде бы про нас. Как будто бы речь идет о нашей стране.

Симон. Если так, то ты все правильно понял. Не будешь же ты отрицать, что и у нас стали закручивать гайки?

Харри. Конечно, стало потруднее, здесь ты прав. Но ты пишешь о всяких

там несправедливостях. Доказываешь, что насилия, покушения, террористические акты — все это от того, что наше общество гибнет. По-моему, ты сгущаешь краски. Стрижешь всех политиков под одну гребенку. Этого не может быть, по крайней мере, я так считаю.

Симон. Хоть этого и не может быть, но это именно так.

Харри. М-м-да... не знаю... По-твоему, выходит, у нас вообще фашизм, и все граждане ходят в смирительных рубашках. Ты все переворачиваешь с ног на голову. Даже законы. В необходимость которых ты, кстати, не веришь. Но разве можно без них? Ведь без них все сразу же развалится!

Симон. По-моему, человеку не нужны надсмотрщики.

Харри. Но как же без законов? Наступит анархия, хаос.

Симон. Может быть, но только поначалу. Видишь ли, человек не привык к свободе, он привык повиноваться всяким там законам, обычаям, предписаниям, традициям как чему-то само собой разумеющемуся. Словно они всегда были и всегда будут. По-моему, единственный путь к духовному освобождению — только через хаос.

Харри. Ты думаешь?

Симон. Конечно, потому что в качестве единственной альтернативы нам предлагают стабильность, застой, уничтожение так называемых «подрывных элементов»...

Харри. Знаешь, ты еще молод, а молодость всегда бунтует, это признак здоровья. И все-таки ты преувеличиваешь, согласись. Я думаю, ты мог бы писать лучше... если ты понимаешь, что я имею в виду...

Симон. Ты имеешь в виду, что я мог бы писать, как все вокруг лучезарно и как нам повезло, что мы родились в этой части света, и что нет таких проблем, которых не решили бы мудрые политики. В том-то вся и беда, что люди жаждут радужных картин, хотя сами прекрасно осознают, какова действительность — у нас и во всем мире. Им нужны сказки для взрослых, сказки со счастливым концом. То есть ложь!

Харри. Нет-нет, я вовсе не говорю, что ты должен писать не то, что думаешь и чувствуешь, если уж жизнь тебе видится такой, но пойми, надо посмотреть на нее... рассудительней, что ли... Не так уж она плоха и становится все лучше и лучше, никуда не денешься!

Симон. Я никогда не иду на компромиссы. Компромиссы — это стоячее болото, мертвое, вонючее и гнилое болото. Да, уровень жизни вырос, но это еще не значит, что жить мы стали лучше. Ложь! Нас дурачат, нами манипулируют, мы — пешки в их игре. На кой черт мне рост благосостояния, если мне не дают дышать, жить не дают!

Харри. Знаешь, не будем ссориться по пустякам. Может быть, я безнадежный консерватор и не понимаю вас, молодых. Я уважаю твои взгляды, но — заметь! — ведь ты безнаказанно пишешь все, что хочешь. Так что не очень-то наше общество прогнило.

Симон. Это все до поры до времени. Скоро нам поставят мат. Они просто выжидают. Самое страшное, что все с радостью позволяют себя обманывать, играть с собой — позволяют себя сожрать! Самое страшное — всеобщая сытость. Есть работа, еда, квартира, телевизор и пиво — и больше ничего не надо, весь мир гори синим огнем! Разве можно так жить? Они перестали замечать, в какой лжи погрязли.

Харри. А может, они к тому и стремятся. Так проще.

Симон. Конечно, проще спать, чем бодрствовать!

Харри. Ты, видно, из тех, кто страдает хронической бессонницей. По-моему, не так уж плохо иногда и поспать.

Симон. А если не проснешься? Нет уж, заснуть сейчас — значит сдаться. Я никогда не засну. Ни за что!

Харри. Ты говоришь — до поры до времени... Что ты имеешь в виду? Президент вчера сказал...

Симон. Пропаганда. Мякина.

Харри. Ну, знаешь, это уж слишком. Весь народ его любит, он получил восемьдесят процентов голосов.

Симон. Из сорока девяти процентов, которые вообще удосужились дойти до избирательного участка. А за кого еще было голосовать? Выбора-то нет!

Харри. Двадцать процентов голосовали за других кандидатов. В том числе и я.

Симон. За кого же ты голосовал?

Харри. У нас, если не ошибаюсь, тайные выборы?.. Ладно, давай-ка лучше выпьем. Хочешь посмотреть мою радиоаппаратуру?

Симон. Хочу.

Харри. Фокус-покус! Здорово я оборудовал кладовку?

Симон. Недурно. Как много приемников! Да у тебя тут, я вижу, и звукоизоляция! А воздух откуда?

Харри. Вот тут вентиляционная труба. Если становится душно, я приоткрываю дверь.

Симон. Можно подумать, ты настоящий шпион!

Харри. Ну что ты, мои занятия ограничиваются связью с безобидными радиолюбителями разных стран. Это очень азартное увлечение, да и полезное.

Симон. Не сомневаюсь.

Харри. Показать в действии?

Симон. Да, пожалуйста.

5

Симон. Алло!

Харри. Привет, это Харри. Ну, как радио, хорошо работает?

Симон. Радио? Да, отлично. Как новенькое.

Харри. Вот и прекрасно. Но я не поэтому так поздно звоню. Ты слушал последние известия?

Симон. В десять часов не слушал. А что случилось?

Харри. Еще одна расправа. Наверняка опять та же банда.

Симон. С чего ты взял?

Харри. У него на голове был черный колпак. Как и у предыдущей жертвы террористов.

Симон. Дались тебе эти террористы! Может, это просто сборище каких-нибудь психов, религиозных фанатиков... Или месть, или что-нибудь в этом роде.

Харри. В прошлый раз убили бухгалтера. Сегодня — библиотекаря. И тот, и другой молодые люди и жили одни.

Симон. Ты к чему это клонишь?

Харри. Впечатление такое, словно жертвы выбраны наугад... Ничего ведь не стоит достать список одиноких молодых людей.

Симон. Да зачем, черт побери?

Харри. Ведь ты хотел хаоса. Может, это он и начался.

Симон. Да не такого же хаоса!.. Полиция напала на след?

Харри. Пока нет. Но идет расследование.

Симон. А соседи, разумеется, смотрели телеящик и ничего не видели и не слышали.

Харри. Если ты помнишь, предыдущую жертву усыпили. Наверно, и этому вкололи какой-нибудь отравы. Кстати, что ты делаешь завтра?

Симон. А что?

Харри. В шесть часов наш союз проводит в столярной мастерской экстренное заседание правления. Придешь?

Симон. Не успею. А по какому поводу заседание?

Харри. Ясное дело, из-за убийства. Из-за расправы! Я уже всех обзвонил, ты последний. Надо принимать меры.

Симон. Меры? Какие еще меры?

Харри. Как ты не понимаешь? За полмесяца убито двое молодых людей. Подумай: на их месте мог бы быть ты!

Симон. Возможно. Только при чем тут союз жильцов?

Харри. Поэтому мы завтра и собираемся. Кто будет третьей жертвой? Мы должны быть начеку!

Симон. В полицейских, значит, решили поиграть?

Харри. Вовсе нет. Но должны же мы защищать собственную жизнь! Так что милости просим на заседание. Это очень важно.

Симон. Обойдетесь без меня. Я не приду.

Харри. Нехорошо, Симон. Тебя все ждут.

Симон. Передай им, что я очень занят.

Харри. Чем, Симон?

Симон. Это мое дело.

Харри. Может, и твое. Но если все-таки передумаешь, заседание начинается в шесть. Спокойной ночи.

6

Симон. Алло!

Харри. Это Харри. Я звоню сообщить, что правление решило выдать всем жильцам баллончики со слезоточивым газом. Ты тоже получишь. Говорят, они надежные.

Симон. В гробу я видел вашу полицейскую косметику!

Харри. Не будь ребенком. Неужели ты не понимаешь, о чем идет речь? Баллончик со слезоточивым газом может спасти тебе жизнь!

Симон. Не нужен мне слезоточивый газ!

Харри. В доме напротив уже всем раздали. Мы тоже получили разрешение. Нам надо защищаться! Баллончики небольшие, ими удобно пользоваться. Ослепляют и мгновенно обезвреживают.

Симон. Да пойми же, наконец, не террористов этих я боюсь, из-за которых все газеты подняли переполох. За ними стоят другие силы.

Харри. Кто бы там ни стоял, двое уже убито. Ты уверен, что обойдешься без баллончика?

Симон. Абсолютно.

Харри. Ну что ж, не буду настаивать. Ты хоть закрывай дверь на цепочку, что ли. Ведь у тебя обычный замок. Я читал, что они отпираются английской булавкой. И имей в виду: баллончиков хватит на всех. Их привезут завтра. Если надумаешь, можешь зайти ко мне и взять. Симон! Алло! Алло!

7

Харри. Привет! Надеюсь, не помешал? Чем ты занимался?

Симон. Сейчас?

Харри. Нет, меня интересует, чем ты занимался 15 апреля 1966 года в 15 часов 55 минут! Кроме шуток, не помешал?

Симон. Честно говоря, я работаю.

Харри. Пишешь?

Симон. Да.

Харри. Жаль. А не мог бы ты сделать небольшой перерыв? Я иду на собрание.

У нас всегда по средам в шесть часов собрание.

Симон. Знаю. А что это у тебя на лацкане?

Харри. Нравится? Это наша новая эмблема. Мы ее получили на прошлой неделе. В доме напротив тоже есть своя. Теперь сразу видно, кто есть кто и из какого союза. Сейчас ведь повсюду союзы жильцов. Читал вчера в газете: «Необычайная популярность союзов жильцов»? Пойдем?

Симон. И не надоело тебе? Я не член союза.

Харри. Но ты можешь вступить в него. В любой день. Хоть сегодня.

Симон. Не хочу.

Харри. Почему? У нас весело.

Симон. Оставьте меня в покое.

Харри. Ясно. Ладно, не буду тебе мешать.

Симон. Пойми меня правильно. Терпеть не могу всяких объединений, где люди, между которыми нет ничего общего, регулярно встречаются, чтобы играть в пинг-понг или бинго или что-нибудь в этом роде. Как на военной службе. Там мы все солдаты, а в будущем, возможно, счетчики гейгера — если большим деткам вдруг наскучит *только играть* в войну. Я хочу сказать, единственное, что есть общего у жильцов,— это что они живут в одном доме.

Харри. Но нам ведь интересно вместе. Очень полезно поближе узнать людей, с которыми иначе бы никогда не познакомился. Лучше хотя бы вместо играть в пинг-понг, чем изо дня в день здороваться на лестнице и даже не знать друг друга по имени.

Симон. А зачем для этого союз? Представь себе, что все, кто чистит зубы, объединились бы в союз. Союз чистых зубов.

Харри. Между прочим, в нашем подъезде живут несколько одиноких пожилых людей, которые очень благодарны нам. По крайней мере, теперь они могут запросто позвонить в любую дверь, если им потребуется помощь. А раньше не решались. По-моему, тебе просто нравится все видеть в мрачном свете. Не так страшен черт, как его малюют.

Симон. А его и малевать не надо. Он тут как тут.

Харри. А не кажется тебе, что ты страдаешь манией преследования? В некоторых государствах тебя за твои убеждения упрятали бы в сумасшедший дом. Подумай об этом.

Симон. Наше общество и есть дурдом.

Харри. С тобой невозможно говорить. Не понимаю, чего ты добиваешься? Какой тебе от этого прок?

Симон. Я пытаюсь быть честным с самим собой и с другими. Вот и все. А сейчас мне больше некогда болтать. У меня работа стоит. Пока.

8

Симон. Алло.

Харри. Ты, конечно, уже прочел?

Симон. Про убийство?

Харри. Да. Какое зверство! Террористы — слишком мягкое слово. Куда смотрит полиция?

Симон. А что, если она и не хочет смотреть? Или ей не дают?

Харри. Что ты имеешь в виду?

Симон. Только то, что сказал.

Харри. Я не понимаю. У нас сегодня в шесть чрезвычайное собрание. Милости просим...

Симон. Это приглашение?

Харри. Скорее призыв. Все очень хотели бы тебя видеть.

Симон. Передай им, что я с двенадцати лет не играю в войну.

Харри. Мы не играем, Симон. Для нас это дело более чем серьезное.

Симон. Что меня и настораживает.

9

Симон. Алло!

Харри. Это Харри. Ты свободен завтра в семь часов?

Симон. В чем дело?

Харри. После работы в мастерской будем сниматься.

Симон. Сниматься?

Харри. Ну да. Ты что, не прочел бумажку, которую я позавчера бросил тебе в ящик? Насчет сторожа?

Симон. Какого еще сторожа?

Харри. Собрание постановило нанять сторожа. Настоящего сторожа, как в добрые старые времена. Мы будем сами его оплачивать.

Симон. Ну, это уже слишком!

Харри. Вовсе нет. Все проголосовали за. С начала будущего месяца он поселится в однокомнатной квартире на первом этаже. Поэтому завтра будем сниматься. Ведь сторож должен всех жильцов знать в лицо.

Симон. Но это же черт знает что!

Харри. Что ты так волнуешься? Мы считаем, что со сторожем будет спокойнее. Он бывший полицейский. сейчас на пенсии. Сильный и крепкий мужик. И на вид симпатичный.

Симон. Полицейский. Так я и знал.

Харри. Я же сказал, бывший полицейский. Что в этом такого особенного — завести сторожа? Все теперь держат сторожей. А ты вообще не член союза жильцов, тебе даже платить не придется.

Симон. Не люблю сторожей. Даже симпатичных. Меня не надо сторожить.

Харри. Как знать. А сторожить он тебя не будет. Можешь приходить и уходить, когда вздумается. Но поначалу, пока он не запомнит тебя в лицо, будешь предъявлять удостоверение. А завтра, будь добр, приди на съемку. Если, конечно, у тебя нет двух готовых фотографий, анфас и в профиль.

Симон. Пожалуй, и впрямь придется прийти, а то ведь с голоду помрешь в собственной квартире.

Харри. Вот и отлично. Приходи. Пока.

10

Симон. Алло!

Харри. Доброе утро. Это Харри. Я тебя разбудил?

Симон. Да.

Харри. Где ты был вчера вечером?

Симон. Вчера? В кино. А почему ты спрашиваешь?

Харри. Какой фильм смотрел?

Симон. В чем дело? Что еще за допрос?

Харри. Сторож сказал, что ты пришел домой в три часа ночи.

Симон. И когда он спит, этот проныра!

Харри. Охрана частично автоматизирована. Камера подключена к часам.

Симон. Господи Боже мой! Когда хочу, тогда и прихожу! Нет, это начинает мне действовать на нервы! Кто дал тебе право...

Харри. Не лезь в бутылку. Ночью опять было убийство.

Симон. Что?

Харри. Четвертая жертва. Учитель на пенсии, жил в доме напротив. В доме напротив! Слышишь? Мне утром звонил председатель их союза. Сказал, что убийство произошло между часом и двумя ночи.

Симон. Откуда ему знать?

Харри. Он врач.

Симон. Ясно.

Харри. Симон, где ты был сегодня ночью?

Симон. Ты считаешь, что я причастен к этим расправам? Ты действительно так считаешь?

Харри. Я-то, положим, не считаю, что ты к ним причастен. Но если я позвоню в полицию и заявлю, что ты вернулся домой в три часа ночи, тебя тут же потащат на допрос.

Симон. «Если» или «когда»?

Харри. Если ты не скажешь, где был ночью, нам придется заявить в полицию. Неужели тебе не понятно? У нас в городе почти в каждом доме есть союз жильцов. И почти везде есть сторожа и электронная сигнализация. Про всех людей известно, когда они приходят и уходят.

Симон. В этом-то вся беда.

Харри. Но ведь только так можно выловить убийцу!

Симон. Цель не оправдывает средства. Ладно, я был у приятеля, пил вино и приехал домой на такси.

Харри. Можешь дать телефон твоего приятеля? И хорошо бы номер такси?

Симон. Пожалуйста.

11

Симон. Алло!

Харри. Привет, это Харри. Я звоню сказать, что завтра к тебе придут ставить дополнительный замок.

Симон. Дополнительный замок?

Харри. Да, уже почти во всех квартирах поставили. Ты не читал сегодняшнюю газету? На первой странице заголовок: «Дополнительные замки обязательны».

Симон. Интересно, что будет дальше? Именные бирки на одежде, нарукавные повязки...

Харри. С дополнительным замком безопаснее!

Симон. Завтра меня не будет дома.

Харри. Неважно. У сторожа есть ключ от твоей квартиры. А на собрание ты завтра придешь?

Симон. Разве завтра среда?

Харри. Мы созываем внеочередное собрание. Вчера было собрание союза квартала. Завтра мы должны обсудить важный вопрос.

Симон. Какой же, интересно знать?

Харри. Мы решили закупить пистолеты. По одному на квартиру, и по коробке патронов.

Симон. Пистолеты! А там учебная стрельба в столярной мастерской, построение в шеренги, шагом марш, левой правой, левой-правой.

Харри. Не издевайся. Неужели ты не понимаешь, что людям страшно?

Симон. Если всем раздать пистолеты, будет еще страшнее. Слезоточивый газ и пистолеты! А дальше что? Портативные атомные бомбы? Кстати, если не ошибаюсь, на огнестрельное оружие нужно разрешение?

Харри. Народ требует оружия. Так что разрешение рано или поздно будет. Вчера союз квартала постановил начать сбор подписей под требованием предоставить всем гражданам право носить оружие. Когда наберется десять тысяч подписей, обратимся к министру юстиции. А оружие купим заранее, уже сейчас у нас есть связи.

Симон. В этом я не сомневаюсь.

Харри. Замок придут ставить во второй половине дня. И не забудь: в шесть собрание.

Симон. Желаю успеха.

Харри. Погоди, ты еще пожалеешь.

12

Харри. Кого я вижу? Это ты? Чем могу служить?

Симон. У меня ограбили квартиру.

Харри. Что-о?! Заходи. Ограбили квартиру? Не может быть!

Симон. У меня украли важные бумаги. Кто-то рылся в моих ящиках.

Харри. Но ведь у тебя дополнительный замок! Неужели взломали?

Симон. Нет. Похоже, у кого-то есть ключ.

Харри. Что у тебя пропало? Деньги?

Симон. Я же сказал: бумаги. Важные бумаги, понимаешь? Пропала моя рукопись. Наполовину готовая.

Харри. И все?

Симон. Все?! Что значит — все? Я над ней почти год работал.

Харри. А про что рукопись?

Симон. Черт возьми, да какая разница! Она была почти готова. Я полгода над ней корпел!

Харри. В том же духе, что «Тиски»?

Симон. Что значит, в том же духе?

Харри. Значит, такая же. Беспросветная и вызывающая.

Симон. Как умею, так и пишу. Описываю действительность, какой она мне видится. Можно описывать и по-другому. Но я не иду на компромиссы.

Харри. Это уж точно. Слушай, а кому могли понадобиться твои писания? Я хочу сказать, кто бы стал их красть? Ты уверен, что не засунул свою рукопись куда-нибудь?

Симон. Она лежала в верхнем ящике стола. А когда я сегодня вечером вернулся домой, ее не было. Я еще вчера ночью над ней работал.

Харри. Никто посторонний сюда войти не мог. Сторож никого не впускает, не спросив фамилии, а потом звонит в квартиру и спрашивает, ждут ли там гостей.

Симон. Значит, это кто-нибудь из соседей. Кто-нибудь из союза жильцов стащил мою рукопись. Другой возможности не вижу.

Харри. Я разберусь с этим. В среду у нас, как обычно, собрание. Можешь сам прийти. Но, честно говоря, мне сдается, что ты все-таки потерял свою рукопись. Кто может быть заинтересован в ее похищении?

Симон. Не знаю. Например, органы госбезопасности. От них не спасет ни сторож, ни дополнительный замок.

Харри. Пока ты не делаешь ничего противозаконного, тебе нечего бояться. Приходи завтра на собрание. А теперь ступай посни, успокойся.

Симон. Какой тут сон? У меня из головы не идет рукопись. Может, все-таки заявить в полицию?

Харри. В полицию? Тебе? Я думал, ты не доверяешь полиции.

Симон. При чем тут «доверяешь — не доверяешь»! У меня ограбили квартиру и унесли самое ценное!

Харри. Ограбили, а дверь цела. Ограбили, а сторож никого не видел. Кто тебе поверит? И вообще: не советую тебе идти в полицию.

Симон. Это еще почему?

Харри. Я знаю, как они работают. Они работают методично. Тебя станут обо всем допрашивать. Обо всем, понимаешь? Если человек вроде тебя обращается к ним, они заранее уверены, что у него рыльце в пушку, что их пытаются обвести вокруг пальца, втираясь к ним в доверие. Допрос растянется на много дней, а то и недель. Ты понимаешь, куда я клоню? Что ты делал в ночь, когда совершилось четвертое убийство?

Симон. Ты ведь звонил моему приятелю и проверил. И таксиста разыскал.

Харри. Сам знаешь, это все не доказательства. Твердого алиби у тебя нет. Ты вернулся домой в три. Между часом и двумя, когда, по словам врача, совершилось убийство, ты мог быть где угодно. Если ты обратишься в полицию, они не одного тебя будут допрашивать. Они спросят сторожа и проверят его списки приходящих и уходящих. Так что про полицию лучше забудь.

Симон. Пожалуй, ты прав. Но почему ты мне все это говоришь?

Харри. Странный вопрос. Неужели непонятно? Я твой друг, Симон. Я тебе доверяю. Ты не убийца. Не преступник. Я хорошо разбираюсь в людях. А сейчас попробуй все-таки заснуть. Дать тебе снотворное?

Симон. Спасибо. Снотворное мне не нужно.

Харри. Не хочешь — как хочешь. Приходи завтра на собрание. Спокойной ночи.

Симон. Спокойной ночи.

13

Симон. Алло!

Харри. Это Харри. Ты не пришел вчера на собрание.

Симон. Я собирался. Но потом я нашел рукопись.

Харри. Ну, что я говорил! Ты сам ее запихнул куда-то. Где же она была?

Симон. Под кроватью. Но я-то помню, что положил ее в ящик стола! Не сомневаюсь, что они сняли с нее копию.

Харри. Они? Кто они?

Симон. Если бы я знал! Но теперь я днем и ночью буду носить рукопись с собой! Ну, ладно, мне пора. Приятель ждет.

Харри. Где, прости за любопытство?

Симон. Мы собирались пойти в ресторан. Отпраздновать найденную рукопись.

Харри. Ах, значит, ты не слушал новости в шесть часов?

Симон. Нет, а что?

Харри. Бомба! В нашем районе. Бомба замедленного действия. Слышишь? Это они!

Симон. Кто? Где?

Харри. Машины с громкоговорителями! Неужели не слышишь?

ТЕРРОРИСТЫ ПОДЛОЖИЛИ В ЭТОМ РАЙОНЕ БОМБУ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ. ЖИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ ОСТАВАТЬСЯ В КВАРТИРАХ, ПОКА НЕ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОТБОЙ. ПОВТОРЯЕМ: ТЕРРОРИСТЫ ПОДЛОЖИЛИ В ЭТОМ РАЙОНЕ БОМБУ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ. ЖИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ ОСТАВАТЬСЯ В КВАРТИРАХ, ПОКА НЕ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОТБОЙ. ПОВТОРЯЕМ...

14

Симон. Какого черта! Откуда у тебя ключ от моей квартиры?

Харри. Я звонил в дверь. Почему ты не открывал? Я председатель союза жильцов. У меня есть ключи от всех квартир.

Симон. Я не состою в вашем проклятом союзе! Сборище маразматиков, помешанных на игре в фашистов! Вы уже упражнялись в стрельбе? От тебя порохом пахнет. Сколько еще будет продолжаться этот идиотский комендантский час? Я свихнусь от сидения взаперти! Как в тюрьме!

Харри. Ты случайно не выпил?

Симон. Кажется, законом пока еще не возбраняется употреблять спиртные напитки в стенах собственной квартиры!

Харри. Что у тебя происходит? Почему ты швырнул радио на пол?

Симон. Я не швырял радио на пол. Я разобрал его на части. И знаешь, что я там нашел?

Харри. Нет. Я тебе его починил.

Симон. Я нашел микрофон. Вот он! Микрофон, который ты вставил!

Харри. Что? Микрофон? Ничего я никуда не вставлял! Клянусь тебе! За кого ты меня принимаешь?

Симон. За похитителя рукописей и безбожного лгуна! Ну, что, теперь побежишь доносить на меня, раз я тебя разоблачил? Или расстреляешь на месте? Где черный колпак?

Харри. Ты хватил лишнего. Ложись-ка спать!

Симон. Нет уж. Я сматываюсь. Здесь я больше не останусь ни секунды!

Харри. Ничего не выйдет. Пока не найдут бомбу, никого не выпустят из дома. Это не шуточки. Если тебя увидят, тут же арестуют.

Симон. Надоел мне ваш идиотизм! У меня ваши союзы жильцов, убийства и бомбы в печенках сидят! Я ухожу! И немедленно! Только попробуй меня задерживать!

Харри. Нет! Погоди! Стой! Тебя сторож не пропустит. Поверь мне! Стой! Стоп! Симон!

15

Харри. Доброе утро. Ну как, выспался? Как себя чувствуешь? Может, поешь немного? Вид у тебя бледноватый. Понимаешь, врач вчера сделал тебе укол.

Симон. Я ничего не помню. Что случилось?

Харри. Ты поешь, станет лучше. Я приготовил тебе чай. Или хочешь сначала сока?

Симон. Пожалуй... Во рту будто кошки ночевали.

Харри. Вот так. Осторожнее, ты льешь мимо. Давай подержу стакан. Хочешь бутерброд с колбасой или с сыром?

Симон. С сыром, пожалуй.

Харри. Ты не возражаешь против моей компании?

Симон. Чего вы от меня добиваетесь? Я больше не могу.

Харри. Я на твоей стороне, Симон. Действительно на твоей стороне. Ты даже не представляешь себе, какой я тебе друг. Очевидно, я притворялся лучше, чем было нужно.

Симон. О чем это ты?

Харри. Ладно. Сейчас мы можем поговорить без помех. Я был вынужден... вроде бы... испытать тебя. И ты прошел испытание. Нам нужны такие, как ты.

Симон. Кому? Союзу жильцов?

Харри. При чем тут, черт побери, союз жильцов? Я его сам терпеть не могу! Я понимаю: многие видят в этих союзах пользу, а в нашем доме живут простые напуганные люди. Им кажется, что они сами все решают, сами основывают союзы, и вооружаются слезоточивым газом, пистолетами, и нанимают сторожей. Кстати, сторож в нашем доме вовсе не бывший полицейский. Он и сейчас служит в полиции, и не каким-нибудь там рядовым квартальным. И мы не нанимали его, хотя все жильцы в этом уверены. Его нам прислали, об этом знаю только я. Понимаешь? Они считают, что я на их стороне. Я веду двойную игру. Уже давно.

Симон. Значит, тебя нужно благодарить за все эти...

Харри. Убийства и бомбы? Нет, мы тут ни при чем. Это они.

Симон. Кто «они»?

Харри. Долго рассказывать. В другой раз. Сейчас не буду тебе все объяснять. Надеюсь, тебе не слишком много дряни вкололи. Врач у них самый главный негодяй. Никому нельзя доверять. Сегодня ночью ты должен бежать, Симон.

Симон. Бежать? Зачем? Куда?

Харри. Ты у них в списке. Я не просто радиолюбитель. Я и сторожа подслушиваю. Но даже я не знаю всего до конца, хотя они мне доверяют и думают, что я на их стороне. Но я не вхожу в число избранных.

Симон. В каком еще списке?

Харри. В списке смертников, Симон! Вот тебе веревочкая лестница. Ты должен сегодня бежать, пока они не пришли. Как только начнет смеркаться. Привяжешь лестницу к ножке кровати, выбросишь в окно и спустишься. Здесь всего три этажа. Поешь и отдохни, чтобы набраться сил. Я заведу будильник на шесть часов. Возьми с собой рукопись.

Симон. Это что — ловушка? Я совсем запутался.

Харри. Да не ловушка это! Разве ловушки так устраивают? Они хотят допросить тебя, а потом убить. У тебя острое перо! Они больше всего на свете боятся острых перьев. Ты для них на вес золота. Мертвый. Значит, в шесть часов. Наша машина будет тебя ждать. У шофера пропуск. Мы должны уйти в подполье. На время. Ладно. Жму руку. Нелегко мне было разыгрывать перед тобой придурка! Наконец-то можно открыться! Я уверен, мы найдем общий язык.

Симон. Наверняка.

16

Харри. Симон! Ты уже встал! Мы тебя ждем в шесть часов... В чем дело? Кто эти люди? Что вам надо? Симон? Я ничего не понимаю!

Симон. Харри, будь добр, закатай рукав рубашки!

Харри. Послушай, Симон! Я же на твоей стороне! Я не понимаю! Ай!

Симон. Нет, Харри, ты не на моей стороне. Ты на другой стороне.

Перевела со шведского
Мария НИКОЛАЕВА

Юхани ПЕЛТОНЕН

Траурные значки

Обычно со мной ничего особенного не случалось, дорога знакомая, сижу себе и на своей остановке выпрыгиваю из вагона. Я разговорчив, поэтому принимаюсь беседовать с пассажиром, сидящим напротив или сбоку. Иногда болтаю с кем-нибудь через проход, иногда кричу что-то в конец вагона. Я расспрашиваю, делаю замечания о ландшафте за окном, разглядываю вагон, пассажиров. Но почему сегодня со мной случилось такое, вернее, что я говорю, надо было сказать вчера, ведь уже за полночь.

Я сел в поезд на станции, где сажусь всю жизнь. Над платформой неизменные надписи: «Счастливого пути!», «Помни и пиши!», «Не забывай!», «Любимый, ты ведь знаешь».

Наконец раздалось объявление дежурного: «Поезд отправляется!». Заклубился дым, стукнули колеса, и я вошел в вагон.

— Здесь свободно? — спросил я у мужчины, который сидел в распахнутом пальто, уставившись в окно.

— Свободно,— ответил он,— во всяком случае, никого не было.

Он подтянул полы пальто, взглянул на меня, я сел, поезд тронулся. Вагон был полон мужчин, женщин, детей. Отдышавшись, я начал разглядывать людей, и пора было заводить беседу, чтобы скоротать время.

— Как холодно, весной еще и не пахнет, ветер северный и птицы запаздывают,— сказал я.

— Да,— сказал он.

— В прошлом году в это время у нас на заборе уже прыгала трясогузка,— продолжал я.

— Вот как?

— И я ходил без перчаток, а сейчас без них холодно.

— Вероятно.

— А помните, в одну зиму вообще не выпало снега? Мы тогда были мальчишками и весь год рыбачили и катались на лодках.

— Да.

Сосед производил впечатление человека, не расположенного разговаривать, он даже зевнул, прикрыв рот рукой.

— Едете издалека? — поспешил я спросить, пока он не успел отвернуться.

— Вторые сутки в пути,— сказал он и снова зевнул.

Почему я не оставил его в покое? Отчего мне непременно нужно расспрашивать, узнавать обо всем, почему нежелание соседа говорить лишь подхлестывает мое любопытство? Сейчас я жалею, что упрямо продолжал с ним беседу. Почему не следил за остановками? Где я? За окном буря, и время от времени слышится шум падающего дерева. Отчего не оставил его в покое? Он ведь этого хотел. Зачем я говорил с ним, расспрашивал его? А теперь оказался в ситуации, в которой и барахтаюсь, чувствуя лишь страх и бессилие. Все это произошло сегодня, простите, вчера, ведь уже наступило завтра.

— Мне ехать лишь несколько остановок, но они здесь так редки, что каждый, кто садится в этот поезд, может считать себя настоящим путешественником,— снова заговорил я.— Вы едете до конца?

— Хорошо бы доехать,— ответил он.

— Этот поезд всегда переполнен. Многие пассажиры мне уже примелькались, я ведь езжу тут каждый день. Вон, например, тот, который прислонился к двери и читает газету, вечно остается без места. А этот всегда барабанит пальцами по лавке, прислушайтесь, он выстукивает всегда одно и то же: «Ты убей, убей себя, ты убей, убей себя, завтра все равно умрешь». Вы знаете эту побасенку?

— Не приходилось слышать.

— Странно, ее все знают. Я выучил ее еще в младших классах, а здесь это слышишь каждый день. У меня длинная дорога до работы. Много денег уходит на билеты, домой возвращаюсь поздно. Сквозит, где-то открыли окно. А, вон там, где сидят женщины, они в любую погоду готовы проветривать. Чертовский сквозняк. Чувствуете?

— Нет.

— Вы в пальто. Я, пожалуй, тоже скоро накину. У вас траурный значок. Сочувствую. Кто-то из близких?

— Да.

— Я, вроде бы, видел у вас на пальце кольцо. Не жена ли?

— Нет, как будто.

— Простите, как это «нет, как будто»? Вы не знаете наверняка?

— Разумеется, знаю, то есть нет... или... я не выспался, попытаюсь заснуть.

Он закрыл глаза, демонстрируя полное нежелание говорить. Впереди был долгий путь. В поезде я не читаю и не сплю, размышлять утомительно, можно только разговаривать. Ехать в поезде молча для меня — сущий кошмар.

— Подумайте, а я в поезде не могу спать. Подоконник слишком узкий, локоть с него то и дело сползает, и я просыпаюсь. Если же я сижу не у окна, голова падает в колени. Правда, один раз я заснул, ехал с вечеринки, ну, вы ведь понимаете, проспал свою остановку, а потом возвращался по шпалам. Навсегда запомнил: падал мокрый снег, я злился, жена дома подняла крик, дети проснулись, они тогда были еще маленькие, и заревели. Изрядная получилась заваруха. А у вас дети есть?

— Вроде того,— ответил он и отодвинул шторку, которая хлестала его по лицу.

Странные ответы, подумал я, странный человек. Неужели мои невинные вопросы раздражают его? А может, он подтрунивает надо мной? Я все же решил проявить настойчивость и держаться так, словно все в порядке.

— Они большие? — спросил я.— Ходят в школу или уже живут отдельно? Мои в школу не ходят. Дочка кое-что поделывает дома, она медлительна и молчалива, часто плачет. А сын в армии.

— Возможно, они уже ходят в школу, а может, и нет.

— Вы давно их не видели? — растерянно спросил я.

— Давно.

— Вот как? Я, кажется, не совсем вас понял. У вас много вещей. Вы путешествуете или переезжаете?

— Переезжаю.

— Далеко?

— Да.

— Не за границу ли?

— Куда-то туда или еще дальше.

— Ладно, хватит об этом. Простите, вы не охотник?

— Нет,— усмехнулся он,— почему вы так решили?

— Из того вон рюкзака торчат лапы какого-то животного, по-моему, зайца.

Юхани ПЕЛТОНЕН родился в 1941 г. в Хельсинки. В литературе дебютировал как поэт-романтик, позднее обратился к жаврам драматургии и прозы. Автор сборников «Лошади исландской породы, мои милая» (1982), «Самая радостная тоска» (1986) и др.

— Это не мой рюкзак.
— Ах, прошу прощения.
Я тотчас придумал новый вопрос, ибо не переношу пауз в разговоре.
— Вам нравится путешествовать?
— Очень нравится.
— Надеюсь, вы не обидитесь, если я снова спрошу, почему носите его?
— Разве вы не знаете, почему носят траурные значки? — почти прошипел он.
Я замолчал, стал разглядывать пассажиров в разных концах вагона, затем взгляд мой приковали к себе дорожные сумки, во множестве громоздившиеся на верхней полке.
— Это все ваши сумки? — осторожно и как бы между прочим начал я.
— Две мои,— ответил он, зевая.
— Та коричневая?
— Да.
— А та черная?
— Нет.
— А та, перетянутая ремнем?
— Та моя.
— Солидные сумки. Вы, видимо, везете все свои вещи?
— Можно сказать и так.
— Та, перетянутая ремнем, вот-вот лопнет. В ней, наверное, одежда?
— Что-то вроде того.
Его ответы были нарочито уклончивы, но время идет, дорога убывает, лишь бы говорить о том, о сем, подумал я и закинул ногу на ногу. Все же какое-то представление о соседе я получил, хотя, вероятно, ошибочное, а скоро и дом, еда, отдых.
— Берите, пожалуйста, вы курите? — предложил я, протягивая ему портсигар.
— Спасибо, папирос не курю, у меня есть трубка.
— А мне нравятся эти. Привычка, видите ли.
— Так оно, вероятно, и есть,— сказал он и немного приподнялся, чтобы сунуть руку в карман, и тут полы его пальто распахнулись.
— Боже мой, вы где-то ушиблись, попали в аварию?
Я с трудом удержался от более громких восклицаний. К счастью, за окном грохотал встречный поезд, и на меня никто не обратил внимания.
— А в чем дело? — спросил он, усмехнувшись.
— Мне показалось, я увидел... господи,— бормотал я, а сердце колотилось, как всегда бывает, когда вдруг окажешься свидетелем несчастного случая.
— Что с вами произошло? — сумел я наконец-то задать вопрос.
— Я упал, а потом куда-то провалился,— спокойно ответил он.
— И сильно ушиблись?
— Сильно. А может, совсем не ушибся. Пролежал несколько часов, пока они не нашли меня.
— Ваши знакомые?
— Нет, не знакомые, я не хочу ни с кем знакомиться.
— И они отнесли вас к врачу?
— Нет.
— Среди них, стало быть, кто-то мог оказать первую помощь?
— Никого такого не было, да в нем не было и нужды.
— Как это не было нужды? Мне показалось, что вы сильно пострадали.
— Трудно объяснить. Просто-напросто он не был нужен, кто угодно мог убедиться в этом.
— Ничего не понимаю, простите еще раз. Вам, возможно, помогло какое-нибудь простое медицинское средство, но я школ не кончал, как и мои дети, мы вынуждены молчать. Бедная дочка крутится по дому, пытаясь помочь, но всегда только мешает и поэтому плачет, а сын в армии, недавно он написал, что дружит с сержантом, который играет на гармони.
Поезд летел в ровном ритме. Вдоль прохода шел ребенок, мать окликнула его, потом встала и увела его за руку. Несколько пассажиров слева спокойно играли в карты, хотя ставки были высоки. Сосед курил трубку и, кажется, следил за проносившимися за окном пейзажами.
Сердцебиение у меня участилось.
— Что же они с вами сделали, те, что нашли вас? — попробовал я спросить как бы между прочим и снова закинул ногу на ногу.
— Наверное, взяли за руки и за ноги, а может, понесли на носилках, оставили в холодном помещении, закрыли дверь, погасили свет,— рассказал он, не поворачивая головы.
— Как вам удалось выбраться оттуда? Они за вами вернулись? Или вы сами себя начали лечить? Или там был кто-то?

На эти вопросы ответов я не получил. Он начал яростно выбивать трубку о край мусорного ящика. Потом достал из кармана спичку и начал ковырять ею в чашечке трубки.
— Проклятие, трубка опять засорилась,— проворчал он.— Иногда она втекает в рот смолу, поэтому я всегда немного нервничаю, когда курю.
— А у вас нет спицы или ежика? Я видел такие у курильщиков трубок,— быстро спросил я, радуясь, что он заговорил сам.
— Нет,— ответил он и сердито фыркнул, когда спичка сломалась. Я глядел на его возню с трубкой и какое-то время сидел молча. Затем, показав головой в сторону ближней полки, где сидело шесть человек, вполголоса предположил:
— Кто-то из них, наверное, охотник.
— Возможно,— ответил он, взглянув туда.
— Может быть, тот, в зеленом костюме.
— Может быть.
— Его ружье, вероятно, в отделении проводника.
— Возможно.
— Но дробовик лежит на полке над нами.
— Где?
— Вот тут, под сумками, виднеется ствол.
— Ага, теперь вижу.
Возле путей показалась какая-то стройка, и я хотел было сказать: «Что-то они и тут возводят, теперь строят везде», но промолчал. На переезде через рельсы, возле трансформатора увидел разбитую машину, мне опять хотелось вслух отметить это, но раздумал.
Сосед не заметил ничего, он все еще возился с трубкой, наклонившись над мусорным ящиком.
— Удается прочистить трубку? — спросил я, кашлянув.
— Скоро смогу закурить.
Он тоже кашлянул, и я тут же предложил ему пастилу от кашля, и сам стал сосать. Баночка с пастилой у меня всегда с собой. Я работаю в огромном каменном зале, холодном и вредном для здоровья, меня постоянно донимают кашель, насморк и хрипы в горле. Он поблагодарил и продул трубку, воздух уже проходил. Я же тем временем думал о лесе, мелькавшем за окном.
— Ваша жена была... или... простите, она моложе вас? — спросил я, набравшись смелости.
— Кажется, на несколько лет,— ответил он как ни в чем не бывало, набивая трубку.
— Еще раз простите, вы не уверены в том, жива ли жена?
— Пожалуй, нет.
— Но вы все же носите траурный значок.
— Немало другого произошло, у меня есть повод для грусти,— сказал он с нажимом и плотнее запахнул пальто.
— Вы тоже почувствовали, что здесь сквозит?
— Здесь довольно холодно.
Я разглядывал его. Ростом он был с меня, сидел, откинувшись назад, и глядел вверх. На голове у него была шляпа, с полей на лицо легла тень. Я заметил, что он шевелит ногами.
— Ваши колени до сих пор болят? — успел я спросить.
— Ни малейшей боли,— ответил он, похоже, найдя удобное положение тела.
Я достал из портсигара новую папиросу, перебрал спички, они все оказались горелыми. У меня плохая привычка сохранять горелые спички, я пытался отучиться от нее, но тщетно.
— Не найдется ли у вас огонька, у меня кончились спички,— сказал я.
— Пожалуйста,— сказал он и чиркнул спичкой.
В этот момент я взглянул на его руку. То была не рука. Я отпрянул, как от удара током. Он смотрел на меня с изумлением и как бы виновато.
— Боже милостивый, ваша рука... совсем...— воскликнул я, заикаясь.
— Да, и вторая тоже,— почти весело сказал он и положил обе руки на колени.
— Такого я никогда не видел. Что же с вами приключилось? Что в этих сумках и куда вы едете?
Я был потрясен и говорил бессвязно. Он сидел в прежней позе. Мне пришлось сделать несколько глотательных движений, прежде чем я смог продолжать.
— Ваши руки, должно быть, невыносимо болят.
— Колени тоже, так что ничего страшного,— бодро откликнулся он.— Но впереди еще долгая дорога. Я мало спал. Вы, кажется, говорили, что не умеете спать в поездах?
— Да, локоть сползает вниз, голова падает, и я всегда просыпаюсь.
— Я все же попытаюсь,— сказал он и стал задергивать занавеску.

— Эй, не засыпайте, взгляните на тот рюкзак,— закричал я, как безумный, ибо лапы в рюкзаке шевелились, брыкались.
— Чтобы моя добыча барахталась, такого еще не бывало! — крикнул мне охотник и захохотал.
Я схватился руками за лавку. С дальней полки свалился на пол задремавший старик-инвалид, он начал жалобно стонать, ища свои костыли. Грохот и покачивание вагона сводили меня с ума, я опять вскрикнул, чем разозлил охотника.
— Не орите! Не думайте, что здесь и без того шумно, вы не знаете, с каким шумом медведь выскакивает из берлоги. Охотник встал и строго оглядел всех.— Если бы вы слышали, как бьются лоси за лосиху — вот того грохота можно испугаться.
— Господи, наш поезд, кажется, разваливается,— закричал я.
— Успокойтесь,— сказал охотник уже более мирно.— Я уже говорил, на стрелках всегда так. Вам бы надо знать это, если ездите каждый день. Ну вот, проехали стрелку. Ну, что? В моем рюкзаке еще что-то трепыхается?
Поезд опять шел ровно. Мой странный сосед, кажется, заснул за шторкой. Вскоре в вагон вошел контролер.
— Попрошу билеты,— объявил он у дверей.
— Проснитесь, контролер идет,— шепнул я соседу и тихонько потряс его за плечо,— проснитесь.
— Ваш билет, будьте добры,— попытался разбудить его контролер.
— Он только что заснул,— сказал я.
— Ну, что ж, может быть, скоро проснется, я еще вернусь сюда,— сказал он.
Я глядел на однообразный пейзаж за окном. Вдруг охотник поднялся и шагнул ко мне.
— Извините, мне бы достать рюкзак и ружье, кажется, поезд замедляет ход, если он остановится, я выпрыгну,— говорил он, застегивая куртку со множеством карманов, «молний» и крючков.
— Да, вроде бы замедляет,— сказал я и убрал свои ноги под лавку.— Что случилось? Здесь не должно быть остановки.
— Нет, и это хорошо. Ура, поезд останавливается! — ликовал охотник, вытаскивая дробовик из-под дорожных сумок.
Он просунул руки в ремни рюкзака, добродушно поглядывая на свое ружье. Все смотрели в окна и переговаривались. Сосед с траурным значком проснулся и сдвинул занавеску с лица.
— Непостижимо, ландшафт не движется,— сказал он, поднимаясь.
— Куда вы собрались? — спросил я.
— Я сейчас выйду, уйду отсюда,— ответил он.
— Но это не конечная остановка.
— Ничего, она может стать конечной.
— Куда вы пойдете?
— Я знаю направление.
— Но я не совсем понимаю, раньше вы гово...
— Вам этого и не понять,— дружески прервал он меня.
— Ваши ноги и руки в таком состоянии, неужели вы собираетесь...— забормотал я, ничего не понимая.
— Они не помеха,— усмехнулся он.
Охотник внимательно смотрел в окно. Лицо его горело, он был в наилучшем расположении духа.
— Никого не интересует охота? — вдохновенно начал он.— Я сам не свой до охоты. Это моя профессия. Я всегда говорю об охоте. Я охочусь с детства. Мой отец охотник и его отец тоже. Мой маленький сын уже учится прицеливаться, он был со мной, когда я свежевал лося, он ощиплет любую птицу. Из него тоже получится охотник, никем другим он и не хочет быть. Моя жена стреляет даже лучше меня, она всегда ходила вместе со мной, сейчас она дома, ждет появления в семье нового охотника. Стены у нас дома завешены шкурами, оружием, рогами, охотничьими рожками, чучелами птиц. Жена ловко вырезает из кости разные вещицы. Я так счастлив, что вы и представить не можете. Я охочусь, гоняюсь за зверем, днями пробиваюсь через чащобы, ночи провожу рядом со своим ружьем и наслаждаюсь воем зверей. Ах, поезд остановился как по заказу, я ухожу в лес!
Все слушали страстную речь охотника, только сосед с траурным значком перебирал свои сумки.
— Будьте добры, помогите мне спустить вниз эти сумки,— обратился он ко мне с легким нетерпением.
— Поезд трогается, вы не успеете.
— Быстрее, быстрее,— торопил он меня.
— Мы уже едем,— возразил я.
Охотник швырнул на пол рюкзак и дробовик и бухнулся на полку в бешенстве.

— Черт побери, как раз когда мне надо было...— выругался он.
Именно так,— поддержал его мой сосед. Он все еще стоял, держась одной рукой за верхнюю полку, другой — за ручку дорожной сумки.
— Но вам лучше остаться здесь,— попробовал я утешить его.
— Что ж, все равно. Попытаюсь заснуть,— фыркнул он и натянул занавеску на глаза.
Охотник немного поостыл и начал подбирать с пола свои вещи.
— Извините, позвольте мне опять поднять рюкзак и ружье наверх,— попросил он меня все еще дрожащим от возбуждения голосом.— Простите, я, кажется, наступил вам на ногу. В такой тесноте мне всегда неудобно в этих больших сапогах.
— Ничего,— ответил я.— Судя по рюкзаку, вам сегодня уже повезло.
— Не слишком, тощий заяц-русак,— пренебрежительно отозвался он.
Вскоре в вагон снова вошел контролер и направился прямо к нашей полке.
— Ваш билет, пожалуйста,— обратился он к пассажиру с траурным значком
Тот крепко спал. Я тоже попытался разбудить его.
— Проснитесь же наконец,— громко сказал контролер, тряся его за плечо.
— Он только что разговаривал,— сказал я контролеру.
— Пусть поспит, я зайду позже.
Охотник сидел задумавшись, а потом вдруг стал говорить, не обращаясь ни к кому конкретно:
— Что там было? Несколько дней назад я выстрелил в какого-то зверя. Он двигался по скале, я находился довольно близко к нему в долине. Утро было туманное и впереди густой кустарник. Я выстрелил и попал, он шлепнулся на камни. Я не решился подойти ближе, зверь издал такой странный звук, словно застонал от боли. К счастью, я увидел впереди зайца, пристрелил его и поспешил прочь.
— Может, это была лиса? — предположил я.
— Нет, не лиса, лису я знаю.
— Может быть, большая птица, филин, например?
Никакая не птица, в этом я уверен.
— Бывают разные звери.
Бывают, но разве зверь мог так простонать, как... ах, я думаю уж не знаю о чем
В этот миг сосед с траурным значком откинул с лица занавеску. А поезд вошел в длинный туннель, в вагоне зажегся свет, потому что темнота подкралась незаметно.
— Здесь в самом деле невозможно спать. Как вы и говорили, локоть не держится на подоконнике,— сказал, зевая, пассажир с траурным значком.— И сон не в сон.
— Вы все-таки так крепко спали, что не слышали, как приходил контролер,— сказал я.
— Возможно. Я слишком долго бодрствовал.
Он засунул шторку за спину и поправил пальто. Через расстегнутую рубашку я вдруг увидел его грудь и в ужасе закричал.
— Правда, я совсем забыл, там немного... хе-хе... сожалею,— проговорил он и снова зевнул.
— Боже мой, у вас... нет, господи... врача!
Поднялась невообразимая суматоха, все закричали. Очнувшись от дремоты, люди бормотали «Где мы?», «Кто тут толкается?», «Что опять случилось?». Молодая женщина в форменной пилотке вошла в вагон, предлагая сласти, фрукты и газеты.
— Есть ли в поезде врач? — крикнул я ей.
— Врач? А что случилось?
— Один пассажир сильно покалечен. Идите и поскорее найдите врача, в таком длинном поезде можно найти кого угодно.
Женщина ушла, сказав, что в начале поезда видела пассажира в очках и белом плаще. Люди поднимались с мест, подходили к нам, заполнили весь проход. Объектом всеобщего внимания стал мой сосед, но и на меня поглядывали с подозрением, ведь я сидел рядом.
— Как вы чувствуете себя? Дышите? Говорите, скажите хоть слово,— бормотал я.
— Чувствую себя прекрасно,— ответил он.— Но почему все они толкаются и шумят?
— Наверное, хотят посмотреть, как выглядит... или... не знаю. За врачом уже пошли, только что женщина направилась на поиски.
— Ну, не будем обсуждать их поведение. Будьте добры, спустите мою сумку вниз, я выйду,— решительно сказал он.
— Но поймите... вы должны понять... Кроме того, поезд идет полным ходом.
— Остановить поезд может кто угодно. На какой стене стоп-кран? Ага, вон там, хорошо. Я спешу, мне надо успеть еще много сделать.
Вдруг взгляд мой упал на рюкзак охотника. Он не добил зайца. Заяц опять брыкался. Боже мой! Под рюкзаком было мокро, пахло кровью. Я попросил, чтобы он убрал рюкзак подальше. Но он расхохотался до слез, хлопая себя руками по коленям, наста-

вительно объяснил, что поезд опять проходит стрелку. Он намекнул на мои нервы и стал уверять, что только охотники спокойны и хладнокровны. Его маленький сын совершенно равнодушно глядел, как на снегу корчился раненый волк.

— Все равно, унесите куда-нибудь рюкзак,— закричал я,— я с ума сойду, глядя на эти шевелящиеся лапы.

— Я выхожу,— резко отчеканил пассажир с траурным значком,— остановят этот поезд или нет?

— Подумайте сами... вы не можете... вам нельзя... скоро придет врач, доедем до станции,— уговаривал я его.— Вы что, совсем спятили?

— Насколько я знаю, нет, впрочем, никто почти ничего не знает,— ответил он и попросил меня спустить сумки, а охотника — освободить ему проход к дверям.

— Нет, вы должны остаться,— сказал я.— Поговорим о чем-нибудь другом. Поглядите, вон там лед оторвался от берега, мальчишки с шестами на плотах, один свалился в воду, как он выберется? А вон там, на заснеженном лугу, толпа людей, высокий, освещенный солнцем лес, чем они там заняты? Где мы едем? Не мимо ли моей станции? Сколько времени? Дома, когда я приезжаю, всегда готова еда, жена и дети ждут, сейчас ждет только дочка, сын в армии. У вас ведь тоже есть дети?

— Дети не мои,— нехотя проговорил он, собираясь выходить.

— Простите, у меня сложилось такое впечатление. Чьи же они?

— Не знаю.

— Они жили не с вами?

— Нет.

— А где?

— Понятия не имею,— сказал он так же нехотя.

— Вы их усыновили?

— Нет.

— Простите, не понимаю.

— Я тоже, честно говоря. Прекратите этот бессмысленный допрос и спустите мои сумки!

— Но ваши дети... сначала вы рассказывали...

— Ну, Бог с вами,— прервал он меня, потеряв терпение,— те дети были не знаю чьи. Я видел их то тут, то там. Они были маленькие, еще не говорили, сосали грудь, ели кашу, плакали, улыбались, ползали, казались счастливыми, часами не спали, мало думали, слов не знали. Я требую — спустите сумки!

— Значит, у вас с женой детей не было?

— Дети, жена, жена, дети! — закричал он, выходя из себя.— Я устал отвечать. Спустите сумки вниз. А вы, господин охотник, очистите мне фарватер, будьте так добры.

— Одну минуту,— пытался я удержать его.— Видите, чернеет горный склон, с него сошел снег, днем, наверное, побегут муравьи, запрыгают трясогузки. Но Боже правый, откуда этот звук?

— Мы въехали на мост, под нами ущелья, пропасти,— с воодушевлением крикнул охотник.— Ах, как успокаивает этот грохот! Попасть бы туда вниз с ружьем, выстрел разнесся б с такой силой, что любого разбил бы паралич!

— Но откуда этот давящий шум, эта темнота? — забеспокоился я.

— Вы что, впервые в тоннеле? Недавно мы проехали короткий, а этот длинный и извилистый. Мы мчимся внутри горы.

— Охотник, опять в вашем рюкзаке лапы зашевелились! — заорал я.

— Не хочу больше слышать о рюкзаке, тут всюду стрелки, поймите,— возмутился охотник.

— Я начинаю... здесь как-то... никогда раньше... я в это время уже обедаю, читаю газету,— забормотал я.

Поезд летел с сильным грохотом. Охотник обмахивал лицо шляпой. Сосед с траурным значком все еще стоял около меня.

— Помогите мне наконец спустить сумки, это вас не затруднит, я могу даже заплатить,— сказал он еще нетерпеливее.

— Один момент, скоро придет помощь,— ответил я ему, мучительно соображая, о чем бы еще поговорить.— Сколько же времени вы были женаты?

— Ни одного дня,— тотчас ответил он.

— Но у вас на пальце кольцо.

— Это, как видите, не обручальное кольцо, просто железное и тесное, от него на пальце ржавчина.

Наконец, тоннель кончился, показалось звездное небо.

— Какие тут охотничьи угодья! — воскликнул охотник.— Ах, в таком лесу хотел бы я умереть у какого-нибудь брода или пещеры среди зверей, смиренно преклонив перед ними колени.

— Не хотите мне помочь? — со значением спросил меня сосед.

— Охотно помог бы вам, но и сбит с толку: вы говорили о жене, но не знаете, жива ли она; носите траурный знак и говорите, что ни дня не были женаты.

— Неудобный вы человек, что мне с вами делать,— снова возмутился сосед.— Моя жена или бывшая жена — это девушка с челкой до бровей. Я шел ночью по дороге, девушку переехала машина. Она была еще жива, ясными глазами с изумлением глядела на меня. Я смахнул волосы с ее лба, понес ее к дому. У ворот под деревьями виднелись цветы. Она шепотом попросила опустить ее на землю, она хотела нарвать маленький букет. После этого я внес ее в дом и никогда больше не видел. Но я считал ее женой, слышите, женой, девушку, которая, умирая, тянулась к цветам. Это железное кольцо я нашел той же ночью на дороге и нацепил на палец. Теперь вы все знаете о моей жене и детях, и я требую, чтобы вы спустили вниз мои сумки, я сразу выйду, и мы расстанемся.

— Попробуйте заснуть, скоро вам окажут помощь, поезд вроде бы подходит к какой-то станции.

— Я уже несколько раз говорил, что не нуждаюсь в помощи такого рода, да и какой толк от спанья, когда локоть то и дело прерывает сон,— иронически ответил сосед с траурным значком.

— Ну, закурите хотя бы трубку. Могу ли я вам помочь?

— Да, спустите сумки. В ту же секунду я выйду.

Тут раздался крик охотника:

— Идет женщина еще с кем-то!

Поднялся хаос, все заорали, задвигались. Иные только что проснулись и, протирая глаза, спрашивали: «Кто опять идет?», «Кто этот долговязый в белом плаще?», «Почему в этих поездах вечно беспорядок?» Женщина стала предлагать желающим сласти, фрукты и газеты. Мужчина в очках, в белом плаще с трудом пробивал себе дорогу в людской массе.

— Ну, где он? — вопрошал мужчина, держа черный саквояж над головами пассажиров.

— Там, у самого окна, около того господина, напротив того рюкзака, вон тот,— звонким голосом наставляла другая женщина.

— Вы? — врач ткнул пальцем в мою сторону.

— Он,— сказал я, кивнув головой в сторону соседа, который отвернулся и смотрел в окно.

— Не нужен мне врач,— прорычал он.

— Вот как? — засуетился врач.— Это хороший признак, очень хороший признак. Покажитесь хоть немножко, мне сказали, что у вас суставы переломаны и так далее.

— Не обращайте внимания, господин доктор,— успел вставить я.— Он упрямый и какой-то странный, хотел остановить поезд и выйти, говорил о жене и детях, которых у него нет, и всякое такое.

Врач начал обследовать соседа с траурным значком, а люди вокруг сомкнулись плотнее.

— Вон что, вон что, о-го, вот это, ай-ай,— как бы про себя проговорил врач.— Плохо дело, плохо, пальцы раздавлены, кисти сломаны, колени всмятку, сердце не бьется, легкие в лоскутьях. Снимите-ка шляпу, или, минутку, я сам сниму ее. Невероятно, какая дыра, череп расколот! Нет, не-е-ет, не-е-е-т! Вы же мертвы! Согласно доводам науки и разума, вы мертвы!

— Он с самого начала производил странное впечатление,— просветил я доктора.

— Я тоже обратил внимание, он напоминает мне одного убитого мною волка, который рычал, когда с него сдирали шкуру. В этом человеке есть что-то знакомое, точно я с ним уже встречался,— сказал охотник.

— Здесь мертвец! — звонко вскрикнула женщина. Затем она обратилась к мужу, который влез на полку, следя за событиями сверху:

— Это ты захотел сесть в этот вагон!

— Я схожу за книгами, тогда все прояснится, и в этом вопросе можно будет поставить точку,— авторитетно доложил врач.

Когда дверь за врачом закрылась, и женщина со сластями, фруктами и газетами прошла в другой вагон, мой сосед поднялся с лавки и вышел в проход. Люди отпрянули, и проход открылся во всю ширину. Он подошел к стоп-крану, взялся за него и потянул на себя. Поезд со страшным скрежетом остановился. Он открыл дверь и исчез. Он действовал так целенаправленно и решительно, что я не успел шевельнуться.

— Он вышел, но сумки оставил,— заметил охотник.— Может быть, вернется за ними. Но, думаю, мы будем зря его ждать. Поглядите на эти леса, на эти пьянящие горные склоны. Там с утеса на утес прыгают олени с рогами-коронами!

— Я, пожалуй, отнесу его сумки на насыпь и покричу ему,— сказал я.

— Могу я я выйти посмотреть,— присоединился охотник.

Через какое-то время вышли и остальные пассажиры. Мы все кричали, затем слушали, ожидая ответа. Охотник сходил в вагон за ружьем и начал стрелять из обоих

стволов с интервалом в пару секунд. Эхо повторяло выстрелы бесконечное число раз. Мы слушали, ждали.

— Зря мы кричим и стреляем, пошли в вагон, я, во всяком случае, пойду. Ах, поскорее бы попасть на охоту!

Поезд стоял. Люди стали нервничать, дети заплакали, женщины заворчали.

— Мне холодно.

— Мне тоже.

— В таком поезде и первый раз.

— И надо же было поехать!

Мужчины курили и тоже беседовали.

— Когда же мы доедем?

— В лучшем случае утром.

— Черт, я задерживаю начало собрания.

— Я всегда опаздываю, сам того не желая.

— Вокруг меня все запаздывает и останавливается, как плохие часы.

Звонкоголосая женщина ругала мужа, поезд, жизнь и все на свете. Охотник тоже начал злиться:

— Да что же такое стряслось с этим поездом? — крикнул он.— Черт! Уж лучше ходить пешком с рюкзаком за спиной, ружьем через плечо и принюхиваться к следам.

Вскоре в вагон опять вошел контролер.

— Проснулся ли, наконец, наш пассажир? — спросил он.

— Его уже нет, он вышел, он явно был мертв,— сказал я.

— Понятно. Я мог бы и сам догадаться, что он был мертв,— огорченно сказал контролер.— Нас всегда обманывают. Все удирают и умирают, не оплатив свой проезд. У него, наверное, тоже не было билета.

И контролер побрел к выходу, опустив голову, что-то бормоча и качая головой. Охотник предложил снова пойти и посмотреть. И вскоре все опять вышли на насыпь. Тучи затянули небо, стало ветрено, в воздухе кружился снег.

— Как потемнело,— сказал охотник.— В такую погоду хорошо караулить у берлоги медведя или бежать на лыжах по следу. Вы не поверите, какие красивые следы оставляют когти на снегу.

— Однако дорожные сумки исчезли, я ведь оставил их здесь,— удивился я.

— Может, он приходил за ними. Непостижимо.

— Чем, интересно, они были набиты?

— Трудно сказать. Схожу-ка я за ружьем, пальну пару раз, дам ему знак, в такую погоду в лесу с непривычки трудно.

Охотник выстрелил, но звук утонул в шуме деревьев. В такой пурге ничего не видно и не слышно. И все потихоньку двинулись обратно в вагон.

— Здесь хотя бы стены защищают и на полке можно поспать,— сказал охотник.

— Я не умею спать в поезде: локоть сползает с подоконника, голова падает на колени, и сна как не бывало,— грустно констатировал я.

— Но сейчас-то поезд стоит,— заметил охотник.

— Это ничего не значит, раз не умею, значит не умею.

В вагон вошел врач с двумя объемистыми книгами под мышкой.

— Этот человек определенно мертв,— серьезно произнес он.

— Откуда вы все знаете? — закричала звонкоголосая женщина.

— Существует наука,— ответил врач и похлопал рукой по книгам.

После этого доктор зачитал из одной книги большой абзац, начинавшийся словами: «Человек мертв, когда у него...». Пока он читал, все молча слушали.

— В другой книге написано в общих чертах то же самое, но по латыни,— сказал врач и с чувством собственного достоинства направился в свой вагон.

— Вон там уже храпят,— сказал охотник, показывая на дальние полки.— Я тоже растянусь. Положу рюкзак под голову, чтобы он не нервировал вас.

Охотник тотчас заснул. Многие уже спали. Продавщица сластей, фруктов и газет снова вошла в вагон и хотела начать предлагать свой товар, но я приложил палец к губам.

— Ах, здесь уже спят,— прошептала она.

— Почему поезд стоит? — тоже шепотом спросил я.

— Какая-то поломка в паровозе. Поездная команда проверяет котлы, смазывает винты, разбирает болты и гайки, все работают изо всех сил,— объяснила женщина и собралась уходить.

— Надо надеяться, что они найдут неисправность и починят паровоз,— сказал я.

— Надеяться можно, но я уже сомневаюсь во всем. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

— А что это поблескивает возле моей ноги? — тихо вскрикнула она, сделав несколько шагов.

— Где? Отодвиньтесь чуть-чуть, загораживаете свет.

— Вот это, черное.

— Это траурный значок,— ошеломленно сказал я.— Он выпал, иля сосед, уходя, открепил его от пальто.

— Вон оно что. Так всегда бывает. Еще раз спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я держал траурный значок в руке, поворачивал, разглядывал его. Было ясно, что он сорвал его с отворота пальто. Видимо, он решил, что его траур окончился. В вагоне бодрствовал я один, я замерз, свет едва мерцал. Внезапно взгляд упал на лежащую на верхней полке дорожную сумку. Она была перетянута ремнем, и меня пронзила мысль, что я отнес на насыпь чужую сумку, черную. Эта же, наверху, набитая до отказа, была очень тяжелая. Я попробовал спустить ее на пол, но не сумел, наконец мне удалось наклонить ее, ремень лопнул, сумка открылась, и содержимое высыпалось на меня. Траурные значки, одни траурные значки, полная сумка значков. Они цеплялись за волосы, за складки одежды, скользили и под одеждой, падали на пол и закатывались под лавку.

Я поставил пустую сумку на полку и начал собирать в нее значки. Свет тускнел. Я ползал на четвереньках по проходу и между полками, заползал под них. Но значки еще не покрыли даже дна сумки. Буря на улице, судя по шуму, разбушевалась вовсю. Все спали, только мне это никогда не удавалось. Но теперь у меня хоть было какое-то дело. Охотник беспокойно ворочался, заяц барахтался, царапался, тыкался мордой в стенки рюкзака. С кем бы мне поговорить? Дорога замерла. Представляю, как беспокоятся жена и дочка и что сказал бы сын в армии, если бы узнал, что его отец ползает по темному вагону, собирая в большую сумку траурные значки. На сколько умерших хватит теперь траурных значков в моих волосах и в одежде? И все это случилось сегодня, простите, я хотел сказать вчера, ибо, даже не сверяясь с часами, знаю, что уже далеко за полночь и опять наступило завтра.

Перевела с финского
А. ХУРМЕВААРА

Туве
ЯНССОН

Серый шелк

Манда приехала в город из провинции, и была она ясновидящая. Не только потому, что ей ниспосылались вещие сны; она, кроме того, обладала удивительной способностью чувствовать витающую рядом смерть и предрекать, кого она постигнет. Манда и сама была бы рада таить свои предчувствия и не рассказывать о них другим, но каждый раз что-то безжалостно заставляло ее говорить о том, чему суждено произойти.

Поэтому скоро она осталась в полном одиночестве и уехала в город. Зарабатывала она вышиванием. Все устроилось на удивление легко: Манда пришла в самый престижный салон мод, показала несколько своих работ и была тотчас же принята на службу. Поначалу ей доверили вышивать только нижнее и постельное белье, потом — вечерние платья, а вскоре она перебралась за собственный стол за стеклянной стеной и уже самостоятельно составляла узоры и подбирала цвет.

Манда почти никогда не разговаривала и здоровалась без улыбки. Эта, казалось бы, мелочь на самом деле внушала почти ужас. Ведь к взаимным приветственным улыбкам, которыми обмениваются при встречах, привыкают; это так естественно — улыбаться, независимо от того, нравится ли тебе тот, кому улыбаешься, или нет. К тому же Манда не смотрела людям в глаза, а всегда глядела в пол.

Туве ЯНССОН родилась в 1914 г. в Хельсинки. Прозаик. Дебютировала как детская писательница, ее книга «Мууми» (на шведском языке) по количеству иностранных переводов занимает в финской литературе третье место после «Калевалы» и произведений Мика Валтари. С 1970-х годов пишет прозу для взрослых («Честный обманщик» [1982], «Чистая игра» [1983]).

Молчаливость и серьезность Манды, ее бесспорный талант, тонкий вкус, а также стеклянная стена отгораживали ее ото всех; она жила, погрузившись в свой собственный тайный мир. Те, кто были за стеклянной стеной, боялись ее, непонятную и угрюмую, но ни в поведении, ни в облике этой высокой темноволосой женщины со сросшимися бровями никто не мог заметить даже тени надменного превосходства или недоброжелательности. Когда Манда приходила по утрам в ателье, она снимала плащ, косынку (она носила головной платок) и тихо здоровалась. Стоило ей войти, сразу повисала тишина. Все видели, как она долгими медленными шагами идет к своей стеклянной клетке — она двигалась, как длинноногое животное. Когда она закрывала за собой стеклянную дверь, все переводили взгляды на ее черную косынку и плащ на вешалке — нечто мятое-черное из скверной ткани, висевшее, словно сброшенная змеиная кожа. Ее бедная одежда никому не казалась трогательной — она производила какое-то мрачное, почти мистическое впечатление.

Сидя за стеклянной стеной Манда вообще ни о чем не думала. Ей нравилось вышивать. А мадам очень нравились и придуманные ею узоры, и то, как она подбирала цвета. Обычно Манда сперва делала эскиз пастелью и несла хозяйке на стол еще едва намеченный набросок. Мадам одобряла эскиз, и Манда уходила обратно, даже не захватив с собой лист бумаги с первоначально придуманным узором: узоры и цвета все равно по ходу работы менялись, эскиз был всего-навсего данью правилам, не больше,— они обе это понимали.

В то время Манде не снились сны, потому что она не знала людей, которые ее окружали, и ей не было никакого дела до них. Спокойные ночи приносили ей облегчение и отдых, дарили такую радость, какой она не знала прежде. Ей не нужны были даже дни — днем она уединялась и только вышивала. Она вытягивала свои длинные сильные ноги и, откинувшись на спинку стула, вышивала, зорко следя глазами за работой. Рука спокойно водила иглой, а иногда дорогая ткань, лежавшая у нее на коленях, трещала. Был разгар сезона, непрестанно приходили модницы с заказами, но Манда их не замечала. И ничего бы не случилось, если б не шелковое платье, расшитое жемчугами. Вещь была вполне заурядная, ярко-розового цвета,— обыкновенное платье, безвкусно изуродованное этими жемчугами,— а Манда спасла его, украсив узором из серого шелка. Но дама осталась недовольна и захотела поговорить с вышивальщицей. Манда заявила, что не выйдет к ней. Мадам сказала:

— Милая Манда, заказ этот очень дорогой, мы не можем отдать его кому-то там другому.

— Это платье принесет несчастье,— промолвила Манда,— я не хочу.

Но в конце концов пришлось все-таки выйти.

Худая нервная дама и говорила, и возмущалась одновременно. У нее было обиженное лицо. Вышивка серым шелком вывела ее из себя. Манда смотрела на нее и видела, что эта женщина очень скоро умрет, хотя сама об этом не подозревает. А внутренний голос приказывал Манде сказать об этом вслух. Манда вдруг почувствовала, что заболевает; она широко шагнула и распахнула дверь. Втроем они стояли в маленькой примерочной, было жарко, женщина повернулась и, взявшись за ручку двери, воскликнула:

— Я требую объяснений! В таком виде я не могу носить мое платье!

— Вам не придется носить ваше платье,— сказала Манда.

Губы ее одеревенели, ей трудно было говорить, но она докончила:

— Это платье вам не понадобится, потому что вы очень скоро умрете.

Вернувшись в мастерскую, она ушла в свою стеклянную клетку, взяла мелки и нарисовала новый узор, первый, что пришел в голову. Все цвета были очень яркие, броские — горчично-желтые и желто-зеленые, лиловые и ярко-синие, оранжевые и белые. Сумасшедшие цвета, которые сначала били по глазам, однако потом спокойно льнули друг к другу и только светились и сияли. Вскоре она уже забыла испуганно застывшую женщину, которой предстояло умереть.

Вошла мадам, села и, помолчав, только и смогла сказать:

— Какая муха вас укусила? Почему, ради Бога, вы выдали ей такое?

— Мне очень жаль,— тихо ответила Манда.— Просто я увидела, что она очень скоро умрет, и должна была ей сказать об этом. Это было нехорошо с моей стороны.

Мадам бросила взгляд на цветной эскиз, посидела еще немного и устало сказала:

— Чтобы этого не повторялось!

— Нет, больше никогда,— ответила Манда.

Назавтра, когда женщина умерла,— а погибла она в автомобильной катастрофе — Манда прошла в свою стеклянную клетку, и никто не осмелился сказать ей как обычно: «Доброе утро». Она работала до самого обеда и послала уже готовый эскиз с курьершей, а потом, получив его обратно одобренным, начала вышивать белое вечернее платье и оставалась в ателье до тех пор, пока все не разошлись по домам. Тогда

она надела плащ, косынку и отправилась бродить по городу, по вечерним улицам и разглядывать всех, кто встречался на пути. Она вглядывалась в них и видела, что многим, очень многим суждено вскоре умереть, и внутренний голос непрерывно взывал к ней, требуя сказать об этом,— но люди быстро проходили мимо, они торопились куда-то, и много-много среди них было тех, кто обречен. Их было слишком много, и голос взывал к ней все слабей и слабей. Она продолжала брести сквозь город и вглядываться во всех, кто встречался ей, проходил мимо и исчезал навсегда. Потом стало совсем тихо, и все стали неразличимо похожи друг на друга.

Манда пошла домой, она очень устала. Она взяла было мелки, чтобы нарисовать новый узор, придуманный ею на прогулке и показавшийся ей красивым,— и внезапно поняла, что не знает, какие ей выбрать цвета и почему вообще они должны сочетаться друг с другом.

Перевела со шведского
Людмила БРАУДЕ

Курцио
МАЛАПАРТЕ

КАПУТ

Роман

Крысы в Яссах

Я толкнул дверь и вошел. Дом оказался пустым. Видно было по всему, что его оставили в большой спешке. Сорванные с окон занавески лохмотьями валялись по комнате. В просторной спальне, посередине, стоял большой круглый стол под медной лампой, вокруг него — несколько стульев. Из вспоротого матраса повсюду разлетелись гусиные перья, и с первых же моих шагов по комнате с пола поднялось белое облако, закрутилось вокруг меня и облепило потное лицо. Ящики были выдвинуты, одежда и бумаги набросаны на полу. Я повернул выключатель. К счастью, лампа горела. На кухне — завал соломы и битой посуды. В грандиозном беспорядке на плите громоздились сковородки и кастрюли. В углу гнила куча картошки. Запах грязи и протухшей пищи отравлял воздух.

Конечно, это не был дворец, но в Яссах, в Молдавии, в эти последние июньские дни 1941 года (первые дни войны Германии против Советской России) я не смог бы найти ничего лучшего, чем этот домик в большом запущенном саду, как раз у начала улицы Лапуснеану, рядом с жокей-клубом и кафе-рестораном Корсо. Потом уже я увидел, что это был вовсе не запущенный сад, а старое заброшенное кладбище.

Я настежь открыл окна и принялся убирать комнату. Я помирал от усталости и на этот вечер ограничился тем, что убрал и подмел в спальне. Все! Все к черту, к черту войну, к черту Молдавию, к черту Яссы и ясские дома с их потрохами! Я разложил оба одеяла на кровать, повесил на стену карабин, походный фонарь и фотографию собаки, моего бедного Фебуса. Тем временем стемнело, и я зажег свет.

Тут же из темноты раздались два выстрела — пули разбили стекла в окне и вошли в потолок. Я погасил свет и встал у окна. Солдатский патруль остановился посреди кладбища, прямо перед домом, и я не мог различить, кто были эти люди, немцы или румыны.

— Lumina! Свет! — закричали они. Это были румыны.

— La dracu (к черту)! — крикнул я.

Раздался другой выстрел, пуля просвистела у моего уха. В Бухаресте тоже несколько дней тому назад с площади стреляли по моему окну в Атенеум Паласе. Полиция и солдаты получили приказ стрелять без разбора в любое окно, из которого будет заметна малейшая полоска света.

В темноте я на ощупь поискал граммофон, который заметил раньше где-то на столике. В куче набросанных как попало пластинок в одном из открытых ящиков взял наугад первую, попавшуюся под руку, пальцем нащупал иглу, покрутил ручку, поставил иголку на край пластинки. Это была народная песня, которую исполняла Шива Питцигои. Хриплый и нежный голос Шивы запел в темноте: «Ce — ai in gusa, Marioara...»

Я бросился в кровать, закрыл глаза, но через минуту встал, пошел на кухню, взял ведро с водой и поставил охлаждаться в воде бутылку цуйки, которую привез из Бухареста. Я поставил ведро рядом с кроватью, опять лег на вспоротый матрас и закрыл глаза. Стальная игла тихо скрипела. Я встал, подкрутил ручку граммофона, опять поставил иглу на край пластинки. Голос Шивы Питцигои опять глухо и нежно запел в темноте: «Ce — ai in gusa, Marioara...»

Если можно было бы зажечь свет, я бы почитал. Я привез с собой книгу Гарольда Николсона «The Helen's Tower» [1], которую обнаружил в Бухаресте у моего друга,

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 10.

[1] «Башня Елены» *(англ.)*.

еврея-книготорговца Азафера, того самого, что торгует книгами перед Курентулом. Это старая книга издания 1937 года, в ней рассказана история лорда Дафферна, дяди Гарольда Николсона. Ну и черт с ним, с Гарольдом Николсоном и с его дядей, лордом Дафферном, всех, всех к чертовой матери!

Стояло жаркое, удушливое лето, уже три дня подряд на крыши города опухолью давила собиравшаяся гроза. Шива Питцигои пела глухим и нежным голосом, но вдруг песня оборвалась, стальная игла заскрипела. Мне не хотелось вставать с кровати. К черту la gusa de Marioara, спокойной ночи, мадемуазель Шива. Так я мало-помалу засыпал, и мне приснились сны.

Сначала я не заметил, что мне уже снится сон, потом вдруг понял, что на самом деле это был только сон. Возможно, я глубоко заснул, потом внезапно проснулся, как это бывает, когда человек очень устает, и продолжал видеть сон, уже проснувшись.

Вот дверь раскрылась, и вошел Гарольд Николсон. На нем был серый костюм, очень светлая голубая оксфордская рубашка и ярко-синий галстук. Он вошел, бросил на стол шляпу из серого фетра — Локк, сел на некотором расстоянии от моей кровати и с улыбкой стал смотреть на меня.

Постепенно комната изменила вид, вот она превратилась в улицу, в площадь, обсаженную деревьями. Над крышами я узнавал парижское небо. Я увидел площадь Дофин у моего дома. Вот я пробираюсь под самыми стенами домов, чтобы меня в моем мундире не заметил продавец газет на Новом мосту, сворачиваю за угол на набережную Часов, останавливаюсь у номера 39 — перед своей дверью. Это и есть дверь моего дома, дверь дома Даниэля Галеви, где я всегда живу в Париже. Я спрашиваю мадам Мартиг, консьержку:

— Что, господин Малапарте у себя?

Мадам Мартиг долго смотрит на меня и молчит. Она не узнает меня. Мне стыдно появляться в Париже в форме итальянского офицера, мне стыдно видеть немцев на улицах Парижа. Как же ей меня узнать, ведь столько воды утекло!

— Нет, господина Малапарте нет в Париже,— отвечает мне мадам Мартиг.

— Я его друг,— говорю я.

— Мы ничего о нем не знаем,— отвечает мне мадам Мартиг,— может быть, господин Малапарте еще в тюрьме в Италии, может быть, где-то на войне, в России, Африке, Финляндии, кто знает? Может быть, он мертв или в плену, кто знает!

Я спрашиваю, дома ли господин и госпожа Галеви.

— Нет, нет, их нет дома, они только что уехали,— отвечает мадам Мартиг тихим голосом.

Тогда я поднимаюсь по лестнице я с улыбкой посматриваю на мадам Мартиг — ну, теперь-то она меня узнает? Она неуверенно улыбается — ну, теперь-то она почувствовала запах, который я принес с собой, запах мертвой лошади, запах травы на заброшенном кладбище в Яссах! Перед дверью Даниэля Галеви я останавливаюсь и протягиваю руку к звонку, не осмеливаясь открыть дверь. Я подошел к этой двери совсем как в тот день, когда прощался с хозяином дома перед отъездом в Италию, перед тем, как мне суждено было оказаться в тюрьме и в ссылке на острове Липаря. Даниэль Галеви сидел в своем рабочем кабинете, и к нему пришли художник Жак Эмиль Бланш и полковник Де Голль. Туманное предчувствие грозившей беды сжимало мне сердце.

— Господина Галеви нет дома! — крикнула мне мадам Мартиг снизу.

Тогда я пошел дальше по деревянной лестнице, которая вела в мою мансарду, постучал в дверь, через некоторое время услышал шаги за дверью, и Малапарте открыл дверь: он был молод, гораздо моложе, чем теперь, у него было светлое лицо, черные волосы и глаза слегка с поволокой. Он смотрел на меня и молчал, а я улыбался ему, но он не ответил на мою улыбку. Он смотрел на меня подозрительно, как смотрят на незнакомца. Я вошел к себе, осмотрелся: все мои друзья сидели здесь, в библиотеке. Вот они передо мной — Жан Жироду, Луиджи Пиранделло, Андре Мальро, Бессан Массене, Жан Геено, Гарольд Николсон, Гленвей Вескот, Сесиль Шпригге и Барбара Харрисон. Все мои друзья оказались здесь, передо мною. Вот они сидят и молчат, некоторые из них мертвы — тогда лица у них белые, глаза тусклые. Может быть, они сидят и ждут меня здесь все эти прошедшие годы и теперь не узнают меня. Может быть, они больше не надеются, что я опять — приду, приеду в Париж после стольких лет тюрьмы, ссылки, войны. Громкий свист буксиров, тянущих вверх по Сене вереницы барок, слабо и жалобно доносится в мою мансарду. Я встаю у окна и вижу парижские мосты — от Сен-Мишель до Трокадеро, вижу зелень листвы вдоль набережных, фасад Лувра, деревья на площади Согласия. Друзья в молчании смотрят на меня, и я сажусь среди них, я хочу услышать их голоса, хочу послушать, как они говорят, но они сидят неподвижно и замкнуто, молча смотрят на меня, и я чувствую, что они меня жалеют, я хочу им сказать, что не по своей вине я стал жесток, что мы все стали жестоки, я ты тоже, Бессан Массене, и ты, Геено, и ты, Жан Жироду, и ты, Барбара, ведь правда?

Барбара улыбается и кивает головой — да, да, она знает, согласна. Другие тоже улыбаются и кивают головами, подтверждая, что и они, что все мы против воли стали жестоки. Тогда я встаю и иду к двери. У порога оборачиваюсь, смотрю на них, улыбаюсь. Потом медленно спускаюсь по лестнице, и мадам Мартиг тихо говорит мне:

— Никогда он нам не напишет!

Я хотел попросить у нее прощения за то, что не написал ей ни из тюрьмы Реджина Чели, ни с острова Липари. Вы же знаете, я не писал вам не из гонора, а из-за того, что мне было стыдно. У меня была особая стыдливость узника, печальная стыдливость затравленного, заточенного в камеру человека, снедаемого бессонницей, лихорадкой, паразитами, изнывающего в одиночестве, в жестокости. Да, мадам Мартиг, изнывающего в своей собственной жестокости.

— Может быть, он нас забыл,— тихо сказала мадам Мартиг. Потом прибавила: — Может быть, он и вас тоже забыл?

— О! Нет, он не забыл вас. Он стыдится того, что за последние годы ему пришлось выстрадать, он в ужасе от того, во что мы все превратились, пока идет война. Вы сами знаете, правда? Он стыдится того, что ему пришлось перенести. Вы сами знаете, правда, мадам Мартиг?

— Да,— тихо говорит она,— мы хорошо знаем господина Малапарте.

— Здравствуйте, Чайлд Гарольд,— рассмеявшись, говорю я из кровати.

Гарольд Николсон медленно снял перчатки и маленькой, покрытой рыжим пушком белой рукой пригладил усы, долго задерживаясь на губах. Усы Гарольда Николсона всегда наводили меня на мысль вовсе не о дипломате из молодых сотрудников министерства иностранных дел, каковым он и был, а о казармах в Челси: Гарольд Николсон смотрел на меня совсем как в тот день, в Париже, перед тем, как мы пошли позавтракать к Лярю, улица Руайаль, где нас ждал Мосли.

Где я познакомился с Николсоном? Однажды утром, во время завтрака с друзьями в предместье Сен-Оноре миссис Стронг говорила мне о нем. Через несколько дней миссис Стронг позвонила мне и сказала, что Николсон заедет за мной и затем познакомит меня с Мосли. Сидя у меня в библиотеке, Николсон поглаживал усы короткой, поросшей блестящим рыжим пушком белой рукой. С Сены доносился жалобный вой буксирных сирен. Было теплое и туманное октябрьское утро. Мы пешком направились вдоль Сены к улице Руайаль и, когда вошли к Лярю, было без пяти два.

Мы сели за столик, спросили мартини и через полчаса никакого Мосли еще не было. Время от времени Николсон вставал и шел звонить Мосли, который жил, как сказал мне Николсон, в гостинице «Наполеон», рядом с Триумфальной аркой. Превосходный адрес для будущего английского Муссолини. В три часа Мосли все еще не было. Я начал подозревать, что все это время Мосли преспокойно проспал у себя в кровати, но не решался поделиться догадкой с Николсоном. Еще прошло с полчаса, Николсон, уже в десятый раз выходя из телефонной кабины, объявил, наконец, торжествуя, что сар Мосли сейчас будет,— была половина четвертого. Смеясь, Николсон прибавил, как бы извиняясь, что у Мосли была дурная привычка валяться в кровати все утро, что он поздно вставал, никогда не вставал раньше полудня, что от полудня до двух часов он помахивал в номере фехтовальной рапирой, потом выходил из гостиницы и пешком шел на условленные встречи и приходил только тогда, когда, устав от ожидания, все уходили. Я спросил, знал ли он высказывание Талейрана по поводу опозданий: Талейран говорил, что в жизни легко прийти, по тяжко уходить.

— Для Мосли,— сказал Николсон,— опасность состоит только в том, что он приходит перед тем, как уйти.

Когда, наконец, Мосли вошел к Лярю, было почти четыре часа по полудни, и мы с Николсоном успели выпить по семь-восемь мартини и принялись уже за еду. Не помню теперь, что мы ели и о чем говорили, помню только, что у Мосли оказалась малюсенькая головка и нежный голос, что он был высокого роста, очень высокого, худ, небрежно-вял, немного сутул и нисколько не сконфужен, даже напротив, вполне удовлетворен опозданием, и сразу объявил нам:

— Ведь когда уже опаздываешь, не спешишь.

Он вовсе не извинялся, а только давал нам понять, что он не столь глуп, чтобы не заметить, что пришел с опозданием. В мгновение ока мы с Николсоном пришли ко взаимному и тайному сговору — и во все время «завтрака» Мосли ни разу не заподозрил, что мы сговорились посмеиваться над ним. Мне показалось, что он в большой мере обладал «sense of humour» [1], но, как все диктаторы (Мосли был только кандидатом в диктаторы, однако, вне всякого сомнения, обладал всем, что полагается диктатору, а мы — увы! — знаем, из чего это «все» состоит), он даже отдаленно не подозревал, что над ним можно было подсмеиваться.

Он захватил экземпляр английского издания «Техники государственного переворота» и хотел, чтобы я написал ему на нем несколько слов. Конечно, он ждал от меня

[1] Чувство юмора *(англ.)*.

дифирамбов в свой адрес, и именно для того, чтобы его разочаровать и как можно злее, я написал на авантитуле две фразы из моей книги: «Как и все диктаторы, Гитлер более всего походит на женщину» и «Диктатура — это самая полная форма ревности». Прочитав эти слова, Мосли смешался и спросил с легкой примесью раздражения, глядя на меня без особого расположения:

— Цезарь, что, тоже, по-вашему, более всего походил на женщину?

Николсону едва удалось не засмеяться, и он подмигнул мне.

— Цезарь был еще хуже женщины,— ответил я.— Он не был джентльменом!

— Цезарь не был джентльменом? — спросил пораженный Мосли.

— Иностранец, который позволил себе завоевывать Англию,— сказал я,— помилуйте, какой же это джентльмен!

Нам подавали великолепные вина, и хозяин ресторана Лярю, тщеславный, обидчивый и капризный, как женщина — или как диктатор,— упрямо и высокопарно посылал нам нескончаемые вереницы официантов с великолепными блюдами. Он желал сразить наповал трех эксцентрических иностранцев, впрочем, единственных посетителей его пустого зала, которые умудрились завтракать в столь неподобающий час, тогда как чай файф-о-клока уже клубился паром в серебряных чайниках отеля Риц. И юмор Мосли, казалось, пряшел в совершенное согласие с юмором хозяина ресторана, не имевшим его вовсе, и с его пышным, благоухавшим спесью букетом вин. Мало-помалу Мосли вновь обрел душевное равновесие и способность иронизировать. Уже один за другим стали зажигаться газовые рожки на улице Руайаль, уже цветочницы от Мадлен спускались к площади Согласия с полными вялых цветов тележками, а мы все равно спорили по поводу достоинства сыра Бри и наилучшего способа прийти к власти в Англии.

Николсон поддерживал ту точку зрения, что англичане не поддаются ни силе, ни убеждению, но превозносит «хорошие манеры», а у диктаторов их не бывает. Мосли отвечал, что хорошие манеры, как и все остальное, ныне пребывали в упадке и что англичане созрели для диктатуры.

— Но каким образом вы придете к власти? — спросил Николсон.

— Наидлиннейшим,— ответил Мосли.

— По Трафальгар-сквер или через парк Сент-Джеймс? — спросил Николсон.

— Конечно, через парк Сент-Джеймс,— ответил Мосли,— мой государственный переворот будет похож на приятнейшую прогулку,— и он весело рассмеялся.

— Ах! Я понял, ваша революция начнется от Майфер. И в какой же момент рассчитываете вы прийти к власти? — спросил Николсон.

— Уже сейчас можно назвать точную дату того, когда в Англии произойдет кризис парламентского режима. Уже сегодня я назначаю вам свидание на Даунинг-стрит,— ответил Мосли.

— Согласен, в какой же день и час? — спросил Николсон.

— Ах! Это мой секрет! — смеясь, кокетливо воскликнул Мосли.

— Но, если революция назначит вам свидание,— сказал Николсон,— вы придете к власти с опозданием.

— Тем лучше! Я приду к власти, когда меня никто не будет ждать,— парировал Мосли.

Пока мы беседовали, с наслаждением вдыхая тонкий аромат старого арманьяка, мало-помалу зал у Лярю менял вид и превращался в большую комнату, странным образом походившую на ту, где я лежал на вспоротом матрасе. Гарольд Николсон смотрел и улыбался. Он сидел под медной лампой, опершись локтем на стол рядом со своим фетровым Локком. В какой-то момент он взглядом указал мне в угол комнаты, я посмотрел туда и увидел, что там, на полу, по-турецки сидит сар Освальд Мосли. Я все не мог понять, каким образом Николсон и Мосли оказались в Яссах, в комнате, где я спал. Я с глубочайшим удивлением наблюдал за Мосли, рассматривал его маленькое розовое детское личико, маленькие, очень короткие ручки и чрезмерно длинные ноги, такие длинные, что, пытаясь уместиться в комнате, он вынужден был сесть по-турецки.

— Не понимаю, почему вы сидите в Яссах и не пойдете на фронт,— сказал мне Николсон.

— К чертям собачьим! — ответил я.— К черту войну! К черту всех!

Мосли хлопнул руками об пол, поднимая облако гусиных перьев. Все его потное лицо покрылось прилипшим к нему пухом, а он смеялся и хлопал руками об пол.

Николсон строго посмотрел на сара Освальда Мосли.

— Постыдитесь, это же детская забава,— сказал он.— Вы же не ребенок, сэр Освальд.

— O! I'm sorry, sir [1],— сказал сэр Освальд Мосли, опуская глаза.

[1] Прошу прощения, сэр *(англ.)*.

— Почему вы не идете на фронт? — продолжал Николсон, обращаясь ко мне.— Долг каждого дворянина — сражаться и защищать цивилизацию от варварства,— и, сказав это, он разразился смехом, откинувшись на спинку стула.

— Смерть СССР! — крикнул сэр Освальд Мосли, хлопнув руками об пол.

Николсон повернулся к Мосли:

— Не говорите глупостей, сэр Освальд,— строгим голосом приказал он.

В это время дверь отворилась, и я увидел на пороге высокого, крепкого телосложения офицера, а за ним шли два солдата, красные глаза и бледные лица которых светились в полумраке. В дверь заглянула луна, в открытое окно потянуло легким ветерком. Офицер сделал несколько шагов по комнате и у моей кровати ударил мне прямо в лицо светом фонаря. Я увидел, что он держал в руке револьвер.

— Военная полиция! — сказал офицер.— У вас есть пропуск?

Я засмеялся и обернулся к Николсону. Я уже готов был сказать «к черту!», но заметил, что Николсон исчез в белом облаке гусиных перьев. Мосли тоже исчез. В комнату проникло молочного цвета небо, и в этом туманном небе я видел, как неясные очертания фигур Николсона и Мосли медленно двигались, лениво поднимаясь в облаке перьев — и вот они уже у потолка,— словно всплывали в сонме воздушных пузырьков, как бывает, когда пловец, после прыжка в воду, поднимается на поверхность.

Я сел в кровати и понял, что только что проснулся.

— Хотите выпить? — спросил я у офицера.

Я налил две рюмки цуйки, и мы подняли рюмки, говоря друг другу:

— Norοc, за ваше здоровье.

От холодной цуйки я окончательно проснулся, и в моем голосе появилась сухость и веселость. Порывшись в кармане мундира, висевшего на спинке кровати у меня над головой, я сказал, протягивая документ:

— Вот пропуск. Держу пари, что он фальшивый.

Офицер улыбнулся.

— В этом не было бы ничего удивительного,— сказал он.— В Яссах полно русских десантников.

Потом он прибавил:

— Напрасно вы спите один в пустом доме. Только вчера на Заводской улице мы нашли человека в кровати с перерезанным горлом.

— Спасибо за совет,— сказал я,— но с таким фальшивым пропуском я могу спать спокойно, как по вашему?

Мой пропуск был подписан вице-президентом Совета Мяхаем Антонесну.

— Ну, конечно,— сказал офицер.

— Хотите проверить, не фальшивый ли и этот? — спросил я, протягивая другой пропуск, подписанный комендантом города Яссы.

— Спасибо,— сказал офицер,— у вас все в полном порядке.

— Хотите выпить?

— Почему бы и нет? Во всем городе не найти капли цуйки.

— Noroc.

— Noroc.

Офицер вышел, за ним его солдаты, а я опять крепко заснул, лежа на спине и влажной рукой сжимая рукоятку моего парабеллума.

Когда я проснулся, солнце стояло высоко. Птицы щебетали в ветках акаций и на каменных крестах заброшенного кладбища. Я оделся и вышел поискать какой-нибудь еды. Улицы были запружены длинными колоннами грузовиков и немецких танков, целые обозы артиллерии стояли перед небольшим особняком, где помещался жокей-клуб, мимо проходили румынские солдаты в больших стальных касках, съезжавших им на затылок, и в песочно-грязного цвета формах. Они усердно топали по асфальту. Любопытные толпились на пороге кафе, лавок, ресторанов, забегаловок, запах жирного куриного супа с уксусом стоял в воздухе, смешиваясь с запахом брынзы, соленого сыра Браила. Я пошел по улице Братиану к Сан Спиридоне и вошел в лавку Кане, еврея-бакалейщика, у которого была массивная голова на короткой шее и уши походили на ручки глиняного горшка.

— Здравствуйте, господин капитан,— сказал мне Кане.

Он обрадовался при виде меня, он думал, что я все еще был на фронте, там, у Прута, где находились румынские войска.

— К черту Прут,— сказал я.

И вот к горлу подступила тошнота. Я сел на мешок с сахаром и просунул пальцы за ворот рубашки, чтобы немного ослабить узел галстука. В лавке стоял тяжелый запах пряностей, спадобий, сушеной рыбы, лака, керосина и мыла.

— Тупой разбой,— говорил Кане,— тупая война!

Кане рассказывал мне, что в Яссах люди волновались, все ждали чего-то очень мерзкого, в воздухе чувствовалось, что готовилось грязное дело. Он говорил тихо, подозрительно поглядывая на дверь. Мимо проходил отряд румынских солдат, проезжали немецкие танки. Что они собирались делать со всем этим оружием, пушками, танками, как бы спрашивал себя Кане. Но ничего не говорил вслух, медленно, тяжелыми шагами ходя туда и обратно по лавке.

— Господин Кане, у меня пусто,— сказал я.

— Для вас у меня всегда найдется что-нибудь хорошее,— сказал Кане и вынул из тайничка три бутылки цуйки, два фунтовых хлеба, немного брынзы, несколько коробок сардин, две банки варенья, немного сахара и пакет чая.

— Это русский чай,— сказал Кане,— настоящий русский чай. Последний пакет. Все! Больше мне уже нечего будет вам дать.— Он смотрел на меня, качая головой.— Если вам еще что-нибудь понадобится, может быть, через несколько дней, приходите еще. У меня в лавке для вас всегда что-нибудь да найдется.

У него был печальный вид, он говорил «приходите еще», словно знал, что мы, конечно, больше не увидимся. Действительно, в воздухе как бы висела мрачная угроза, и люди волновались. То и дело кто-нибудь показывался на пороге и говорил:

— Здравствуйте, господин Кане.

А Кане качал головой, делал отрицательный знак, потом смотрел на меня, улыбался. Тупой разбой, тупая война! Я рассовывал по карманам провизию, сунул под мышку пакет с чаем, отломил кусочек хлеба и положил в рот.

— La revedere, до свидания, господин Кане.

— La revedere, господин капитан.

Мы пожали друг другу руки, обменялись улыбками. У Кане была робкая и неуверенная улыбка, он походил на обеспокоенного зверя. В тот момент, когда я уже был готов выйти, перед лавкой остановилась карета. Кане кинулся к порогу и склонился до земли, лепеча:

— Здравствуйте, госпожа княгиня.

Это была старая аристократическая карета, черная и величественная, такие еще можно встретить в румынской провинции, вроде открытого ландо с капотом, который держится на широких кожаных ремнях, внутри карета была обита серым, а спицы колес были выкрашены в красный цвет. Карету везла пара великолепных молдавских белых лошадей с длинными гривами, длинной шерстью и блестящими крупами. На высоких больших подушках сидела немолодая худощавая женщина с дряблой кожей на лице под толстым белесым слоем пудры, она сидела с гордой строгостью, одетая во все белое и держа в правой руке зонтик из красного шелка с кружевным краем. Широкие поля соломенной флорентийской шляпы слегка затеняли ее лицо в морщинах. Близорукая томность горделиво-высокомерных глаз придавала ей некий неопределенно-отсутствующий вид. На неподвижном лице глаза устремлялись в пустоту, к шелково-голубому небу, где легко плыла вереница белых облаков, походивших на тени облаков в зеркале озера. Это была княгиня Стурдза. Знатное имя в Молдавии. Рядом с ней, держась очень прямо, сидел высокомерный и рассеянный князь Стурдза, человек еще молодой, высокого роста, худой, розовый, одетый в белое, в низко надвинутой на лоб серой шляпе, сером галстуке, серых шотландских перчатках, черных, застегивавшихся сбоку ботинках, в высоком воротничке.

— Здравствуйте, госпожа княгиня,— говорил Кане и кланялся до самой земли. Я видел, как к его затылку прилила кровь, залила ему виски. Княгиня не ответила на его приветствие, не повернула головы на неподвижной шее, зажатой в кружевной воротник на пластинках из китового уса, но сухим и повелительным тоном приказала:

— Дай чай Григорию.

Кучер Григорий сидел на коалах в широком, доходившем ему до каблуков тяжелом плаще из зеленого, несколько линялого шелка, сапоги у него были из красной кожи. На голове — татарская ермолка из желтого сатина, расшитого красным и зеленым. Он был толстый, бледный и обрюзглый. Этот кучер принадлежал секте скопцов, кастратов, у которых город Яссы считается святым. Скопцы женятся рано и, как только у них рождается сын, оскопляются. Кане поклонился евнуху Григорию, залепетал какие-то слова, кинулся в лавку и через миг опять появился на пороге, опять стал кланяться до земли, лепеча:

— Госпожа княгиня, простите меня, ничего не осталось, ни крошки чая, госпожа княгиня...

— Ну-ка быстро, давай сюда чай! — сказала княгиня Стурдза твердым голосом.

— Простите меня, госпожа княгиня...

Княгиня медленно повернула голову, посмотрела на него немигающими глазами, потом сказала усталым голосом:

— Что за разговоры, Григорий!

Евнух поднял кнут, молдавский кнут с пучком пурпурных ремешков на конце, с резным кнутовищем, покрашенным в красный, голубой и зеленый цвета. Он потряс кнутом над плечами Кане, касаясь его шеи.

— Простите меня, госпожа княгиня,— говорил Кане, пряча лицо.

— Григорий! — угасшим голосом произнесла княгиня.

Тогда евнух медленно поднял кнут, вытянул руку, будто сжимая древко знамени. Он привстал, чтобы крепче хлестнуть. Кане обернулся ко мне, протянул руку, дотронулся дрожащими пальцами до пакета с чаем, который я держал под мышкой, и, бледнея и потея, тихо попросил умоляющим голосом:

— Простите, господин капитан,— схватил пакет, который я с улыбкой ему протянул, и, кланяясь, отдал его Григорию. Евнух с силой хлестнул кнутом по спинам лошадей, они взвились, понеслись вперед, карета исчезла в облаке пыли под резкое дребезжание колокольчиков. Пена с лошадиной морды с легким хлопком упала мне на плечо.

— Шли бы вы к черту, госпожа княгиня! — крикнул я.

Но карета укатила уже далеко, видно было, как она завернула за угол в конце улицы, к жокей-клубу и Фундатии.

— Спасибо, господин капитан,— тихо сказал Кане, он опустил голову, ему было стыдно.

— Ничего, господин Кане,— сказал я, но еще раз послал ко всем чертям и княгиню Стурдза, и всех этих молдавских дворян!

Мой друг Кане поднял глаза. Лицо у него стало багровым, на лбу проступили капли пота.

— Ничего,— говорил я,— ничего! La revedere, господин Кане.

— La revedere, господин капитан,— ответил Кане, обтирая лоб тыльной стороной руки.

Возвращаясь к кладбищу, я проходил мимо аптеки на углу улицы Лапуснеану и улицы Братиану. Я вошел в аптеку и направился к прилавку.

— Здравствуйте, барышня Мика.

— Здравствуйте, господин капитан.

Мика улыбалась, ее голые локти упирались в мраморный прилавок. Мика была красивой девицей — дородная брюнетка, надо лбом у нее росла густая масса черных вьющихся волос, у нее был острый подбородок и большой и полный рот, лицо покрывал блестящий с синим отливом, очень легкий пушок. Перед тем, как я уехал в прошлый раз из Ясс на фронт, к Пруту, я попробовал поухаживать за Микой. Бог мой, уже прошло два месяца, как я не видел женщин. В Бухаресте было очень жарко... Бог мой, я уже забыл, как они сделаны, женщины.

Красавица-девица, но в шерсти, как коза. У нее были большие черные блестящие глаза, узкий нос на толстом темном лице. В ней, наверное, было несколько капель цыганской крови. Она сказала, что хотела бы вечером прогуляться со мной после затемнения, после комендантского часа.

— После затемнения, барышня Мика?

— Да, да, господин капитан.

Престранная мысль, вот это да! Как пойти гулять с девушкой после затемнения, когда жандармские и солдатские патрули уже издали кричат вам отовсюду: «стой! стой!» и стреляют в упор, не дожидаясь ответа. Какая странная мысль, гулять среди развалин домов, рухнувших под бомбами, почерневших от пожарищ. Один дом еще до сих пор, со вчерашнего дня, горит на площади Унирии, перед статуей князя Куза-Вода. Советские летчики действуют круто. Они три часа подряд летали над Яссами, вчера они преспокойно летали в трехстах метрах, не более, над городом. Некоторые самолеты чуть только не касались крыш. Улетая в сторону Скулени, один русский бомбардировщик упал на поле рядом с городом, чуть дальше Копу.

Как оказалось, его экипаж состоял из шести женщин. Я захотел на них посмотреть. Румынские солдаты обыскивали кабину, ощупывали бедных мертвых девушек пальцами в суце, мамалыге и брынзе.

— Оставь ее в покое, чертов выродок! — заорал я на одного солдата, который запустил руку в волосы одной из летчиц, толстой блондинке в веснушках. У нее были широко открытые глаза, рот приоткрыт, одна рука повисла вдоль тела, голова лежала на плече другой девушки. В ее позе были стыдливость и отпор. Это были мужественные девушки-работницы, вы слышите, госпожа княгиня Стурдза? На них были надеты серо-пепельного цвета комбинезоны и кожаные куртки. Солдаты не спеша раздевали их: расстегивали кожаные куртки, поднимали руки, сдергивали куртки прямо через голову. Пытаясь приподнять голову, солдат ухватил одну из девушек за подбородок, зажал ей горло так, будто хотел задушить, уперев большой палец с черным потрескавшимся ногтем в приоткрытый рот, в бескровные и вздутые губы.

— Кусай его за палец, ну! — крикнул я, как будто девушка могла меня услышать. Солдаты посмотрели на меня и засмеялись. Другую девушку зажало так, что невозможно было снять с нее куртку. Солдат снял с нее кожаную каску, ухватился за волосы, сильным рывком вытащил ее и она покатилась в траву, к обломкам самолета.

— Господин капитан, вы погуляете со мной вечером после затемнения? — спросила меня Мика, опершись подбородком на обе руки.

— Почему бы и нет, барышня Мика? Очень даже мило погулять вечером после затемнения. Вы когда-нибудь ходили ночью в парк? Там никогда никого не бывает.

— А в нас не будут стрелять, господин капитан?

— Надеюсь, будут, пусть в нас стреляют, барышня Мика.

Мика, смеясь, потянулась над прилавком, приблизила к моему лицу толстое волосатое лицо и укусила меня за губу.

— Приходите за мной вечером, в семь часов, господин капитан. Я буду ждать вас снаружи, перед аптекой.

— Хорошо, Мика, до семи. La revedere, барышня Мика.

— La revedere, господин капитан.

Я пошел по улице Лапуснеану, прошел по кладбищу, толкнул дверь дома. Съел немного брынзы, потом лег на кровать. Было жарко. Назойливо жужжали мухи. Высоко в небе тоже раздавалось сухое жужжание. По вспотевшему небу постепенно растекалось жирное и мягкое жужжание, походившее на густой запах гвоздик. Боже мой, как же я хотел спать! Цуйка бродила в моем желудке. К пяти часам я проснулся, вышел на кладбище и сел на каменную плиту поросшей травой могилы. Мой дом стоял посреди большого кладбища. Там, где когда-то высилась небольшая церковь, как раз в середине кладбища, находился вход в общественное бомбоубежище, куда спускались по очень крутой деревянной лестнице. Это походило на вход в подземную усыпальницу, в склеп. Дышать там приходилось вонью и затхлостью, жирным могильным запахом. Наворот земли придавал верхней части и крыше убежища вид большого кургана, а на нем высилась пирамида из надгробий, могильных камней, сложенных один на другой. Я мог прочесть надгробную хвалу умершим: господину Григорию Соунеску, госпоже Софье Занфиреску, госпоже Марии Пожанеску.

Было жарко, жара жгла губы, я дышал смрадным духом, исходившим от земли, смотрел на ржавые решетки под сенью акаций нескольких оставшихся невредимыми могил. У меня кружилась голова, начинались позывы тошноты.

— К черту Мику с ее козьей шерстью!

Разъяренно жужжали мухи, со стороны Прута подул слабый ветер.

То и дело из нижних кварталов, со стороны Заводской, оттуда, от Сокола и Пэкурари, от железнодорожных мастерских Николины, от зданий, разбросанных по берегам Бахлуя, из районов Циран и Татэреш, где раньше находился татарский квартал, доносились сухие звуки ружейных выстрелов. Румынские солдаты и жандармы — люди нервные, они кричат: «стой! стой!» и стреляют в упор, не давая времени поднять руки вверх. Было еще светло, еще не пробил комендантский час. Ветер раздувал прически деревьям, а солнце издавало медовый аромат. В семь часов Мика должна ждать меня у аптеки. Через полчаса мне уже нужно вести ее на прогулку. Редкие прохожие неуверенно жались к стенам, махая правой рукой с зажатым в ней пропуском. Да, что-то чувствовалось в воздухе. Мой друг Кане был прав. Что-то вот-вот должно было разразиться. Надвигалась беда. Она витала в воздухе, ощущалась кожей, на кончиках пальцев.

Пробило семь часов, и я подошел к аптеке, а Мики не было. Аптека была закрыта. Мика рано закрыла сегодня аптеку, гораздо раньше обычного. Можно было держать пари, что она не придет! В последний момент она попросту испугалась. К черту всех женщин! Все они одинаковы — в последний момент они всегда пугаются! Вот пусть барышня Мика вместе со всеми прочими козами и пойдет к чертям!

Я медленно пошел по улице к себе, а немецкие солдаты шаркали сапогами по тротуарам. Владелец сапожной лавки на углу улицы Лапуснеану, прямо перед кафе-рестораном Корсо, последними привычными движениями начищал сапоги клиенту, румынскому солдату, сидевшему на высоком троне, обитом желтой кожей. Отсвет заходившего солнца проникал в недра темной лавки и там высвечивал поблескивавшие коробки с гуталином. То и дело, я видел, как мимо проходили группы евреев в наручниках. Они шли с опущенными головами в сопровождении румынских солдат в песочных мундирах.

— Чего ж ты, давай, напоследок начисти ботинки этим неудачникам! — зубоскалил солдат, сидевший на троне, обитом желтой кожей.

— Ты что, не видишь, они босые! — отвечал владелец лавки, у него было бледное и влажное лицо. Он тихо свистнул, с удивительной ловкостью подбросив вверх щетку.

В окнах жокей-клуба можно было разглядеть знатных людей города, толстых молдавских дворян с круглыми животами. Все они — мягкотелы, смиренно-дородны, на безбородых и заплывших лицах темные глаза и темная кожа сияют влажно и томно — вылитые персонажи картин болгаро-американского художника Жюля Паскена. Даже дома, деревья, кареты, стоявшие у дверей Фундатии, выглядели так, будто их нарисовал Паскен. В небе со стороны Скулми, по направлению к Пруту, лениво текущему между заросшими камышом зеленымя тинистыми берегами, еще виднелись белые и красные облачка заката. Закрывая ставни, владелец сапожной лавки поднял глаза к далеким облачкам, словно хотел убедиться, не надвигалась ли гроза.

Маленький особнячок жокей-клуба, где раньше находилась гостиница «Англетер», на углу улиц Пэкурари и Карол — красивое здание в неоклассическом стиле, единственное в городе Яссы здание в стиле модерн. Его архитектура, декоративные мотивы, даже наименее заметные украшения представляют собою определенную художественную ценность. Дорическая колоннада с узким горельефом вдоль всего фасада выкрашена в цвет слоновой кости. По торцовым стенам особняка близко друг от друга идут ниши, в которых Купидон из светлого искусственного мрамора, цвета розоватой слоновой кости, натягивает лук и пускает стрелу. В нижнем этаже — витрины кондитерской Замфиреску и большие окна самого элегантного в городе кафе-ресторана Корсо. В жокей-клуб ведет дверь позади особняка, и для того, чтобы к ней проникнуть, нужно пройти вымощенный булыжником двор. Румынские солдаты в походной форме, в стальных касках, сидели на солнышке, развалившись прямо на мостовой. Два больших грудастых офицера охраняли вход.

В холле стены покрыты темными полированными деревянными панелями, наличники дверей — резные, в стиле Луи Филиппа, на стенах — масляная живопись и офорты, парижские пейзажи: Нотр-Дам, остров Сен-Луи, Трокадеро; женские портреты во вкусе французских иллюстрированных журналов женской моды 1880—1900 годов.

В игорном зале, вокруг обтянутых зеленым сукном столов, престарелые молдавские господа мрачно играли в бридж, обтирая лбы большими носовыми платками, на которых английской гладью были вышиты большие короны их знатных родов. Вдоль противоположной окнам и выходящей на улицу Пэкурари стены находилась эстрада, украшенная резным деревом с неоклассическим мотивом из лир и арф, который продолжался и на балюстраде. Здесь играют музыканты во время галантных праздников ясской знати.

Я остановился у стола и посмотрел на игроков. Те с постными лицами кивнули мне. Старый князь Кантемир, хромая, прошел через залу, выйдя из какой-то внутренней двери. Навязчиво жужжали мухи и их рои, крутящиеся и покачивающиеся в окнах, выглядели так, будто в залу с улицы заглядывали розы. И действительно, теплый аромат роз поднимался из сада и смешивался с запахом цуйки и турецкого табака. У выходивших на улицу окон стояли молодые «красавчики» города, толстые молдавские Бруммели с темными глазами. Перед уходом я на миг остановился посмотреть на их огромные круглые и мягкие зады, вокруг которых рои мух в дымном воздухе выписывали изящные соцветия.

— Добрый вечер, господин капитан,— сказала мне Мариоара, маленькая служаночка из кафе ресторана «Корсо», когда я вошел в зал, переполненный немецкими офицерами и солдатами, большой зал превосходной архитектуры, располагавшийся в нижнем этаже особняка жокей-клуба. Вдоль стен стояли узкие, обтянутые кожей диваны, между которыми шли деревянные кабины. Мариоара была еще почти ребенком — худенькая, суховатая, милая. Она улыбалась мне, склоняя голову к плечу, обеими руками опершись о мраморную доску стола.

— Дашь мне кружку пива, Мариоара?

Мариоара застонала, словно от боли:

— Ай, ай, ай, пива совсем нет, господин капитан.

— Ты злая девочка, Мариоара.

— Нет, нет, господин капитан, пива нет,— сказала Мариоара, улыбаясь и качая головой.

— Тогда я ухожу и больше не приду, Мариоара.

— La revedere, господин капитан,— сказала Мариоара с хитрой улыбкой.

— La revedere,— ответил я и направился к двери.

Мариоара пронзительным голосом позвала меня с порога.

— Господин капитан, господин капитан.

От «Корсо» до старого кладбища недалеко, дороги не более пятидесяти шагов. Я уже шел среди могил и все слышал голос Мариоары, звавшей меня: «Господин капитан!». Но я не хотел сразу возвращаться, я хотел, чтобы Мариоара подождала, чтобы она подумала, что я и впрямь рассердился на нее, на то, что она не дала мне пива, а между тем мне прекрасно было навестно, что ее вины в этом не было, что во всем городе нет ни капли пива. «Господин капитан!» — я уже собирался войти в дом, как чья-то рука легко легла мне на плечо и голос сказал:

— Buna seara, господин капитан! Добрый вечер! — Это был голос Кане.

— Что вам угодно, господин Кане?

За спиной у Кане в потемках я заметил трех бородачей, одетых в черное.

— Можно к вам, господин капитан?

— Входите,— сказал я.

Мы поднялись по крутой лестнице, вошли, я повернул выключатель.

— Черт! — вскричал я.

— Ток отключили,— сказал Кане.

Я зажег свечу, завесил окно, чтобы снаружи света не было видно, и посмотрел на спутников Кане. Это были три старых еврея с заросшими рыжими волосами лицами. И лица у них были так бледны, что в потемках отливали серебром.

— Садитесь,— сказал я, показав на стулья.

Мы расселись вокруг стола, и я вопросительно посмотрел на гостей.

— Господин капитан,— сказал Кане,— мы пришли спросить у вас, не можете ли вы...

— Не захотите ли вы нам помочь,— перебил его один из старцев.

Это был невероятно худой и бледный старик с длинной рыже-седой бородой. В его глазах за прозрачным экраном очков в золотой оправе краснела и металась искра света. Он положил на стол, ладонями вверх, худые белесо-восковые руки.

— Вы можете нам помочь, господин капитан,— сказал Кане. И после долгой паузы прибавил: — Может быть, вы скажете, что нам делать...

— ...чтобы избавиться от серьезной опасности, нависшей над нами,— сказал опять тот, что только что уже перебивал Кане.

— От какой опасности?

Глубокая тишина последовала за моими словами. Вдруг другой из спутников Кане медленно поднялся. Его лицо мне показалось знакомым, я, кажется, его уже где-то видел раньше, только не припоминал, где именно и когда. Он медленно встал. Это был высокий и ширококостый старик с рыжими волосами и бородой в нитях седины. У него были белые веки, влипшие в стекла очков, сосредоточенные и белые глаза, как у слепого. Он долго смотрел на меня и молчал, потом тихо сказал:

— Господин капитан, ужасная опасность нависла над нашими головами. Разве вы не чувствуете, что над нами повисла угроза? Румынские власти готовят нам жестокий погром. Резня может начаться с минуты на минуту. Почему бы вам не помочь нам? Что нам делать? Почему вы не действуете? Почему вы не постараетесь нам помочь?

— Я ровным счетом ничего не могу сделать. Я — иностранец, единственный итальянский офицер во всей Молдавии. Что я могу сделать? Кто меня послушает?

— Предупредите генерала фон Шоберта, предупредите его о том, что готовится против нас. Если он захочет не допустить смертоубийства, он может помешать ему. Пойдите к генералу фон Шоберту! Он послушает вас.

— Генерал фон Шоберт,— сказал я,— дворянин, старый солдат, добрый христианин. Но это — немец и ему наплевать на евреев.

— Если он добрый христианин, он вас послушает.

— Он ответит мне, что не вмешивается во внутренние дела Румынии. Я могу пойти к полковнику Лупу, военному коменданту Ясс.

— Полковнику Лупу? — сказал Кане.— Ведь это он, полковник Лупу, готовит резню.

— Но сделайте что-нибудь,— сказал старик со сдержанной горечью.

— Я потерял привычку действовать,— сказал я,— я — итальянец. А мы, итальянцы, не умеем более действовать. После двадцати лет рабства мы более ни на что не способны. У меня тоже, как и у всех итальянцев, перебит хребет. За последние двадцать лет всю энергию мы направляли на то, чтобы хоть выжить. Мы более ни на что не годимся. Мы только и умеем, что аплодировать. Хотите, я пойду поаплодирую генералу фон Шоберту или полковнику Лупу? Если хотите, я могу дойти и до Бухареста, поаплодировать маршалу Антонеску, этой «красной собаке», только вряд ли вам это поможет. Я больше ничего не могу сделать. Может быть, вы хотите, чтобы я пожертвовал своей жизнью? Так и это не принесет вам пользы. Ну, убьют меня на площади Унирии, когда я буду выступать в защиту евреев города Яссы. Если бы я был на это способен, я бы уже позволил себя убить на площади в Италии, выступая в защиту итальянцев. Мы больше не решаемся, мы больше не умеем действовать — вот она, правда,— заключил я, отвернув голову, чтобы попытаться скрыть краску стыда на своем лице.

— Все это очень печально,— прошептал старик-еврей. Потом, приклонившись к столу так, чтобы приблизить ко мне лицо, он сказал каким-то далеким, чрезвычайно степенным голосом:

— А вы меня не узнаете?

Я внимательно посмотрел на старика и узнал его. Эта длинная в серебряных нитях борода, эти белые и внимательные глаза, высокий бледный лоб, мягкий, печальный и далекий голос! Все это напомнило мне начальника тюрьмы Реджина Чели в Риме, начальника Алези. В дрожащем свете зажженной свечи этот голос напомнил мне Алези. Алези был начальником женской тюрьмы Ле Мантелате, но тогда, когда меня посадили в Реджина Чели, он временно замещал начальника мужской тюрьмы, который проболел несколько месяцев подряд.

— А вы меня не узнаете? — поразительно смиренным и мягким голосом, печальным и далеким голосом Алези спросил старый еврей из Ясс.

Я долго вглядывался в него и вот дрогнул, весь покрылся испариной от страха. Мне захотелось встать и убежать без оглядки. Но Алези протянул руку над столом и удержал меня.

— Помните день, когда вы попытались покончить с собой в камере? В номере 461, в 4-м коридоре, помните? Мы поспели как раз вовремя и помешали вам вскрыть вены. Вы надеялись, что мы не заметим пропажи кусочка отбившегося стекла?

И он рассмеялся, отбарабанивая пальцами по столу ритм своего смеха.

— К чему воскрешать прошлое? Тогда вы очень по-доброму обошлись со мной. Но не уверен, благодарен ли я вам за это. Вы меня спасли.

— И, спасая вас, был не прав,— сказал Алези. Помолчав, он тихо спросил меня: — Почему вы хотели умереть?

— Я боялся,— ответил я.

— Помните, вы стали кричать, стучать каблуками в дверь?

— Я боялся,— ответил я.

Сощурив глаза, старик рассмеялся:

— Я тоже боюсь,— сказал он.— Даже тюремщикам бывает страшно. Пиччи, Корда, правда ведь, тюремщики тоже боятся? — оборачиваясь, прибавил он.

Я посмотрел и увидел, как из темноты, за спиною у старика, возникли лица Пиччи и Корда, двух моих тюремщиков в Реджина Чели. Они робко и добро улыбались, и я улыбался, смотря на них с грустной робостью.

— Мы тоже боимся,— сказали Пиччи и Корда.

Пиччи и Корда — сардинцы, низкорослые и худые сыны Сардинии с черными, как смоль, волосами, слегка косоватыми глазами, оливковым цветом лица, от векового голода и малярии лица у них вытянулись в обрамлении черных волос, спускавшихся им на лоб до самых бровей. У них лица византийских святых в серебряном окладе.

— Мы тоже боимся,— повторили Пиччи и Корда, постепенно исчезая в потемках.

— Мы все трусы — вот она, правда,— сказал старый еврей,— мы все только кричали браво и аплодировали. Но и те, возможно, тоже боятся. Они хотят нас убивать потому, что боятся нас. Они нас боятся потому, что мы слабы и безоружны. Они убивают нас потому, что знают, что мы их боимся. Хи, хи, хи! — он смеялся, сощурив глаза и уронив голову на грудь, повесив обе восковые руки на край стола. Всех нас пришибло таинственным ужасом, ощущением страха. А вы можете нам помочь,— сказал старец, поднимая голову.— Генерал фон Шоберт и полковник Лупу послушают вас. Вы не еврей, не бедный ясский еврей. Вы итальянский офицер...

Я тихо засмеялся, стыдясь за себя. В тот момент мне было стыдно, что я — итальянец.

— Вы — итальянский офицер, они вынуждены будут вас послушать,— сказал он.— Вам, может быть, удастся помешать бойне.

Низко кланяясь, старец встал. Оба других старика и мой друг Кане встали и тоже низко поклонились.

— Я не решаюсь надеяться, что мне что-нибудь удастся сделать,— провожая их до двери, сказал я.

Они поочереди пожали мне руку и, молча переступив порог, стали спускаться по ступенькам. Я видел, как они спускались по крутой лестнице и постепенно исчезали: сначала ноги, потом спины, потом головы. Они исчезали, будто спускаясь в склеп.

Только тогда я заметил, что все это время пролежал в кровати. В потемках, в комнате, которую слабо освещал гаснущий свет свечи. И мне представились за столом четыре еврея. Их одежды были изорваны, лица окровавлены. Кровь медленно стекала с их израненных лбов в рыжие бороды. Кане тоже был ранен, у него на лбу зияла открытая рана, глаза затекли запекшейся кровью. Крик ужаса сорвался с моих губ. Я сидел в кровати не в силах сделать движения, холодный пот струился по моему лицу. Долго еще мне мерещилось ужасное видение окровавленных призраков вокруг стола. Наконец неверный свет нарождавшегося дня потихоньку залил комнату, словно грязной водой, и я провалился в беспамятство глубокого сна.

Я очень поздно проснулся, было, наверное, больше двух часов. Сапожная лавка на углу улицы Лапуснеану была закрыта. В этот священный час послеполуденного сна окна жокей-клуба тоже были закрыты. На кладбище рабочие, путевые обходчики и извозчики, те, что с утра до вечера торчат перед Фундатией, молча ели, сидя на могилах и на ступеньках убежища. Жирный запах брынзы поднимался к моим окнам, а вслед за ним роились мухи.

— Здравствуйте, господин капитан,— говорили извозчики и путевые обходчики, железнодорожные рабочие, поднимая глаза и слегка кивая головами. В Яссах теперь все меня знали. Смотря вверх на мои окна, рабочие даже показывали мне на хлеб и сыр, приглашая поесть с ними.

— Multumesc! Спасибо! — кричал я, показывая им свой собственный хлеб и сыр.

Но что-то было в воздухе, что-то чувствовалось. Небо затягивалось черными тучами и тихо хлюпало, как болото. Румыны-жандармы и солдаты наклеивали на стены большие объявления. Прокламация полковника Лупу гласила: «Все жители домов, из которых будут стрелять в войска и жители соседних домов подлежат расстрелу на месте, будь то мужчины или женщины, fara copii, кроме детей». Fara copii, кроме детей! «Полковник Лупу,— думал я,— готовит себе алиби, к счастью, он любит детей». Мне нравилась эта мысль: оказывается в Яссах нашелся один приличный человек, который любил детей. Жандармы стояли и караулили входы в дома и сады. Солдатские патрули стучали каблуками по асфальту.

— Здравствуйте, господин капитан,— сидя на могилах, с улыбкой кивали рабочие, извозчики, путевые обходчики. Листва на деревьях, казавшаяся зеленее на фоне пасмурного неба, будто выкрашенная фосфоресцирующей краской, шумела на влажном и горячем ветру с Прута. Стайки детей бегали между надгробиями и старыми каменными крестами. Передо мной была живая и веселая картина, которой тяжелое, свинцовое небо придавало вид последней, отчаянной и бессмысленной игры.

Странная тревога нависла над городом. Огромная, мощная, чудовищная катастрофа, стальной механизм которой уже смазали, начистили до блеска и собрали, вот-вот должна была начать перемалывать системой зубчатых колес дома, деревья, улицы, жителей города, fara copii. Если бы я мог, по крайней мере, сделать что-нибудь! Только бы предотвратить погром! Но ставка генерала фон Шоберта находилась в Копу, и у меня не хватало решимости туда идти. Генерал фон Шоберт плевать хотел на евреев. Старый солдат, баварский дворянин, добропорядочный христианин не должен путаться в некоторые дела — разве это его касается? А меня? Разве меня это касается? Нужно немедленно поехать к генералу фон Шоберту, сказал я себе. Я должен — должен! — попытаться. Вдруг что-нибудь получится!

Я пешком пошел в Копу. Но, дойдя до университета, остановился и посмотрел на памятник поэту Эминеску. Птицы копошились в деревьях вдоль улицы. В тени деревьев ощущалась прохлада. Маленькая птичка села на плечо Эминеску. В этот миг я вспомнил, что у меня в кармане лежало рекомендательное письмо к сенатору Садовяну. Сенатор Садовяну — культурный человек, любимец и избранник муз. Может быть, он предложит мне кружку холодного пива, ну, конечно, он станет читать мне стихи Эминеску. К черту генерала фон Шоберта! Я вернулся назад, прошел во двор жокей-клуба, стал уже подниматься по лестнице: может быть, лучше все-таки пойти и поговорить с полковником Лупу? Он же посмеется мне в лицо.

— Господин капитан,— скажет мне полковник Лупу,— что вы от меня хотите, что я знаю о вашем погроме? Я не предсказатель.

Меж тем, если в действительности готовился погром, полковник Лупу, вне всякого сомнения, участвовал в этом. В Восточной Европе погромы всегда готовились и совершались в сговоре с официальными властями. В странах, расположенных за Дунаем, за Карпатами, никогда случай не имел места в игре событий, даже если они были «непредвиденными». Лупу просто посмеется мне в лицо. К черту полковника Лупу! Пусть идет к чертовой матери!

Я спустился по лестнице, даже не обернувшись, прошел мимо кафе-ресторана «Корсо», вошел на кладбище, растянулся на одной из могил под сенью зеленых и прозрачных листьев акации и стал смотреть, как черные тучи собирались прямо над моей головой. Было жарко, мухи ползали по лицу. По руке взбирался муравей. И потом... разве все это меня касалось? Я по-человечески пытался что-то сделать, постараться помешать смертоубийству. «Не моя вина, что я ровным счетом ничего не мог сделать. Будь проклят Муссолини! — сказал я громким голосом, зевая,— к чертям собачьим и его, и весь его героический народ!» «Мы народ героев...» — стал я напевать. Сброд подонков — вот что он из нас всех сделал. Я тоже — герой, нечего сказать... А небо хлюпало, как болото.

На заходе солнца меня разбудил вой сирен. Мне трудно было встать, зевая, я прислушивался к гулу моторов, к стрекоту противовоздушных пулеметов, к разрыву бомб и суровому грохоту, длительному и глухому грохоту рушившихся домов, в которые попадали бомбы. Тупой разбой! Бравые девицы в кожаных куртках бросали бомбы на ясские дома и сады. Вы бы лучше сидели дома и вязали носки! — подумал я и рассмеялся. Да, вот именно, у этих мужественных девушек сейчас только и было время, да и желание, сидеть дома и вязать носки. Шум от топота стремительно бежавших ног заставил меня привскочить и сесть на могиле. Взбесившаяся лошадь понесла и вместе с повозкой на спуске от Фундатии пронеслась мимо кладбища и врезалась в стену рядом с сапожной лавкой. Лошадь разбила себе голову о стену и упала, отбрыкиваясь. Вокзал объяло пламенем. Тучи густого дыма поднялись над кварталом Николины. Немецкие и румынские солдаты пробегали с ружьями наготове. По тротуару тащилась раненая женщина. Я откинулся на могилу и закрыл глаза.

Вдруг опять наступила тишина. Насвистывая, вдоль кладбищенской стены прошел мальчик. В пыльном воздухе послышались веселые голоса. Через какое-то время вновь

завыли сирены. Отдаленное жужжание русских самолетов опять расползалось вокруг, как запах в жаркий вечерний час. Со стороны летного поля в Копу разъяренно загрохотали батареи противовоздушной обороны. У меня, наверное, поднялась температура, меня трясло и болели кости. Кто знает, где сейчас Мика? Волосатая коза! В наступившей темноте патрульные кричали: «Стой! Стой!». Между домами и садами раздавались ружейные выстрелы, то здесь, то там. Глухие голоса немецких солдат слышались сквозь грохот грузовиков. Из жокей-клуба раздавались смех, французские слова, звон посуды. Боже мой! До чего же мне нравилась Мариоара!

Я вдруг заметил, что наступила ночь. Батареи в Копу стреляли по луне. Желтая и надоедливая луна, огромная круглая летняя луна медленно поднималась по облачному небу. Зенитки лаяли на луну. Деревья вздрагивали на влажном ветру с реки. Сухой и разъяренный лай стрельбы взметнулся с холмов. Потом луна зашла за кроны деревьев, на какое-то время повисла на ветке, качаясь, как голова повешенного, и канула в глубинах пропасти из черных грозовых туч. Голубые и зеленые молнии пронизывали небо, и в разверстых ранах открывались, внезапно мелькая, как в осколках разбитого стекла, голубые дали ночного пейзажа в белесо-зеленом ослепительном освещении.

Когда я выходил с кладбища, пошел дождь. Медленный, горячий дождь, будто сочился из перерезанной вены. Кафе-ресторан «Корсо» уже закрыли. Я стал стучать кулаком в дверь и звать Мариоару. Наконец дверь приоткрылась, и в щелку голос Мариоары жалобно заахал:

— Ай, ай, ай, господин капитан, я не могу открыть, сейчас уже комендантский час, господин капитан, ай, ай, ай!

Я просунул руку в открытую щель и взял ее за плечо сильным и ласковым жестом:

— О! Мариоара! Мариоара! Открой мне, Мариоара, я хочу есть.

— Ай, ай, ай, господин капитан, я не могу, господин капитан, ай, ай, ай!

У нее был жалобный и кисловатый голос. Сжимая ее тонкие хрупкие косточки, я чувствовал, как она дрожала всем телом, с головы до ног. Из-за нежной и сильной ласки моей руки? Из-за чудного воздуха, который дождь напоил ароматом трав? Из-за томящего и теплого летнего вечера или из-за луны, этой предательницы? (А еще, может быть, Мариоара вспоминала о том вечере, когда она вместе со мной пошла на старое заброшенное кладбище и мы сидели на могиле, я сжимал ее в своих объятиях и запах ее молодой кожи, ее черных вьющихся волос, этот сильный и тонкий византийский запах румынских, греческих, русских женщин, запах роз и белой кожи, поднимался мне в лицо и особенно пьянил меня. Мариоара мило задыхалась, прижимаясь к моей груди, а я, я все говорил ей: «Мариоара», я только и говорил ей: «Мариоара», и Мариоара смотрела на меня из-под длинных черных ресниц и черных шелковых бровей.)

— Ай, ай, ай, господин капитан, я не могу открыть, господин капитан, ай, ай, ай! — И она смотрела на меня одним глазом из приоткрытой двери. Потом сказала: — Подождите чуть-чуть господин капитан,— и тихо закрыла дверь. Я услышал, как она ушла, услышал легкое шлепанье ее босых ног. Но вот она вернулась, принесла мне хлеба и несколько ломтей мяса.

— О! Спасибо, Мариоара,— сказал я, опуская ей за ворот несколько сотенных леи. А Мариоара смотрела на меня в приоткрытую дверь, и я чувствовал, как горячие и тяжелые капли дождя падали мне на затылок и стекали по спине.— О, Мариоара! — сказал я, лаская ей плечо, и она склонила голову, прижавшись щекой к моей руке. Я нажимал коленом на дверь, а Мариоара изо всех сил нажимала на нее с другой стороны:

— Ай, ай, ай, господин капитан,— говорила она,— ай, ай, ай!

И улыбалась, смотря на меня из-под длинных черных шелковых ресниц.

— Спасибо, Мариоара,— сказал я, лаская ее лицо.

— La revedere, господин капитан,— тихо ответила Мариоара, она стояла и смотрела одним глазом в приоткрытую дверь, как я уходил под дождем.

Сидя на пороге дома и потихоньку жуя, я слушал, как дождь слабо постукивал по нежным листьям акаций. За изгородью в конце кладбища беспокойно скулила собака. Мариоара — еще совсем ребенок, думал я, ей едва ли шестнадцать лет, этой Мариоаре. Я смотрел на темное небо и на желтый просвет луны сквозь темную кисею туч. Эта Мариоара еще совсем ребенок. И я прислушивался к тяжелому шагу патрулей и грохоту немецких грузовиков, поднимавшихся к Копу, в направлении Прута. Вдруг сквозь темную паутину дождя опять раздался жалобный вой сирен.

Вначале слышен был отдаленный рокот — где-то очень высоко в небе жужжали пчелы; потом, постепенно, жужжание приблизилось, в черном небе таинственно загремел, заговорил громкий голос. Высокое и далекое жужжание пчел, таинственный голос, мягкий и тайный разговор, будто голос-воспоминание — жужжание, назойливое жужжание пчел в лесу. И тут я услышал голос Мариоары, которая звала меня среди могил:

— Господин капитан,— говорила она,— господин капитан, ай, ай, ай!

Она убежала из Корсо, ей там стало страшно одной, она хотела уйти домой. Она жила со стороны Заводской улицы, там, у электростанции. Но она не решалась идти по

городу, патруль стрелял в прохожих, «Стой! Стой!» кричали солдаты и тут же стреляли, даже не давая времени поднять руки вверх.

— Ай, ай, ай, проводите меня, господин капитан.

Я видел, как в темноте блестели ее черные глаза: они то зажигались, то гасли в теплой темени, словно на краю ночи, далеко от меня, как на краю черной запретной ночи.

Молча мимо нас шли в убежище люди. Вырытое посреди кладбища, убежище было вроде старой могилы: крышу прикрывали надгробные плиты, похожие на огромные черепицы. Нужно было спускаться в сырую землю по узенькой, приставной деревянной лесенке, которая вела в подземную комнату, где по стенам стояли скамейки. Тени мужчин и женщин, полуголых детей молчаливо спускались под землю, словно злые духи смерти возвращались в свой мрачный ад. Я всех их теперь знал в лицо, это всегда были одни и те же люди, они каждый вечер спускались в убежище: владелец сапожной лавки, той, что была напротив моего дома, два старичка, которых я постоянно видел днем,— целыми днями они восседали на пьедестале статуи Союза, которая находится между жокей-клубом и Фундатией, извозчик, у которого каретный сарай был как раз за стеной кладбища, продавщица газет с угла Фундатии, комиссар из Десфацере де Винури с женой и пятью детьми, продавец «тутуна», табака, тот, чья лавка рядом с почтой.

— Buna seara, господин капитан,— говорили они, проходя, и я повторял:

— Buna seara.

Мариоара не хотела спускаться в убежище, она хотела домой, ей было страшно, она хотела домой. Обычно, по ночам, она спала на диване в зале кафе-ресторана «Корсо», но сегодня, в эту ночь, она хотела домой, она вся дрожала, она хотела домой.

— В нас будут стрелять, Мариоара,— сказал я.

— Nu, nu, солдаты не могут стрелять в офицера.

— А откуда им знать? Темно, они в нас будут стрелять, Мариоара.

— Nu, nu,— говорила Мариоара.— Румынские солдаты не стреляют в итальянского офицера, правда же?

— Нет! Они не стреляют в итальянского офицера, они побоятся! Пойдем, Мариоара. Полковник Лупу тоже боится итальянского офицера.

Мы двинулись в путь, прижимаясь друг к другу и идя у самых стен под теплым дождем. Среди призраков разрушенных домов мы спустились к Заводской улице. Из деревянных домишек, из глиняных с рубленой соломой мазанок слышались голоса, смех, плач детей, хриплые и торжествующие песни фонографов. Там, за вокзалом, сухие выстрелы пронзали ночь. Из раструба старого граммофона, поставленного на подоконник, тек хриплый и грустный голос.

То и дело мы прятались за ствол дерева, за изгородь сада, затаив дыхание, пока не затихали вдали шаги патруля.

— Ну, вот! — сказала Мариоара.— Вот он, мой дом.

Массивное здание электростанции из красного кирпича высилось перед нами в темноте, похожее на силосную башню. На путях у вокзала жалобно свистели поезда.

— Nu, nu, господин капитан, nu, nu,— говорила Мариоара.

Но я сжимал ее в объятиях, целовал вьющиеся волосы, густые и жесткие брови, маленький рот.

— Nu, господин капитан, nu,— твердила Мариоара, упираясь обеими руками мне в грудь и пытаясь меня оттолкнуть.

И вдруг гроза разразилась над крышами города, словно разорвалась мина: черные лохмотья туч, деревьев, домов, дорог, людей, лошадей взлетели в воздух в вихре ветра, поток теплой крови хлынул из вспоротых красными, зелеными, голубыми молниями туч. Проходили румынские солдаты, крича: «Парашютисты! Парашютисты!». Они на бегу целились винтовками в воздух, стреляли. Невнятный, слабый гул поднимался из нижнего города под высокое и далекое жужжание русских самолетов.

Мы прижались спинами к изгороди у дома Мариоары. В этот момент два солдата, пробегая в конце улицы, бессознательно стали палить прямо в нас, мы явственно услышали звяканье пуль об изгородь где-то рядом. Низко склонив голову, из-за остроконечных кольев изгороди свесился подсолнух — у него рассеянный круглый глаз циклопа, а длинные золотые ресницы полуопущены на большой черный зрачок. Я сжал Мариоару в объятиях, Мариоара не протестовала и, слегка отклонившись, посмотрела на небо. Вдруг она тихо сказала:

— О! Как красиво, как красиво!

Я поднял голову, и крик удивления сорвался с моих губ.

Там, наверху, по крыше города шествовали люди. Маленькие, неловкие и пузатые, они шли по желобу туч, и каждый держал в руке огромный белый зонт, который держался от порывов ветра. Может быть, это были старые профессора ясского университета

в серых одеждах, в редингогах цвета зеленого горошка, они расходились по домам, спускаясь по длинной улице, ведшей к Фундатии. Они медленно шли под дождем в белесом сиянии молний, они спорили друг с другом, и было очень смешно смотреть, как они там, наверху, странно двигали ногами, будто, разрезая тучи, раскрывались и закрывались ножницы. Они прокладывали себе дорогу в паутинах дождя, нависших над крышами города. «Добрый вечер, господин профессор»,— говорили они друг другу, кивая головой и двумя пальцами приподнимая серые шляпы. Или, может быть, это были благородные, высокомерные и красивые ясские дамы, они возвращались с прогулки из парка, прикрывая нежные лица голубым или розовым шелковым зонтиком с белым гипюровым краем, а за ними, на расстоянии, катили их старые чопорные кареты с евнухами-кучерами, которые покачивали длинной красной прядью ремешков на кнуте над лоснящимися крупами великолепных лошадей с длинными светлыми гривами. Может быть, даже это были старые знатные господа из жокей-клуба, толстые молдавские дворяне с усами по парижской моде, в завязанных узким узлом галстуках на высоких пристегивающихся воротничках — типичные персонажи Поля де Кока. Они возвращались домой пешком, чтобы подышать свежим воздухом после бесконечной игры в бридж в накуренном зале жокей-клуба, в котором пахнет розами и табаком. Они покачивают бедрами, передвигая своими ножницами-ногами, а в правой руке держат длинную ручку большого белого зонта. В чуть надвинутых на один глаз цилиндрах они походят на престарелых красавцев кисти Домье.

— Там ясские господа убегают, спасаются. Говорю тебе, они боятся войны и бегут в Бухарест, в Атенеум Палас.

— Нет! Они не спасаются, не убегают. Там живут цыгане, они бегут ухаживать за цыганками,— говорит Мариоара, смотря на летающих по небу людей...

Тучи казались большими кронами деревьев, и мужчины в серых цилиндрах, женщины под шелковыми зонтиками с гипюровой отделкой теперь бродили среди столов в Павильоне Арменонвиля, на фоне зеленых, голубых и розовых деревьев у ворот Дофин на картине Манэ. Это были именно зеленые, голубые, розовые и серые тона Манэ в его тонком пейзаже, и пейзажи Манэ появлялись и исчезали в разрывах туч всякий раз, как молнии удавалось разрушить высокие пурпурные грозовые замки.

— Прямо как в праздник,— сказал я.— Придворный праздник весной в красивом парке.

Мариоара смотрела на «полубогов» жокей-клуба, на ясские «белоснежные божества» (Яссы тоже «на стороне Германтов», на стороне провинциальных Германтов, в идеальной провинции, которая и есть настоящая парижская родина Пруста), она любовалась на высокие цилиндры, монокли, белые гвоздики в петлицах серых и коричневых сюртуков, на желтоватые зонтики с гипюровым краем, на руки, до локтей затянутые в кружево перчаток, на шляпы с птицами и цветами, на хрупкие ножки, робко выглядывавшие из-под юбок в складку.

— О! Я так хочу пойти на такой праздник! Я тоже хочу пойти туда в красивом шелковом наряде! — сказала Мариоара, теребя тонкими пальцами свое белое платьице из выцветшего хлопка в пятнах от куриного супа.

— Смотри, смотри, как они убегают! Смотри, их настигает дождь, Мариоара. Праздник окончен, Мариоара.

— La revedere, господин капитан,— говорит Мариоара, толкая калитку.

Дом Мариоары — бедный деревянный одноэтажный домишко под красной черепичной крышей. Окна закрыты, из-за занавесок ни единой ниточки света не проникает наружу.

— Мариоара! — зовет женский голос из дома.

— Ай, ай, ай! — говорит Мариоара.— La revedere, господин капитан.

Мариоара сдается на волю моих рук и смотрит на небо, как по нему пролетают трассирующие пули, чертя по темному стеклу ночи. Будто коралловые бусы возникают вокруг невидимых женских шей, будто в черную бархатную бездну кто-то бросил цветы, будто в ночном море неугомонно снуют светящиеся фосфоресцирующие рыбы. Как мимолетный след от красных губ, исчезающих за шелковым зонтиком, или от раскрывающихся лепестков роз, безлунной ночью в саду свершающих свое таинство перед рассветом. А прелестные красавицы из жокей-клуба, старые университетские профессора все возвращались домой после праздника под последние вспышки фейерверка, прячась от дождя под большими белыми зонтами.

Потом постепенно небо погасло, прекратился дождь, в разрыве туч появилась луна и вместе с ней появился пейзаж Шагала. Еврейское небо Шагала, на котором живут еврейские ангелы, еврейские облака, еврейские собаки и лошади покачиваются над горизонтом, а еврейские скрипачи сидят на крышах домов или летают в бледном небе прямо над улицами, где еврейские мертвые старики лежат на тротуарах, а в головах и в ногах у них, по обычаю, горят в подсвечниках свечи, еврейские влюбленные пары лежат между небом и землей, у края зеленого, как луг, облака. И под еврейским небом Шагала, в освещении круглой прозрачной луны, от кварталов Николины, Сокола,

Пакурари послышался невнятный вой, вопль, стрекот пулеметов, глухие взрывы гранат.

— Ай, ай, ай, евреев убивают,— сказала Мариоара, задерживая дыхание и прислушиваясь.

Вопль доносился из центра города, из верхних кварталов, от площади Унирии и от церкви Трех Святителей. Над невнятным воплем, который походил на крики разбегавшейся по улицам толпы, слышались немецкие слова, их выкрикивали отвратительные хриплые голоса, бесконечные «Стой! Стой!» румынских солдат и жандармов.

Неожиданно у нас над головами прогремел ружейный выстрел. С конца улицы доносился громкий гомон немецких, румынских и еврейских выкриков. Мимо нас пронеслась толпа бегущих людей. Там были женщины, мужчины, дети, их преследовали жандармы, стреляя на бегу. За ними мы увидели окровавленное лицо солдата, он кричал: «Парашютисты! Парашютисты!» и целился в небо. Он упал на колени в нескольких шагах от нас, ударился головой об изгородь и так и остался лежать ничком под медленным дождем советских парашютистов, слетавших с неба, один за другим, вися на своих огромных белых зонтах и легко ставя ногу на крыши домов.

— Ай, ай, ай! — вскричала Мариоара. Я поднял ее на руки, пробежал двор и толкнул локтем дверь.

— La revedere, Мариоара,— сказал я, и она медленно стала сползать с моих рук, пока ноги ее не коснулись порога.

— Nu, nu, господин капитан, nu, nu! — кричала Мариоара и висла у меня на шее.— Нет, нет, господин капитан, ай, ай, ай!

И она вцепилась зубами мне в руку, с дикой яростью кусая меня и скуля, как собака.

— О, Мариоара! — тихо касаясь губами ее волос, сказал я и свободной рукой ударил по лицу, чтобы она пришла в себя и разжала зубы.— О, Мариоара! — повторил я, касаясь губами ее уха.

Я мягко втолкнул ее в темный дом, закрыл дверь, прошел двор и ушел по пустой улице. Время от времени я оборачивался, смотрел на изгородь, на подсолнух над острыми кольями, на домишко под красной черепичной крышей в бликах лунного света.

Дойдя до верхней части города, я посмотрел вниз. Город был во власти огня. Густые тучи дыма стояли над нижними кварталами, вдоль берегов Бахлуя. Вокруг пылавших зданий очень четко были видны дома и деревья, неестественно большие, как при фотографическом увеличении. Я мог различить трещины в штукатурке, ветки, листья. Сцена выглядела как-то мертво, хотя и очень явственно, четко, именно как на фотографии. Передо мной словно развернулся холодный и прозрачный фотографический вид, но при этом со всех сторон раздавались смутные вопли, жалобный вой сирен, длинные свистки локомотивов, стрекот пулеметов, и все эти звуки вызывали во мне ощущение того, что это страшное видение было живой и непосредственной реальностью.

Я слышал, как вокруг, по извилистым улочкам, карабкавшимся в сторону центра города, раздавался отчаянный лай, хлопанье дверьми, звон бьющихся стекол и посуды, приглушенные вопли и крики о помощи: «Мама! Мама!», вопли ужаса и мольбы: «Нет, нет, нет!», и все время из-за изгороди, из какого-нибудь двора, дома, из-за полуприкрытых занавесок — вспышка, сухой звук ружейного выстрела, свист пули и омерзительные, жуткие немецкие голоса. На площади Унирии эсэсовцы, стоя на колоне у статуи князя Куза-Вода, целились и стреляли в направлении маленькой площади, где возвышалась статуя князя Гика в молдавском костюме, в большом меховом капоте, надвинутой на лоб большой меховой шапке. В свете пожара там видна была черная толпа жестикулировавших людей, по большей части женщин, сгрудившихся у подножия статуи. То и дело кто-нибудь из них пытался отбежать, кинуться через площадь, убежать, убежать, но в тот же момент падал под свинцовым ударом эсэсовцев. Толпы евреев бежали по улицам, их преследовали солдаты и одержимые, озверевшие горожане, вооруженные ножами и железными прутьями. Ударами прикладов жандармы высаживали двери. Вдруг настежь открывалось окно: растрепанная женщина в ночной рубашке появлялась в нем, воздев руки к небу и крича, зовя на помощь. Некоторые выбрасывались в окна, ничком мягко шмякались об асфальт тротуаров. Солдаты бросали гранаты в открытые отдушины подвалов, где многие люди напрасно искали убежища. И, желая убедиться в действии взрывов внутри подвала, солдаты становились на четвереньки, заглядывали в оконце и, обернувшись, ухмылялись своим сотоварищам. Там, где бойня была наиболее ожесточенной, ноги скользили в крови. Повсюду шла веселая и жестокая работа — повсюду шествовал погром, и жестокий смех слышался на улицах и площадях среди взрывов, плача, ужасных воплей.

Когда, наконец, я добрался до итальянского консульства, помещавшегося на зеленой улице, находившейся за стеной старого заброшенного кладбища, полковник Сартори сидел на стуле у порога дома. Он с неаполитанской флегматичностью невозмутимо курил. Но я-то знаю неаполитанцев. Я знал, что ему было плохо, что он страдал. Из помещений консульства доносились приглушенные рыдания.

— И ведь нужно же было еще и этому случиться! — сказал Сартори.— Я спас с десяток несчастных созданий, среди них есть раненые. Хотите мне помочь, Малапарте? Я сам — плохой врачеватель.

Я прошел в помещение консульства. Там лежали на диванах и сидели на полу по углам (одна девчурка спряталась под письменный стол Сартори) женщины, бородатые старики, пять-шесть мальчиков и трое юношей, как мне показалось, студентов. У одной женщины на голове была открытая рана от удара прикладом, а студент, которому прострелили плечо, стонал. Я попросил согреть воды и с помощью Сартори принялся промывать раны и перевязывать их бинтом, сделанным из простыней.

— Какая гадость! — говорил Сартори.— Нужно же было еще и этому случиться! И именно к вечеру, когда у меня разболелась голова!

Пока я перевязывал голову раненой женщине, она взглянула на Сартори и по-французски стала его благодарить за то, что ей спасли жизнь, назвав Сартори маркизом. Сартори посмотрел на нее с раздражением и сказал:

— Почему вы называете меня маркизом? Меня зовут господин Сартори.

Мне нравился этот толстый и невозмутимый человек. Сегодня он отказался от титула, на который действительно не имел права, но который, однако, получив его от Муссолини, носил с большим удовольствием. В момент опасности неаполитанцы умеют приносить великие жертвы.

— Передайте мне, пожалуйста, еще один бинт, дорогой маркиз,— сказал я, чтобы по мере возможности воздать должное Сартори за только что принесенную им жертву.

Мы сели у порога: Сартори — на стул, я — на ступеньку. Сад вокруг виллы, где находилось консульство, порос густыми акациями и соснами. Разбуженные светом пожарищ птицы копошились в ветвях, молча хлопая крыльями.

— Они напуганы, не поют,— сказал Сартори, взглянув на кроны деревьев. Потом, показав рукой на темное пятно на стене у самой двери, он прибавил: — Посмотрите на стену, это пятно крови. Один из этих бедняг вбежал сюда, жандармы вошли за ним и почти забили его прикладами вот здесь, у самой стены. Потом они увели его. Это был владелец виллы, очень достойный человек.— Он зажег следующую сигарету, медленно обернулся ко мне.— Я был один,— сказал он,— что и мог сделать? Я протестовал, я сказал, что напишу Муссолини. Они смеялись мне в лицо.

— Они смеялись в лицо Муссолини, а не вам.

— Малапарте, оставьте меня в покое. Тогда я рассердился, а когда я начинаю сердиться...— сказал он с присущим ему невозмутимым видом. Он продолжал курить.— Я еще вчера запросил у полковника Лупу пикет жандармов для защиты консульства. Он ответил, что в этом нет необходимости.

— Благодарите Бога! Лучше не связываться с людьми полковника Лупу. Полковник Лупу — убийца.

— Да, он убийца. А жаль, ведь такой красивый человек.

Я рассмеялся, отвернувшись, чтобы скрыть мой смех от Сартори.

В этот момент мы услышали с улицы отчаянные крики, несколько пистолетных выстрелов, потом — ужасные, невыносимые глухие и тяжелые удары ружейных прикладов о головы.

— Нет! Они начинают действовать мне на нервы! — сказал Сартори.

С неаполитанской флегматичностью он встал, спокойно прошел через двор, открыл решетку и сказал:

— Идите сюда! Входите!

Я вышел на середину улицы и стал подталкивать во двор целую толпу обезумевших от страха людей. Один жандарм схватил меня за руку, я изо всех сил дал ему пинка в живот.

— Вы правы,— спокойно сказал Сартори,— это животное вполне заслужило пинка.

Он действительно должен был сильно разозлиться, если даже позволил себе грубое слово. Ибо для Сартори «животное» уже было грубым словом.

Мы всю ночь просидели, куря на пороге. Время от времени мы выходили на улицу и пропускали в консульство изодранных, покрытых кровью людей. Так мы собрали у себя с сотню несчастных.

— Нужно дать этим беднягам поесть и напиться,— сказал я Сартори, когда мы опять сели у порога, после того как помогли нескольким раненым.

Сартори посмотрел на меня с видом побитой собаки.

— У меня были запасы провизии,— сказал он,— но когда жандармы наводнили консульство, они всё у меня растащили! Господи, дай мне терпения!

Мне приятно было находиться рядом с Сартори в эти минуты. Я почувствовал себя в безопасности рядом с этим невозмутимым неаполитанцем, который внутренне дрожал от страха, ужаса, жалости и, однако, даже бровью не повел.

— Сартори,— сказал я ему,— мы еще справимся, мы еще защитим цивилизацию от варварства.

В очистившемся от туч небе уже начинался рассвет. Дым пожарищ плавал над деревьями и кустами. Стало холодновато.

— Сартори,— сказал я,— когда Муссолини узнает, что в Яссах нарушили неприкосновенность консульства, от ярости он наделает безумных поступков.

— Малапарте, оставьте меня в покое,— сказал Сартори.— Муссолини лает, но не кусает. Он выставит меня за дверь за то, что я дал убежище бедным евреям.

Через некоторое время Сартори встал и попросил меня пойти и поспать.

— Вы устали, Малапарте. Теперь все кончено. Мертвые останутся мертвыми. Ничего не поделаешь.

— Я не устал, Сартори. Идите, сами ложитесь в кровать, а я останусь сторожить.

— Доставьте мне удовольствие, Малапарте, пойдите отдохните часок-другой! — сказал Сартори, усаживаясь на стул.

Пока я шел по кладбищу, в неверном свете раннего утра я заметил двух румынских солдат, сидевших на могилах. Они держали в руках хлеб и молча жевали.

— Здравствуйте, господин капитан! — сказали они.

— Здравствуйте,— ответил я.

Между двумя могилами лежала мертвая женщина. Собака скулила за загородкой. Я лег в кровать и закрыл глаза. Я чувствовал себя пришибленным и униженным. Теперь все было кончено. Мертвые останутся мертвыми. Больше делать было нечего. К черту, подумал я. Как все-таки ужасно, когда ничего не можешь поделать.

Мало-помалу я заснул и через открытое окно увидел небо, уже освещенное рассветом, кое-где его еще лизали белесые отсветы пожара. Посреди неба я увидел человека, он прогуливался, держа в вытянутой руке огромный белый зонтик. Он смотрел на землю.

— Приятного сна,— сказал мне летавший человек, кивая головой и улыбаясь.

— Спасибо, приятной прогулки,— ответил я.

Я проснулся через два часа. Утро сияло, омытый, освеженный ночной грозой воздух прозрачным лаком сверкал на предметах. Я встал у окна и посмотрел на улицу Лапушнеану. Улица была завалена беспорядочно разбросанными трупами. На тротуарах трупы свалили кучами. Несколько сотен трупов лежало посреди кладбища. Стаи собак обнюхивали мертвых. Собаки были полны уважения и жалости, они осторожно ходили между несчастными телами, как бы опасаясь наступить на окровавленное лицо, судорожно сжатые руки. Бригады евреев под наблюдением вооруженных автоматами жандармов и солдат работали по расчистке улиц от трупов, они убирали их с середины улицы и сваливали вдоль стен, чтобы мертвецы не мешали движению. Нагруженные трупами, проезжали немецкие и румынские грузовики. Мертвый ребенок сидел на тротуаре рядом с дверью в сапожную лавку, он опирался спиной о стену, голова его упала на плечо.

Я отшатнулся от окна, закрыл его, сел на кровать и начал одеваться. Время от времени я вынужден был ложиться на спину, стараясь сдержать подступавшую к горлу тошноту. Вдруг мне показалось, что я услышал смех, радостно перекликавшиеся голоса. Я насильно заставил себя подойти к окну. Улица заполнилась людьми. Солдаты и жандармы, женщины и мужчины в штатском, стайки цыган с длинными вьющимися волосами, весело покрикивая, ссорились между собой: они обирали, обворовывали трупы, приподнимали, переворачивали с боку на бок, снимали с них пиджаки, брюки, кальсоны, они упирались им ногой в живот и сдирали туфли. Одни быстрыми шагами подходили за своей долей добычи, другие отходили с охапками награбленных вещей в руках. Люди весело сновали туда-сюда, у них кипела работа — ярмарка, праздник, всё вместе. Брошенные жестокими людьми мертвецы теперь валялись голыми, в непотребных позах.

Я сбежал с лестницы, перепрыгивая через ступеньки, пронесся по кладбищу, перескакивая через могилы и стараясь не наступить на разбросанные повсюду трупы, и у входа на кладбище натолкнулся на группу озабоченных жандармов, раздевавших — обворовывавших! — мертвецов. Я кинулся на них, вопя, отталкивая, с силой расталкивая их.

— Грязные подлецы,— кричал я,— пошли прочь, грязные мерзавцы!

Один из них посмотрел на меня с удивлением, потом взял из кучи наваленной на земле одежды несколько костюмов, две-три пары туфель и протянул мне, говоря:

— Не сердитесь, господин капитан, тут на всех хватит!

Но вот с площади Унирии по улице Лапушнеану с веселым звоном бубенчиков поднялось ландо княгини Стурдза. На козлах в зеленом плаще, очень торжественно, восседал евнух Григорий, помахивал кнутом над спинами красивых белых молдавских лошадей, а лошади шли рысцой с высоко поднятыми головами, встряхивая длинными гривами. Очень прямо и подчеркнуто важно сидя на высоких больших подушках, княгиня смотрела вдаль, держа в правой руке зонтик из красного шелка, отделанного

гипюром. Высокомерный и рассеянный князь Стурдза сидел рядом с ней, весь в белом, лоб его прикрывали поля серой фетровой шляпы, он держал в левой руке книжечку в красном кожаном переплете.

— Здравствуйте, госпожа княгиня,— говорили с глубоким поклоном грабители, прерывая свою веселую работу.

Княгиня Стурдза, одетая во все голубое, в сдвинутой набок широкополой итальянской соломенной шляпе поворачивалась вправо и влево сухим движением головы, а князь, улыбаясь и слегка кивая, приподнимал фетровую шляпу.

— Здравствуйте, госпожа княгиня.

С легким звоном бубенчиков карета проехала среди куч голых трупов и между двумя рядами людей, почтительно склонившихся перед княгиней и князем Стурдза и сжимавших в жадных руках свою грязную добычу. Карета покатила быстрой рысью, ее уносили превосходные белые лошади, которых легким покачиванием длинной пурпурной пряди ремешков подхлестывал кнут сидевшего на козлах надутого и важного евнуха Григория.

Игра в крикет в Польше

— Сколько же евреев было убито в Яссах в ту ночь? — с иронией в голосе спросил Франк, вытягивая ноги к огню в камине и мягко усмехаясь.

Остальные тоже посмеивались и с состраданием смотрели на меня. В камине потрескивал огонь, на дворе был мороз и снег стучал белыми пальцами в окопные стекла. Сильными порывами налетал ледяной северный ветер и завывал в развалинах гостиницы «Англетер» по соседству, и тогда по большой Саксонской площади вихрем несло поземку. Я встал и подошел к окну, сквозь запотевшие окна я смотрел на освещенную луной площадь. Легкие тени солдат проплывали по тротуару у гостиницы «Европейской». Там, где двадцать лет тому назад высился варшавский православный собор, который, послушавшись мрачного монаха, когда-то уничтожили поляки, снег лежал нетронутым саваном. Я обернулся к Франку и сам рассмеялся:

— В официальном сообщении вице-президента Михая Антонеску,— ответил я,— давалась цифра в пятьсот человек. Но, по установленным официально полковником Лупу данным, было убито семь тысяч евреев.

— Солидное число,— сказал Франк,— но способ бесчеловечный. Так не поступают.

— Нет,— сказал губернатор Варшавы Фишер, осуждающе качая головой,— так не поступают.

— Так поступают только нецивилизованные люди,— с отвращением сказал губернатор Кракова Вахтер, один из убийц Дольфуса.

— Румыны — нецивилизованный народ,— с презрением сказал Франк.

— Ja, es hat keine Kultur,[1] — сказал Фишер, качая головой.

— Хоть я и не такой чувствительный, как вы,— сказал Франк,— я понимаю и разделяю ваш ужас перед событиями в Яссах. Как человек, как немец и как губернатор Польши, я осуждаю погромы.

— You are very kind![2] — сказал я, слегка поклонившись.

— Германия — страна высокой цивилизации, и немцы питают отвращение к такого рода варварским методам! — сказал Франк, бросая на всех откровенно негодующий взгляд.

— Natürlich![3] — сказали все присутствовавшие.

— Германия,— сказал Вахтер,— несет на себе великую миссию цивилизовать Восток.

— И слово «погром» — не немецкое слово,— сказал Франк.

— Наверное, это еврейское слово,— с усмешкой сказал я.

— Не знаю, еврейское ли это слово, но оно никогда не входило и никогда не войдет в немецкий лексикон,— заявил Франк.

— Погромы — это славянская специфика,— сказал Вахтер.

— Мы, немцы, во всем следуем разуму, а не животному инстинкту.— Мы ко всему подходим с научной точки зрения. Когда это необходимо, только когда это совершенно необходимо,— сказал Франк, четко выговаривая слова и вперив в меня взгляд, будто хотел зарубить эти слова у меня на носу,— мы пользуемся искусством хирурга и никогда не прибегаем к ремеслу мясника. Вы когда-нибудь видели,— прибавил он,— чтобы евреев убивали на немецких улицах? Нет, nicht wahr?[4] У нас бывают студенческие выступления, невинные мальчишества, только и всего. А между тем через некоторое время в Германии не останется более ни одного еврея.

---

[1] Да, у него нет культуры *(нем.)*.
[2] Очень любезно с вашей стороны! *(англ.)*
[3] Конечно! *(нем.)*
[4] Не так ли? *(нем.)*

— Это вопрос метода и организации,— сказал Фишер.

— Убивать евреев — не в немецком духе,— сказал Фишер.— Это глупое занятие, напрасный расход сил и времени. Мы свозим их в Польшу и помещаем в гетто. А там, в гетто, пусть они делают, что им угодно. В польских гетто евреи живут, как в свободной республике.

— Да здравствует свободная республика польских гетто! — сказал я, поднимая бокал мумма, который фрау Фишер любезно мне поднесла. У меня слегка кружилась голова.

— Виват! — сказали они хором, поднимая бокалы шампанского.

Они выпили и, смеясь, посмотрели на меня.

— Mein lieber[1] Малапарте,— продолжал Франк, с сердечной фамильярностью положив руку мне на плечо,— немецкий народ оказался жертвой гнусной клеветы. Мы не народ-убийца. Когда вы вернетесь в Италию, я надеюсь, вы расскажете о том, что видели в Польше. Ваш долг честного и беспристрастного человека — говорить правду. Ну, что же, вы со всей искренностью можете сказать, что немцы в Польше заняты созданием большой, мирной и трудовой семьи. Оглянитесь вокруг: вы находитесь в чистом, простом, честном немецком доме. Так и по всей Польше — честный немецкий дом. Вот, посмотрите! — говоря это, он показал на то, что происходило в комнате.

Я взглянул. Фрау Фишер вытащила из ящика картонную коробку, взяла из нее большой клубок шерсти, две спицы, начатый чулок и несколько мотков ниток. Вопросительно склонившись в сторону фрау Бригитты Франк, словно испрашивая у нее разрешения, она водрузила на нос очки в металлической оправе и спокойно начала вязать. Надев шерсть на обе руки фрау Вахтер, фрау Бригитта Франк начала сматывать клубок. Обе ловко крутили руками. Фрау Вахтер сидела, выпрямившись и сдвинув колени, она держала руки согнутыми на уровне груди и милым движением помогала нитке беспрепятственно соскальзывать с мотка. Три улыбающиеся женщины составили картину уюта вполне буржуазного жанра. Генерал-губернатор Франк смотрел на милых, занятых работой женщин, и в его взгляде сияло чувство восхищения и гордости, а в это время Кейт и Эмиль Гасснер нарезали наш полуночный торт и в большие фарфоровые чашки разливали кофе.

В добавление к легкому опьянению от вина эта мещанская сцена (постукивание спиц, потрескивание огня в камине, легкий шум от жевавших торт челюстей, позвякивание фарфоровых чашек) вызвала во мне болезненное ощущение. Рука Франка на моем плече, хоть и не давила, но угнетала мой разум.

Мало-помалу я стал разбираться в тех чувствах, которые внушал мне Франк, внутренне выяснять и определять причины, побудительные мотивы, смысл, заложенный в каждом его слове, жесте, действии. Опираясь на данные, которыми я к этому времени располагал по его поводу, а также на наблюдения, собранные мною в последние дни, я попытался составить его нравственный портрет и убедился, что не могу пока прийти к какому-то определенному суждению о Франке: оно было бы слишком скоропалительным.

Болезненное неприятие, состояние, которое находило на меня всякий раз, как я оказывался рядом с ним, возникало именно от крайней сложности его натуры, странного смешения жестокого ума, утонченности и вульгарности, грубого цинизма и рафинированной чувствительности. В нем, безусловно, существовала некая зона глубинной тьмы, которую мне не удавалось исследовать. Из этих темных глубин недоступного ада нет-нет да поднимались наружу, клубясь дымом и быстро исчезая, языки пламени — они внезапно озаряли его истинное, скрытое лицо, цепенившее мне душу.

Давно составленное мною суждение о Франке было, вне всяких сомнений, отрицательным. Я достаточно знал об этом человеке, чтобы ненавидеть его. Но совесть не позволяла мне остановиться на этом. Среди всех сведений о Франке, которыми я располагал, частично почерпнутых из опыта других людей, частично — из моего личного опыта, чего-то явно не хватало, и я все не мог сказать, чего именно. Мне недоставало какого-то элемента его натуры — я не знал даже его природы, но с каждой минутой ждал внезапного прозрения на этот счет.

Я надеялся, что подмечу у Франка какой-нибудь жест, слово, бессознательный поступок, который мне откроет его истинное лицо, его скрытую сущность. Слово, жест, бессознательный поступок — все это могло вдруг проявиться, и тогда должна была приоткрыться темная, глубинная зона его мозга,— я инстинктивно чувствовал это. Корни его жестокого ума, его рафинированной музыкальной чувствительности питались от извращенной, преступной донной почвы его натуры.

— Итак, по всей Польше мы строим честный немецкий дом,— повторил Франк, обнимая взглядом буржуазную семейную сцену.

— Почему же,— спросил я,— вам самому не заняться какой-нибудь дамской работой? Ваше достоинство генерал-губернатора нисколько от этого не пострадает.

---

[1] Мой дорогой *(нем.)*.

Королю Швеции Густаву V, например, нравится выполнять женскую работу. По вечерам, в кругу семьи, среди близких друзей, король Густав занимается вышиванием.

— Ach so![1] — удивленно и недоверчиво вскрикнули дамы.

— Что еще может делать король нейтрального государства? — смеясь, сказал Франк. — На месте генерал-губернатора Польши, вы думаете, король Густав нашел бы время вышивать?

— Польский народ, несомненно, стал бы счастливее, — ответил я, — если бы его генерал-губернатор вышивал.

— Ах, ах, ах! Но ведь это же навязчивая идея! — смеясь, сказал Франк — Недавно вы пытались меня убедить в том, что Гитлер — женщина, сегодня вы хотите уговорить меня посвятить себя дамским занятиям. Вы и впрямь думаете, что можно управлять Польшей со спицами в руках? Вы большой хитрец, дорогой Малапарте, — заключил он.

— В некотором смысле, — сказал я, — вы тоже вышиваете. Ваша политика — настоящая вышивка.

— Я вам не король Швеции, который занимает свое время развлечениями, подобающими молоденькой воспитаннице монастыря, — сказал Франк горделиво. — Я вышиваю по канве новой Европы. — И медленно, королевским шагом, он пересек залу, открыл дверь и исчез.

Я пошел к сел в кресло у окна, откуда мог, слегка повернув голову, окинуть взглядом всю большую Саксонскую площадь, смотреть на дома со снесенными крышами за гостиницей «Европейской», на развалины дворца, некогда высившегося рядом с гостиницей «Бристоль», на углу спускавшейся к Висле улочки.

Среди пейзажей, на фоне которых проходила моя юность, может быть, именно этот был самым дорогим моему сердцу, но из окна дворца Брюля и сидя в подобной компании я не мог им любоваться без стесненного чувства, без грустного состояния подавленности и униженности. Этот памятный, дорогой моему сердцу пейзаж теперь, по прошествии двадцати лет, принял в моих глазах вид старой выцветшей фотографии. С далекого горизонта 1919 и 1920 годов мои варшавские дни и ночи приходили на память, вызывая прежние виды и прежние чувства.

Вот пахнущие ладаном, воском и водкой мирные комнаты в маленьком доме на небольшой улочке, выходившей на Театральную площадь, где с племянницами жила канонисса Валевская и где слышны были колокола сотни церквей Старого Мяста — они звонили в ледяном и чистом воздухе зимних ночей. Улыбки светились на губах барышень, а престарелые вдовствующие дамы, рассевшись перед камином канониссы, тихо переговаривались, лукаво секретничали. В Малиновом зале гостиницы «Бристоль» молодые уланские офицеры, ритмично постукивая ногами под звук мазурки, шли навстречу светловолосой стайке одетых в светлые платья барышень с сиявшими девичьим огнем глазами. Старая княгиня Чарторыжская, чью морщинистую шею семь раз охватывала длинная, доходившая ей до колен нить жемчуга, сидела молча перед старой маркизой Велопольской в ее особняке на Аллее Уяздовской, у окна, в стеклах которого отражались уличные деревья, и это отражение лип зеленило в теплой комнате персидские ковры, мебель эпохи Людовика XV, портреты, французские и итальянские пейзажи в духе Трианона и Шенбрунна, старое шведское серебро, русские эмали эпохи Екатерины Великой. Мадам Бронна, затем супруга графа Адама Ржевусского, чей голос был так очарователен, стояла рядом с клавесином в белом зале посольства Италии во дворце Потоцких на улице Краковского Предместья и пела веселые варшавские песни времен Станисласа Августа и печальные украинские песни времен гетмана Хмельницкого и казацкого восстания. Я сидел рядом с Ядвигой Ржевусской, и Ядвига молча смотрела на меня, бледная, с блуждающими глазами. И езда в санях под луной до Виляноаа. И вечера в клубе Мисливски, в терпком запахе токая, когда я слушал разговоры старых польских шляхтичей, говоривших об охотах, лошадях, собаках, женщинах, путешествиях, дуэлях, любви; когда я слушал разговор знаменитой «тройки» — троицы клуба Мисливски — графа Генриха Потоцкого, графа Замойского и графа Тарновского, споривших о винах, портных, танцовщицах и вспоминавших «прежние времена» — Санкт-Петербург и Вену, Лондон и Париж. И долгие летние послеполуденные часы в прохладном полумраке Папской Нунциатуры, когда папским нунцием в Польше был монсеньор Акилле Ратти, затем ставший папой Пием XI, а секретарем Нунциатуры был монсеньор Пеллегринетти, который стал потом кардиналом. В тяжелой жаре и сумрачной пыли слышно было, как стрекотали советские автоматы по берегу Вислы, а под окном Нунциатуры раздавался топот лошадей Третьего Уланского полка, шедшего в сторону предместья Прага, навстречу красным казакам Буденного. На тротуарах Нови Свята стеной стояла толпа и пела:

Уланы, уланы, малованe жицы
Ниядна панненка за вами полеци.

[1] Ах так! *(нем.)*

Рис. Б. Аникина

А во главе отряда ехала атлетического сложения крестная Третьего Уланского полка, княгиня Вороницкая, с охапкой роз в руках.

Моя ссора с лейтенантом Потулицким и потом восьмидневный загул, когда мы отмечали наше примирение. И выстрел из пистолета, когда Марыльский стрелял в Дзержиньского в доме княгини В. через всю залу, заполненную танцующими парами. Дзержиньский лежал на полу в луже крови с простреленным горлом, а княгиня В. говорила музыкантам:

— Играйте же, ничего не произошло!

Марыльский с пистолетом в руке стоял бледный и улыбающийся среди молодых женщин, распаленных жаром танца и видом крови, а месяцем позже тот же Марыльский стоял под руку с совсем еще бледным, с перевязанным горлом, Дзержиньским в баре гостиницы «Европейской». На балах посольства Англии княгиня Ольга Радзивилл со светлыми, подстриженными, как у мальчика, волосами, весело смеясь, отдавалась в объятия молодого секретаря посольства Кавендиша Бентинка, который был похож на Руперта Брука; и Изабелла Радзивилл, высокая и худая брюнетка с длинными черными шелковистыми волосами и глазами, в которых мерцала безмятежность ночи, стояла в амбразуре окна рядом с молодым английским генералом, одноглазым, как Нельсон, с изувеченной рукой, как у Нельсона, а он тихо что-то говорил ей, нежно смеясь мягким голосом. О! Конечно, то был призрак, благородный призрак из далекой варшавской ночи, тот одноглазый английский генерал с изувеченной рукой, Картон де Виарт, тот самый, что весной 1940 года командовал британскими войсками, высадившимися в Норвегии. Да и я сам, конечно, тоже был призраком, тусклым призраком далеких времен, наверное, счастливых, но ушедших времен — да, ах, да, наверное, счастливых.

Перед этим окном, перед пейзажем моей молодости, я сидел, да, и я тоже, походя на беспокойную и печальную тень. Из глубин памяти с мягкой улыбкой вставали прелестные тени того чистого и далекого времени. Я закрыл глаза, я смотрел на эти бледные образы внутренним взглядом, слушал голоса, которые были мне когда-то дороги, они только чуть-чуть поблекли от времени. Вдруг моего слуха достигла необыкновенно нежная музыка. Это были первые ноты прелюда Шопена. В соседней комнате (я видел его через открытую дверь) Франк сидел за пианино мадам Бек, опустив голову на грудь. У него было бледное и влажное от пота лицо. Выражение глубокого страдания угнетало его высокомерное лицо. Он с трудом дышал и покусывал верхнюю губу. Он закрыл глаза, я видел, как дрожали его веки. Да, он больной человек, подумал я. Но мысль эта незамедлительно покоробила меня.

Все слушали молча и затаив дыхание. Такие чистые, легкие звуки прелюда слетали в теплый воздух, они походили на сброшенные с самолета листовки. А на каждом звуке большими красными буквами значилось: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОЛЬША!». Сквозь оконные стекла я видел, как на пустую Саксонскую площадь под луной медленно падали снежинки и на каждой снежинке было написано большими красными буквами: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОЛЬША!».

— О! Он играет, как ангел! — прошептала фрау Бригитта Франк. В этот момент музыка кончилась. Франк появился на пороге. Фрау Бригитта вскочила, отбросила клубок шерсти, кинулась ему навстречу и стала целовать ему руки. Протягивая руки для поцелуев, Франк был полон смирения и религиозного рвения, лицо его выражало суровую святость служителя культа, он как бы спускался с алтаря после возложения мистической жертвы. Я так и ждал, что фрау Бригитта Франк вот-вот опустится на колени. Но фрау Бригитта, хватая руки Франка и поднимая их вверх, обернулась к нам:

— Смотрите,— сказала она торжествующим голосом,— вот руки ангела.

Я смотрел на руки Франка, они были маленькие, тонкие и очень белые. Меня удивило,— но при этом и отлегло от сердца,— что на них не было пятен крови.

Несколько дней подряд у меня не было случая повидаться ни с генерал-губернатором Франком, ни с губернатором Варшавы Фишером, которые были заняты внезапным приездом из Берлина Гиммлера и обсуждением с ним создавшейся в Польше обстановки (это были первые дни февраля 1942 года) после поражений Германии в России. Отношения между Гиммлером и Франком были явно плохими, так как Гиммлер терпеть не мог «театрализованности» и интеллектуальной «рафинированности» Франка, а Франк обвинял Гиммлера в «мистической жестокости». Поговаривали о больших переменах, предстоящих среди нацистских высших чинов в Польше. Казалось, даже сам Франк был в опасности. Но когда Гиммлер уехал из Варшавы и возвратился в Берлин, получилось, как будто Франк выиграл партию. Большие изменения ограничились заменой Вахтера, губернатора Кракова, близким родственником Гиммлера, который до этого был штадтгауптманом Ченстохова. Вахтер был назначен губернатором Леополиса.

Вахтер возвращался в Кранов вместе с Гасснером и бароном Вользеггером, а (Вахтер составила компанию фрау Бригитте Франк на те несколько дней, пока генерал губернатор оставался в Варшаве. Я же, в ожидании поездки на Смоленский фронт, воспользовался присутствием Гиммлера в Варшаве (в эти дни Гестапо, полностью занятое тяжелой ответственностью за священную жизнь Гиммлера, отвлеклось от своей обычной работы), чтобы потихоньку раздать письма, продовольствие и деньги, которые польские беженцы в Италии попросили меня передать родным и друзьям в Варшаве. Сам факт передачи писем и любой подпольной корреспонденции, даже одного-единственного письма из-за границы польским гражданам карался смертью. Поэтому я должен был принять все меры предосторожности, чтобы не подвергнуть опасности жизнь людей и одновременно мою собственную жизнь. Но, благодаря крайней осмотрительности и драгоценному содействию одного немецкого офицера (молодого человека большой культуры и щедрой души, с которым я познакомился во Флоренции за несколько лет до войны и с которым меня связывали узы близкой дружбы), мне удалось выполнить трудную задачу, которую я взял на себя по собственному почину. Игра была опасной: я стал играть со спортивным азартом и абсолютно честно (даже по отношению к немцам я никогда не пренебрегал правилами игры в крикет). Меня поощряло сознание, что я участвовал в деле человеческой солидарности и христианского милосердия, а одновременно с этим желание подтрунить над Гиммлером и Франком, над всей их полицейской машиной.

Я увлекся игрой и, в конце концов, выиграл. Если бы я проиграл, я бы честно ответил за свои поступки. Но если я выиграл, так это произошло только потому, что немцы, которые всегда презирают противника, никак не могли себе представить, что я буду следовать правилам игры в крикет.

Через два дня после отъезда Гиммлера я опять увиделся с Франком за завтраком, который он давал в честь боксера Макса Шмелинга в своей официальной резиденции в Бельведере, бывшей резиденции маршала Пилсудского. В то утро, пока я медленно шел по аллее прекрасного парка XVIII века, которая вела к Бельведеру, у меня возникло впечатление, что немецкие флаги, немецкие часовые, шаги, голоса, немецкие жесты придавали старым и благородным деревьям парка некий оттенок холода, жестокости, смертности. Музыкально-утонченная архитектура дворца, который предназначался когда-то для пышных празднеств Станислава Августа, и молчаливые фонтаны и бассейны в ледяном покрове тоже выглядели холодно, смертно.

— Сейчас я его нокаутирую в первом же раунде, а вы будете нашим арбитром, Шмелинг,— сказал Франк, потрясая охотничьим ножом.

В тот день за столом у генерал-губернатора Польши во дворце Бельведер в Варшаве не я был почетным гостем, а знаменитый боксер Макс Шмелинг. Я радовался его присутствию — оно отвлекало от меня внимание присутствовавших за завтраком и позволяло мне отдаваться нежной и грустной меланхолии воспоминаний, воскрешению в памяти того далекого 1 января 1920 года, когда я в первый раз оказался в этой гостиной и в числе представителей дипломатического корпуса участвовал в ритуальном чествовании главы правительства маршала Пилсудского. Старый маршал, прямо и неподвижно стоя посреди зала, держался за рукоятку сабли, старой, изогнутой, как палаш сабли, кожаные ножны которой были усеяны серебряными украшениями. По его лицу шли толстые, похожие на шрамы, светлые вены, у него были большие, как у Собесского, опущенные вниз усы, широкий лоб, над которым торчала жесткая щетина коротко стриженых волос. Более двадцати лет прошло с тех пор, а маршал все еще стоял передо мной, примерно на том месте, где на столе теперь дымилась косуля.

Макс Шмелинг сидел справа от фрау Бригитты Франк, весь подобравшись, он слегка опустил к груди голову и поочередно смотрел исподлобья на всех присутствовавших робким, но, однако, твердым взглядом. Он был чуть больше среднего роста, фигура у него была мягких очертаний с округлыми плечами. Глядя на его серый фланелевый костюм хорошего покроя, возможно, сшитый руками венских или нью-йоркских портных, никогда бы не пришло в голову, что под ним так умело скрыто столько силы. Он говорил низким, мелодичным голосом, медленно, улыбаясь, может быть, от природной робости, а, возможно, и наоборот, благодаря бессознательной уверенности в себе, обычно отличающей атлетов. Его черные глаза светились глубоким и безмятежным светом. У него было приятное и серьезное лицо.

Франк расспрашивал Макса Шмелинга о Крите и о тяжелом ранении, которое тот получил во время авантюрного и героического предприятия, в котором Шмелинг участвовал как парашютист. Франк прибавил к моему сведению, что английские пленные на Крите, пока Шмелинга несли на носилках, трясли кулаками над головой и кричали: «Привет, Макс!»

— Я действительно лежал на носилках, но не был ранен,— сказал Шмелинг.— Слух, что я тяжело ранен в колено, был ложным, и пущен был Геббельсом в целях пропаганды. Говорили даже, что я умер. На самом деле все было гораздо проще: я просто страдал сильнейшими желудочными коликами.

— В желудочных коликах нет ничего унизительного, даже для геройского солдата,— заметил Франк.

— Я и не думаю, что колики — это что-то унизительное,— сказал Шмелинг с иронической улыбкой.— Я простудился. Конечно, колики у меня случились не от страха. Но когда говорят о коликах, да еще в связи с войной, все немедленно думают, что человек испугался.

— Никому и в голову не придет, что вы могли испугаться,— сказал Франк. Затем, посмотрев на меня, сказал: — На Крите Шмелинг вел себя героем. Он не хочет, чтобы об этом говорили, но это настоящий герой.

— Меньше всего на свете я герой,— сказал Шмелинг (он улыбался, но я понимал, что он был слегка раздражен),— у меня даже не оказалось времени на то, чтобы участвовать в сражении. Я прыгнул из самолета с высоты в пятьдесят метров над землей и остался лежать в кустах с приступом ужасной рези в животе. Когда я прочел, что был ранен в сражении, я тут же опроверг эту информацию в интервью журналисту из нейтральной страны. Я сказал, что у меня просто начались колики. Геббельс не прощает мне этого опровержения. Он даже пригрозил мне военным трибуналом за распространение пораженческих настроений. Если бы Германия проиграла на Крите, Геббельс расстрелял бы меня.

— Германия никогда не проиграет,— строго сказал Франк.

— Natürlich,— сказал Шмелинг,— немецкая культура не страдает от колик.

Все мы потихоньку рассмеялись, и даже Франк осчастливил нас тем, что на его губах появилась снисходительная улыбка.

— Во время этой войны,— сказал генерал-губернатор суровым голосом,— немецкая культура принесла в жертву родине многих из своих лучших представителей.

— Война — это самый благородный вид спорта,— сказал Шмелинг.

Я спросил у него, приехал ли он в Польшу, чтобы принять участие в соревнованиях по боксу.

— Я здесь,— ответил Шмелинг,— для организации и руководства серией встреч между чемпионами Вермахта и СС. Это будет первое спортивное мероприятие в Польше.

— Если выбирать между спортсменами Вермахта и СС,— сказал я,— свое предпочтение я отдаю спортсменам Вермахта.— И я прибавил, что такая встреча будет почти политическим событием.

— Почти,— сказал, улыбаясь, Шмелинг.

Франк понял намек, и выражение глубокого удовольствия разлилось по его лицу. Разве только что сам он не вышел победителем из встречи с главой СС? Он не мог удержаться от того, чтобы не упомянуть о причинах своего несогласия с Гиммлером.

— Я не сторонник,— сказал он,— насилия. И не Гиммлеру, конечно, меня убедить, что в нашей политике установления порядка и справедливости в Польше мы сумеем опереться только на методическое применение насилия.

— Гиммлеру не хватает sense of humour,— заметил я.

— Германия — это единственная страна в мире, где чувство юмора не обязательно для государственного деятеля,— сказал Франк.— Но в Польше — совсем другое дело.

Я, улыбаясь, посмотрел на него.

— Польский народ,— сказал я,— должен быть вам премного благодарен за чувство юмора.

— Безусловно, он будет мне благодарен,— сказал Франк.— Если бы только Гиммлер не сопровождал насилием мою политику установления порядка и справедливости!

И он принялся рассказывать мне о слухах, ходивших в эти дни в Варшаве по поводу ста пятидесяти польских интеллигентов, которых Гиммлер, перед отъездом из Польши, приказал расстрелять, якобы без его ведома и несмотря на его протесты. Франк был озабочен, ему хотелось в моих глазах снять с себя вину, ответственность за эти убийства. Он рассказывал, что сам Гиммлер ему сообщил о свершившемся факте в момент, когда садился в самолет, который отвозил его в Берлин.

— Естественно, я протестовал. Но дело было уже сделано.

— Гиммлер, наверное, посмеялся вам в лицо,— сказал я.— Ваш протест должен был показаться смехотворным такому человеку, как Гиммлер, человеку, лишенному чувства юмора. Впрочем, и вы тоже в аэропорте, провожая Гиммлера, весело смеялись. Новость привела вас в хорошее расположение духа.

Франк посмотрел на меня ошеломленно и обескураженно.

— Как вы узнали, что я смеялся? — спросил он.— Действительно, и я тоже смеялся.

— Вся Варшава это знает,— ответил я,— и все об этом говорят.

— Ach so! Wunderbar! [1] — воскликнул Франк, возводя глаза к небу.

[1] Ах так! Великолепно! *(нем.)*

Я тоже, смеясь, поднял глаза к небу. И... не смог сдержать жеста крайнего удивления и ужаса: на потолке, где раньше итальянским художником XVIII века, учеником великих венецианских мастеров, был изображен триумф Венеры, теперь над нашими головами вилась беседка из сиреневых глициний, выполненных с точностью и реализмом стиля либерти, который произошел от модерна 1900 года, развился у декораторов Вены и Мюнхена и, в конце концов, нашел в официальном стиле «dritter Reich» [1] последнее и самое яркое выражение.

Я встретился глазами с Шмелингом, и тот улыбнулся. Я удивился, что этот и твердолобый боксер, этот любезный зверь, почувствовал весь гротеск и безобразие беседки из глициний, мебели, картин, занавесок в зале, где ничего не осталось от того, что раньше составляло гордость дворца.

Фрау Бригитта Франк, уже некоторое время следившая за блужданиями моего взгляда и за тем, на чем останавливались более всего мои удивленные глаза, без сомнения, думала, что я восхищен, ослеплен этим искусством. Она наклонилась ко мне и сказала с тщеславной улыбкой, что сама наблюдала за работой немецких декораторов, которым мы все были обязаны чудесным превращением старого Бельведера. Беседка из глициний, которой она, казалось, более всего гордилась, была детищем одной замечательной женщины из Берлина, но фрау Бригитта дала мне понять, что идея беседки принадлежала ей самой. Сначала, исходя из политических соображений, она, было, подумала обратиться к кисти польского художника, но потом оставила эту идею.

— Нужно признать,— сказала она,— что поляки не обладают тем религиозным чувством в искусстве, которое является привилегией немцев.

Этот намек на «религиозное чувство в искусстве» дал Франку случай заговорить — и надолго — о польском искусстве, о религиозном духе этого народа и о том, что он называл польским идолопоклонством.

— Поляки,— заявил губернатор Фишер,— уверены, что Христос на их стороне, даже в политических делах, что Христос их предпочитает всем другим народам, даже немцам.

— К счастью,— сказал Франк, громко смеясь,— у Христа слишком хороший нюх, чтобы заниматься polniche Wirtschaft [2]. Он навлек бы на себя слишком много неприятностей.

— Не стыдно вам так гневить Бога? — грозя пальцем, сказала ему фрау Вахтер громко и с мягким венским акцентом.

— Обещаю вам больше этого не делать,— ответил Франк с видом ребенка, пойманного на шалости.

Фрау Бригитта, обратившись ко мне, заявила:

— Генерал-губернатор — большой друг польского духовенства, в Польше именно он — настоящий защитник католической религии.

— Ах, неужели? — воскликнул я, делая вид, что был удивлен и обрадован.

— В первое время,— сказал Франк, с радостью ухватившись за удобный повод переменить тему разговора,— польское духовенство меня не взлюбило. А у меня были серьезные причины для того, чтобы не быть особенно довольным поведением священнослужителей. Но после недавних превратностей войны в России, духовенство сблизилось со мной. Знаете, почему? Да потому, что они боятся, что Россия победит Германию! Ах! Ах! Ах! Sehr amüsant, nicht wahr? [3]

— Ja, sehr amüsant [4],— ответил я.

— Теперь между польским духовенством и мной — полное согласие,— продолжал Франк.— При этом я не изменил и не изменю, пусть даже на малую толику, основной линии моей религиозной политики в Польше. Для того, чтобы вас уважали в такой стране, как эта, требуется сильная личность. А я есть и останусь самим собой. Польская аристократия? Я ее не знаю. Я не посещаю ее, не наношу ей визитов. Я позволил им свободно заниматься игрой и танцевать в своих дворцах. Так вот, они картежничают и вязнут в долгах, они танцуют и не замечают своего разорения. Буржуазия? Бóльшая часть богатой польской буржуазии убежала за границу в 1939 году, последовав за правительственным обозом. Теперь их имуществом распоряжаются немецкие чиновники. Оставшаяся в Польше часть буржуазии смертельно задета тем, что не может заниматься свободными профессиями, пытается выжить, сжигая последние корабли, из принципа удалившись в оппозицию, которая выражается в распространении смехотворных сплетен и в бессмысленных заговорах, которые я же, за их спиной, сам плету и раскрываю по моему собственному усмотрению. Все поляки, и в особенности интеллигенция, это прирожденные заговорщики-конспираторы. Их главная страсть —

[1] Третий Рейх *(нем.)*.
[2] Польское хозяйство *(нем.)*.
[3] Очень забавно, не так ли? *(нем.)*
[4] Да, очень забавно *(нем.)*.

заговоры. Одна-единственная вещь утешает их после падения Польши: возможность, наконец, свободно заняться этим своим любимым делом. Но у меня рука длинная, и я умею этим пользоваться. Гиммлер, у которого не длинная рука, только и мечтает расстреливать людей и отправлять их в концентрационные лагеря. Похоже, он не знает, что поляки не боятся ни смерти, ни тюрьмы. Средние школы и университеты были очагами патриотических интриг, а я их закрыл. Кому нужны университеты в стране, где нет культуры? Итак, я дошел до пролетариев. Крестьяне добывают средства на черном рынке — я даю им эту возможность. Почему? Потому, что черный рынок обескровливает буржуазию и из-за него голодает промышленный пролетариат. Таким образом, я мешаю образованию единого фронта рабочих и крестьян. Рабочие молча трудятся под началом инженеров. Когда республика низверглась, польские инженеры не убежали за границу, они не бросили машины и рабочие места. Они остались на своих местах. Инженеры и рабочие — тоже наши враги, но враги, достойные уважения. Они не плетут заговоров, они работают. Может статься, их поведение входит в общий план борьбы против нас. На рудниках, на фабриках и стройках появляются пропагандистские коммунистические листовки, отпечатанные в России и подпольно ввезенные в Польшу. Эти листовки призывают польских рабочих не снижать уровня производства, работать дисциплинированно, чтобы не давать Гестапо ни малейшего повода устраивать репрессии против рабочего класса. Ясно, что если польскому рабочему классу удастся сделать так, чтобы Гиммлер не отбил ему бока, чтобы рабочие не исчезли на кладбищах и в концентрационных лагерях, после войны они окажутся единственным классом, который будет в состоянии взять власть, конечно, если Германия проиграет войну. А если Германия выиграет войну, ей придется опереться в Польше на единственный оставшийся на ногах класс, а именно, на рабочий класс. Польская буржуазия обвиняет меня в том, что я и есть автор этих листовок. Это клевета. Эти листовки — не мое творчество, но я позволяю их распространять. Наша величайшая выгода заключается в том, чтобы для нужд войны поддерживать на высоком уровне польское промышленное производство. Почему бы нам не использовать в наших особых целях коммунистическую пропаганду, если, чтобы спасти от полного уничтожения рабочий класс, эта пропаганда убеждает его не наносить вреда нашему военному производству. Во всей Европе только интересы России и Германии непримиримы. Но есть одна точка, на которой они сходятся,— пока поддерживается эффективность рабочего класса. И это будет продолжаться до того дня, когда Германия раздавит Россию или Россия Германию. Теперь перейдем к евреям. В гетто они пользуются полной свободой. Я никого не преследую. Я даю знати разоряться и развлекаться в танцах, буржуазии — заниматься заговорами, крестьянам — обогащаться, рабочим — трудиться. Есть случаи, когда я закрываю один глаз.

— Это когда вы берете ружье на прицел,— сказал я.

— Возможно. Но я прошу меня не перебивать,— продолжал Франк после некоторого колебания.— Только в одном я как бы ответствен перед польским народом, вернее перед польским духовенством: я запретил паломничество к иконе Пресвятой Черной Девы Ченстохова. Но это мое право. С точки зрения нашей безопасности, в Польше крайне вредоносно допускать периодические сборища сотен тысяч фанатиков и шествие их к этой святыне. Ежегодно около двух миллионов верующих посещало святилище в Ченстохове. Я запретил паломничества. Во всем остальном я отвечаю только перед фюрером и перед моей собственной совестью.

Внезапно он остановился и посмотрел вокруг себя. Он говорил на одном дыхании, красноречиво, но печально и раздраженно. Мы все молчали и, не отрываясь, смотрели на него. Фрау Бригитта, улыбаясь, тихо плакала, фрау Вахтер и фрау Фишер были взволнованы и приковались взглядом к влажному от пота лбу генерал-губернатора. Это молчание угнетало меня, я принялся потихоньку кашлять. Франк взглянул на меня, утирая лицо носовым платком. Он долго и пристально смотрел на меня, потом улыбнулся и спросил:

— Вы были в Ченстохове, nicht wahr?

Я ездил в Ченстохов за несколько дней до этого и посетил знаменитое святилище. Я был гостем религиозной секты, примыкавшей к римскому ордену паулинов. Отец Мендера проводил меня в крипту, где хранился очень почитаемый во всей Польше образ Пресвятой Черной Девы — икона в серебряном окладе, исполненная в византийском стиле. Этот образ называют Черной Девой: лик Богоматери закоптился в огне пожарища, когда шведы подожгли церковь во время осады города. Штадтгауптман Ченстохова, который, будучи близким родственником Гиммлера, вызывал особенную ненависть и презрение служителей церкви, вынужденно оказывавших ему почести, именно им и приказал препроводить меня к образу Пресвятой Черной Девы. Таким образом, в первый раз после начала оккупации Польши Германией священная икона вновь появилась перед глазами верующих, какого-то количества верующих, которых переполнило чувство неожиданной и негаданной радости, о которой они уже и не мечтали.

Мы прошли по церкви и спустились в святилище вместе с толпой крестьян, которые, стоя на коленях в церкви, видели, как мы проходили, и пошли за нами. Оба нацистских инспектора штадтгауптмана Ченстохова, Гюнтер Лакси и Фриц Грисхаммер, и оба сопровождавших меня эсесовца встали у порога. Гюнтер Лакси подал знак отцу Мендере, который посмотрел на меня в замешательстве и сказал по-итальянски: «Крестьяне». «Крестьяне остаются!» — сказал я по-немецки громким голосом. Золото, серебро, драгоценный мрамор сияли мягкими отсветами в полутьме часовни. Коленопреклоненные перед алтарем крестьяне во все глаза смотрели на серебряный завес, за которым хранился образ Девы Ченстохова. Слышно было позвякивание ружей эсесовцев, стоявших у двери.

Вдруг стены подземелья задрожали от глухих перекатов барабана. Под звуки серебряных труб, игравших победную музыку Палестрини, завес медленно поднялся, и украшенная жемчугом, расцвеченная драгоценными каменьями, переливавшимися в красном свете свечей, с младенцем на руках появилась Пресвятая Черная Дева. Простершись ниц, перед ней плакали крестьяне. Я слышал их глухие рыдания, удары их лбов о мраморные плиты. Они тихо называли мадонну по имени: «Мария, Мария», как если бы они призывали кого-то из своей семьи — мать, сестру, дочь, жену. Нет, свою мать они бы так не звали. Они бы не сказали: «Мария», они бы сказали: «мама». Мадонна была матерью Христа, только Христа. Но она могла быть их сестрой, женой, дочерью, и они звали ее по имени: «Мария, Мария» — тихо, боясь, что их услышат застывшие у порога эсесовцы. От гулкого и угрожающего громыхания барабанов и грозного гласа длинных серебряных труб дрожал фундамент церкви, казалось, мраморный свод вот-вот рухнет на нас. Теперь крестьяне произносили: «Мария, Мария!», как будто горестно призывали, оплакивая, умершую сестру, жену, дочь. Они звали: «Мария, Мария!». В этот момент приор и отец Мендера медленно повернулись и посмотрели на Гюнтера Лакси и Фрица Грисхаммера, на обоих эсесовцев, неподвижно стоявших у порога с ружьями в руках, в надвинутых на лоб стальных касках. Они смотрели на эсесовцев и плакали, смотрели и молча плакали. Рокот барабанов под каменными сводами зазвучал более гулко, звуки труб тоже усилились и завеса медленно опустилась, Пресвятая Черная Дева исчезла в сиянии золота и драгоценных камней. Крестьяне взглянули на меня, их лица были залиты слезами, они смотрели на меня и улыбались.

Это была та же улыбка, которую я однажды уже видел, я видел, как она рождалась на губах шахтеров в недрах соляных шахт в Величке, около Кракова. В темных забоях, среди глыб каменной соли, толпа бледных людей с исхудавшими от тревоги и голода лицами внезапно предстала передо мной, как толпа призраков, в дымном свете факелов. Я увидел толпу молившихся, когда подошел к церкви, которую шахтеры Велички выдолбили собственными руками при помощи кирки и резца в конце XVIII века. Там из соли были вырезаны образы Христа, Богородицы, святых. Я увидел, как шахтеры застыли, стоя на коленях, перед сооруженным из глыб каменной соли алтарем, они стеной стояли и у порога церкви, держа в руках кожаные фуражки, и показались мне соляными статуями. Они молча стояли, смотрели на меня, плакали и улыбались.

— В святилище Ченстохова,— продолжал Франк, не дав мне времени ответить,— вы слышали рокот барабанов и звуки серебряных труб, и вы тоже подумали, что то была Душа Польши. Нет! Польша молчит, она инертна, как труп. Глубокое, ледяное молчание Польши сильнее, чем наш голос, чем наши окрики, чем наши ружейные выстрелы. Бесполезно бороться с польским народом. Все равно, что бороться с трупом. При этом вы чувствуете, что он живой, что кровь пульсирует в его венах, что тайная мысль точит ему мозг, что ненависть клокочет в его груди, и она сильнее нас, сильнее. Ach, ach, mein lieber Шмелинг, вы когда-нибудь боролись с трупом?

— Нет, никогда,— ответил Шмелинг, поглядев на Франка с глубоким удивлением.

— А вы, дорогой Малапарте?

— Нет,— ответил я,— сам я никогда не боролся с трупом, но присутствовал на сеансе борьбы между живыми и мертвыми.

— Возможно ли такое? — воскликнул Франк.— Где это?

Все внимательно взглянули на меня.

— В местечке Подул Илоаей,— ответил я.

— В Подул Илоаей? А где оно?

Подул Илоаей — это в Румынии, на границе с Бессарабией. Деревня в двадцати километрах от молдавского города Яссы. Я не могу теперь слышать паровозный гудок без того, чтобы не вспомнить местечка Подул Илоаей. Это пыльная деревня в пыльной низине под голубым, затянутым белыми пыльными тучами небом. В узкой, замкнутой между невысокими светлыми холмами низине нет деревьев, только и видно что несколько куп акаций, несколько виноградников и там и сям, худосочные поля.

Дул жаркий ветер, шершавый, как кошачий язык. Хлеб был уже собран, желтое жнивье сияло под скучным и тяжелым, давящим небом. Из низины поднимались тучи пыли. Был конец мая 1941 года — прошло несколько дней после большого погрома в Яссах.

Я ехал в машине в Подул Илоаей вместе с ясским консулом Италии Сартори, с тем самым, кого все называли «маркизом», и с Лино Пеллегрини, смелым парнем, но «фашистским идиотом», который с молодой женой приехал из Италии в Яссы проводить там медовый месяц, заодно посылая в фашистские газеты статьи со своими восторгами в адрес маршала Антонеску, этой «красной собаки», Михая Антонеску и всех прочих бандитов-балагуров, ведших румынский народ к полному краху. Это был самый красивый молодой человек, какого можно было увидеть под молдавским небом между Трансильванскими Альпами и дельтой Дуная. Женщины сходили от него с ума, они посматривали в окна, выходили на порог магазинов — все хотели увидеть, как он шел по улице.

Но это был «фашистский идиот» и, кроме того, можно себе представить, как я раздражался на него: я, конечно, предпочел бы, чтобы он был пусть уродом, но поменьше фашистом. Я презирал его. И так было до того дня, когда я увидел, как он возмутился поведением начальника ясской полиции и крикнул ему прямо в лицо:

— Грязный убийца!

Он приехал в Яссы провести свой медовый месяц — зачем? — под бомбами советских самолетов; коротая брачные ночи в бомбоубежище, вырытом среди могил на старинном заброшенном кладбище. Сартори, этот «маркиз», неаполитанец и флегматик, человек невозмутимый и ленивый, в ночь большого погрома в Яссах сто раз рисковал жизнью, чтобы вырвать сотню несчастных евреев из рук жандармов. Теперь мы трое ехали в Подул Илоаей на поиски владельца дома, в котором помещалось итальянское консульство, адвоката-еврея, кристально честного человека — жандармы его тяжело ранили прикладами ружей во дворе консульства и потом, полумертвым, увезли, конечно, чтобы где-нибудь прикончить: не оставлять же его там, на земле, ведь это доказывало бы, что они убили еврея в стенах итальянского консульства.

Было жарко, машина медленно двигалась по дороге, изрытой глубокими колеями. Я страдал от сенной лихорадки и все время чихал. Тучи мух со злым жужжанием преследовали нас. Сартори отгонял мух носовым платком. Лицо его буквально заливал пот, он говорил:

— До чего надоело! Ехать за трупом в такую жару, да еще искать его среди тысяч трупов, лежащих сегодня по дорогам Молдавии. Все равно, что искать иголку в стоге сена.

— Побойтесь Бога, Сартори, не говорите мне о сене! — сказал я, чихая.

— Ах, Господи Боже мой! — воскликнул Сартори.— я-то и забыл ведь, что у вас сенная лихорадка.— И он воззрился на мое налитое кровью лицо, сизый нос, красные и припухшие веки.

— Вы не любите ездить за трупами? — сказал я.— Признавайтесь, вы же это любите, дорогой Сартори. Вы — неаполитанец, а неаполитанцы обожают мертвецов, похороны, плач, траур, кладбища. Вы любите хоронить мертвых. Признавайтесь, вы любите трупы, Сартори?

— Не смейтесь надо мной, Малапарте. В такую жару я бы прекрасно обошелся и без поездки за трупом. Но я обещал жене и дочери бедняги, а всякое обещание — это долг. Несчастные женщины надеются, что он еще жив. Вы верите в это, Малапарте, как вы думаете, он еще жив?

— Как он может быть жив, когда его на ваших глазах убивали, а вы даже не протестовали? Я теперь понимаю, почему вы такой толстый: вы толстый, как мясник. Хорошенькие дела творятся в итальянском консульстве в Яссах!

— Малапарте, после такой истории, если бы Муссолини был справедливым человеком, он сделал бы меня послом.

— Он сделает вас министром иностранных дел. Держу пари, что труп вы простонапросто спрятали под кроватью.

— Ах, Иисус, Иисус! — вздыхал Сартори, вытирая лицо носовым платком.

Три дня подряд мы искали труп этого несчастного. Накануне вечером мы ходили лично к начальнику полиции, хотели узнать, не был ли брошен в тюрьму этот несчастный еврей, может быть, в последний момент его все-таки избавили от смерти на улице. Начальник полиции принял нас очень любезно. У него было желтое и дряблое лицо, бархатные черные глаза с зелеными отсветами под сенью густых бровей. Я с удивлением заметил, что волосы росли у него до самых век, до самой нижней части век, это не были ресницы, а густой и нежный серый пушок.

— Вы были в больнице Святого Спиридона? Может быть, он там,— сказал начальник полиции, посмотрев на Сартори сквозь очень узкую щелку глаз, где из-под серого пушка светился черно-зеленый огонек,— вы уверены, что все произошло на территории консульства и что это были мои жандармы?

— Не окажете ли любезность хотя бы помочь мне разыскать его труп? — сказал Сартори, улыбаясь.

— Кажется,— зажигая сигару, сказал начальник полиции,— из окон консульства Италии несколько раз стреляли из пистолета в проходивший по улице жандармский патруль.

— Мне с вашей помощью не трудно будет разыскать труп,— говорил Сартори, все еще улыбаясь.

— У меня нет времени заниматься трупами,— сказал начальник полиции с любезной улыбкой,— у меня слишком много дел с живыми.

— К счастью,— сказал Сартори,— число живых быстро уменьшается. Пожалуй, скоро вам можно будет немного передохнуть.

— Мне этого очень недостает,— сказал начальник полиции, возводя глаза к небу.

— Почему бы нам не прийти к соглашению? Давайте разделим между собой работу,— сказал Сартори мирным голосом.— Вы займетесь розыском и арестом убийц, которые, безусловно, живы и здоровы, а я займусь поисками мертвого. Что вы на это скажете?

— Как же я смогу найти убийц, если вы мне еще не предоставили трупа и не доказали, что человека действительно убили?

— Со мной вы не промахнетесь,— сказал Сартори.— Я привезу вам труп. Я привезу вам его сюда, прямо в ваш кабинет, вместе с семью тысячами других трупов, вы только поможете мне отыскать его в общей куче. Ну как, договорились? — Он говорил медленно, улыбаясь, с невозмутимой флегматичностью. Но я знаю неаполитанцев, я чувствовал, что Сартори кипел от ярости и возмущения.

— Согласен,— ответил начальник полиции.

Тогда Пеллегрини, этот «фашистский идиот», встал со сжатыми кулаками и сказал начальнику полиции:

— Вы грязный убийца и подлый бандит!

Я смотрел на него с удивлением, в первый раз я посмотрел на него без раздражения. Поистине, он был прекрасен: высокий, атлетического сложения, с бледным лицом, нервно вздрагивавшими ноздрями, пылавшими глазами. Гневным движением он тряхнул головой, и черные волнистые волосы упали ему на лоб длинными локонами. Я смотрел на него с глубоким уважением. Это был «фашистский идиот», по в ночь большого погрома в Яссах он не раз рисковал шкурой, спасая жизнь нескольким беднягам-евреям. И теперь вот он опять рисковал жизнью из-за трупа какого-то еврея (ведь одного только жеста начальника полиции было достаточно, чтобы сегодня же вечером его подстрелили на улице, из-за угла).

Начальник полиции тоже встал и уставился на него волосатыми глазами. Он бы охотно пустил ему пулю в живот, он охотно перестрелял бы собственноручно и Сартори, и Пеллегрини, и меня, но не решался. Мы были не румыны и не бедные ясские евреи. Он боялся, что Муссолини отомстит за нас. (Ах, ах, ах! Он боялся, что Муссолини отомстит за нас! Он не знал, что убей он нас, Муссолини даже не попытался бы протестовать. Муссолини не желал осложнений. Полицейский не подозревал, что Муссолини боялся всех, даже его! Я расхохотался при мысли, что начальник ясской полиции мог бояться Муссолини.)

— Что это вы смеетесь? — спросил начальник полиции, резко обернувшись в мою сторону.

— Что хочет от меня этот человек? — спросил я Пеллегрини.— Он хочет знать, над чем я смеюсь?

— Да,— ответил Пеллегрини,— он хочет знать, почему ты смеешься.

— Я смеюсь над ним. Разве я не имею права над ним посмеяться?

— Ты, конечно, волен над ним посмеяться,— сказал Пеллегрини,— но я подозреваю, что ему это не доставляет большого удовольствия.

— Конечно, это не должно ему нравиться.

— Вы, правда, над ним смеетесь? — спросил Сартори невозмутимым голосом.— Извините меня, дорогой Малапарте, но мне кажется, что вы не правы. Этот господин — вполне обходительный человек, и к нему нужно относиться так, как он того заслуживает.

Мы спокойно поднялись и вышли. Мы еще не перешагнули порога, когда Сартори остановился и сказал мне:

— Мы забыли сказать ему до свидания. Вернемся?

— Э, нет! — сказал я.— Пойдем лучше к жандармскому полковнику.

Полковник жандармерии предложил нам сигарету, любезно выслушал нас и сказал:

— Должно быть, он попал в Подул Илоаей.

— В Подул Илоаей? — спросил Сартори.— А что он там делает?

— Через два дня после погрома до отказа набитый евреями поезд отбыл в Подул Илоаей, деревню в двадцати километрах от Ясс. Там начальник полиции решил устро-

ить концентрационный лагерь. Поезд отправился туда уже три дня тому назад, он давно прибыл на место.

— Едем в Подул Илоаей,— сказал Сартори.

Так, на следующее утро мы уже ехали в машине в Подул Илоаей. На маленькой, затерянной в пыльной сельской местности станции мы остановились и попытались навести справки о поезде. Несколько солдат, сидевших в тени вагона, который стоял на запасном пути, сказали нам, что состав из десятка вагонов для перевозки скота пришел два дня тому назад, что он простоял целую ночь у вокзала. Несчастные люди, запертые в опечатанных вагонах, выли и стонали, умоляя солдат охраны снять деревянные планки-засовы, прибитые к дверям. В каждый вагон затолкали до двухсот евреев, а отдушины — узкие дырки, забранные металлической решеткой, шедшие по верху вагонов, предназначавшихся для перевозки скота,— были забиты досками, и несчастным нечем было дышать. На рассвете поезд отбыл в Подул Илоаей.

— Может быть, вы его нагоните,— сказал нам солдат.

Железная дорога идет вдоль низины, параллельно шоссейной дороге. Мы почти уже подъезжали к Подулу Илоаей, когда над пыльной завесой раздался долгий гудок. Мы переглянулись, лица наши вытянулись, мы словно узнали этот гудок.

— Какая жара! — вздохнул Сартори, обтирая лицо носовым платком.

Но я заметил, что он тотчас покраснел и раскаялся в том, что сказал эти слова. Он, конечно, подумал о тех несчастных, что напиханы по двести человек в вагон для перевозки скота и оставлены без воздуха и воды. Далекий гудок призраком пролетел над пустынной и пыльной местностью, под неподвижным палящим солнцем. И через мгновение мы увидели поезд. Он стоял перед закрытым семафором и гудел. Потом дернулся, медленно тронулся, и мы поехали за ним по дороге. Мы смотрели на вагоны с забитыми отдушинами. Поезд в течение трех дней шел двадцать километров: он пропускал военные составы. Впрочем, никто и не спешил. Через три месяца он тоже пришел бы вовремя.

Тем временем мы доехали до Подула Илоаей. Поезд остановился на запасном пути, чуть проехав вокзал. Стояла жара, было около полудня, вокзальные служащие ушли на обед. Механик, машинист и солдаты охраны сошли с поезда и улеглись на землю в тени вагонов.

— Немедленно откройте вагоны! — приказал я солдатам.

— Мы не можем, господин капитан!

— Откройте немедленно вагоны!

— Мы не можем,— сказал механик,— вагоны запломбированы. Нужно позвать начальника вокзала.

Начальник вокзала сидел за столом и обедал. Сначала он не захотел прервать обед, но, когда узнал, что Сартори — консул Италии и что я итальянский капитан, встал из-за стола и рысцой пошел за нами с большими щипцами в руках. Солдаты медленно принялись за работу, пытаясь открыть дверь первого вагона. Большая деревянная, окованная железом дверь сопротивлялась: как будто сотни рук сдерживали ее изнутри, как будто заключенные, прижимаясь к ней, не давали открыть. В какой-то момент начальник вокзала крикнул:

— Эй, вы, там, внутри, толкайте, тоже мне!

Изнутри никто не ответил. Тогда мы все принялись вместе толкать дверь. Сартори остался стоять перед вагоном, подняв голову, вытирая платком лицо. Вдруг дверь поддалась, и вагон открылся.

Вагон открылся внезапно, толпа заключенных устремилась на Сартори, опрокинула его на землю, навалилась на него. Из вагона падали мертвецы. Они падали с глухим шумом, во весь рост, плашмя, как статуи из цемента. Попав под целую кучу трупов, придавленный их тяжестью, Сартори отбивался, извивался, пытаясь высвободиться, вырваться из кучи мертвых тел, из холодной груды тел, но все больше исчезал под множеством трупов, как под каменной осыпью. Мертвые злы, упрямы, жестоки. Мертвые глупы, капризны и тщеславны, как дети, как женщины. Мертвые безумны. Берегитесь, если мертвый возненавидит живого! Берегитесь, если он возьмется за живого! Берегитесь, если живой оскорбит мертвого, обидит его самолюбие, ранит его достоинство! Мертвые ревнивы и мстительны. Они никого не боятся, они ничего не боятся: ни ударов, ни ран, ни превосходящего числа противника. Они даже не боятся смерти. Они дерутся ногтями и зубами, молча, не отступая ни на шаг, не отпуская. Они никогда не бегут с поля битвы. Они дерутся до конца с холодным и упрямым мужеством, смеясь, насмехаясь — бледные, молчаливые, с разверстыми, отрешенными глазами, глазами сумасшедших. Если их валят, бросают на землю, они противятся, они не хотят поражения и унижения, они противятся, как могут, а почувствовав себя побежденными, окончательно сраженными, они начинают издавать мягкий и жирный запах, медленно разлагаются.

Некоторые мертвецы бросались на Сартори всей тяжестью, стараясь раздавить его, другие падали безразлично, плашмя, вытянувшись, они наносили Сартори удары головой в грудь, били его локтями и коленями. Сартори хватал их за волосы, за полы одежды, ловил за руки, старался отбросить их, сжимая их горло, ударяя по лицу сжатыми кулаками. То была жестокая и молчаливая драка, мы все бросились к нему на выручку и пытались, но напрасно, избавить его от тяжелой груды тел. Наконец, после многих усилий, нам удалось ухватить его и вытащить из кучи. Сартори встал — у него была разорвана одежда, глаза налились кровью, одна щека кровоточила. Он очень побледнел, но оставался спокоен. Он только сказал:

— Посмотрите, нет ли живых. Меня укусили в лицо.

Солдаты залезли в вагоны и начали выкидывать трупы. Оказалось сто семьдесят девять человек, все умерли от удушья. У всех были раздутые головы, посиневшие лица.

Так и продолжалась бы наша жуткая работа, но прибыли немецкие солдаты и жители деревни, крестьяне. Они помогли открыть двери в другие вагоны и выбрасывали мертвецов наружу, укладывали их рядами по откосам вдоль железной дороги. Группа евреев из Подула Илоаей тоже прибыла во главе с раввином. Они узнали о том, что приехал итальянский консул, и это придало им смелости. Бледные, но спокойные, они не плакали и говорили твердым голосом. У всех у них были в Яссах родственники, друзья. Все волновались за жизнь родных и друзей. Они были одеты в черное, на головах у них были жесткие фетровые шапочки. Раввин и пять-шесть евреев оказались членами администрации Сельскохозяйственного банка Подула Илоаей, они приветствовали Сартори.

— Жарко,— сказал раввин, вытирая ладонью пот с лица.

— Ах, да! Жарко! — сказал Сартори, проводя платком по лбу.

Злобно жужжали мухи. Мертвецов, которых выложили рядами вдоль железнодорожного пути, оказалось примерно две тысячи. Две тысячи трупов, лежащих в ряд под палящим солнцем! Это многовато. Даже слишком много. Обнаружили только одного живого — ребенка, зажатого под коленями матери. Он потерял сознание, но еще дышал. У него была сломана ручка. Матери удалось прижать его ртом к щелке под дверью. Она, наверное, дикарски защищалась, стараясь, чтобы толпа страдальцев не оттащила ее от этого места: она умерла, раздавленная в жестокой схватке. Ребенок остался лежать под мертвой матерью, ловя губами тоненькую струйку воздуха.

— Он жив! — странным голосом говорил Сартори.— Он жив! Жив!

Я с волнением смотрел на мужественного Сартори, этого толстого и медлительного неаполитанца, который утратил-таки, наконец, свою флегматичность, и не из-за ужасных мертвецов, а из-за живого ребенка, еще живого.

Через несколько часов, в сумерки, из вагона для скота солдаты выбросили на откос мертвеца, у которого голова была обвязана окровавленным носовым платком. Это и был владелец дома, который занимало итальянское консульство в Яссах. Сартори долго и молча смотрел на него, он дотронулся до его лба, обратился к раввину и сказал:

— Это был честный человек!

Неожиданно мы услышали шум рукопашной драки. Крестьяне и цыгане сбежались со всей округи и бросились раздевать трупы. Сартори не смог сдержать жеста возмущения, но раввин положил руку ему на плечо:

— Бесполезно,— сказал он,— это обычай.— И он тихо прибавил с печальной улыбкой: — Завтра они придут к нам же продавать вещи, которые сейчас снимают с мертвецов, а нам придется их покупать. Разве мы можем поступить иначе?

Сартори молчал и смотрел, как раздевали несчастных. Право, можно было сказать, что мертвецы изо всех сил защищались. Обливаясь потом, вопя и ругаясь, сбежавшийся сброд, эти воры, упорно поднимали непослушные руки, сгибали окоченевшие локти, твердые колени, стаскивали куртки, пиджаки, брюки, нательное белье. Женщины-мертвецы оказались еще упрямее, они сопротивлялись еще отчаяннее. Я никогда бы не подумал, что так трудно снять рубашку с мертвой девушки. Может быть, потому, что целомудрие и стыдливость были в ней еще живы. Стыдливость придавала женщине силу, позволяла защищаться. Мертвецы приподнимались на локтях, поворачивали белесые лица к злобным и потным лицам своих обидчиков и долго смотрели на них, пристально, широко открытыми глазами, настойчиво. Потом, голые, с глухим шумом падали на землю.

— Нам нужно уезжать, уже поздно,— сказал Сартори спокойным голосом. Потом, обратившись к раввину, он попросил выдать ему свидетельство о смерти этого «достойного и честного человека». Раввин поклонился в знак согласия, и мы все направились пешком к деревне. В конторе директора Сельскохозяйственного банка стояла удушливая жара. Раввин послал за книгами регистрационных актов синагоги, написал свидетельство о смерти несчастного и отдал документ Сартори, который, взяв его, тщательно сложил и опустил в портфель. Вдали раздавался гудок паровоза. Большая муха с синими крыльями жужжала у чернильницы.

— Я очень сожалею, что вынужден уехать,— сказал Сартори,— но мне нужно вернуться в Яссы до наступления ночи.

— Подождите минутку, прошу вас,— сказал по-итальянски один из служащих

Сельскохозяйственного банка. Это был коротенький и толстый еврей с бородкой, как у Наполеона III. Он открыл небольшой шкафчик, вытащил из него бутылку вермута, наполнил несколько рюмок. Он сказал, что вермут у него настоящий, туринский, что это настоящий Чинзано, и стал нам рассказывать, что много раз бывал в Венеции, Флоренции, Риме, что два его сына учились в Италии на медицинском факультете Падуанского университета.

— Я с удовольствием познакомился бы с ними,— любезно сказал Сартори.

— О! Они же умерли,— ответил еврей,— они погибли в Яссах на днях.— Он вздохнул и прибавил: — Я так хотел бы еще хоть раз поехать в Падую и посмотреть на университет, где учились мои мальчики.

Мы долго еще сидели, притихшие, а в комнате было полно мух. Потом Сартори встал, и мы все молча вышли. Пока мы садились в машину, еврей с наполеоновской бородкой положил руку на плечо Сартори и смиренно сказал тихим голосом:

— Я ведь знаю наизусть всю «Божественную комедию».— И он принялся декламировать:

Земную жизнь пройдя до половины...

Машина тронулась и группа одетых в черное евреев исчезла в облаке пыли.

I

— Румыны — нецивилизованный народ! — сказал Франк с презрением.

— Да, это совсем бескультурный народ! — сказал Фишер, качая головой.

— Вы ошибаетесь,— ответил я.— Румыны — это достойный и щедрый народ. Я очень люблю румын. В этой войне, из всех латинских народов, румыны — единственные, кто проявил благородное чувство долга и большую щедрость. Это простой крестьянский народ, неотесанный и, в то же время, тонкий. Не по вине румынского народа в его высших классах, у целых семей или у отдельных лиц, которые должны были бы по своему положению в обществе подавать пример, оказалась гнилая душа, гнилой ум, гнилые кости. Румынский народ не повинен в уничтожении евреев. Погромы в Румынии, как и повсюду, организуются и осуществляются по приказу или с согласия государственных властей.

— Я понимаю и разделяю ваше возмущение,— сказал Франк.— В Польше, благодарение Богу, и чуть-чуть благодаря мне тоже, у вас не было и не будет случая оказаться свидетелем подобных ужасов. Нет, мой дорогой Малапарте, в Польше, в немецкой Польше, у вас не будет случая и причины осуждать или жалеть кого-то, ваших благородных чувств никто не оскорбит.

— О! Я, конечно, не стану вам рассказывать того, что мы — Сартори, Пеллегрини и я сам — наговорили начальнику ясской полиции. Это будет неосторожно с моей стороны. В лучшем случае вы отправите меня в концентрационный лагерь.

— И Муссолини даже не подумает протестовать.

— Да, он даже не подумает протестовать. Он не желает неприятностей, этот Муссолини.

— Вы знаете,— сказал Франк напыщенно,— что я справедлив и милостив и что я не лишен чувства юмора. Если вам захочется поговорить со мной о справедливости, приходите ко мне без всякого опасения. Здесь мы в Варшаве, а не в Яссах, и я не начальник ясской полиции. Вы разве забыли наш уговор? Вы помните то, что я вам говорил, когда вы приехали в Польшу.

— Вы предупредили меня, что будете тщательно следить за мной с помощью Гестапо, но что у меня будет право думать и действовать по собственному усмотрению. Вы меня заверили, что я смогу говорить вам все, что думаю, да и вы тоже будете поступать в отношении меня так же — говорить мне все, что вы думаете, что с абсолютной точностью вы будете соблюдать правила игры в крикет.

— Наш уговор до сих пор в силе,— сказал Франк,— разве я не соблюдал правил игры в крикет? И чтобы вам еще раз доказать мою искренность, скажу, что Гиммлер вам не доверяет. А я встал на вашу защиту. Я сказал ему, что вы не только верный и надежный человек, а вы еще и свободный, раскрепощенный человек, что в Италии вам пришлось перенести тюремное заключение и преследования за ваши книги, за свободу духа, за неосмотрительность, присущую скорее избалованному ребенку, нежели человеку неверному и неискреннему. Я сказал ему также, стремясь доказать основательность моего мнения о вас и правильность моего суждения, что, бывая в Швеции всякий раз, когда вы едете на финский фронт, вам ничего бы не стоило — и никто не смог бы вам в этом помешать — остаться в этой нейтральной стране в политической эмиграции, но что вы этого не делаете, потому что вы — военный корреспондент, носите мундир итальянского офицера и честь и совесть запрещают вам дезертировать. Я еще сказал, что ваши книги опубликованы в Англии, Франции, Америке, поэтому как писатель вы заслуживаете особого обхождения, а с нашей стороны, мы обязаны вам доказать, что немецкая Польша — страна такая же свободная, как и Швеция. Буду до

конца с вами искренен: я посоветовал Гиммлеру приказать обыскать вас, когда вы будете выезжать с польской территории. Может быть, я должен был предупредить вас о том, что собирался дать такой совет Гиммлеру, или же не давать его вовсе? Как бы там ни было, теперь я вас предупредил. Лучше поздно, чем никогда. Ну как, я соблюдаю правила игры в крикет, nicht wahr?

— Да, мы именно играем в крикет,— ответил я, улыбаясь,— но лучше было посоветовать Гиммлеру обыскать меня при въезде в Польшу. И, со своей стороны, дам вам тоже доказательство моей искренности и расскажу, как я провел время, пока Гиммлер находился в Варшаве.

И я рассказал Франку о письмах, пакетах с едой и о деньгах, которые беженцы-поляки, жившие в Италии, просили меня передать родным и друзьям в Варшаве.

— Ach so! Ach so! — воскликнул Франк, смеясь.— Под самым носом у Гиммлера! Ach Wunderbar! Под самым носом у Гиммлера!

— Wunderbar! Ach Wunderbar! — восклицали гости, шумно смеясь.

— Надеюсь, это похоже на игру в крикет?

— Да, это настоящий крикет! — воскликнул Франк.— Браво, Малапарте! Прозит! — добавил он, поднимая рюмку.

— Прозит! — подхватили остальные.

И мы выпили по-немецки, одним махом опрокинув рюмки.

Накопец мы встали из-за стола, и фрау Бригитта Франк провела нас в соседнюю комнату (круглый зал, в котором свет падал через две большие застекленные двери, выходившие в парк), здесь раньше была спальня маршала Пилсудского. Снег мягко отсвечивал на стенах, мебели, толстых коврах (по голым веткам деревьев прыгали серые птички, статуи Аполлона и Дианы на пересечении аллей были покрыты снегом, и по парку, то там, то здесь, проходили часовые с ружьями).

— В этой комнате, как раз в том кресле, где сидит Шмелинг,— сказал Франк,— умер маршал Пилсудский. Я не захотел ничего здесь менять. Пусть все остается на прежних местах. Я только приказал вынести кровать.— И он прибавил любезным голосом: — Память о маршале Пилсудском заслуживает всяческого нашего уважения.

Пилсудский умер в этом кресле, стоявшем перед двумя застекленными дверями, он умер, смотря на деревья парка. В большой нише в стене, напротив застекленных дверей, стоял диван, там сидела фрау Фишер и генерал-губернатор Франк. Раньше кровать маршала Пилсудского стояла именно в нише, на месте дивана. Рядом с креслом, где сейчас сидел боксер Шмелинг, старый маршал и сейчас стонл с бледным лицом, с синими, похожими на шрамы венами, с большими, опущенными вниз усами, совсем как у Собесского, а над его широким лбом торчала щетка коротких и жестких волос. Он ждал, когда Макс Шмелинг уступит ему место. Франк был прав: память о старом маршале заслуживает уважения.

Франк громким голосом обсуждал со Шмелингом вопросы спорта и чемпионатов.

Вдруг до моего сознания дошло, что Франк обращался ко мне, он приглашал меня провести несколько дней в Татрских горах, в Закопане, на знаменитом польском зимнем курорте.

— В 1914 году, незадолго до начала войны, Ленин тоже провел несколько месяцев в Закопане,— говорил со смехом Франк.

Я отвечал (или у меня создалось впечатление, что я отвечал), что не могу, что обязан ехать на смоленский фронт, а потом заметил, что в действительности отвечаю:

— Почему бы и не поехать? Я охотно провел бы четыре-пять дней в Закопане.

Вот Франк поднялся, мы все тоже поднялись, и Франк предложил пойти прогуляться в гетто.

Мы вышли из Бельведера. Я сел в первую машину вместе с фрау Фишер, фрау Вахтер и генерал-губернатором Франком. Во второй машине ехали фрау Бригитта Франк, губернатор Фишер и Макс Шмелинг. Прочие гости следовали за нами в двух других машинах. Мы проехали по Аллее Уяздовской, повернули на Свентокжисску, потом на Маршалковску, затем остановились и вышли у ворот в «закрытый город», у входа в высокой стене из красного кирпича, которую немцы выстроили вокруг гетто.

— Посмотрите на эту стену,— сказал мне Франк.— Вы в действительности видите ту жуткую, щетинящуюся пулеметами цементную стену, о которой пишут английские и американские газеты? — И, усмехаясь, он прибавил: — Евреи, бедные люди, у всех больные легкие, а эта стена, по крайней мере, защищает их от ветра!

В спесиво-вызывающем тоне Франка слышалось нечто печальное, и я как бы узнавал это нечто: смиренную и печальную жестокость.

— Жестокая безнравственность этой стены,— ответил я,— не только в том, что она не позволяет евреям выйти из гетто, но в особенности в том, что она не мешает им сюда входить.

— А между тем,— сказал Франк, смеясь,— несмотря на то, что нарушение запрета на выход из гетто карается смертью, евреи умудряются выходить и выходят, как хотят.

— Они карабкаются на стену?

— О, нет! — ответил Франк.— Они выходят через похожие на мышиные ходы дыры, которые роют ночами под стеной и прячут днем, прикрывая их землей и листьями. Они протискиваются в эти дыры и ходят в город за едой и одеждой. Черный рынок в гетто действует, в основном, благодаря этим дырам. То и дело, кто-нибудь из этих крыс попадает в мышеловку. Это всегда оказываются дети от восьми до десяти лет, не более. Они рискуют жизнью с большой спортивной смекалкой. Ну вот, в этом тоже, правда ведь, есть нечто от игры в крикет?

— Они рискуют жизнью? — воскликнул я.

— По правде говоря,— ответил Франк,— они только и рискуют, что жизнью.

— И вы называете это крикетом?

— Естественно. У игры есть свои правила.

— В Кракове,— сказала фрау Вахтер,— мой муж выстроил вокруг гетто стену в восточном стиле, с изящными изгибами и красивыми зубцами. Евреям в Кракове не на что жаловаться. Очень изящная стена, в еврейском стиле.

Все рассмеялись, топая по обледенелому снегу.

— Ruhe! [1] — сказал солдат и встал с ружьем на прицеле на колено около нас, спрятавшись за сугроб.

Солдат прицелился на дырку в земле под стеной. Другой солдат, встав за ним на колено, наблюдал из-за плеча товарища. Вдруг первый выстрелил. Пуля попала в стену точно у края дырки.

— Промах,— весело вскричал солдат, перезаряжая ружье.

Франк подошел к обоим солдатам и спросил, во что они стреляли.

— В крысу! — шумно смеясь, ответили они.

— В крысу? Ach so! — сказал Франк, вставая на колено, чтобы самому посмотреть поверх плеча солдата.

Мы тоже подошли, а дамы смеялись и припрыгивали, поддергивая юбки, как обычно делают женщины, когда речь идет о крысах.

— Где она? Где крыса? — спрашивала фрау Бригитта Франк.

— Achtung! [2] — сказал солдат, прицеливаясь. В дырке под стеной показалась макушка черных растрепанных волос, потом две руки, они легли на снег. Это был ребенок.

Прогремел выстрел. И на этот раз солдат промахнулся — совсем на малость. Голова ребенка исчезла.

— Дай сюда! — сказал Франк нетерпеливым голосом.— Ты не умеешь стрелять! Он схватил ружье и прицелился.

Тихо падал снег.

ЧАСТЬ III. СОБАКИ

Зимние ночи

В витрине татарина-меховщика, среди норковых, горностаевых, беличьих, чернобурых лисьих, песцовых и рыжих лисьих шкур висела собачья шкура, и было ужасно и больно на нее смотреть. Это был прекрасный черный с белым английский сеттер с длинной и тонкой шерстью: пустые глаза, обвисшие уши, раздавленная морда. Ценник на ухе гласил: шкура английского сеттера, в финских марках — 600. Мы остановились перед витриной. Я почувствовал, как меня обдало волной отвращения.

— Разве ты не видел перчатки из собачьего меха? У полковника Луктандера была пара, у того финского полковника, которого мы встретили на Ленинградском фронте,— сказал граф Августин де Фокса́, посол Испании в Хельсинки.— Я бы сам купил пару перчаток и отвез бы их в Мадрид. Там всем бы рассказывал, что они из собачьего меха. Я бы рассказал в Мадриде, что перчатки из спаниелей — гладкие, шелковистые, а из легавых — жестче. В дождливые дни я носил бы перчатки из шкуры блю-терьера. Здесь ведь даже женщины носят шапки и муфты из собачьего меха.— Де Фокса смеялся и смотрел на меня исподлобья.— Представьте, собачий мех очень оттеняет женскую красоту,— заявил он.

— Собаки великодушны,— заметил я.

Наступили последние дни марта 1942 года. Мы шли по улице, там, за Эспланадой — она начинается около Савоя. У порта спустились к Рыночной площади, где рядом друг с другом высятся неоклассический дворец посольства Швеции и творение Энгеля — дворец резиденции президента Республики Финляндии.

Стоял собачий холод, казалось, по щекам мне водили лезвием бритвы. Чуть дальше витрины меховщика, на углу мы оказались перед витриной магазина похоронных

[1] Тихо! *(нем.)*
[2] Внимание! *(нем.)*

принадлежностей. Крашеные гробы, белые, черные, блестящие (с огромными серебряными ручками), некоторые — целиком из красного дерева, были расставлены в магазине так, чтобы привлечь публику, а витрину одиноко украшал маленький посеребренный детский гробик.

Де Фокса остановился, рассматривая гробы.

Де Фокса — жесток и мрачен, как истый испанец. Он признает только душу, а тело, кровь, мучения страждущей человеческой плоти, болезни, раны оставляют его равнодушным. Он любит говорить о смерти, а когда видит похороны, радуется, как празднику. Ему нравится, когда говорят о ранах, опухолях, увечьях. Но он боится призраков, привидений. Он может говорить, о чем угодно, только не о призраках. Это умный, культурный и остроумный человек — может быть, даже слишком остроумный, чтобы быть действительно умным. Он хорошо знает Италию, он знает большую часть моих друзей во Флоренции и Риме, я даже подозреваю, что мы оба были влюблены в одну и ту же женщину и в одно и то же время, но не знали друг о друге. Он прожил несколько лет в Риме как секретарь посольства Испании при Квиринале, но был удален из Италии за то, что слишком остроумничал по поводу графини Эдды Чиано.

— Подумайте только, я прожил в Риме три года,— однажды сказал он мне,— и не знал, что графиня Эдда Чиано — дочь Муссолини.

Пока мы спускались по Эспланаде, де Фокса рассказывал, как однажды к вечеру он с несколькими друзьями пошел посмотреть, как разрывали могилы на старинном кладбище Сан Себастьян в Мадриде. Шел 1933 год — тогда Испания была республиканской. Ну и республиканское правительство издало указ об уничтожении этого старинного мадридского кладбища. Когда де Фокса с друзьями, среди которых были молодые мадридские писатели Сесар Гонзалес Руано, Карлос Мираллъос, Агостин Виньола и Луис Эскобар, пришли на кладбище, было уже почти темно и многие могилы стояли раскрытыми и очищенными. В открытых гробах лежали торреро в парадных костюмах, генералы в парадных мундирах, священники, подростки, богатые горожане, девушки, знатные дамы и малые дети. Скончавшейся молодой женщине, похороненной с флаконом духов в руке, поэт Луис Эскобар посвятил потом лирическую поэму: «Одной очень красивой даме, которую звали Мария Консесьон Элола». Агостин Виньола посвятил стихотворение бедному моряку, случайно скончавшемуся в Мадриде и похороненному на этом печальном кладбище, вдали от любимого моря. Де Фокса и его друзья, слегка хмельные, стоя на коленях перед гробом моряка, помолились за умерших. Карлос Мираллъос положил на грудь моряка листок бумаги, на котором он карандашом нарисовал барку, рыбу и волны, потом все перекрестились, говоря: «Во имя Севера, Юга, Востока и Запада». На могиле студента, которого звали Новилльо, была начертана полустертая временем эпитафия: «Бог прервал его занятия, чтобы преподать ему истину». В гробу с богатыми серебряными ручками лежало тело-мумия молодого французского дворянина, графа де ла Мартиньера, вместе с группой французских легитимистов эмигрировавшего в Испанию в 1830 году, после падения Карла X. Сесар Гонзалес Руано склонился перед графом де ла Мартиньером и сказал:

— Я приветствую тебя, отважный французский дворянин, ты был предан твоему законному королю, и я у праха твоего восклицаю то, что более не слетит с губ твоих, я сейчас крикну то, что заставит содрогнуться твои кости: да здравствует король!

Тогда находившийся на кладбище республиканский блюститель порядка схватил за руку Сесара Гонзалеса Руано и повел его в тюрьму.

Де Фокса говорил громким голосом, по привычке жестикулируя.

— Августин,— сказал я ему,— говори потише, тебя услышат призраки.

— Призраки? — прошептал он, бледнея и оглядываясь по сторонам.

Дома, деревья, статуи и скамейки на Эспланаде словно качались в ледяном и прозрачном свете, который на Севере, по вечерам, от свечения снега сам светится, рассеивая блики. Несколько пьяных солдат разговаривали с девицей на углу Миконкату. Перед гостиницей «Кемп» ходил туда и обратно жандарм. Над крышами, над улицей Маннергейма, небо белело без единой морщинки, совершенно неподвижно — совсем как выглядит небо на старой выцветшей фотографии. Стеклянная башня фирмы Стокманна и небоскреб гостиницы «Торни» покачивались в мертвенно-бледном воздухе.

На большой вывеске по балкону дома я прочел два слова: «Лингафонный кабинет».

Ничто так не напоминает мне финскую зиму, как пластинки лингафонного курса. Всякий раз, как я вижу объявления в газете: «Изучайте иностранные языки по лингафонной системе», всякий раз, как я читаю эти два магических слова «лингафонный кабинет», тотчас я вспоминаю финскую зиму, призрачные леса и ледяные озера Финляндии.

Всякий раз, как мне случается услышать разговор о пластинках лингафонного курса, я закрываю глаза и вижу моего друга Яаакко Леппо, толстого и коренастого,

затиснутого в мундир капитана финской армии, его круглое, бледное, скуластое лицо и маленькие, подозрительные, излучающие холодный серый свет раскосые глаза.

И я вижу, как мой друг Яаакко Леппо сидит с рюмкой перед граммофоном в библиотеке своего дома в Хельсинки, а вокруг него — Лииси Леппо, мадам П., министр П., граф Августин де Фокса, Титу Михаилеску, Марио Орано и все — с рюмками в руках. Все слушают хриплые звуки граммофона. Долго еще я буду вспоминать, как Яаакко Леппо поднимает рюмку с коньяком, говоря: Malianne (за ваше здоровье), и все, поднимая рюмки, вторят ему: Malianne. Всякий раз, как я вижу надпись «Лингафонный кабинет», я вспоминаю финскую зимнюю ночь, которую мы провели с рюмками в руках в доме у Яаакко Леппо, слушая хриплые звуки граммофона и говоря друг другу:

— Malianne.

Было два часа ночи, мы только что во второй или третий раз закончили ужинать. Сидя в библиотеке перед огромным, смотревшим в призрачное небо окном с зеркальными стеклами, мы наблюдали, как Хельсинки медленно тонул в снегу и на поверхности оставались, походя на мачты корабля, колоннада здания парламента и серебристо-гладкий фасад Почтамта, а за ними, вдали, стеклянно-бетонная башня Стокманна и небоскреб «Торни».

Висевший на окне снаружи термометр показывал 45° ниже нуля.

— Сорок пять градусов ниже нуля и вон он, финский Акрополь,— говорил де Фокса.

Время от времени Яаакко Леппо поднимал рюмку с коньяком и произносил: Malianne. Я только что вернулся с Ленинградского фронта и на две недели вперед у меня не было другого дела, как повторять: Malianne. Повсюду: в карельских лесных чащобах, в корсу, выстроенных для военных нужд бараках, в траншеях, в армейских столовых и помещениях для отдыха, на дорогах в Каннас, всякий раз, как мои сани встречались с другими санями, повсюду в течение двух недель мне только и приходилось, что поднимать рюмку и говорить: Malianne.

В поезде, который вез меня в Виипури, всю ночь напролет я произносил: Malianne, сидя с начальником железных дорог района Виипури,— он пришел повидаться с Яаакко Леппо в мое купе в спальном вагоне. Это был приземистый человек атлетического сложения, с бледным и отекшим лицом. Из-под его непогрешимо белого галстука виднелось горлышко бутылки, просунутой под накрахмаленной манишкой и ослепительным жилетом. Он возвращался со свадьбы сына. Свадьба длилась три дня, и теперь он возвращался в Виипури, к своим поездам, в свой кабинет, отрытый из-под развалин разрушенного советскими минами вокзала.

— Смешно,— сказал он,— сегодня я много выпил, а даже не пьян.

А у меня создалось впечатление, что он выпил мало и был при этом пьян в стельку. Вскоре он вытащил из-за шиворота бутылку, вынул две рюмки из кармана, до краев наполнил их коньяком и сказал:

— Malianne!

Я сказал:

— Malianne!

Мы так и провели всю ночь, говоря друг другу «Malianne» и молча смотря друг на друга. Иногда он принимался разговаривать со мной по-латыни, так как это был единственный язык, который мы оба знали. Он показывал мне на мелькавший за окном вдоль железнодорожной линии черный, суровый, бесконечный, полный призраков лес и заявлял: Malianne.

Будил Яаакко Леппо, вставлял ему рюмку в руку и говорил:

— Malianne.

Яаакко Леппо говорил:

— Malianne,— с закрытыми глазами одним махом заглатывал коньяк и вновь проваливался в сон.

Наконец мы прибыли в Виипури и на развалинах вокзала сказали друг другу:

— Vale. До свидания.

В течение двух недель мне ничего более не оставалось, как говорить «Malianne». Я говорил «Malianne» в Виипури лейтенанту Свартстрёму и другим офицерам здешней компании; я говорил «Malianne» в Териоках, в Александровской, в Раикколе, на берегу Ладожского озера, офицерам и сисситам полковника Мерикалло; я говорил «Malianne» в траншеях под Ленинградом; я говорил «Malianne» в предбаннике сауны, национальной финской бани, после того как выходил из парилки, где температура достигала 60°, и кидался в снег на опушке леса в мороз в 42° ниже нуля; я говорил «Malianne» в доме художника Репина в окрестностях Ленинграда и смотрел сквозь садовые деревья туда, где покоился художник, а дальше, в конце дороги, первые ленинградские дома синели в огромном облаке нависшего над городом дыма.

Время от времени Яаакко Леппо поднимал рюмку и говорил:

— Malianne.

И министр П., высокий чиновник министерства иностранных дел, говорил:

— Malianne.

И мадам П. и Лииси Леппо говорили:

— Malianne.

И де Фокса говорил:

— Malianne.

И Титу Михаилеску и Марио Орано говорили:

— Malianne.

Мы сидели в библиотеке и через огромное оконное стекло смотрели на город, медленно тонувший в снегу, а далеко на горизонте тонули в тумане узники льда, корабли, у острова Суоменлинна.

Но вот пришел час, когда финны начинают грустнеть: они вперяются друг в друга взглядами, с вызывающим видом покусывают нижнюю губу, пьют молча и больше не говорят «Malianne», как бы пытаясь скрыть нарастающую в них глубокую ярость. Только я хотел потихоньку уйти от греха, и де Фокса тоже хотел уйти, как министр П. схватил его за руку и сказал:

— Дорогой министр, вы знакомы с господином Ивало, не правда ли? (Ивало был генеральным директором министерства иностранных дел.)

— Это один из моих лучших друзей,— ответил де Фокса, стараясь умиротворить его.— Это человек редкого ума, а мадам Ивало — совершенно очаровательная женщина.

— Я вас не спрашивал, знакомы ли вы с мадам Ивало,— говорил министр П., воззрившись на де Фокса маленькими подозрительными глазками.— Я хотел только знать, знакомы ли вы с господином Ивало.

— Да, я его очень хорошо знаю,— ответил де Фокса, глазами умоляя меня не бросать его.

— Знаете ли вы, что он мне сказал по поводу Испании и Финляндии? Я встретил его вечером в баре Кемпа. Он был вместе с министром Хаккарайненом, так ведь?

— Министр Хаккарайнен — очаровательный человек,— ответил де Фокса, ища глазами Титу Михаилеску.

— А знаете ли вы, сказал мне господин Ивало, какая есть разница между Испанией и Финляндией?

— Она указана на градуснике,— осмотрительно ответил де Фокса.

— Почему на градуснике? Нет, она не указана на градуснике,— с раздражением продолжал министр П.— Разница в том, что Испания — страна симпатизирующая, но не воюющая, а Финляндия — страна воюющая, но не симпатизирующая.

— Ах, ах, ах! Очень забавно,— смеясь, говорил де Фокса.

— Почему вы смеетесь? — спрашивал у него министр П. с подозрением в голосе.

Яаакко Леппо, неподвижно сидя на табурете у пианино в позе татарина в седле, пристально смотрел на испанца маленькими раскосыми глазами, в которых пылала мрачная ревность к тому, что министр П. не ему сообщил то, что только что рассказал испанскому послу.

Затем наступил опасный период, когда финны сидят с угрожающим видом, опустив голову, пьют, каждый сам по себе, не говоря друг другу «Malianne», словно они сидят в одиночестве и пьют исподтишка. Вдруг они принимаются говорить по-фински и при этом словно обращаются к самим себе. Марио Орано исчез, он на цыпочках выскользнул из комнаты, и никто этого не заметил, даже я, хотя старался не упустить его из поля зрения и следил за всеми его маневрами. Но Орано прожил в Финляндии уже четыре или пять лет и в совершенстве постиг трудное искусство исчезать, тайно ретироваться в самый миг опасности. Я тоже хотел потихоньку сбежать, но всякий раз, как мне удавалось дойти до двери, я чувствовал, что нечто холодное вонзалось мне в спину, и, обернувшись, встречался глазами с мрачным взглядом Яаакко Леппо, который сидел на табурете у пианино, как татарин в седле.

— Пойдем отсюда,— сказал я де Фокса, беря его за руку. Но именно в этот момент министр П. подошел к де Фокса и спросил у него каким-то странным голосом:

— Правда ли, мой дорогой министр, что вы сказали миссис Макклинтокк, что у нее перья уж не знаю, в каком месте? — Де Фокса стал защищаться, протестовал и утверждал, что все это кто-то выдумал, но министр П., бледнея, спрашивал:

— Как, вы отрицаете?

Я твердил де Фокса:

— Не отрицай, ради всего святого, не отрицай!

А министр П. настаивал, все больше бледнея:

— Ну, что вы отнекиваетесь? Признавайтесь, у вас не хватает смелости повторить при мне то, что вы сказали миссис Макклинтокк.

Тогда де Фокса принялся рассказывать, что однажды вечером он был в гостях у посла США, господина Артура Шенфелда, вместе с Еленой Макклинтокк и Робертом Миллсом Макклинтокком, секретарем посольства США. Позже прибыл посол Франции, вишиской Франции, господин Юбер Герэн. В какой-то момент мадам Герэн спро-

сила у Елены Макклинтокк, не испанского ли та происхождения, потому что, взглянув на ее одежду и услышав ее акцент, мадам Геран подумала именно это. Забыв, что при этом присутствовал посол Испании, Елена Макклинтокк, чилийская испанка, ответила:

— К сожалению, да.

— Ах, ах! Не правда ли, очень забавно? — восклицал министр П., хлопая по плечу де Фокса.

— Подождите же, история не окончена,— с нетерпением сказал я.

И де Фокса продолжал рассказывать, что он ответил госпоже Макклинтокк:

— Дорогая Елена, если вы — уроженка Южной Америки, вы не испанка: вы же носите перья на голове!

А тем временем я тихо говорил де Фокса:

— Пойдем отсюда, ради всех святых!

Но в это время уже пробил час, когда финны становятся патетичными, в эти моменты они смягчаются, принимаются глубоко вздыхать, сидя перед пустыми рюмками и глядя друг на друга со слезами на глазах. Именно в тот момент, когда мы с де Фокса подходили к креслу, куда с печальным и томным видом рухнула Лииси Леппо, и с волнением хотели было просить ее нас отпустить, Яаакко Леппо встал и громко сказал:

— Я хочу, чтобы вы послушали несколько превосходных пластинок,— и он прибавил с оттенком гордости: — У меня есть граммофон.

Он подошел к граммофону, достал из кожаного чемоданчика пластинку, покрутил ручку, поставил иголку на край пластинки и бросил вокруг себя суровый взгляд. Мы все молчали в ожидании.

— Это китайская пластинка,— сказал он.

Это была пластинка лингафонного курса. Гнусавый голос даровал нам длинный урок китайского произношения, который мы прослушали в набожном безмолвии. Затем Яаакко Леппо сменил пластинку, покрутил ручку и объявил, что теперь он поставил пластинку хинди. Это был урок произношения языка хинди, который мы тоже прослушали в глубоком молчании.

Потом наступил черед нескольких уроков турецкой грамматики, за которыми последовала серия уроков произношения арабского языка, и, наконец, пришла очередь пяти уроков японской грамматики и произношения. Все мы молча слушали.

— Напоследок,— объявил Яаакко Леппо, подкручивая ручку граммофона,— я дам вам послушать самую великолепную пластинку.

На этот раз зазвучал урок французского произношения: профессор из лингафонного кабинета гнусавым голосом декламировал «Озеро» Ламартина. Мы прослушали его в набожном молчании. Когда гнусавый голос, наконец, утих, Яаакко Леппо обвел всех взволнованным взглядом и сказал:

— Моя жена выучила эту пластинку наизусть. Будь любезна, дорогая!

Лииси Леппо встала, медленно прошла по комнате, остановилась рядом с граммофоном, вскинула голову, подняла руку и, смотря в потолок, продекламировала «Озеро» Ламартина, все «Озеро» и таким же гнусавым голосом.

— Чудесно, правда? — сказал Яаакко Леппо взволнованно.

Было уже пять часов утра. Я забыл, что еще произошло перед тем, как мы с до Фокса оказались на улице. Был собачий холод. Ночь была светлой, снег сиял мягко, с тонким серебристым отсветом. Когда мы подошли к моей гостинице, де Фокса пожал мне руку и сказал:

— Malianne.

Я ответил:

— Malianne.

Посол Швеции Вестманн принимал нас в библиотеке. Мы сидели у окна. Серебряный отсвет ночного снега тихо таял в сумраке библиотеки, теплом сумраке цвета человеческой кожи, который пронизывали легким золотым мерцанием книжные корешки. Вот загорелся свет и стал виден высокий и тонкий силуэт посла Вестманна, чистый и четкий, похожий на рисунки, выгравированные на старом шведском серебре. От тихого взрыва света холодные жесты шведского посла медленно растаяли, смягчились, а маленькая голова, прямые и худые плечи на мгновение напомнили, как мне показалось, холодную неподвижность мраморных бюстов шведских королей, стоявших в ряд на высоких дубовых библиотечных шкафах. Серебристые волосы мертвенно и мраморно освещали его широкий лоб, а на благородном и суровом лице блуждала ироническая улыбка, беспокойная тень улыбки.

Де Фокса сидел перед окном, и на его лице отражался лабиринт голубых вен, которые появляются ночью на белой плоти снега. Может быть, из стремления пересилить в себе колдовские чары северной ночи он говорил об испанском солнце, о цвете, запахах, об испанском колорите, о солнечных днях и звездных ночах Андалузии, о скупом и чистом ветре в горах Кастилии, о голубом небе, камнем падающем на быка в миг его смерти. Вестманн слушал его, полузакрыв глаза, он как бы из-за замерзшего моря слышал жирные звуки и чувственные голоса с испанских улиц и из магазинов, он как бы видел пейзажи, портреты, натюрморты, струящиеся горячими и густыми цветами жанровые сценки на улицах, на аренах, в семьях, на балах, во время процессий, перед его глазами как бы проходили картины испанских идиллий, похорон, триумфальных шествий — все, что вызывал в воображении звонкий голос де Фокса.

Вестманн в течение нескольких лет был послом Швеции в Мадриде и всего на несколько месяцев прибыл теперь послом в Финляндию, в Хельсинки, единственно для того, чтобы обсудить с финской стороной некий важный дипломатический ход. По выполнении этой временной миссии в Финляндии, он должен был возвратиться в Мадрид и вновь принять на себя пост посла Швеции в Испании. Он с тайной страстью любил Испанию, он любил эту страну чувственной и романтической любовью и в тот вечер слушал графа де Фокса со смешанным чувством стыдливой ревности и обиды, как неудачливый любовник слушает преуспевшего соперника, когда тот говорит о любимой ими обоими женщине («Я — муж, а не ваш соперник. Испания — моя жена, а вы — ее любовник»,— говорил ему де Фокса. «Увы!» — отвечал Вестманн, вздыхая). Но в его любви к Испании существовал некий необъяснимый оттенок плотской страсти и в то же время тайного отвращения и ужаса, которые всегда примешиваются в северном человеке к его отношению к средиземноморским странам. Такое же чувственное отвращение отражается на лицах зрителей на старинных изображениях триумфов Смерти: сцены смерти, вид трупов в отверстых могилах, среди пышных, ароматных цветов вызывают священный ужас, сладостно привлекая и одновременно отталкивая.

— Испания,— говорил де Фоксв,— страна любви и смерти. Но не призраков. Родина призраков — это Север. На улицах испанских городов можно встретить труп, но не призрак.— И он говорил о духе смерти, пронизывающем искусство и литературу Испании, о некоторых трупных пейзажах Гойи, о живых трупах Эль Греко, о разложившихся лицах испанских королей и великих людей, написанных Веласкесом на фоне пышных интерьеров из золота, пурпура и бархата в зелено-золоченой паутине королевских покоев, церквей, монастырей.

— В Испании тоже,— сказал Вестманн,— частенько можно повстречаться с призраком. Я очень люблю испанских призраков. Они милы и хорошо воспитаны.

— Это не призраки,— ответил де Фокса,— это трупы. Не бестелесные образы, они состоят из плоти и крови. Они едят, пьют, любят и смеются, как живые. Между тем это тела умерших. Они не выходят ночью, как призраки, а появляются среди дня, в свете солнца. Испания так проникнута жизнью, именно благодаря этим трупам, которых вы встречаете на улице. Они сидят в кафе, коленопреклоненно молятся по темным церквям, медленно и молчаливо, с горящими черными глазами на зеленых лицах они идут среди веселого столпотворения в дни городских и деревенских праздников, ярмарок, в толпе смеющихся, любящих, пьющих и поющих живых людей. То, что вы называете призраками,— не испанцы, это иностранцы. Они приходят издалека, Бог знает откуда, если вы их назовете по имени и призовете с помощью магических заклинаний.

— Вы верите в магические заклинания? — улыбаясь, спросил Вестманн.

— Всякий добрый испанец верит в магические заклинаяния, слова.

— Вы знаете хоть одно? — спросил Вестманн.

— Я знаю много слов, но есть самое могущественное, оно вызывает призраки сверхъестественной силы.

— Произнесите его, прошу вас, можете сказать тихо.

— Не решаюсь, мне страшно,— сказал де Фокса, слегка побледнев.— Это самое ужасное слово и самое опасное в кастильском языке. Ни один настоящий испанец не осмеливается его произносить. Когда призраки слышат это магическое слово, они выходят из тьмы и идут вам навстречу. Это слово — роковое для того, кто его произносит, и для того, кто его слышит. Принесите сюда труп, положите его на этот стол, и я не изменюсь в лице. Но не призывайте призрак, не открывайте ему дверей, я умру от ужаса.

— Скажите мне, по крайней мере, значение этого слова,— сказал Вестманн.

— Это одно из многочисленных названий змеи.

— У змей есть очаровательные названия,— заявил Вестманн.— В трагедии Шекспира Антоний называет Клеопатру нежным именем змеи.

— Ах! — воскликнул, побледнев, де Фокса.

— Что с вами? Это и есть слово, которое вы не смеете произнести? Между тем в устах Антония оно звучит с медовой нежностью. У Клеопатры не было более милого имени. Подождите,— прибавил Вестманн с жестокой радостью,— мне кажется, я точно помню слово, вложенное Шекспиром в уста Антония...

— Молчите, прошу вас! — вскрикнул де Фокса.

— Если мне не изменяет память,— продолжал Вестман с жестокой улыбкой,— Антоний называет Клеопатру...

— Молчите, Бога ради! — воскликнул де Фокса.— Не произносите этого слова громко. Это ужасное слово, его нужно произносить только тихо, вот так,— и он прошептал, почти не двигая губами: — Culebra.

— А! Culebra! — сказал Вестманн, смеясь.— И вы пугаетесь по столь ничтожному поводу? Это же слово как слово. Мне, право, не кажется, что в нем есть нечто ужасное и мистическое. Если я не ошибаюсь,— добавил он, поднимая глаза к потолку, как бы копаясь у себя в памяти,— слово, которое употребляет Шекспир,— snake, оно менее нежно, чем слово culebra.

— Не повторяйте же, прошу вас,— взмолился де Фокса.— Это слово приносит несчастье. Один из нас или кто-нибудь из близких нам людей умрет этой ночью.

Как раз в этот момент дверь отворилась и на стол поставили великолепную семгу из озера Инари, нежно-розового и яркого цвета, молниями поблескивавшего из трещин на коже в серебристой чешуе нежных зеленых и голубых тонов, что напоминало, как заявил де Фокса, старинные шелковистые ткани облачений мадонн в испанских деревенских церквях. Голова семги покоилась на подушке из напоминавших женские волосы травинок — тех прозрачных водорослей, которые растут в реках и озерах Финляндии. Словно голова рыбы, спящей в натюрморте Брака. В семге чувствовался слабый привкус озера Инари летней ночью, освещенной бледным арктическим солнцем под нежно-зеленым небом. Розовый цвет, проступавший из-под серебристой чешуи семги,— это цвет облаков в час, когда ночное солнце на краю горизонта выглядит, как апельсин в окне, а ласковый ветер вздрагивает в листве деревьев, на светлых водах, в поросших травами реках и легко летит над реками, озерами и огромными лесами Лапландии. Это тот же розовый цвет, который отбрасывают из воды рыбы быстрыми молниями из-под серебристой чешуи, морща поверхность озера Инари, когда солнце арктической ночью блуждает в зеленом небе, пронизанном тонкими голубыми нитями.

После светлого мозельского вина, благоухающего намокшим под дождем небом (тогда как нежный и яркий розовый цвет, проступая сквозь серебристую чешую семги, придавал вину вкус пейзажа у озера Инари под ночным солнцем), в бокалах красными отсветами заискрилось красное бургундское вино. С середины стола, с большого серебряного подноса карельский кабан распространял по комнате горячий дух печи. После прозрачных искр мозельского вина, после розовой семги, напоминавшей серебристое течение Юуутуанёки и розовых облаков на зеленом небе Лапландии, бургундское вино и карельский кабан из печи в благоухании сосновых ветвей обратил наши мысли к земле.

Красное бургундское вино — очень земное, как ни одно другое. В белом снежном освещении оно восприняло цвет земли, пурпурно-золотой цвет вершин Кот-д'Ор в лучах заходящего солнца. Его тяжелое дыхание, как бургундский летний вечер, напоено травами и листвой. И нет вина приятнее в преддверии ночи, чем вино из Нюи-Сен-Жорж, оно дружит с ночью, вино Нюи-Сен-Жорж — это ночное вино, оно — темное, поблескивает зарницами, как летняя бургундская ночь. Оно искрится кровавыми отсветами там, у порога ночи, как огонь заката на хрустальном краю горизонта. Оно рассыпает красные и синие искры по пурпурной земле, в траве и в древесной листве, соки и ароматы которых еще согреты лучами уходящего солнца. С наступлением ночи дикие звери поудобнее укладываются на земле: кабан спешит к своему логову, топча хрупкие ветки; фазан короткими и бесшумными перелетами стремится к гнезду в тени наступающей ночи, которая уже плывет над лесами и лугами; быстрый заяц бежит по первому серебряному лунному лучу. Вот тогда-то и настает час бургундского вина. Именно в такой час зимней ночью, в освещенной мрачным снежным свечением комнате, благоуханный запах Нюи-Сен-Жорж напомнил нам летние бургундские вечера, уснувшие на еще горячей от солнца земле бургундской ночи.

Де Фокса и я, улыбаясь, переглянулись, а в это время теплая волна поднималась нам к лицу, мы смотрели друг на друга, улыбались, и это земное ощущение избавляло нас от грустных чар северной ночи. Мы затерялись в снежной и ледяной пустыне, в стране вод с сотней тысяч озер, в ласковой и суровой Финляндии, где запах моря проникает летом в чащобы самых отдаленных карельских и лапландских лесов, где сияющую поверхность вод узнаешь даже в голубых и серых глазах людей и животных, даже в медлительных и сдержанных движениях идущих по улицам людей, схожих с движениями пловцов, а люди гуляют летними ночами по аллеям парков в пожарище ослепительного снежного пламени, обратив глаза к зелено-голубому блеску воды, простирающейся над крышами в нескончаемом безрассветном и беззакатном свете белой северной ночи. При этом неожиданно возникшем ощущении земли и ее даров мы внезапно почувствовали себя земными до мозга костей и посмотрели друг на друга, улыбаясь, как если бы нас только что миновала катастрофа.

— Знаете ли вы,— спросил де Фокса, оборачиваясь к Вестманну,— историю с игрой в крикет, которую Малапарте разыграл в Польше с генерал-губернатором Франком?

И он рассказал о моем договоре с Франком и о том, как я спокойно признался Франку, что во время пребывания Гиммлера в Варшаве я раздавал письма и деньги, которые польские беженцы в Италии просили меня передать их родным и друзьям в Польше.

— И Франк не выдал вас Гестапо?

— Нет,— ответил я,— он меня не выдал.

— Ваша авантюра с Франком поистине невероятна,— сказал Вестманн.— Он вполне мог сдать вас в Гестапо. Нужно признать, что по отношению к вам он вел себя удивительным образом.

— Я был уверен, что он не выдаст меня,— сказал я.— То, что могло показаться серьезной неосторожностью с моей стороны, на самом деле было мудрой предусмотрительностью. Показав ему, что я считаю его джентльменом, я сделал из Франка моего сообщника. Что позже, впрочем, не помешало ему мстить мне за откровенность: он попытался заставить меня дорого заплатить за свое вынужденное сообщничество.

И я рассказал Вестманну, что через несколько недель после моего отъезда из Варшавы, Франк неистово протестовал перед итальянским правительством по поводу нескольких статей, которые я написал о Польше, и обвинил меня в том, что я встал на точку зрения поляков. Франк требовал от меня не только публичного опровержения того, что я написал, но и письма с просьбой о прощении. В тот момент я находился в безопасности, в Финляндии, и, естественно, ответил ему: к черту!

— Будь я на твоем месте,— вмешался де Фокса по-французски,— я бы ему ответил: говно.

— В некоторых случаях произнести это слово крайне затруднительно,— улыбаясь, заметил Вестманн.

— Вы думаете, что я не способен ответить немцу то, что когда-то Камбронн ответил англичанину при Ватерлоо? — спросил де Фокса с достоинством. Затем он заявил, обратившись ко мне: — Готов ли ты пригласить меня на обед в Руайаль, если я скажу «говно» какому-нибудь немцу?

— Ради Бога, Августин,— ответил я, смеясь,— подумай, ты ведь посол Испании, одним своим словом ты ввергнешь испанский народ в войну против гитлеровской Германии!

— Испанский народ дрался и из-за меньшего. Я скажу «говно» от имени Испании!

— Подождите, по крайней мере, пока Гитлер не докатится до своего Ватерлоо,— сказал Вестманн.— К сожалению, он еще у Аустерлица.

— Нет,— ответил де Фокса.— Я не могу ждать.— И он прибавил торжественным тоном: — Что ж, я буду Камбронном при Аустерлице!

К счастью, в этот момент на стол принесли поднос, полный мягких и нежных, очень приятных на вкус сдобных булочек, которые сестры Сакре-Кер называют вольтерианским названием «нежданчик монахини».

— Это монашеское угощение ничего вам не напоминает? — спросил Вестманн у де Фокса.

— Оно напоминает мне Испанию,— строго ответил де Фокса.— Ну, конечно, в Испании полно монастырей и монашеских нежданчиков. Как католик и испанец, я вполне оценил тонкость, с которой вы напомнили мне о моей стране.

— Я вовсе не намекал ни на Испанию, ни на католическую религию,— сказал Вестманн, любезно смеясь.— Это монастырское угощение напомнило мне детство. Не напоминает ли оно и вам ваше детство? Все дети очень любят эти булочки. У нас в Швеции нет монастырей, а «нежданчики монахинь», однако, существуют. Это вас не радует?

— У вас очаровательная манера радовать гостей,— сказал де Фокса.— Это лакомство наводит меня на мысль о бессмертной молодости Испании. Будучи взрослым мужчиной — увы, я уже не ребенок! — я, как испанец,— молод и бессмертен. Жаль, что приходится одновременно чувствовать себя молодым, но гнилым. Латинские народы насквозь прогнили.— Он замолчал и уронил голову на грудь. Потом, внезапно, подняв голову, сказал с гордостью: — И все-таки это благородная гниль. Знаете ли, что на днях мне сказал один наш общий друг из посольства США? Мы разговорились о войне, о Франции, об Италии, Испании, и я ему тоже сказал, что латинские народы насквозь прогнили. Он мне ответил, что, возможно, все это и гнилье, но пахнет хорошо.

— Я люблю Испанию,— сказал Вестманн.

— От чистого сердца благодарен вам за любовь, которую вы питаете к испанскому народу,— сказал де Фокса, склоняясь над столом и улыбаясь Вестманну над ледяными искрами хрусталя.— Но какую Испанию вы любите? Божью или людскую?

— Конечно же, людскую,— ответил Вестманн.

Граф де Фокса обратил на Вестманна глубоко разочарованный взгляд.

— И вы тоже? — сказал он.

— Через несколько месяцев, когда я вернусь к своему посту посла Швеции в Испании,— сказал Вестманн со свойственным ему слегка ироническим изяществом,—

обещаю вам, что займусь чуть больше Испанией божьей, нежели людской.

— Надеюсь,— сказал де Фокса,— что испанский Бог заинтересует вас чуть больше, чем гольф в Пуерта де Хьерро.

И он рассказал, что, когда посольство Англии при правительстве Франко после гражданской войны переехало в Мадрид, один молодой английский дипломат прежде всего постарался узнать, действительно ли, как ему рассказали, пятая дорожка на площадке для гольфа в Пуерта де Хьерро была попорчена фашистской гранатой.

— И так оно и было? — обеспокоенно спросил Вестманн.

— Нет, благодарение Богу! Пятая дорожка оказалась в полном порядке,— ответил де Фокса.— К счастью, это была только тенденциозная антифашистская пропаганда.

— Слава Богу! — со вздохом облегчения воскликнул Вестманн.— Признаюсь, у меня перехватило дыхание. В современной цивилизации, дорогой де Фокса, дорожка для гольфа, и несчастью, приобретает значение готического собора.

— Будем молиться Богу, чтобы он спас от войны хотя бы дорожки для гольфа,— сказал де Фокса.

Тот факт, что де Фокса представлял в Финляндии франкистскую Испанию (Юбер Герэн, посол петэновской Франции, называл де Фокса «послом Виши»), не мешал ему с презрением смеяться над Франко и его революцией. Де Фокса принадлежал к молодому поколению испанцев, которые попытались подвести под марксизм феодально-католический фундамент или, по его собственным словам, одеть ленинизм в теологию, примирить старую католическую и традиционную Испанию с молодой Европой рабочих. Теперь он смеялся над бесплодными иллюзиями своего поколения, над крушением этих трагикомических надежд и провалом этой смехотворной попытки.

Иногда, разговаривая с ним о гражданской войне в Испании, я полагал, что свободный ход его сознания приходил в противоречие с его разумом и заставлял признать законность и обоснованность политических, нравственных и интеллектуальных позиций противников Франко, как было и в тот вечер, когда он рассказал нам о президенте Испанской Республики Азана и его «секретном дневнике», куда Азана, день за днем, час за часом, записывал все, вплоть до мельчайших, на первый взгляд самых незначительных сведений о времени революции и гражданской войны: цвет неба в определенный час определенного дня, звук лившейся в фонтане воды, шум ветра в древесной листве, отзвуки ружейных выстрелов на соседней улице — так он описал жалкий, надменный, скулящий, трусливый, циничный, предательский, лживый эгоизм епископов, генералов, политических деятелей, испанских грандов, анархистов, которые приходили к нему, давали советы, домогались встречи с ним, делали предложения, договаривались с ним, продавались ему и продавали его. Естественно, «секретный дневник» Азана не был опубликован, но его и не уничтожили. Де Фокса прочел его, он говорил о нем, как о поразительном документе времени, в котором Азана предстал как человек, странным образом выделявшийся среди событий и лиц, человек одинокий в своей чистоте и отвлеченности. Но в другие разы де Фокса вдруг оказывался поразительно неуверенным, он путался в разных аспектах простейших проблем, которые, казалось, он давно разрешил. Так было однажды в Белоострове, рядом с Ленинградом. Прошло всего несколько дней, как на Святую пятницу мы вместе с де Фокса оказались в Белоострове, под Ленинградом. Примерно в пятистах метрах за линией колючей проволоки, за двойными рядами советских траншей и казематов, мы увидели, как по снегу на опушке леса шли два русских солдата. Не прячась, они несли сосновое бревно на плечах, шли в ногу, махая руками, слегка кривляясь, нарочно показывая свою смелость. Два высоченных сибиряка в низко надвинутых на лоб высоких шапках из серого каракуля, солдатские шинели доходили им до каблуков, ружья висели на ремне за спиной: в ослепительном сиянии снега, в свете солнца они казались гигантских размеров. Полковник Лукандер обернулся к де Фокса и спросил:

— Господин министр, не хотите ли, чтобы я приказал бросить пару гранат в тех двоих?

Поглубже закутавшись в белый маскировочный халат, де Фокса посмотрел на Лукандера из-под капюшона:

— Сегодня Святая пятница,— ответил он,— зачем мне брать на свою совесть этих двух человек именно в такой день? Если вы действительно хотите доставить мне удовольствие, не стреляйте и не бросайте гранат!

Полковник Лукандер очень удивился:

— Мы здесь воюем,— сказал он.

— Вы правы,— сказал де Фокса,— но я здесь — вроде туриста.

Меня удивило, что в его тоне, жестах чувствовалась странная взволнованность. У него очень побледнело лицо, и большие капли пота проступили на лбу. И ведь его ужасало вовсе не то, что те два человека могли быть убиты просто так, в его честь, а мысль, что это совершится в Святую пятницу.

Тем не менее, либо полковник Лукандер не понял того, что волнуясь, произнес по-французски де Фокса, либо он действительно хотел оказать де Фокса честь и подумал,

что посол Испании отказался только для проформы, из вежливости, он все же приказал бросить пару гранат в русских солдат. Оба сибиряка остановились и проследили взглядом за полетом гранат, которые, никому не причинив вреда, взорвались поодаль от них. Когда де Фокса увидел, что оба солдата как ни в чем не бывало двинулись дальше, не бросив бревна и размахивая руками, словно ничего не произошло, он улыбнулся, кровь вновь прилила к его лицу, он с облегчением вздохнул, но сказал с сожалением:

— Жаль, что сегодня Святая пятница. Я бы с удовольствием посмотрел, как эти два молодца, разорванные на куски, взлетели бы на воздух! — Потом, вытянув руку выше края траншеи и показывая мне на огромный купол Исаакиевского собора, православного кафедрального собора в Ленинграде, словно качавшегося над серыми крышами осажденного города, он прибавил: — Посмотрите на этот купол, какой он католический, правда?

Перед улыбающимся и ироничным Вестманном мясистый, сангвиничный де Фокса сидел, обратив жирное лицо свое к худощавому и светлому лику шведа, словно это католический дьявол из средневековых испанских драм сидел на ступеньках церкви перед серебряным ангелом. Его чисто умозрительное безбожие иногда еще отягощалось чем-то, исходившим от чувства, быть может, постоянным проявлением гордыни, которая у латинян, а в особенности у испанцев, стесняет, сдерживает самопроизвольные движения, внутренние импульсы, свободную, вольную игру ума. Я чувствовал в характере де Фокса хитрость неуверенного в себе человека, страх открыться, появиться голым, приоткрыть свой секрет, выставиться безоружным, то есть подставиться и получить рану. Я слушал и молчал: розовый огонь свечей и холодные искры хрусталя, фарфора, серебра таяли в прозрачном свечении снега, что придавало словам, улыбкам, взглядам некий налет произвольности и отвлеченности, что вызывало ощущения западни, которую все время пытаешься обойти.

На столе появился шоколадный торт, усеянный сахарными и зелеными фисташковыми цветами, весело и по-весеннему выглядевшими на темном шоколаде цвета монашеского облачения. Де Фокса принялся говорить о Дон Жуане, Лопе де Вега, Сервантесе, Кальдероне де ла Барка, Гойе, Федерико Гарсиа Лорке. Вестманн заговорил о сестрах монастыря Сакре-Кёр, об их тортах, вышивках, молитвах по-французски, их медовом французском языке в староватой манере, более происходившей от «Принцессы Клевской», чем от Паскаля (больше от «Опасных связей», исправил де Фокса, нежели от Ламартина). Де Фокса говорил о молодых поколениях испанцев, о спортивном характере их католицизма, об их религиозном рвении, обращенном к Богородице, святым и спорту, об их христианском идеале (этот идеал — не Святой Людовик с его лилией, не Святой Игнатий с его жезлом, а молодой рабочий, профсоюзный деятель или коммунист из предместий Мадрида или Барселоны в майке велосипедиста или в футболке). Он рассказал, что во время гражданской войны в Испании футболисты были по большей части красными, а тореадоры — почти все франкистами. Публика на корридах была фашистской, а на футбольных матчах — марксистской.

Когда мы встали из-за стола, была ночь. Сидя в глубоких кожаных креслах в библиотеке перед выходившими в сторону порта широкими окнами, мы следили глазами за полетом чаек вокруг вмерзших в лед кораблей. Свечение снега будто мягким и холодным крылом морской птицы падало на стекло окна. Мне казалось, что Вестманн плыл бесшумно, как прозрачная тень в этом призрачном свете. У него были очень светлые голубые глаза, похожие на сделанные из белого стекла глаза древних статуэток, серебряные волосы обрамляли лицо серебряным окладом византийской иконы. У него был прямой и острый нос, тонкие, бледные, слегка усталые губы, маленькие руки с длинными и тонкими пальцами, отполированными под воздействием векового соприкосновения с оленьей седельной кожей, с шерстью лошадей и собак благородных кровей, с фарфором и драгоценными тканями, старой прибалтийской оловянной посудой, трубками Лиллехаммера и Дунхила. Сколько ослепительно-снежных горизонтов, водных пустынь, бескрайних лесов заключается в голубых глазах северного человека! Какая глубокая и безмятежная скука заключается в этом светлом, почти белом взгляде — благородная древняя скука современного мира, который осознал свою смертность! Сколько одиночества за этим бледным лбом!

В Вестманне была какая-то прозрачность: дотрагиваясь до бутылок портвейна и виски, сияющих хрустальных бокалов, его руки как-то исчезали в воздухе, да и призрачное свечение снега делало их бледными и легкими. Словно тень передвигалась по комнате — некий вполне любезный призрак. Его жесты ласково сочетались с изгибами мебели, рюмок, бутылок, спинок кожаных кресел. Запах портвейна и виски смешивался в теплом благоухании английского табака с усталым и застарелым запахом кожи и скупо доносившимся сюда запахом моря.

И вот с площади раздался странный жалобный и тревожный голос. Мы вышли на балкон. Сначала площадь показалась нам пустой. Перед нами простиралась ледяная равнина моря, сквозь полупрозрачную белизну снега видно было, как проступают неясные очертания островка шведского яхт-клуба, островов архипелага, а еще даль-

ше — старой крепости Суоменлинна, она резко выделялась на линии горизонта. Глаза с удовольствием покоились на Обсерватории и на деревьях Бруннспаркена, их голые ветки покрывала чешуя сияющего снега. Долетевшая до нас с площади глухая жалоба походила на сдержанный вопль, крик боли, в котором олений голос, постепенно стихая, превращался в ржание умирающей лошади.

— А, проклятая culebra! — воскликнул охваченный суеверным ужасом де Фокса. Но мало-помалу наши глаза привыкли к ослепительному свечению снега, и мы различили — или нам показалось, что мы различили,— в сплошной белизне набережной порта темное пятно, неясную фигуру, которая медленно двигалась. Мы спустились на площадь и дошли до фигуры. Существо испустило громкий крик и замолкло.

Это был лось. Великолепный лось с большими рогами, которые росли, как голые ветки, над его широким круглым лбом, покрытым густой и короткой рыжеватой шерстью. Глубоко сидящие глаза его расширились, влажные, они мрачно смотрели на нас, и в них блестело что-то светящееся, как бы слеза. Лось был ранен, он сломал себе ногу, может быть, он попал в прорубь в ледяной коре на море. А может быть, он пришел из Эстонии или с островов Ааленд, с берегов Ботнического залива, из Карелии? Привлеченный запахом жилья, теплым запахом человека, он дополз до набережной порта. Теперь он лежал в снегу, тяжело дыша, и смотрел на нас глубоким и влажным глазом.

Когда мы подошли к нему, лось попытался подняться на задние ноги, но опять со стоном упал на колени. Он был большой, как гигантская лошадь. У него были добрые и нежные глаза. Нюхая воздух, словно узнавая знакомый запах, он протащился по снегу через площадь в сторону дворца президента республики, проник через открытую решетку во двор, к парадному подъезду дворца и разлегся у ступенек, между двумя часовыми, неподвижно стоявшими с ружьем к плечу по обе стороны двери в больших стальных касках, надвинутых на лоб.

Президент Республики Финляндии Ристу Рити, конечно, спал в этот час. Но сон у президента республики не столь глубок, как у короля. Разбуженный жалобными криками раненого зверя президент Ристу Рити послал узнать, что за наглецы шумели на улице. И очень скоро мы увидели на пороге дворца первого адъютанта президента, полковника Слёрна.

— Добрый вечер, господин министр,— сказал полковник в глубоком удивлении, заметив шведского посла Вестманна.

После этого он увидел испанского посланника, графа де Фокса.

— Добрый вечер, господин министр,— сказал полковник Слерн, еще более удивляясь.

Наконец, он увидел и меня:

— И вы тоже здесь? — воскликнул он, смотря на меня в совершенном замешательстве. И обратившись к Вестманну, добавил: — Надеюсь, речь не идет о каком-нибудь официальном акте?

И побежал предупредить президента Ристу Рити, что шведский и испанский посланники, а также раненый лось находились у двери дворца.

— И раненый лось? Что же им понадобилось от меня и в подобный час? — спросил президент Ристу Рити в крайнем удивлении.

Был час ночи. Но в Финляндии уважение к животным не только является правилом морального кодекса, которому каждый здесь следует от всей души, это и государственный закон, действующий в полную силу. Итак, несколько позже, закутанный в тяжелую волчью шубу и в высокой меховой шапке на голове президент Ристу Рити появился на пороге дворца. Сердечно поприветствовав нас, он подошел к раненому лосю, наклонился, чтобы рассмотреть сломанную ногу, и похлопал лося по шее рукой в перчатке.

— Спорим, что перчатки у президента из собачьего меха,— сказал мне де Фокса.

— Почему бы тебе его об этом не спросить?

— Ты прав,— ответил де Фокса и, пройдя поближе к президенту, сказал ему: — Позвольте спросить, что ваши перчатки сшиты из собаки?

Президент Ристу Рити, который не говорил по-французски, с удивленным видом посмотрел на него и, озадаченный, обратился к помощи адъютанта, который, не менее удивленный и озадаченный, тихим голосом перевел президенту странный вопрос испанского посла. Президент, казалось, крайне удивился и сделал вид, что ничего не понял. Может быть, он подумал, что скорее всего не понял истинного смысла того, что желает знать испанский посол,— он пытался разгадать истинную подоплеку вопроса, доискиваясь, какой политический намек он мог подразумевать.

Пока президент Ристу Рити, стоя на коленях в снегу рядом с лосем, с озадаченным видом смотрел на испанского посла, бросая взгляды на перчатки на своих руках, на площадь по направлению к Бруннспаркену, кварталу дипломатических миссий в Хельсинки, выехали машины посла Бразилии Паулу де Сузас Дантаса, секретаря посольства Дании, графа Адама де Мольтке-Хитфелдта и секретаря французского вишисского посольства Пьера д'Юара. Мало-помалу весь дипломатический корпус собрался вокруг раненого лося и президента Республики Финляндии. Цепочка машин увеличивалась по мере того, как привлеченные ночным происшествием у дворца президента иностранные дипломаты, проезжая по площади в направлении Бруннспаркена, останавливались, выходили из машин и подходили к нашей группе, с любопытством и беспокойством приветствуя нас.

Тем временем, пока полковник Слерн бегал звонить в кавалерийские казармы полковнику ветеринарной службы, посол Румынии Ноти Константиниде тоже прибыл в сопровождении секретаря посольства Титу Михаилеску, а за ними вскоре появились посол Хорватии Фердинанд Босникович с секретарем посольства Марианом Андрасевичем и посол Германии Випер фон Блюхер.

— Ах! Эти Блюхеры,— тихо сказал де Фокса,— они всегда поспевают вовремя.— Затем, обращаясь к послу Германии: — Добрый вечер! — сказал он, поднимая руку для гитлеровского приветствия, которое, между прочим, является и приветствием испанских фалангистов.

— Квк? Вы теперь тоже поднимаете лапку,— тихо спросил его секретарь французского вишисского посольства Пьер д'Юар.

— Разве вы не находите, что лучше поднимать одну лапку, чем обе сразу? — улыбаясь, ответил ему де Фокса.

Пьер д'Юар проглотил пилюлю изящно и любевно ответил:

— Это меня не удивляет. Когда-то люди работали руками, а приветствовали шляпой, теперь мы приветствуем рукой, а работаем шляпой.

Де Фокса принялся смеяться и сказал:

— Браво, д'Юар, я сдаюсь перед вашим остроумием.— Потом он обернулся ко мне и спросил тихим голосом: — Что, черт возьми, значит «работать шляпой».

— Это значит психовать, значит, ты немножко того,— ответил я.

— Французский никогда до конца не выучишь! — заметил де Фокса.

Окруженный небольшой толпой иностранных дипломатов,— а кроме того, подошли еще солдаты, две захмелевшие девицы, из порта набежали моряки и два жандарма с ружьями в руках,— раненый лось тихо стонал, лежа на снегу между двумя часовыми. Время от времени, протягивая огромную голову к сломанной ноге, он обнюхивал и лизал ее. Лужа крови на снегу постепенно увеличивалась. В какой-то момент лось, поворачивая голову, огромными ветвистыми рогами зацепил за шубу президента Ристу Рити. Лось — такое сильное животное, что от внезапной встряски президент покачнулся и наверняка бы упал, если посол Германии не поддержал бы его.

— Ах, ах, ах! — восклицали хором, смеясь, иностранные дипломаты, словно невинный жест немецкого посланника содержал намек на политические события.

— Parkele! — воскликнула одна из девиц, видя, как покачнулся президент Ристу Рити («Parkele» по-фински значит всего-навсего «черт, дьявол», но это одно из слов, которые в Финляндии неприлично произносить, что-то вроде «bloody» во времена королевы Виктории). Все рассмеялись после восклицания девушки, а те, что стояли ближе к президенту Ристу Рити, бросились помогать ему высвободить полу шубы от рогов лося. В этот момент, запыхавшись, прибежал министр Рафаэль Хаккарайнен, начальник протокольного отдела министерства иностранных дел. И как раз вовремя: он тут же и услышал бранное слово, расцветшее на губах развеселой девицы. И министра Хаккарайнена передернуло с головы до ног, даже при том, что он, как в жарком альькове, парился в своей дорогой куньей шубе.

То была удивительная и вполне изящная сцена: покрытая снегом площадь, бледно-синие призрачные дома, корабли в оковах льда и группа людей в дорогих шубах и высоких меховых шапках вокруг раненого лося, лежавшего на пороге дворца, между двумя часовыми. Эта сцена вполне могла очаровать шведских или французских художников, таких как Шъёльдебрандт или Виконт де Бомон, которые к концу XVIII века добирались до северных земель, держа в руках карандаш и папку с рисунками. Полковник ветеринарной службы и военные санитары, которые тем временем прибыли со «скорой помощью», суетились вокруг лося, а тот влажным и нежным глазом терпеливо следил за их жестами. После тысячи усилий, к которым приложили руку все присутствовавшие (то есть президент Ристу Рити, иностранные послы, две девицы легкого поведения), лось был положен на носилки, а носилки взгромождены в машину «скорой помощи», которая медленно канула в ослепительную снежную белизну, исчезнув в конце Эспланады.

Некоторое время иностранные дипломаты еще оставались на площади, перекидываясь шутками, зажигая сигареты и притоптывая ногами по снегу. Стоял собачий холод.

— Доброй ночи, господа, и спасибо,— сказал президент Ристу Рити, с поклоном приподнимая меховую шапку.

— Спокойной ночи, господин президент,— ответили дипломаты, с поклоном приподнимая меховые шапки.

Небольшая толпа, громкими голосами обмениваясь приветствиями, рассеялась, в сторону Брунспаркена с легким жужжанием моторов уехали машины, а солдаты, девицы и моряки разошлись по площади, смеясь и вдали продолжая весело переговариваться. Вестманн, де Фокса и я — мы отправились к посольству Швеции и время от времени оборачивались, посматривая на двух часовых, неподвижно стоявших по обе стороны двери дворца президента Республики Финляндии, перед которой кровавое пятно постепенно исчезало под вихрем поднятой ветром поземки.

Опять усевшись в библиотеке у камина, мы принялись молча курить и выпивать. Иногда доносился лай собаки: это был голос чистой, почти человеческой печали. Под безмятежным небом, белевшим от ослепительного снежного пожара, собачий лай сообщал снежной ночи немую долю тепла, жизни. Это был единственный живой и привычный голос в ледяном молчании призрачной ночи, и мое сердце дрогнуло. Иногда ветер доносил к нам треск лопавшегося на море льда. Огонь от березовых поленьев потрескивал в камине, пурпурные отсветы пламени бежали вдоль стен, по позолоченным корешкам книг, по мраморным бюстам шведских королей, стоявших в ряд вдоль высоких дубовых шкафов библиотеки. И я подумал о старых карельских иконах, на которых ад изображался не мощным пламенем, а громадами льда, в которые ввергаются грешные души. Лай собак слабо доходил до нас — может быть, он шел с борта какого-нибудь парусника, закованного в лед у острова Суоменлинна.

Тогда я рассказал всем историю с собаками на Украине, историю с «красными собаками» на Днепре.

Перевела с итальянского Н. ШАПОШНИКОВА

Окончание следует

Роберт КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Особая Дальневосточная

Особая Краснознаменная Дальневосточная Армия (ОКДВА) занимала несколько особое положение в советских вооруженных силах. По стратегическим соображениям она была организована как отдельное и почти независимое формирование. ОКДВА была единственным войсковым соединением, находившимся под командованием маршала — твердого, знающего и опытного Блюхера.

Хотя имя Блюхера звучит на немецкий лад, он на самом деле был чисто русского происхождения. Дед Блюхера был крепостным крестьянином и получил такое имя по прихоти помещика [1]. Однако, по иронии судьбы, в облике Василия Блюхера тоже было что-то германское. Темные с проседью волосы обрамляли квадратное бычье лицо с густыми, коротко подстриженными фельдфебельскими усами, прикрывавшими верхнюю губу. Ко времени описываемых событий маршалу было сорок восемь лет.

В свое время Блюхер был рабочим на вагонном заводе. В двадцатилетнем возрасте он был арестован за руководство стачкой и отбыл два года и восемь месяцев в тюрьме. Блюхер стал впервые известен, когда вместе с Куйбышевым установил власть большевиков в отрезанном белыми районе Самары. За последующие успехи на фронтах гражданской войны Блюхер удостоился особой чести: он стал первым человеком, награжденным новым тогда орденом Красного Знамени. Позже, под псевдонимом «Гален», он был военным советником Чан Кай-ши. Говорят, что в начале тридцатых годов Блюхер противился коллективизации дальневосточного крестьянства по военным соображениям и при поддержке Ворошилова добился даже некоторых исключений для дальневосточников. Есть также слухи о его прежних связях с оппозиционером Сырцовым [1].

В июне 1937 года Блюхер находился в Москве в связи с делом Тухачевского. Тем временем НКВД обрушил удар по его армии. Сталин вообразил, что новый начальник штаба ОКДВА Сангурский вместе с секретарем дальневосточного крайкома Кутевым затеяли какие-то интриги против руководства. Сангурского арестовали и стали пытать. Есть сведения, что он оговорил буквально сотни командиров, а в 1938 году взял свои показания обратно и заявил, что вредители в НКВД попытались ослабить Дальневосточную армию. Позже, в 1939 году, Сангурского еще встречали живым в Иркутской тюрьме. Он мучился угрызениями совести, что оклеветал под пытками так много командиров, назвав их участниками своего «заговора». Но ему предстояло еще одно обвинение — в том, что он занимался вредительством в армии совместно с... Ежовым!

Вместе с Сангурским арестовали заместителя начальника штаба, начальника боевой подготовки и начальника разведки ОКДВА. К осени 1937 года командующий военно-воздушными силами на Дальнем Востоке Ингаунис тоже находился в Бутырках. Потом, в Лефортовской тюрьме, он подвергся жестоким пыткам и «признался» в шпионаже. Но первым местом заключения для Ингауниса, как для многих других, была Лубянка. Там, срывая по обычаю с Ингауниса знаки различия и ордена, дежурный чекист бормотал: «Ведь вот, надавали же орденов всякой контрреволюционной сволочи!» [2].

Арестован был и начальник политуправления ОКДВА. В то же время по всему Дальнему Востоку прокатилась волна арестов партийных руководителей.

Но даже если учесть все происшедшее, эта первая фаза террора против ОКДВА была не столь интенсивна и не носила такого массового характера, как против других воинских соединений. Интенсивный террор бушевал всего около пяти недель. Он кончился тем, что Блюхер вернулся на Дальний Восток к исполнению своих обязанностей.

Так случилось потому, что возникла более важная забота: 30 июня 1937 года на Амуре произошла перестрелка между японскими и советскими частями, а 6 июля японцы оккупировали остров Большой. Последовали протесты, но советские войска так и не попытались выбить захватчиков. Несомненно, со стороны японцев это была проба сил, ибо они пришли к заключению, что боеспособ-

---

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—10.

[1] Адм. Н. Г. Кузнецов в «Октябре», 1964, № 11.

[1] См. Edgar O'Vallance. «The Red Army». London, 1964, p. 121; см. также E. Wollenberg. «The Red Army». London, 1938.

[2] Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки, с. 348—349.

ность советских войск на Дальнем Востоке в значительной степени парализована чисткой в ОКДВА.

Вернувшись, Блюхер немедленно принял меры против дезорганизации, царившей в армии. По свидетельству адмирала Кузнецова, расстрел Тухачевского и аресты среди командиров ОКДВА сильно угнетали Блюхера. Однако перед лицом военной опасности Сталин на время оставил Блюхера в покое.

Следующей зимой аресты армейских командиров возобновились. Схватили комкора К. Рокоссовского, избили до потери сознания и увезли в тюрьму. За ним последовали многие командиры из личного состава корпуса Рокоссовского. Когда комкор предстал перед судом, председательствующий объявил, что имеются показания сообщника Рокоссовского по «заговору» Адольфа Казимировича Юшкевича. Юшкевич будто бы показал, что «он с Рокоссовским бывал на заседаниях контрреволюционного центра, получал инструкции, задания...»

«— Есть у вас вопросы? — обращается к Рокоссовскому председатель.

— О чем спрашивать, гражданин судья, когда дело доходит до того, что мертвые дают показания.

— Как мертвые?!

— А так. Адольф Казимирович Юшкевич еще в двадцатом погиб под Перекопом. Следователю я сказал, что служил в кавгруппе Юшкевича, но случайно не упомянул про его гибель» [1].

Рокоссовский отделался тюрьмой и оказался одним из тех счастливцев, которых выпустили, когда волна террора миновала.

А в то время, о котором идет речь, события поворачивали к худшему.

В конце мая 1938 года, когда террор уже пронесся над всеми остальными военными округами, да и над всей страной, в Хабаровск прибыл Л. З. Мехлис с группой новых политических комиссаров. В то же время на Дальний Восток мчался в специальном поезде зловещий замнаркома внутренних дел М. Фриновский, везя с собой целое формирование НКВД. Сталинский террор в ОКДВА, не состоявшийся полностью в 1937 году, теперь надвигался.

Прежде всего Мехлис и Фриновский уничтожили своих собственных представителей на Дальнем Востоке. Мехлис заменил весь штат политуправления армии — позже, на XVIII съезде партии, он заявил, что «гамарнико-булинская банда шпионов больше всего навредила политическому аппарату на участке руководящих кадров». Фриновский, в свою очередь, арестовал и расстрелял шестнадцать руководящих работников НКВД Дальневосточного края. И только с одним из них — семнадцатым — вышла заминка.

Этим человеком был командующий пограничными войсками на Дальнем Востоке Г. Люшков. В недалеком прошлом он был заместителем начальника секретно-политического управления (СПУ) НКВД Молчанова и помогал ему готовить зиновьевский процесс. Люшков был одним из немногих оставшихся в НКВД «людей Ягоды», и спасся он благодаря своей дружбе с Ежовым. Увидев, какой оборот принимают дела, Люшков решил больше не рисковать. 13 июня 1938 года он перешел маньчжурскую границу и сразу же стал выдавать японцам всевозможную секретную информацию.

Подготовив таким образом полицейские и политические силы для удара, сталинские эмиссары начали расправу с самой армией. Новый штаб Блюхера и армейские командиры арестовывались пачками. Исчез заместитель командующего ОКДВА, исчез недавно назначенный начальник штаба армии, исчез ведущий командарм Левандовский, только что переведенный с Кавказа, исчез служащий в Испании командующий военно-воздушными силами ОКДВА Пумпур. Пумпур был освобожден и получил повышение в июне 1940 года. Его, по-видимому, снова арестовали весной 1941 года и расстреляли со Штерном и другими в октябре того же года.

Но теперь дело шло не только о немногих старших командирах. В последующие ночи грузовики НКВД увезли сорок процентов командиров до полкового уровня, семьдесят процентов командиров дивизионного и корпусного уровня и свыше восьмидесяти процентов высшего командования. К концу июня Блюхер оказался на развалинах того, чем только недавно командовал.

И опять его самого пощадили — снова по той же причине, что и раньше. Японцы решили, что им представляется удобный случай. 6 июля 1938 года они начали наступательные операции ограниченного масштаба с целью прощупывания советских сил у озера Хасан.

К счастью, от террора еще уцелело несколько знающих командиров, и кое-кто из военных специалистов был заново переведен на Дальний Восток. Среди таких в особенности выделялся комкор Штерн, до того служивший военным советником в Испании. Его поставили во главе одной из армий реорганизованного Дальневосточного фронта Блюхера. Штерн провел боевые операции против японцев и даже доложил о них в 1939 году XVIII съезду партии; после этого он навеки исчез сам.

После пяти недель боев с переменным успехом японцы у озера Хасан были оста-

[1] «Красная Звезда», 13 дек. 1964 г. («Мысль полководца»).

новлены, а затем отбиты. К 11 августа 1938 года бои окончились. А неделю спустя, 18 августа, маршала Блюхера вызвали в Москву.

Авиационный «сталинский маршрут» на Дальний Восток, с таким шумом проложенный впервые в дни процесса Зиновьева—Каменева, использовался теперь генеральным секретарем ЦК ВКП(б) в типичном для него духе. Особый пилот НКВД Александр Голованов (впоследствии главный маршал авиации, снятый с поста лишь после смерти Сталина) обслуживал трассу Москва—Дальний Восток для срочной перевозки членов ЦК и правительства. В 1935—1936 годах Голованов служил пилотом в Управлении сибирских лагерей. С переводом на дальневосточный маршрут ему вручили многомоторный самолет, и он главным образом доставлял в Москву арестованных крупных работников из отдаленных мест страны. Незадолго перед этим Голованов увез в столицу почти всех ближайших подчиненных Блюхера с охранявшими их сотрудниками НКВД.

А теперь пришел черед лететь и самому маршалу. Правда, он еще не был арестован. Но в конце августа он предстал с докладом перед Военным советом Наркомата обороны. «Критика была односторонней, грубой». Нарком обороны Ворошилов сообщил Блюхеру, что он отозван в распоряжение Военного совета и, «пока не подобрали достойной маршальского звания должности, можно отдохнуть и подлечиться в Сочи» [1].

Блюхер тут же вызвал телеграммой жену, добавив, что плохо себя чувствует. Предвидя арест, он отложил для жены часть денег. Вероятность ареста, как верно предчувствовал Блюхер, была теперь велика.

Вскоре с Дальнего Востока прибыла вся семья Блюхера, в том числе его брат — командир дальневосточного авиасоединения. К тому времени Блюхер узнал, что арестован заместитель наркома обороны командарм Федько. Теперь ясно, что арест Федько был в каком-то смысле связан с последующим арестом самого Блюхера.

Василий Блюхер был арестован 22 октября 1938 года по личному приказу Сталина [2] и «по навету клеветников», как выразится позднее его биограф В. В. Душенькин. Четверо сотрудников НКВД в темных гражданских костюмах явились и арестовали всю семью Блюхера. 16-летний сын маршала Всеволод сначала был направлен в лагерь строгой изоляции, но в 1941 году был освобожден. Когда началась война, он поступил в военное училище (скрыв свое имя). В боях на фронте он проявил себя очень хорошо [1].

После ареста маршала Блюхера сразу же отвезли в Лефортово, где первый допрос провел лично Берия. Потом пошли непрерывные допросы сменяющимися следователями НКВД. Маршал обвинялся в том, что с 1921 года был японским шпионом и что он готовил побег в Японию с помощью своего брата — авиационного командира (это последнее обвинение не было, по крайней мере, полной дикостью — ведь Люшков незадолго до того действительно бежал в Японию). Маршалу сообщили, что, помимо членов семьи, арестованных одновременно с ним, в Ленинграде арестовали также его первую жену Галину. При допросах Блюхера следователи, как водится, шантажировали его судьбой семьи; но, кроме того, ему также было предложено соглашение: если он подпишет признание, то отделается десятью годами. Блюхер отказался подписать протокол [2].

28 октября 1938 года героев недавних боев на Дальнем Востоке наградили орденами. Был награжден и Штерн. А подлинный победитель подвергался в это время жестоким пыткам на допросах в НКВД. С ним расправились за три недели — 9 ноября Блюхера не стало.

У НКВД не было никаких видимых оснований проявлять или разыгрывать в деле Блюхера ту торопливость, с которой в мае—июне 1937 года была уничтожена группа Тухачевского. И все же над Тухачевским и другими почти наверняка состоялся какой-то суд — а Блюхер «без суда и приговора пал жертвой произвола Сталина». О нем говорится также, что «непрерывные допросы сломили здоровье этого сильного человека» [3]. Все это указывает на смерть Блюхера под пыткой в ходе следствия (Федько, чей арест каким-то образом связан с арестом Блюхера, был казнен только в феврале 1939 года).

С другой стороны, в лагерях ходили в то время упорные слухи, что Ежов лично убил Блюхера [4] (были и слухи, что Ежов расстрелял своей рукой во время допроса одного из братьев Межлаук — наиболее вероятно, младшего, И. И. Межлаука, смерть которого датируется 26 апреля 1938 года). Если это так, то Сталину могли доложить, что Ежов действовал

[1] Н. Кондратьев. Маршал Блюхер. М., 1965, с. 289.

[2] Сообщение ТАСС, 22 февр. 1964 г.

[1] П. И. Батов в сборнике «Полки идут на Запад». М., 1964, с. 97—98.

[2] В. Душенькин. От солдата до маршала. 3-е изд., М., 1961, с. 222—223 (в предыдущих изданиях этого места нет); см. также Н. Кондратьев. Маршал Блюхер. М., 1965, с. 290—293.

[3] В. Душенькин. От солдата до маршала, с. 223.

[4] Информация автора; см. также А. В. Светланин. Дальневосточный заговор. Изд. «Посев», 1953, с. 127.

неумело и не смог ничего добиться. А кроме того, если действительно Блюхер погиб от руки Ежова, то можно больше верить и другому слуху: а именно, что к концу своей карьеры Ежов сошел с ума.

Есть отрывочные сведения, что дело против Блюхера начали составлять в НКВД еще осенью 1936 года. Говорят также, что по этому делу допрашивался Белобородов, просидевший в тюрьме под следствием много месяцев. Но, конечно, это могло быть просто сбором компрометирующих материалов — такие материалы НКВД собирал на всякий случай против всех крупных работников.

Много было слухов насчет того, что Блюхер или кто-то из его окружения серьезно думал о мятеже. Никаких надежных свидетельств об этом нет, хотя Люшков информировал японцев о каких-то оппозиционных группировках в Сибири. Многие показания Люшкова стали известны в Москве через советского шпиона в Японии Рихарда Зорге. Были это факты или просто домыслы, но совпадение сроков показывает, что подобная информация могла быть использована против Блюхера.

Во время гражданской войны Блюхер служил на Восточном фронте вместе с Постышевым; он был также связан с Федько и Каширииым. В 1937 году командарма Федько назначили командующим Киевским военным округом вместо арестованного Якира, а в феврале 1938 года перевели в Москву вместе с Косиором — обоих по одному и тому же «методу повышения» на центральный, но не имеющий значения пост. Оба они были казнены — или, во всяком случае, приговорены к смерти — в один и тот же день 26 февраля 1939 года. Третьим в тот же день погиб (или был приговорен) Влас Чубарь. Из всего этого можно вывести, что в НКВД был состряпан какой-то «военно-политический заговор» с участием названных лиц, и с этим «заговором» связали также Блюхера.

Истинные причины репрессий против Блюхера состоят, вероятно, просто в том, что он был самостоятельно мыслящим военным (и, в качестве кандидата в члены ЦК, также политиком), занимавшим влиятельное и важное положение. Гибель Блюхера означала конец даже самых ничтожных надежд на какие-либо действия против Сталина.

В начале ноября 1938 года официальный список высших военачальников после уничтожения Блюхера охватывал Ворошилова, Мехлиса, Щаденко, Шапошникова, Буденного, Кулика, Тимошенко [1]. Впервые оперативники НКВД, проводившие террор, заняли места выше оставшихся в живых строевых командиров. Через несколько недель список этот обогатился еще более симптоматичным и оскорбительным пополнением: имя Фриновского, который на короткое время стал наркомом военно-морских сил, фигурировало в нем непосредственно после Ворошилова.

Падение карлика

8 декабря 1938 года было объявлено, что кончилась власть Николая Ежова — ничтожного и ужасающего «кровожадного карлика». Очевидно, его фактическая власть над НКВД окончилась еще в середине октября — после этой даты, как мы видели, все важные расследования шли под руководством Берии и Шкирятова. Теперь на посту наркома внутренних дел Ежова заменил Берия, а сам Ежов пока остался наркомом водного транспорта.

В течение некоторого времени Берия появлялся на официальных трибунах вместе с Ежовым, и их имена стояли рядом в списке самых важных сановников. Но к январю 1939 года фамилию Ежова стали печатать по его прежнему «истинному» старшинству, то есть последним среди кандидатов в члены Политбюро (Хрущев находился в то время в Киеве). В последний раз имя Ежова упоминается в составе президиума на торжественно-траурном заседании 22 января 1939 года по поводу пятнадцатилетия со дня смерти Ленина. В середине февраля Ежов бесследно исчез.

Его судьба темна до сих пор. Был слух, что его привели в марте на некое секретное заседание высшего партийного руководства, где он был встречен криками возмущения. Но, возможно, что слухи эти относятся к яростным нападкам Берии на Ежова, сделанным будто бы на пленуме ЦК осенью 1938 года, если такой пленум вообще имел место.

Как бы то ни было, но «кровожадный карлик» ушел в тень буквально без следа. До самого XX съезда КПСС, то есть на протяжении последующих восемнадцати лет, его имя просто нигде и никогда не упоминалось. Слухов, разумеется, было множество. Что Ежова расстреляли. Что он сошел с ума и изолирован в психиатрической больнице (этот слух, по-видимому, осторожно поддерживался властью, поскольку сумасшествием Ежова удобнее всего объяснить террор). Циркулировал рассказ, что еще в 1941 году Ежова видели живым в одной из подмосковных тюрем (в изоляторе «Сухановка») в добром здоровье и пользующегося привилегиями. И другой рассказ: что его тело нашли висящим на суку дерева во дворе психиатрической больницы тюремного типа, причем на шее Ежова болталась надпись, сделанная не его рукой,— «я дерьмо» [1].

[1] См. «Правду», 2 ноября 1938 г.

[1] Swianiewicz. «Forced Labor», p. 133.

В кругах НКВД говорили, что вначале Ежова называли немецким шпионом [1].

Но один из надежных источников, тоже из кругов НКВД, сообщает, что Ежова обвинили в сотрудничестве с британской разведкой [2]. Если последнее сообщение верно, то это означает, что суд и казнь Ежова произошли после подписании советско-нацистского пакта 1939 года.

Единственным реальным свидетельством падения Ежова было в то время переименование города Ежово-Черкесска просто в Черкесск. Это, во всяком случае, означало, что Ежов не ушел в отставку по состоянию здоровья. Но сомнения относительно его судьбы продолжали оставаться даже после смерти Сталина. Так, например, имя Ежова дается в именном указателе к пятидесятому тому Большой советской энциклопедии, опубликованиому в 1957 году. Но в этом указатела не приведены даты рождения и смерти Ежова — между тем они даны не только для посмертно реабилитированных политических деятелей, но даже для белых генералов!

Итак, мы не знаем, когда именно умер Ежов. Однако теперь ясно, что он не умер своей смертью, а был казнен. В первом издании нынешней «Истории КПСС», вышедшем в 1959 году (стр. 484), сказано, что «за свою преступную деятельность Ежов и Берия понесли должное наказание», а во втором издании (1962 года, стр. 505) сказано, что Ежов был «репрессирован» — обычный и всем понятный эвфемизм. В 1966 году знаменитый авиаконструктор А. С. Яковлев записал, что летом 1940 года у него был разговор со Сталиным, в котором Сталин назвал Ежова сволочью, признал, что в 1938 году Ежов уничтожил массу невинных людей и был расстрелян за это [3]. Любопытно, что с конца 1960-х годов прекращается всякое упоминание, прямое или косвенное, об участи Ежова, а в некоторых случаях его имя вообще замалчивается. Так, во втором дополненном издании книги Яковлева, вышедшем всего два года спустя, в 1968 году, цитированное выше место опущено. А в третьем дополненном издании «Истории КПСС» (стр. 452), вышедшем в 1969 году, сказано только, что Берия и Ежов «своей преступной деятельностью причинили особенно большой вред партии и народу. При их активном участии были оклеветаны и невинно пострадали многие честные коммунисты и беспартийные советские люди». О том, «пострадал» ли сам Ежов и если «пострадал», то как — ни слова. В настоящем (3-м) издании Большой советской энциклопедии в томе на букву «Е», вышедшем в 1972 году, его биография вообще отсутствует! [1]

После устранения Ежова Берия предпринял почти поголовную чистку старых кадров НКВД. Те несколько человек, которые выжили еще со времен Ягоды,— вроде Фриновского и Заковского, подготовивших бухаринский процесс,— теперь последовали за своими коллегами в камеры смертников. Туда же пошло поколение Ежова. Руководитель украинского НКВД Успенский, начальник московского НКВД, зять Надежды Аллилуевой, Реденс и им подобные были уничтожены. Еще раньше был расстрелян Кедров-младший; в феврале—апреле 1939 года Кедров-отец вместе с другими работниками НКВД писал письма Сталину, разоблачавшие Берию. Только в 1956 году, однако, Хрущев сообщил, что «военная коллегия нашла, что старый большевик товарищ Кедров был не виновен». Но, несмотря на это, он был расстрелян по приказу Берии».

К марту 1939 года на всех важных постах уже были люди Берии: в Москве Меркулов и Кобулов, в Ленинграде Гоглидзе, в Приморском крае Гвишиани, в Белоруссии Цанава. Все они пали вместе в 1953 году, после чего их прозвали «бандой Берии».

Замечательно, что назначение Берии обычно связывается с окончанием главной волны террора. Берия! Ведь даже в советских официальных кругах он до сих пор считается воплощением террора и пыток. И все-таки в такой датировке конца сильнейшего террора есть рациональное зерно.

Устранение Ежова — просто лишний пример практичности Сталина. Казнь большинства его подчиненных людьми Берии явилась всего лишь элементом сталинской политической механики. Ибо главные руководители террора — прямые исполнители воли Сталина — как раз не пострадали, а уничтожены были только Ежов с помощниками, то есть полицейский аппарат. Шкирятов, например, приставленный на время террора к Ежову в качестве своеобразного «помощника», спокойно вернулся на партийную работу и умер в полном почете, в должности председателя Комиссии партийного контроля, в 1954 году, пережив самого Сталина. Мехлис и Вышинский тоже дожили до пятидесятых годов. Что касается Маленкова, то в последующие годы и он и его соперник Жданов делали блестящую карьеру.

Сталин фактически избежал открытой ответственности за события на протяжении всего террора. А когда террор разросся до предельных размеров так, что дальше идти было некуда, Сталин смог с выгодой пожертвовать тем человеком, который

[1] V. and E. Petrov. «Empire of Fear», p. 77.

[2] Показанин лейтенанта Жигунова. См. Armstrong, p. 248, note 65.

[3] А. Яковлев. Цель жизни. 1-е изд., М., 1966, с. 177.

открыто выполнял его тайные приказы. Человеком, которого и в народе и в партии тогда обвиняли сильнее всего — и до некоторой степени обвиняют до сих пор.

Как уже сказано, к середине 1938 года в низших оперативных кругах НКВД имелось желание приостановить поступь террора — по вполне очевидным причинам. Ведь если бы аресты продолжались прежним темпом, то через несколько месяцев практически все городское население страны оказалось бы вовлечено в какие-нибудь «заговоры». Однако террор уже начал развиваться по своим собственным законам и нес сотрудников НКВД вперед. Было невозможно оставить на свободе человека, на которого донесли, что он гитлеровский агент. А если следователь не требовал от каждой жертвы назвать имена «соучастников» — и тем опять расширить круг арестов,— то мог сам очень скоро попасть под обвинение в недостатке бдительности.

К тому же времени среди арестованных получила хождение и стала распространяться мысль, что чем больше людей обвинят, тем лучше. Как пишет генерал Горбатов: «Некоторые придерживались странной теории: чем больше посадят, тем лучше, потому что скорее поймут, что все это вреднейший для партии вздор». Горбатов приводит пример: «Моим соседом по нарам был в колымском лагере один крупный когда-то работник железнодорожного транспорта, даже хвалившийся тем, что оклеветал около трехсот человек. Он повторял то, что мне уже случалось слышать в московской тюрьме: „Чем больше, тем лучше — скорее все разъяснится“». К тому же была особая тенденция подставлять под удар верных сталинцев — и как можно больше.

Есть свидетельство[1] о том, как весной 1938 года арестовали секретаря харьковского горздравотдела. У него оказалась отличная память, он знал имена всех врачей в городе — и оклеветал их всех! Он заявил, что занимал особо выгодное положение для вербовки врачей в свою агентуру и что те легко соглашались, так как в основном принадлежали к враждебным классам. Клеветник отказался сообщить, кто из врачей был руководителем «заговора»,— он настаивал, что руководителем был он сам. В камере этот человек — тоже по образованию врач — рассказал соседям, что принял такую линию поведения под влиянием прочитанной книги о сжигании ведьм и колдунов в Германии в годы инквизиции. В те годы один молодой богослов был обвинен в том, что состоял в сношениях с дьяволом. Он сейчас же признал свою вину и назвал в качестве соучастников всех членов инквизиции. Пытать его не могли, так как он сознался, и пришлось передать это дело на рассмотрение архиепископа, который его благоразумно прекратил.

[1] Weissberg, p. 411—412.

Высшая точка массового террора падает на первую половину 1938 года. В последующие месяцы давление несколько снизилось. Причина не ясна до сих пор: то ли невозможность продолжать тем же темпом на низшем, оперативном уровне, то ли также политическое давление на Ежова сверху. Сталинское недовольство Ежовым стало определенно проявляться в начале лета, когда, по-видимому, и родился план вызвать в Москву Берию. Ежов все еще оставался у власти, и такой, например, точный свидетель, как ветеран лагерей Иванов-Разумник, считает, что высший предел жестокости террора был достигнут в сентябре 1938 года.

Вряд ли стоит сопоставлять тогдашнюю ситуацию с какими-либо примерами деспотизма из истории. Но все же мы знаем об одном византийском фаворите, о котором историк пишет, что вместо награды за свои злодейства он был вскоре обманут и уничтожен более сильным злодеем — самим министром; последний обладал достаточным разумом и присутствием духа, чтобы питать отвращение к орудию собственных преступлений.

Сталин, может, и не питал особой любви к Ежову — нет сведений о том, что Ежов был его собутыльником или сотрапезником. Но несомненно, что если Сталин и презирал за что-нибудь Ежова, то не за его нравственные недостатки, а за политическую узколобость. Тут уместно сравнение со старой автократической традицией избавляться от палача, казнившего соперников тирана и тем навлекшего на себя ненависть тех, кто выжил. Этот известный из истории ход не дано было предусмотреть злосчастному Ежову.

Еще до того, как падение Ежова было оформлено, «Правда» опубликовала весьма многозначительное сообщение из Омска. 22 октября 1938 года в этой газете было напечатано, что омский областной прокурор и его заместитель попали под суд за злоупотребление властью, несправедливые аресты и содержание невинных людей в тюрьме — в отдельных случаях до пяти месяцев, подумайте только! Оба работника прокуратуры были приговорены к двум годам лишения свободы.

Но этот приговор был лишь частичным триумфом справедливости. Последовали сообщения о нескольких расстрелах следователей НКВД за вымогательство ложных показаний с применением насилия. Эти публикации фактически символизировали конец ежовского периода.

Работника киевского НКВД капитана Широкого сначала назначили уполномоченным НКВД в Молдавии, а потом арестовали. Случайно о Широком есть свидетельство бывшего заключенного, что

это был «не особенно жестокий следователь». Вместе с Широким (согласно другим свидетельствам) арестовали еще четырех чекистов.

Вообще-то подобные суды случались и раньше; на протяжении всего террора время от времени слышались речи против несправедливых преследований. Но теперь демонстрация была явно намеренной. С другой стороны, когда некоторые работники проявляли излишний критицизм по поводу полицейских методов, Сталин резко осаживал их: достаточно вспомнить телеграмму ЦК ВКП(б) от 20 января 1939 года о допустимости применения пыток.

И в то же самое время были прекращены некоторые следственные дела — главным образом такие, от которых НКВД было больше хлопот, чем пользы. Так, например, на Западе, в том числе в левых научных кругах, поднялся шум по поводу ареста физика Александра Вайсберга. К тому же материалы следствия по его делу выглядели явно неубедительно и путанно. Результат всего этого оказался счастливым для ученого — дело прекратили. (Между прочим, Вайсберг, позже эмигрировавший из СССР, рассказывает о любопытной технической трудности, возникшей в связи с закрытием его дела: когда было решено снять с него обвинения, вдруг оказалось, что в деле имеются показания более чем двадцати свидетелей, эти обвинения поддерживающих. Полагалось бы всех этих свидетелей передопросить, но к тому времени они были рассеяны по лагерям всей страны — и дело прикрыли просто так.)

Общий результат прихода Берии к власти в НКВД свелся к тому, что известная часть подследственных была освобождена из тюрем, что произвело хорошее впечатление в стране. Но из тех, кто уже находился в лагерях, не освободили почти никого. Происходили лишь единичные реабилитации — так, в 1940 году выпустили некоторых военных. Тот же Вайсберг вспоминает о своем тогдашнем разговоре с другим заключенным — в недавнем прошлом сотрудником НКВД. Тот сделал следующее предсказание:

«— Кое-кого из нас выпустят, чтобы показать, что произошли перемены; а остальные все так же пойдут в лагеря отбывать сроки.

— Но каков же будет критерий? — поинтересовался Вайсберг.

— А никакого, просто случай. Люди все стараются объяснить происходящее какими-то закономерностями. Если бы вы насмотрелись на закулисную сторону дела так, как я насмотрелся, то знали бы, что в нашей стране жизнью человека управляет слепой случай»[1].

[1] Weissberg, p. 111—112.

Тем не менее волна беспричинных массовых арестов в городах и селах Советского Союза значительно снизилась. Страна была теперь сломлена, и в дальнейшем для поддержания молчаливой покорности было достаточно арестовывать ограниченное число людей, тех, кто давал повод подозревать их в нелояльности.

В целом же Берия консолидировал карательную систему, сделал ее как бы нормальным и обычным институтом. Ежовщина была чрезвычайной операцией против всего народа; теперь, в несколько смягченном виде, она стала постоянным методом правления.

«Нормализация»

Падение Ежова, увы, не отразилось на судьбе арестованных членов Политбюро. Следователи Ушаков и Николаев продолжали обрабатывать Эйхе, а их коллега Родос подвергал Косиора, Чубаря и Косарева «длительным пыткам», о чем получал «подробные инструкции от Берии»[1]. Хрущев охарактеризовал следователя Родоса так: «Пустая личность, с куриными мозгами, совершенно разложившийся морально человек». В 1956 году, за несколько дней до съезда, Родоса вызвали на заседание Президиума ЦК. Там он объяснил: «Мне было сказано, что Косиор и Чубарь враги народа, и поэтому я как следователь, должен был заставить их признаться, что они враги». Потом он добавил: «Я думал, что выполняю указание партии». На закрытом заседании XX съезда КПСС эти слова Родоса вызвали возмущение в зале — но ведь и сам Хрущев и его выжившие коллеги по партийному руководству именно так и объясняли свою деятельность в тот период!

Что касается жертв Родоса, то Косарев был казнен 23 февраля 1939 года. Три дня спустя, 26 февраля, был уничтожен Косиор. Об обвинениях, выдвинутых против Косиора, известно очень мало. Он будто бы находился в контакте «с иностранной контрреволюционной организацией». Подобную формулировку можно скорее отнести к эмигрантским украинским кругам, чем к иностранным государствам. Два брата Косиора, Казимир и Михаил, а также жена его были расстреляны по «Списку № 4»[2]. Жена другого брата, по имеющимся сообщениям, была осуждена на десять лет, и по оглашении приговора пыталась покончить с собой.

По всем данным, первоначально планировался показательный процесс над Коси-

[1] Хрущев. Доклад на закр. заседании XX съезда КПСС...
[2] «Станислав Викентьевич Косиор» (по-украински). Киев, 1963, с. 174; см. также «Правду», 3 апр. 1964 г., с. 7 (доклад Суслова).

ором и другими высшими украинскими руководителями, совместно с учеными и инженерами. Но от этого плана почему-то отказались. Тем не менее, как уже упомянуто, на закрытом суде Косиор, по-видимому, предстал вместе с Чубарем и командармом Федько.

Логично представить себе, что Чубаря и Косиора судили вместе — они ведь несколько лет подряд вместе работали на Украине. Однако это дело относится к разряду особенно темных; достаточно сказать, что до сих пор одни советские источники датируют смерть Чубаря 26 февраля 1939 года, а другие — 12 августа 1941 года. В Большой советской энциклопедии и в Українській радянській енциклопедії — 1939 год; в Малой советской энциклопедии и в биографических справках к 51-му тому 5-го издания Собрания Сочинений Ленина — 1941 год. В биографии Чубаря, опубликованной в 1963 году, нет точной даты его смерти, но авторы книги, упомянув, что «он был арестован и расстрелян», прибавляют: «Вот уже почти четверть века нет среди нас Власа Яковлевича»[1]. Это как будто указывает на 1939 год. Но «Советская Молдавия» от 22 февраля 1965 года, т. е. двумя годами позже опубликования биографии, заявляет, что Чубарь умер в 1941 году. Историки раннего Средневековья сказали бы, что существуют две традиции в указании даты смерти — и не чьей-нибудь, а вице-премьера, заместителя председателя Совета министров крупнейшей страны, и притом в наше время! Кстати сказать, смерть командарма Федько тоже датируется в советских изданиях то 1939, то 1943 годом[2]. Ликвидирована была и жена Чубаря[2].

Можно попытаться так разрешить противоречие в датах. Чубарь мог быть приговорен вместе с Косиором в феврале 1939 года, но не к смерти,— либо был приговорен к смерти и помилован. Его отправили в лагерь, но потом, когда Сталин паниковал вследствие военных поражений, ликвидировали вместе со многими другими заключенными. Мы ведь точно знаем, что другой бывший заместитель председателя Совнаркома, Антипов, был уничтожен именно так. Подобное рассуждение применимо также к Федько и ряду других лиц, хотя, конечно, и нельзя утверждать, что странное противоречие получает таким образом однозначное решение.

Был в то время один кандидат в члены Политбюро, находившийся явно в опале, но тем не менее не арестованный. Это Григорий Петровский. В течение последующих двух лет его положение оставалось исключительно трудным.

Волна ленинградских арестов 1937 года унесла с собой старшего сына Петровского, Петра — редактора «Ленинградской правды». И кандидат в члены Политбюро, председатель Всеукраинского ЦИК Петровский-отец не мог ничего узнать о сыне. Повсюду его встречала «глухая стена молчания». «Крупнейшие деятели партии и государства после нескольких попыток узнать о судьбе Петра в бессилии разводили руками: Берия навесил на доверенный ему наркомат слишком тяжелые замки, чтобы можно было выведать, что творится за его стенами на Лубянке»[1]. Петр Петровский исчез навсегда. Его брат, комдив Л. Г. Петровский, в 1937 году «был исключен из партии и изгнан из рядов армии, несколько лет жил в ожидании ареста. Но в конце 1940 года восстановлен в партии, возвращен в армию»[2].

В июле 1937 года, когда на Украине НКВД творил беззакония, не ставя даже в известность руководства республики, Петровский написал Калинину — своему официальному начальству. В письме он жаловался, что на Украине нарушаются принципы партийной демократии. Дело выглядит так, что Петровский, возможно, присоединился к протестам ряда украинских руководителей, в то время направленным в Москву (факт подачи таких протестов можно считать установленным). Именно эти протесты были поводом для зловещей командировки Молотова на Украину в августе 1937 года.

Теперь говорится, что Петровский критически относился к культу личности. Но ведь 4 февраля 1938 года, в день своего шестидесятилетия, Петровский получил орден Ленина. Формально, во всяком случае, он оставался главой Украинской республики на протяжении всего того страшного периода, когда его коллеги исчезали один за другим. В июне 1938 года у Петровского состоялся разговор со Сталиным. Разговор был «короткий, но тяжелый, в резких тонах». После этого Петровский был смещен со своего украинского поста — как теперь пишут, «в нарушение Конституции».

Тем не менее, Петровский был назначен заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР и вплоть до октября 1938 года подписывал указы в отсутствие Калинина[3]. Но 7 ноября 1938 года его уже не было на Красной площади, и с тех пор он перестал упоминаться в официальных списках вождей.

[1] В. Дробужев и Н. Думова. В. Я. Чубарь. М., 1963, с. 71.

[2] См. «Правду», 3 апр. 1964 г., с. 7 (доклад Суслова).

[1] Ф. Бега и А. Александров. Петровский. М., 1963, с. 304.

[2] Е. Драбкина в «Известиях», 15 сент. 1966 г. («Верность»); см. также письмо Л. Петровского ЦК КПСС 5 марта 1969 г.

[3] См., напр., «Правду», 18 окт. и 25 окт. 1938 г.

Против него было состряпано обычное политическое дело. В хрущевские времена говорилось, что дело возбудили по настоянию Кагановича и что «только благодаря поддержке Н. С. Хрущева Г. И. Петровскому удалось избежать физической расправы»[1]. Свидетельство для обвинения Петровского было получено от сторожа правительственной дачи под Киевом — причем для получения нужных показаний беднягу сторожа сильно били в НКВД. Был арестован также секретарь Петровского, который подвергся столь же суровому обращению. Есть сведения, что брата Петровского видели в 1938 году в Бутырской тюрьме.

В марте 1939 года, на XVIII съезде ВКП(б), против Петровского выдвигались различные обвинения, в результате чего он не был избран в новый состав ЦК. Петровского обвиняли в том, что он некогда был дружен с членом Политбюро ЦК КП(б)У К. В. Сухомлиным, который был потом «разоблачен» как японский шпион; в том, что он не сообщил о якобы известных ему связях С. В. Косиора с зарубежными контрреволюционными организациями, а также в том, что он (очевидно, еще в двадцатые годы) сопротивлялся назначению Кагановича первым секретарем ЦК КП(б)У.

В общем, не было сомнений, что давно подготовленное дело против Петровского будет вот-вот начато. Вмешался ли действительно Хрущев и имело ли какой-нибудь эффект его вмешательство — неизвестно, но Сталин почему-то не нанес окончательного удара. 31 мая 1939 года Петровский был официально освобожден от своего последнего формального поста — от членства в Президиуме Верховного Совета СССР. При этом он был назван «товарищем», что свидетельствовало о многом. Это означало, что имя Петровского не будет запрещено в дальнейшем произносить.

Несколько месяцев Петровский не мог найти никакой работы и жил на заработок жены. В конце концов, в июне 1939 года ему позволили занять должность заместителя директора музея Революции, на которой он оставался до самой смерти Сталина. Кстати сказать, в музее Революции было тогда несколько вакансий. Именно тогда и был расстрелян его директор Я. С. Ганецкий.

Имя Петровского начисто исчезло из всех советских справочников и документов, и большинство иностранных наблюдателей полагало, что он казнен. Однако был единственный список, в котором имя Петровского продолжало появляться,— то был список бывших большевистских депутатов дореволюционной Государственной Думы. Как справедливо указал профессор Тибор Самуэли в беседе с автором, Сталин не казнил ни одного из этих бывших думских депутатов: остальные, все третьеразрядные фигуры, тоже пережили террор и умерли естественной смертью. Неизвестно, конечно, руководили ли Сталиным какие-либо особые чувства к этим людям или мы имеем дело просто со случайным совпадением.

Петровский пережил Сталина и умер в 1958 году. Интересно, что он был первым ветераном, чье доброе имя было восстановлено сразу после смерти Сталина. 6 мая 1953 года в «Правде» появился Указ Президиума Верховного Совета СССР, датированный 28 апреля, о награждении тов. Петровского Г. И. в связи с его семидесятилетием орденом Трудового Красного Знамени за заслуги перед советским государством. Фактически день рождения Петровского, как мы помним, был 4 февраля, но 4 февраля 1953 года Сталин еще был жив, и тогда о Петровском упомянуто не было. Совершенно очевидно, что имела место намеренная политическая демонстрация в тот короткий период, когда нападки на сталинское наследие вел Берия.

Несомненно, в период сталинского террора Петровский серьезно пострадал — хотя и меньше, чем многие другие. Однако здесь будет уместно вспомнить, что в 1918 году, будучи народным комиссаром внутренних дел, Петровский отдал приказ беспощадно расстреливать всех, участвовавших в какой бы то ни было контрреволюционной деятельности[1].

В начале 1939 года последовали различные персональные изменения в партии и правительстве. В числе других назначений было объявлено, что 3 января 1939 года пост наркома текстильной промышленности занял А. Н. Косыгин. В январе и феврале газеты вели массированную пропаганду на тему о повышении трудовой дисциплины: были опубликованы тезисы по новому пятилетнему плану (1938—1942) и объявлено о созыве в марте месяце XVIII съезда ВКП(б).

К концу февраля произошло событие, взволновавшее немногих, но достойное быть отмеченным. Умерла Н. К. Крупская. Она оставалась единственным нетронутым участником оппозиции. В годы террора она мало что могла сделать, хотя Сталин позволил ей спасти жизни одного-двух не очень значительных работников. Одним из них был И. Д. Чигурин, арестованный в 1937 году. Правда, его здоровье в короткий период ареста было окончательно подорвано, и по выходе из тюрьмы, откуда его выволило вмешательство

[1] А. И. Мельчин в «Вопросах истории КПСС», 1963, № 2, с. 98 (статья: «Сподвижник Ленина: к 85-летию со дня рождения Г. И. Петровского»).

[1] См. «Известия», 4 сент. 1918 г.

Крупской, Чигурин жил и умер в нищете.

Оставаясь формально членом ЦК ВКП(б), Крупская занимала скромную должность заместителя наркома просвещения, да и на этой должности «ее лишили возможности влиять на решение самых насущных вопросов даже в области народного просвещения»[1]. Она умерла 18 февраля 1939 года, и Сталин лично нес урну с ее прахом на похоронах.

23 декабря 1956 года в польском журнале «Попросту» были опубликованы поэтические «Размышления» Ежи Валенчика. Он писал:

> Надеждо Крупской больше не спасать
> Невинных, истребляемых, как крыс...

На следующий день после похорон Крупской заведующий издательством Наркомпроса распорядился «ни слова больше не печатать о Крупской». Часть ее работ отправили в отделы специального хранения библиотек, откуда материалы не выдаются без особого допуска, а часть «была предана забвению и не переиздавалась»[2].

Март 1939

С 10 по 21 марта 1939 года проходил XVIII съезд партии. На нем полностью было оформлено все то, чего Сталин добивался с самого 1934 года. Перемены были колоссальны.

Как теперь известно, из 1966 делегатов XVII съезда партии 1108 человек были арестованы «по обвинению в контрреволюционных преступлениях»[3]. Из оставшихся на воле счастливцев лишь 59 стали делегатами следующего, XVIII, съезда. Из них 24 человека были членами ЦК. Стало быть, в числе делегатов XVIII съезда партии было всего 35 из 1827 рядовых коммунистов, участвовавших в работе предыдущего съезда, состоявшегося пятью годами раньше, т. е. меньше чем 2%! Отсюда видно, как буквально следует понимать утверждение, что в период с 1934 по 1939 год Сталин создал совершенно новую партию.

В составе ЦК, избранного на XVII съезде партии, насчитывались 71 член и 68 кандидатов. В новом составе ЦК, после XVIII съезда, из них сохранились лишь 16 членов и 8 кандидатов. Как потом, в 1956 году, сообщит Хрущев, из 115 исчезнувших 98 были расстреляны — цифра, которую некоторые советские историки считают преуменьшенной, утверждая, что уничтожено было 110 из 115[1]. Расхождение объясняется, возможно, включением и невключением в конечную цифру самоубийств, убийств и т. п., как и расстрелянных позже (например, Лозовского).

Членов нового Центрального Комитета можно было группировать по нескольким признакам. Однако среди них не было больше никаких политических фракций, как в досталинский период; они были лишь приближенными индивидуальных «вождей» — которые, в свою очередь, пытались в последующие четырнадцать лет попасть в любимцы Сталина и тем самым добиться большей власти.

Довольно многочисленной была в ЦК, например, группа Жданова, к которой, помимо его самого, относились Щербаков, Косыгин и А. А. Кузнецов среди членов ЦК, Попков и Родионов среди кандидатов. Трое из четырех последних были расстреляны по так называемому «ленинградскому делу» 1949—50 годов.

Другая группа была связана с Маленковым: он сам и Андрианов в ЦК, Первухин, Пономаренко, Пегов, Тевосян и Малышев в числе кандидатов. Они еще имели ближайшего союзника Шаталина в составе Ревизионной комиссии.

Еще лучше был «представлен» Берия. В ЦК сидели его люди Багиров и Меркулов, в числе кандидатов — другая группа его ставленников: Гвишиани, Гоглидзе, Кобулов, Деканозов, Арутюнов, Бакрадзе, Чарквиани (плюс еще Цанава в Ревизионной комиссии). Таким образом, весь партийный контроль над тайной полицией и аппаратом на Кавказе принадлежал Берии. В числе кандидатов в члены ЦК ВКП(б) были еще два представителя НКВД — Круглов и Масленников. С их учетом новый ЦК теперь имел в своем составе восемь штатных работников органов безопасности — рекордное количество за всю историю советской власти. Лишь последним двоим, Круглову и Масленникову, было суждено пережить Берию.

Была опора среди членов ЦК и у Хрущева — на него ориентировались четверо украинских членов ЦК, которых он в свое время выдвинул на центральные посты.

И, разумеется, была полностью представлена в ЦК группа личных приближенных Сталина — Мехлис, Шкирятов, Поскребышев, Щаденко и Вышинский.

Наименьшие персональные потери понесло Политбюро. Но и здесь они заметны. Был убит Киров; умер или был отравлен Куйбышев; убит или принужден к самоубийству Орджоникидзе. За восемь месяцев до съезда состоялась казнь Руд-

[1] «Совещание историков», с. 260 (выступление А. Г. Кравченко).
[2] «Совещание историков», с. 260.
[3] Хрущев. Доклад на закр. заседании XX съезда КПСС...

[1] Хрущев, там же; Roy Medvedev. «Faut'il réhabiliter Staline», p. 14; П. Якир в «Посеве», 1969, № 5 (Письмо в редакцию «Коммуниста»).

зутака, а Косиора расстреляли буквально накануне съезда. Постышев и, вероятно, Чубарь в период съезда ожидали казни в тюрьме. Петровский был отставлен и ждал своей судьбы в Москве, надеясь получить в самом счастливом случае какую-нибудь мелкую должность. Между XVII и XVIII съездами в Политбюро были введены четыре человека — Хрущев, Жданов, Эйхе и Ежов. Из них, как уже сказано, Эйхе сидел в тюрьме в ожидании казни, а Ежов исчез и погиб при невыясненных обстоятельствах. О четырех бывших членах Политбюро — Рудзутаке, Эйхе, Косиоре и Чубаре — теперь во всеуслышание сказано в СССР, что их пытали.

22 марта 1939 года Политбюро было пополнено теми, кто лучше всех служил Сталину в последний период. Жданов и Хрущев были переведены из кандидатов в члены Политбюро, новыми кандидатами стали Берия и Шверник, возглавивший профсоюзы после отстранения Томского в июне 1929 года и превративший их в организацию по укреплению трудовой дисциплины и по пропаганде повышения производительности труда. С тех пор Шверник неизменно оставался в Политбюро, а затем в Президиуме и снова в Политбюро; в 1966 году он вышел на пенсию, но до самой своей смерти оставался членом ЦК КПСС.

Есть любопытная разница в обращении Сталина с двумя поколениями его собственных соратников по Политбюро. Возьмем старшее поколение — тех членов Политбюро, которые поддерживали Сталина в его борьбе против оппозиции. Из одиннадцати человек, введенных в Политбюро до июля 1926 года, шестеро пережили террор невредимыми, двое были уничтожены, однако не объявлены врагами, а похоронены с почестями (Киров и Орджоникидзе), один умер в сомнительных обстоятельствах и тоже похоронен с почестями (Куйбышев), один, хотя и отстраненный от дел, пережил самого Сталина (Петровский) и всего лишь один — Рудзутак — был судим и расстрелян. Совсем другая картина со следующим поколением — с теми, кто был выдвинут в Политбюро с июля 1926 года по конец 1937 года. Таких было восемь, и из них сохранился только один Жданов. Все остальные были казнены или, во всяком случае, погибли от рук Сталина (как Ежов, о смерти которого нет достоверных данных).

Эта странная разница может быть объяснена следующим образом. В ранний период власти Сталина он не мог еще просто назначать в Политбюро скороспелых выдвиженцев по собственному выбору. Он еще должен был ориентироваться на тех, кто достиг высоких постов в какой-то степени благодаря своей репутации; на тех, кто был достаточно хорошо известен в руководящих кругах партии; чья партийная биография была достаточно внушительна; чье присутствие в Политбюро не выглядело нелепым для органа, в котором еще заседали знаменитые и почтенные представители оппозиции.

То были люди, пусть не сравнимые с Троцким или Бухариным, но все же создававшие впечатление преемственности на фоне ленинских руководящих кадров. Кое-кто из них превратился в ревностных сторонников террора — например, Каганович. Другие — типа, скажем, Молотова — могли в чем-то про себя сомневаться, но практически оставались правоверными соучастниками сталинщины — из страха или по другим мотивам. Менее восторженные исполнители сталинской воли — вроде Калинина — оставались удобными Сталину покаянными фигурами. Когда приходилось отделываться от людей такого плана (Киров, Орджоникидзе), Сталин был склонен пользоваться кружными, скрытыми методами. Но уже работники калибра Эйхе или Постышева имели не намного больше партийного престижа, чем другие члены ЦК; избавляться от таких Сталину было нетрудно — и он избавлялся, когда кто-нибудь из них впадал в немилость.

Новое руководство, сталинцы с головы до пят, постаралось превратить XVIII съезд партии в праздник и триумф. Самые страшные проводники террора теперь отмежевывались от Ежова и ежовщины и выражали свое глубокое сожаление по поводу эксцессов недавнего периода.

Например, Шкирятов в своей речи на съезде подробно рассказал о некоем человеке из Архангельска, которого незаконно сняли с работы, арестовали, а затем освободили и восстановили в должности лишь после того, как он обратился в ЦК. Соответствующим образом выступал и Жданов. Он сообщил о клеветнике, написавшем сто сорок два ложных доноса, перечислил несколько случаев, когда люди были исключены из партии. В числе других Жданов изложил эпизод, происшедший в Тамбовской области: там исключение из партии и незаконный арест человека привели к исключению из партии его жены и еще семи человек. Кроме того, добавил Жданов, еще двадцать восемь молодых людей были исключены из комсомола, а десять беспартийных учителей лишились работы. Приближенный Хрущева Сердюк с негодованием говорил о том, что в декабре 1938 года на очень многих работников киевского партаппарата были поданы доносы как на врагов народа. Расследование показало, что все доносы были подписаны фальшивым именем и написаны одной рукой заведующего культотделом одного из райкомов партии. Сердюк рассказал также об одной киев-

ской учительнице, которая в 1936—1937 годах оклеветала большое число невинных людей. По словам Сердюка, эта учительница шантажом и угрозами вымогала деньги и путевки на курорты — всего она получила пять тысяч рублей и трижды отдыхала в санаториях. Под возмущенные возгласы делегатов Сердюк пояснил, что эта женщина писала свои доносы под диктовку врагов народа, ныне разоблаченных, и что она осуждена на пять лет лишения свободы.

Итоги подвел сам Сталин: он объявил в своем докладе, что «нельзя сказать, что чистка была проведена без серьезных ошибок. К сожалению, ошибок оказалось больше, чем можно было предположить. Несомненно, что нам не придется больше пользоваться методом массовой чистки. Но чистка 1933—1936 годов была все же неизбежна, и она в основном дала положительные результаты».

Сталинская датировка чистки 1933—1936 годами может показаться непосвященному несколько странной. Но дело в том, что в те годы исключения из партии проводились и одобрялись публично, а позже чистка партии и террор против населения не сопровождались никакими формальностями, и потому на съезде о них можно было и не говорить.

Казни видных членов партии между тем продолжались. Одна из них произошла даже во время съезда — 14 марта 1939 года был расстрелян Яковлев. В последующие годы Сталин и Берия доделали большую часть того, что Ежов начал и не окончил.

К июлю 1939 года была, наконец, получена санкция прокурора на арест Эйхе, и этот арест в какой-то степени узаконен. 25 октября 1939 года Эйхе были предъявлены обвинения. Он написал Сталину, протестуя против обвинений и настаивая на своей невиновности. В недавнем прошлом Эйхе сам преследовал троцкистов в Западной Сибири — теперь он полагал, что частично это могло быть местью ему за сибирские «заслуги». Эйхе писал: «Я не смог вынести тех пыток, которым подвергали меня Ушаков и Николаев, особенно первый из них — он знал о том, что мои поломанные ребра еще не зажили, и, используя это знание, причинял при допросах страшную боль».

Эйхе умолял Сталина «разоблачить всю ту гнусную провокацию, которая, как змея, обволокла теперь стольких людей из-за моей слабости и преступной клеветы»[1].

Существует рассказ, что Эйхе, временно потеряв рассудок под пытками в 1938 году, кричал, что признает себя виновным в принадлежности к преступной организации под названием «Центральный Комитет ВКП(б)»[1].

Письмо Эйхе Сталин игнорировал; однако, оно, очевидно, сохранилось в архивах[2]. 2 февраля 1940 года Эйхе предстал перед судом, где отказался от всех своих признаний и еще раз объяснил их пытками. 4 февраля 1940 года Эйхе был расстрелян. Расстреляли и его жену Е. Е. Эйхе-Рубцову.

С точки зрения прослеженных нами ранее связей между уничтожением политических и военных деятелей, интересен следующий факт: в один день с Эйхе был уничтожен командующий Северным флотом флагман Душенов — в прошлом матрос крейсера «Аврора». Есть основания думать, что в это время имел место и большой закрытый процесс, на котором подчистили недоделки НКВД, как это уже было в июле 1938 и в феврале 1939 года; 2 февраля 1940 года указывается ныне как дата смерти Мейерхольда, а 1 февраля — как дата смерти Михаила Кольцова.

В 1939 году были казнены Рухимович, Уханов, Акулов, Сулимов и многие другие. 12 января 1940 года был расстрелян старый большевик, нарком просвещения Бубнов. Его дочь Валентина была отправлена в лагеря.

Последовали также казни наркома юстиции Крыленко и других. 10 декабря 1940 года пришел черед Постышева. «Мастера клеветы и беззакония не решились», однако,— как формулируется это теперь,— «гласно обвинить Постышева... в диверсиях, заговорах, шпионаже, отходе от ленинизма»[3], хоть киевский обком обвинялся, как известно, в наличии в нем троцкистов. В отличие от Рудзутака и Эйхе, объявленных бухаринцами, обвинение в троцкизме могло фигурировать в официальном приговоре Постышева. Старший сын Постышева Валентин был тоже расстрелян. Остальные дети отправлены в лагеря.

Арестованные командиры уничтожались так же, как и политические деятели. Если говорить о виднейших жертвах того периода, то Алкснис наиболее вероятно казнен в 1940 году, а маршал Егоров — может быть, уже перед самой войной, 10 марта 1941 года. Впрочем, в отношении даты смерти Егорова советские источники расходятся (см. выше, главу 7).

Последним представителем уничтоженных высших сталинских кадров был Антипов, которого ликвидировали в период наступления немцев, 24 августа 1941 года, когда Сталин спешил уничтожить тех, кто мог бы взять на себя руководство страной в случае его падения. Если верны наши предположения относительно Чубаря (см. выше), то в этой же панической волне военных казней был уничтожен и он.

Теперь сталинская победа на политическом фронте была совсем полной. В военной катастрофе, надвинувшейся из-за его собственных ошибок, «великого вождя» уже некем было заменить. И если расценивать сталинский террор с точки зрения этой жестокой проверки, то можно сказать, что цель была достигнута.

[1] См. Хрущев. Доклад на закр. заседании XX съезда КПСС...

[1] Б. И. Николаевский в примечаниях к первому английскому изданию Доклада Хрущева на закрытом заседании XX съезда в «The Crimes of Stalin Era», The New Leader edition, New York, 1956, note 20.

[2] В своем докладе на закр. заседании XX съезда Хрущев цитировал его по «Делу Эйхе», т. 1.

[3] Г. Марягин. Постышев. М., 1965, с. 297.

ЭПИЛОГ

НАСЛЕДИЕ

Ни одно из зол, которые тоталитаризм... берется лечить, не может быть хуже самого тоталитаризма.

Альбер Камю

«За что?» — были последние слова Якова Лившица, старого большевика и замнаркома. Он произнес эти слова 30 января 1937 года, ожидая казни. Ответа не последовало.

В течение нескольких оставшихся месяцев, которые старые большевики еще провели на свободе, хоть изредка разговаривая о подобных вещах, вопрос этот повторялся часто. Даже опытные политики были в замешательстве, а что уже говорить о рядовом советском гражданине — он вообще не мог ничего понять. «Я [...] спрашивал и других, и себя: зачем, почему? Никто мне не мог ответить», писал Эренбург. Что же касается репрессированных, то у каждого из них, впервые переступившего порог камеры, непроизвольно слетало с уст «За что? За что?». Этот вопрос мы встречаем в лагерной и тюремной литературе, его писали на стенах камер, на арестантских вагонах, вырезали на нарах пересыльных тюрем. Старый партизан Дубовой (обладатель длинной белой бороды, которой он очень гордился и которую выщипал следователь) даже выработал теорию на этот счет — он утверждал, что разгул репрессий связан с увеличением числа пятен на солнце[1].

Простейший, но ясный ответ на этот вопрос состоит безусловно в следующем: «уничтожить и дезорганизовать все возможные источники оппозиции, противящиеся захвату Сталиным абсолютной власти». Но специфическая форма деспотизма, в жертву которой Сталин принес и партию, и всю нацию, присуща системе, созданной им в результате победы. Ибо после этой победы страна была расшатана, и в этом состоянии ей пришлось столкнуться с непредвиденными обстоятельствами на международной арене. Война с Финляндией в 1939—1940 годах, затем с Германией в 1941—1945, разруха и восстановление разрушенного вылились в отчаянную борьбу за существование. И только к 1947—1948 году сталинское государство стабилизировалось политически и организационно.

К этому времени были достигнуты две главных цели. Огромное число враждебных и потенциально враждебных элементов было уничтожено или сослано в лагеря, а остальное население смолкло и подчинилось. Совершенно видоизменилась и сама коммунистическая партия.

Эта политическая трансформация несколько затушевана тем, что организационные формы остались неизменными. В период с 1934 по 1939 годы облик партии коренным образом изменился: все, кто противился политике Сталина, были уже к этому времени удалены из руководящих органов. В ходе репрессий были уничтожевы и сами сталинцы, за исключением небольшого отряда ближайших приверженцев. Перерождение партии станет очевидным, если сравнить состав делегатов XVII и XVIII съездов. Менее двух процентов рядовых делегатов 1934 года осталось на своих местах в 1939 году.

До этого руководство стремилось сохранить все политические права в руках ядра партии, ограниченного круга старых большевиков. Уничтожив это ядро, Сталин в каком-то смысле «открыл вакансии» в руководящей верхушке, на которые могли претендовать способные новички. Для этого им, правда, требовались способности особого рода... Но любому выдвиженцу, независимо от происхождения и партийного стажа, было обеспечено тепленькое местечко, если он мог проявить необходимые качества — пресмыкательство и безжалостность. Теоретическая основа партии, составленной из

[1] Beck F. and Godin W. «The Russian Purge and Extraction of Confession». London, 1951, p. 93, 203.

сталинских кадров, осталась той же. Эта старая основа состояла в марксистской «справедливости». Как заметил Гитлер, «всякая насильственная власть, не опирающаяся на твердую духовную основу, обречена на колебания и неустойчивость. Ей недостает постоянства, которое может покоиться только на фанатичной преданности определенному мировоззрению».

Один из очевидцев, сам павший жертвой репрессий, показывает, как рассуждали наиболее правоверные сталинцы. Говоря о бывшем работнике НКВД, который был известен беспощадностью при исполнении служебных обязанностей, но совершенно размяк и притих, попав в тюрьму, он пишет:

«Что бы сказал Прыгов, если бы ему пришлось защищаться на суде? Я думаю, что он стал бы ссылаться не на приказы свыше, а на учение Маркса — Ленина, как он его понимал. Прыгов был предан и исполнителен, как эсэсовец. Но его вера основывалась на убеждении, что она отвечает требованиям разума и совести. Он был совершенно убежден, что это не слепая вера, что в ее основе лежат наука и логика. Он был жесток, потому что этого требовала генеральная линия. Генеральная линия, покуда она соответствовала принципам марксизма, была для него альфой и омегой. Без этого «научного обоснования» генеральной линии, на котором покоилась вера Прыгова, распоряжения партии утратили бы для него всякое значение. Он был убежден в логической и нравственной непогрешимости марксизма, и его преданность зависела от этого убеждения» [1].

В теории сталинская партия сохранила старую доктрину и старые идеалы. Но дисциплина, которая до этого времени объяснялась, по крайней мере в теории, системой коллективного руководства, стала отныне означать служение одному человеку и выполнение его личных решений. Долг, преданность, солидарность, объединявшие до этого членов партии, теперь были направлены в одну сторону — вверх. В горизонтальном направлении, если говорить о товарищах, у которых сохранились остатки веры, действовали только взаимная подозрительность и «бдительность».

В СССР была установлена новая политическая система. Новые кадры не только заняли места ветеранов, но и прошли долгую, суровую подготовку по освоению сталинских методов управления. Опыт репрессий закалил и усмирил их так же, как коллективизация, а до того гражданская война, усмирили их предшественников. В «Записках из мертвого дома» Достоевский пишет: «Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь... Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании».

Философ-коммунист Георг Лукач рисует такую схему: «Сталин находится на вершине пирамиды, постепенно расходящейся книзу и состоящей из множества „маленьких сталиных". При взгляде сверху они — объекты культа личности, а при взгляде снизу — его созидатели и хранители. Без этого механизма, работающего четко и без перебоев, культ личности остался бы субъективной мечтой, патологическим фактом и не достиг бы социальной эффективности, которая сопутствовала ему на протяжении десятилетий».

Сталин был окружен экстатическим поклонением. Один из делегатов XVIII съезда партии (1939 г.) рассказывал так: «В момент, когда я увидел нашего любимого отца, я потерял сознание. Долго гремело, не смолкая, „ура!", и, очевидно, шум зала привел меня в чувство...» [2]. И это довольно типичный пример. Есть целая литература, посвященная Вождю.

В стране был создан особый общественный климат, ибо опыт пережитого наложил отпечаток и на правителей, и на тех, кем они управляли. Население научилось покорности, молчанию и страху. После репрессий 1937—1938 годов массовый террор уже больше не был нужен Сталину: заведенная им машина могла работать без особых дополнительных усилий. Относительное спокойствие, которое воцаряется в деспотической стране после уничтожения всех противников и потенциальных противников режима — такое же проявление террора, как сами убийства. Второе — продукт и консолидация первого: «создавая пустыню, они именуют сие миром» (Тацит).

Органы безопасности продолжали время от времени прочесывать страну, ударяя по всем подозрительным элементам. В 1940 году в Саратовской тюрьме по-прежнему содержалось по десять человек в камерах, предназначенных для одного или двух. В лагеря отправлялось ежегодно до миллиона человек — на смену умершим, и мысль об этом ни на минуту не покидала умы. Но неистовство 1936—1938 годов больше не повторилось. Одним массированным ударом стране перебили хребет и вырвали язык, после чего террор стал выборочным. Этого было теперь достаточно — тем более, что новый набор в исправительно-трудовые лагеря велся путем местных, ограниченных

[1] Beck and Godin, p. 194.
[2] См.: Souvarine. «Staline». London, 1937, p. 661 (Postscript).

мероприятий, начавшихся в прибалтийских республиках и восточной Польше. Работа, на которую в России потребовалось все время с 1917 по 1939 годы, была выполнена здесь, на новых землях, по уплотненному графику — за два года (1939—1941).

Помимо 440 тысяч поляков из числа гражданского населения, сосланных в лагеря, Советский Союз в сентябре 1939 года захватил около двухсот тысяч польских военнопленных. Большинство офицеров и несколько тысяч солдат были распределены по лагерям в Старобельске, Козельске и Осташкове. В апреле 1940 года там находилось приблизительно 15 тысяч человек, включая 8700 офицеров. С тех пор никого из них не видели, за исключением сорока восьми человек, которых перевели из лагерей в тюрьмы. В числе бесследно исчезнувших было около восьмисот докторов и более десятка университетских профессоров.

После вступления СССР в войну и подписания вслед за этим польско-советского соглашения, полякам, находившимся в советских лагерях, было разрешено выехать из Советского Союза и сформировать свою собственную армию на Ближнем Востоке. Тогда Польша передала советским властям списки солдат, которые попали в советский плен и не вернулись. В период между октябрем 1941 и июлем 1942 года посол Польши профессор Кот десять раз поднимал этот вопрос в беседах с Молотовым и Вышинским. Ему неизменно отвечали, что все пленные были освобождены. В ноябре 1941 года Кот встретился со Сталиным, и тот в его присутствии позвонил по этому вопросу в НКВД. Неизвестно, что Сталину ответили по телефону, но он, ничего не сказав, перешел к следующему пункту беседы и не пожелал больше говорить о военнопленных.

Когда генерал Сикорский встретился со Сталиным 3 декабря того же года, ему было сказано, что недостающие польские офицеры и солдаты бежали, возможно, через границу в Манчжурию. Но Сталин обещал заняться этим вопросом и добавил, что если инструкция об освобождении поляков не была выполнена по вине офицеров НКВД на местах, то виновные будут наказаны.

В апреле 1943 года немцы сообщили об обнаружении массовых захоронений в Катынском лесу, под Смоленском,— там были найдены трупы расстрелянных поляков. Но через два дня советское правительство представило свою версию, по которой польские офицеры, якобы находившиеся в лагерях близ Смоленска, были брошены при отступлении и попали в руки к немцам. Данная версия резко расходится с тем, что говорили до этого Сталин и его подчиненные.

Правительства союзных стран не приняли советскую версию безоговорочно, но решили, что не следует поднимать шум, потому что главная цель — сплочение сил против Гитлера. Пресса западных стран, напротив, почти единодушно приняла версию советского правительства. Американская военная газета «Старс энд Страйпс» даже поместила карикатуру, смысл которой состоял в том, что гибель польских офицеров незаслуженно-до вменяется в вину Советскому Союзу.

Германия разрешила интересующимся странам и организациям посетить могилы в Катыни. Там побывали Европейская медицинская комиссия, состоявшая из ученых различных европейских университетов, в том числе и из нейтральных стран, как, например, доктор Навиль, профессор судебной медицины из Женевы; представители польского подполья; пленные союзных войск высокого ранга, которые корректно отказались от комментариев при осмотре, но позже тайно сообщили своим правительствам, что немцы, безусловно, говорили правду.

В чем же состояли главные доказательства? Было откопано несколько нетронутых еще массовых захоронений, чтобы обследовать сваленные в них вповалку трупы. На некоторых были обнаружены советские газеты и другие печатные материалы, датированные не позднее апреля 1940 года. Причем все расстрелянные были в теплой зимней одежде, а согласно советской версии, казнь состоялась в начале осени, в сентябре 1941 года, при теплой погоде.

В Катыни откопали 4143 трупа — тех польских солдат и офицеров, которые находились в Козельском лагере. 2914 трупов было опознано. Из них 80 % составляют люди, числившиеся в списках, составленных польскими властями, как пропавшие без вести. Что случилось с поляками из двух других лагерей (10400 человек) — неизвестно. Слухи ходят разные. Говорят, что определенное число польских заключенных погрузили на баржи и потопили в Белом море. Рассказывают также, что массовые казни и захоронения по типу Катынских имели место в окрестностях Харькова [1].

1—3 июля 1946 года вопрос о Катыни был предметом рассмотрения Международного трибунала в Нюрнберге. Судьи подошли к делу поверхностно и не указали в приговоре, на ком лежит ответственность за убийства. Но до сих пор не появилось никаких сведений — ни от пленных немцев, ни из захваченных документов,— свидетельствующих, что преступление в Катыни лежит на совести нацистов. Сейчас уже никто не верит в причастность Германии к этому преступлению, а советская и польская печать

[1] Материал о Катынском убийстве см. «Bulletin d'Information de la Commission pour la Verité sur les Crimes de Staline», n. 3, Janvier 1964.

о нем молчат. Недавно, правда, варшавский журнал «Современность» упомянул вскользь о «недостатке сведений о тех, кто пропал без вести».

Описанный пример дополняет картину репрессий — это еще один случай массового уничтожения людей без суда. Казнь была произведена в обстановке полной секретности, как простая административная мера, и — в мирное время.

Не менее нагляден и следующий пример. Хенрик Эрлих и Виктор Альтер, лидеры еврейского социалистического Бунда, попали в СССР в сентябре 1939 года во время советско-германского вторжения в Польшу. Оба они были ветеранами социал-демократического движения в бывшей Российской Империи, а Эрлих входил даже в Исполком Петроградского совета в 1917 году. Их привезли в Бутырки и обвинили в том, что в период 1919—1939 годов они, с согласия польского правительства, переправляли в Советский Союз диверсантов и вредителей. Эрлих, которого однажды допрашивал лично Берия, настаивал, чтобы все его ответы записывались. Альтер на каждый вопрос отвечал: «Все это ложь, и вы сами это прекрасно знаете».

Восемнадцать месяцев спустя, в июле 1941 года, их перевезли в Саратов и приговорили к смертной казни. Они оба отказались обжаловать приговор, но через десять дней он был заменен десятилетним заключением. По амнистии, объявленной вскоре всем польским заключенным, они вышли на свободу соответственно в сентябре и октябре. Их попросили организовать Еврейский антифашистский комитет. Ясно, что их связи со старыми членами Бунда в американских профсоюзах — такими, как Давид Дубинский,— высоко ценились. Эрлих стал президентом, а Альтер секретарем новой организации. В президиум был введен советский актер и режиссер Михоэлс. Берия лично направлял работу комитета, но предупреждал, что по всем международным вопросам окончательное решение принимает Сталин.

4 декабря 1941 года Эрлих и Альтер вышли из своей гостиницы в Куйбышеве, и с тех пор их никто больше не видел. Сначала власти притворились, будто не знают, что произошло в действительности. И только в феврале 1943 года, в ответ на протесты крупных профсоюзных деятелей Америки и Англии, политических деятелей, включая Эттли и таких всемирно известных людей, как Эйнштейн, Литвинов направил письмо председателю Американской федерации труда Уильяму Грину. В письме говорилось, что Эрлих и Альтер были арестованы и казнены за то, что занимались разложением советских войск, уговаривая их прекратить сопротивление германской армии и немедленно заключить мир с Германией. Литвинов сообщил, что казнь состоялась в декабре 1942 года, но коллега погибших, который находился с ними в Куйбышеве до их ареста, считает, что это ошибка и имеется в виду декабрь 1941 года.

Оба описанных случая привлекли внимание всего мира благодаря случайному стечению обстоятельств. Таких случаев было множество. Обескровливание коренной России шло безостановочно, но часть жертв поставлялась «операциями местного значения». После поляков и прибалтийцев были высланы другие нацменьшинства. В 1941 году немцы Поволжья, в 1943—1944 годах семь отдельных народов, главным образом на Кавказе, были поголовно арестованы и переселены [1]. Лагеря наполнились немецкими и японскими военнопленными. В 1945—1946 годах были снова прочесаны территории, побывавшие под оккупацией. Большинство советских солдат, которые перешли на сторону немцев или просто были захвачены в плен, по возвращении с войны попали в лагеря.

Война

Результаты расправы Сталина с военным руководством чувствовались на протяжении всей войны. Согласно недавним советским подсчетам, еще не опубликованным в СССР, число жертв было несколько выше, чем принято считать на Западе. В ходе террора погибли:

3 из 5 маршалов;
14 из 16 командармов 1-го и 2-го ранга;
8 из 8 флагманов 1-го и 2-го ранга (т. е. адмиралов);
60 из 67 комкоров;
136 из 199 комдивов;
221 из 397 комбригов [2].

Погибли все 11 заместителей наркома обороны и 75 из 80 членов Высшего военного совета. Сталин не ограничился высшими эшелонами командования — около половины всего командного состава, 35 тысяч человек, были расстреляны или попали в тюрьму. Как сказал позднее Хрущев, репрессии начинались «буквально с командиров рот и батальонов».

[1] См. R. Conquest. «The Soviet Deportation of Nationalities». London, 1960.
[2] Эрнст Генри (Ростовский) в «Гранях», 1967, № 13, с. 194.

В романе «Солдатами не рождаются» Константин Симонов приводит разговор двух генералов. В ответ на слова Серпилина: «Да, наковыряли много» его товарищ Иван Алексеевич говорит:

«Но дело глубже. Осенью сорокового, уже после финской, генерал-инспектор пехоты проводил проверку командиров полков, а я по долгу службы знакомился с анкетными данными. Было на сборе двести двадцать пять командиров стрелковых полков. Как думаешь, сколько из них в то время оказалось окончивших Академию Фрунзе?

— Что ж гадать,— сказал Серпилин,— исходя из предыдущих событий, видимо, не так много.

— А если я тебе скажу: ни одного?

— Не может быть...

— Не верь, если тебе так легче. А сколько, думаешь, из двухсот двадцати пяти нормальные училища окончили? Двадцать пять! А двести — только курсы младших лейтенантов да полковые школы...

...Но все же двести двадцать пять полков — это семьдесят пять дивизий, пол-армии мирного времени».

Симонов, по сути дела, говорит, что чистки в армии (плюс непродолжительная финская война 1939—1940 гг.) стоили жизни всем командирам Советской Армии на уровне полка, не считая тех, кто получил повышение, чтобы заполнить образовавшийся выше пробел. Диалог этот вымышленный, но он подан в таком виде, что может быть принят и как фактическая справка. Во всяком случае, он не был опротестован в советской военной печати.

Генерал Горбатов, сидя в лагере, недоумевал по поводу того, «...как будут вести бои и операции только что выдвинутые на высокие должности новые, не имеющие боевого опыта командиры? Пусть они люди честные, храбрые и преданные Родине, но ведь дивизией будет командовать вчерашний комбат, корпусом — командир полка, а армией и фронтом — в лучше случае командир дивизии или его заместитель... Сколько будет лишних потерь и неудач! Что предстоит пережить стране в связи с этим!».

Позднее советские военные историки подтвердили, что результатом репрессий было выдвижение «малоопытных командиров». Уже в 1937 году к этой категории принадлежало шестьдесят процентов командного состава стрелковых частей, сорок пять процентов в танковых частях и двадцать пять процентов в военно-воздушных силах [1]. Больше того, «в это время были почти полностью ликвидированы руководящие армейские кадры, которые приобрели военный опыт в Испании и на Дальнем Востоке» [2]. Все это, разумеется, подрывало дисциплину в армии:

«Проводившаяся в широком масштабе политика репрессий против военных кадров привела также к подрыву воинской дисциплины, так как в течение нескольких лет офицерам всех званий и даже солдатам, состоящим в партийных и комсомольских организациях, внушалась необходимость „разоблачать" начальников как тайных врагов. Вполне естественно, что это отрицательно повлияло на состояние воинской дисциплины в первый период войны» [3].

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Окончание следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

[1)] В последнем издании «Советского энциклопедического словаря» (М., 1989) приводятся годы жизни Ежова 1895—1940, однако в тексте словарной статьи говорится: «...в 1938 арестован, расстрелян».

[2)] «Советский энциклопедический словарь», 4-е изд., М., 1989, датирует смерть В. Я. Чубаря и И. Ф. Федько 1939 годом.

[1] Ю. П. Петров. Партийное строительство в Советский армии и флоте (1918—1961)». М., 1964. с. 304.
[2] Хрущев. Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС...
[3] Там же.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Александр
ЯНОВ

РУССКАЯ ИДЕЯ и 2000-й ГОД

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН: «ИЗ-ПОД ГЛЫБ»

Я отчетливо осознаю, что, прикасаясь к теме Солженицына — в контексте драмы «русской правой»,— я затрагиваю область тончайшую, интимную и в то же время гигантскую. Прежде всего Солженицын — не Осипов и не Чалмаев. Он — феномен политической реальности Запада. Здесь есть люди, прочитавшие о нем сотни статей и десятки книг. Более того, Солженицына не только знают здесь, у многих связаны с ним личные чувства: его жалели, им восхищались, его любили, от него ждали последней правды о России, в нем разочаровывались, у него учились. У меня нет ни возможности, ни намерения исчерпать здесь «феномен Солженицына» или создать его политический портрет. Это — даже не эскиз к такому портрету. Моя задача бесконечно скромнее: рассмотреть вклад Солженицына и его адептов в формирование идеологии возродившейся «русской правой».

Но и эта задача неимоверно сложна — и страшна — для меня, родившегося и выросшего в России, воспитанного русской культурой, разделившего с нею все доброе и дурное, что дала она миру. Ведь для людей в России (и для меня в том числе) Солженицын был (а для многих еще остается) совестью страны, символом того, на что мы сами не оказались способны. И дело здесь не только в художественном даре или легендарном мужестве, дело еще и в той роли, которую сыграл Солженицын в духовном раскрепощении страны, а значит, и меня самого. И трагедия заключается в том, что этот человек оказался в рядах «новой русской правой». Я не говорю уже, что сам по себе этот факт является индикатором громадной мощи, которую имеет правая традиция в русской культуре.

Я спрашиваю лишь: почему? Я хочу, чтобы читатель ясно понял мое отношение к Солженицыну. Оно заключается в этом вопросе: почему человек, который так много для меня сделал, потом предал меня? И не только предал, но и проклял вместе с проклятой им русской интеллигенцией?

Вот почему солженицынские главы этой книги написаны как спор, как исповедь, как поиск ответа на роковой для меня вопрос. Как критика солженицынской критики. Роль эта тяжела мне. Но и отказаться от нее я не могу, кроме всего прочего, еще и потому, что этой неуступчивости научил меня он сам.

НРАВСТВЕННОСТЬ И ПОЛИТИКА

Солженицын, конечно, остается в русле русской литературной традиции, когда выступает в роли политического пророка. Соответственно, разделяет он и политический инфантилизм этой традиции. И Гоголь, и Достоевский, и Толстой — при всем различии их доктрин — исходили из одного постулата. Все они примеряли к *относительной* политической реальности *абсолютные* критерии морали, с торжеством констатировали несоответствие — даже не замечая, как легка и бесплодна их победа,— и делали вывод, что никакой разницы между авторитаризмом и демократией, с точки зрения заветов Господних и нравственного совершенствования личности,— нет.

Иначе говоря, все они описывали сферу политики в терминах морали.

Точно так же, как французские просветители считали, что религия — массовое тысячелетнее глобальное мошенничество, насаждаемое кастой профессиональных церковников, так и русские писатели всегда были уверены, что политика есть принципиальный аморализм и обман, насаждаемый кастой профессиональных политиканов. Поэтому конструируемый ими специально русский путь спасения человечества всегда

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 9, 10.

заключается не в установлении контроля общества над политикой, а в *устранении* общества от политики, что, естественно, предполагало согласие на авторитаризм.

И столь же естественным результатом соединения неутолимой страсти к политическому пророчеству с политическим инфантилизмом всегда была утопия. Причем утопия реакционная, пытавшаяся возвести традиционную отсталость русской политической культуры в степень вершины и венца человеческой мысли.

Ну вот вам цитата: «У вас (у вождей СССР) остается неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля,— но дайте же народу дышать, думать и развиваться!.. Народ желает для себя одного: свободы жизни, духа и слова. Не вмешиваясь в государственную власть, он желает, чтобы государство не вмешивалось в самостоятельную жизнь его духа...»

Не правда ли, эта тирада звучит так, как будто она написана одной рукой? Между тем только первая ее часть принадлежит Солженицыну. Вторая была обращена к совсем другим вождям и совсем в другие времена. Сто тридцать лет назад Константин Аксаков рекомендовал вождю православного государства буквально то же самое, что Солженицын рекомендует вождям советским: возьмите себе *всю* власть, а народу дайте *всю* свободу. Народ не будет вмешиваться в политику,— обещают Аксаков и Солженицын,— он желает лишь свободно «дышать, думать и развиваться». Ибо только устранившись от политики,— считают и Аксаков, и Солженицын,— может народ реализовать свою нравственную сущность. Увы, как свидетельствует история, там, где народ не контролирует правительство, там правительство контролирует народ, не давая ему ни дышать, ни думать, ни развиваться.

Тема обоих писем — одна и та же. Вопросы, которые задают их авторы, совпадают. И ответы совпадают тоже. А Россия все там же, где была столетие назад — во лжи. Приходит ли эта поразительная аналогия в голову Солженицыну, когда он повторяет советы своих учителей, уже продемонстрировавшие свою непригодность?

ИЗ-ПОД ГЛЫБ

В конце 1960-х годов либеральные националисты оказались генералами без армии. Армия, однако, своих генералов не контролирует. И уроком «Вече» так же, как и «Словом нации», они пренебрегли.

В середине 1970-х годов авторитет Солженицына и мужество его адептов сделали возможной еще одну — и, вероятно, последнюю — яркую вспышку национал-либеральной мысли. Более того, интеллектуально самиздатовский сборник «Из-под глыб» по сравнению с «Вече» был несомненным шагом вперед либерального национализма. Ему не пришлось конструироваться в «лояльно-оппозиционное издание», и потому авторы его были свободны как от негласного давления советской цензуры, так и от тяжелой зависимости от «патриотических масс». У них не было необходимости прибегать к традиционно иносказательным методам лояльно-оппозиционной русской прессы и говорить с читателем на языке подтекстов и аллюзий.

Солженицын был прав, когда сказал: «Коллективного сборника такого объема, серьезности основных поставленных проблем и решительности их трактовки, в полный разрез с официальной установкой, не было в Советском Союзе за 50 лет».

Но, кроме того, у этого, скажем, «из-под глыбовского» течения национал-либерализма была еще одна, быть может, более важная особенность. Оно претендовало на независимость не только от цензуры (и сверху, и снизу), но и от старых учителей. Ни Данилевский, ни Хомяков не были для него абсолютными авторитетами. Авторы «Из-под глыб» сами себе были Аксаковыми и Бердяевыми. В их лице «русская правая» постсталинской России попыталась встать на собственные ноги, теряя тот оттенок вторичности, который так характерен для ВСХСОНа и «Вече». Она творила свои метафизические, религиозные, социальные и политические концепции самостоятельно, творила их заново. И тут-то поджидала ее коварная ловушка, которую я назвал бы «эффектом повторяемости» в русской истории. Ибо на примере сопоставления рекомендаций Солженицына и Аксакова, пороха она — при всем своем мужестве — не изобрела. Потому что — самостоятельно и независимо — она пришла к выводам аналогичным, чтоб не сказать идентичным, тем, к которым столетием раньше, в совершенно, казалось бы, иных исторических условиях, пришли ее прародители-славянофилы. Это станет, я надеюсь, очевидно, как только мы обратимся к анализу эволюции политических взглядов главного автора сборника «Из-под глыб».

ЭВОЛЮЦИЯ ДОКТРИНЫ

В начале семидесятых, когда Солженицын писал свое «Письмо вождям», он, судя по многим признакам, вовсе не был еще убежден ни в безнадежности западной демократии, ни в том, что авторитаризм — судьба России на веки вечные. С тем Солженицыным, казалось, еще возможна была дискуссия, он

словно бы только нащупывал свою политическую доктрину. Он и сам говорит в «Письме вождям», что «готов тотчас и снять [свои практические предложения], если кем-нибудь будет выдвинута не критика остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с земными путями».

Это правда, что в «Письме» есть глава «Запад на коленях», где говорится о «многостороннем тупике» и даже о «гибельном пути западной цивилизации». Тем не менее в нем признается: «Наиболее вероятно все же, что западная цивилизация не погибнет. Она столь динамична, столь изобретательна, что изживет и этот нависающий кризис». Иначе говоря, хотя Запад и живет «вековыми ложными представлениями», но все-таки он не безнадежен. Да и по поводу авторитарного будущего России сказано в «Письме» сдержанно и даже скорее вопросительно: «Так, может быть, следует признать, что для России этот путь [борьбы с авторитаризмом] был неверен и преждевременен? Может быть, на обозримое будущее, хотим мы этого или не хотим... России все равно сужден авторитарный строй? Может быть, только к нему она сегодня созрела?» Я бы сказал, что это вполне рассудительная и прагматическая точка зрения, в которой с непривычной западному уху экспрессией утверждаются три, по-моему, вполне бесспорные истины:

1. Демократия несовершенна. Она нуждается в дальнейшем развитии. Она способна к такому развитию.
2. Переход от авторитаризма к демократии требует времени и опыта. Сейчас Россия к нему не готова. Поэтому в обозримом будущем ее ожидает не демократия, но авторитаризм.
3. «Все зависит от того — *какой* авторитарный строй ожидает нас».

Этот последний пункт кажется мне наиболее важным. В самом деле, даже воинственная Джин Киркпатрик признает, что авторитарные политические системы существенно различаются между собою и что, следовательно, возможна типология авторитаризма. Другое дело, что Киркпатрик так же, как Солженицын, сводит эту типологию к плоскому черно-белому противостоянию коммунистического и антикоммунистического авторитаризма. Но здравое зерно в ее рассуждениях, разумеется, есть.

Как свидетельствует, в частности, история России, авторитарная система, утвердившаяся в ней за последнее полутысячелетие, в отличие, скажем, от английского или французского абсолютизма, не содержала в себе потенций перехода к демократии. Напротив, она последовательно — в серии контрреформ — закрывала пути этого перехода и, таким образом, может быть определена как антидемократический авторитаризм. В то же время, как свидетельствует вся европейская история, переход от авторитаризма к демократии возможен — и в теории, и на практике. Следовательно, кроме авторитаризма антидемократического, должен существовать и авторитаризм иного типа, то есть такой, который, в принципе, не блокирует пути перехода к демократии. Если это так, то действительная проблема, стоящая сегодня перед русским — и мировым — интеллектуальным сообществом, заключается в том, чтобы исследовать возможные пути перехода России от авторитаризма антидемократического к авторитаризму, способному, в свою очередь, перейти к демократии. Для этого нужно, например, очень внимательно присмотреться к тому, что происходило в хрущевской России (и опять начинается в горбачевской), и к тому, что происходит сейчас в Венгрии или в Китае, где становой хребет сталинской экономической системы, то есть русско-советской модели, постепенно расплавляется в огне конструктивной реформы.

Таким образом, если Солженицын начала 70-х годов действительно искал «выход лучший, реальный, с земными путями», в его распоряжении был конструктивный опыт русской — и советской — реформы, которая, правда, не пыталась вводить демократию, но зато предлагала стратегию движения общества *по направлению к демократии*.

Таков, если спорить с солженицынским «Письмом», мог бы быть *критерий* для оценки любых оппозиционных стратегий в России, включая и его собственную. Под углом зрения этого критерия было бы уже сравнительно легко, присмотревшись к истории Европы, обнаружить, с чего начинался в ней реальный процесс *ограничения власти* и движения в направлении к демократии. Движущей силой и принципиальным носителем этого ограничения всегда, без единого исключения, был *средний класс*, образующийся в результате фундаментальных социально-экономических преобразований, то есть именно того, чем занимаются сейчас Кадар в Венгрии и Дэн в Китае. Во всяком случае, без сильного среднего класса перехода к демократии быть не может — таков главный и неоспоримый урок мировой истории. Если бы Солженицын учел этот урок, ему стало бы ясно, что его собственное предложение — начать преобразование авторитаризма, обратившись к мистике «русской души» советских вождей, есть путь наименее «земной» и наименее «реальный».

Всем этим я хочу лишь показать, что главный вопрос солженицынского «Письма» («какой авторитарный строй ожидает нас?») был вполне правомерен и что дискуссия с его автором в начале семидесятых могла быть и в самом деле возможна. К сожалению, она не состоялась. И в Солженицыне середины 70-х годов — авторе ответа Сахарову, опубликованному в сборнике «Из-под глыб»,— мы встречаем уже совсем другого человека: не строгого, но доброжелательного критика Запада, размышляющего о «преждевременности» демократии в России и открытого для встречных взглядов, но автора отчетливой и жесткой политической доктрины, обрекающей Россию на авторитарное иго до скончания века. Этот Солженицын больше не ищет ответа на свои прежние «мучительные вопросы». Он обрел истину, он возненавидел инакомыслие до такой степени, что опустился до клеветы на своих оппонентов, до откровенной лжи во имя дела, которое считает правым,— и в этом смысле больше не отличается от своих оппонентов в Москве.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОСВЕЩЕННОГО АВТОРИТАРИЗМА

Солженицын повторяет славянофильские догмы почти буквально, лишь соблюдая приметы времени, лепя, так сказать, адекватный образ эпохи. Прежде всего он вводит тему внутренней равноценности обеих систем — демократической и антидемократической. И оказывается, что это просто «два страдающих пороками общества». Пороки у них разные, но приговор один — смерть.

Иначе говоря, будущего нет не только у «антидемократического» авторитаризма, его нет и у демократии. Отсюда девальвация свободы — интеллектуальной и политической — как исторической цели нации. «Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе и интеллектуальной. И что же, спасло это его? Вот мы видим его сегодня: на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздерганной и сниженной душой». (Сравните: «Посмотрите на Запад. Народы... увлеклись тщеславными побуждениями... поверили в возможность правительственного совершенства, наделали республик, настроили конституций... и обеднели душою... готовы рухнуть каждую минуту». Это Иван Аксаков.) Это — что касается свободы интеллектуальной. Что же до политической свободы с ее многопартийной парламентской системой, то и в ней Солженицын теперь усматривает уже только «истукана», то есть идола, констатирует только ее «опасные, если не смертельные пороки», ведущие к тому, что «западные демократии — в политическом кризисе и духовной растерянности», и приходит к заключению, что «общество, где действуют политические партии, *не возвышается в нравственности*».

Но это еще не все. Одновременно с уничижением Запада неудержимо возвышается нравственная ценность авторитаризма. Именно на этой почве возникает и все сильнее звучит традиционно-славянофильский, но заново открытый для себя Солженицыным образ «двух свобод» — внутренней и внешней. Оказывается, что «свою внутреннюю свободу мы можем твердо осуществлять, даже и в среде внешне несвободной». И больше того, именно при авторитаризме «сопротивление среды награждает наши усилия и большим внешним результатом». Стало быть, не демократия, но авторитаризм ведет кратчайшим путем к внутренней свободе, провозглашаемой теперь целью «исторического развития нации». Отсюда уже один логический шаг к неожиданному в устах Солженицына признанию: «Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она не демократична, авторитарна... в таких условиях человек еще может жить без вреда для своей духовной сущности». Но если в демократических системах человек не может «жить без вреда для своей духовной сущности», а в авторитарных — может, то, каким, спрашивается, системам должно быть отдано предпочтение? Какие системы здоровее для «внутренней свободы» и «нравственного возвышения»?

Вот он, логический путь для оправдания «внешней несвободы». Вот она, вполне аксаковская концепция просвещенного авторитаризма, при котором, с одной стороны, правительство концентрирует в своих руках всю полноту власти над обществом, а с другой — заботится о его нравственном возвышении.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Как, однако, обосновать эту странную для человека с репутацией великого борца за свободу, капитуляцию перед авторитаризмом? Конечно, как всякий уважающий себя русский писатель, Солженицын имеет по этому поводу своего рода историческую концепцию.

С одной стороны, негодность западной демократии как образца и модели будущей России объясняется секулярностью европейской культуры. «Это главным образом результат исторического, психологического и нравственного кризиса всей той культуры и системы мировоззрения, которая зачалась в эпоху Возрождения и получила высшие формулировки у просветителей XVIII века»,— пишет он в «Письме вождям».

С другой стороны, негодность коммунистического авторитаризма в СССР как образца и модели будущей России объясняется его нерусским происхождением. Оказывается, что он вовсе не результат русской истории. Он лишь результат того, что «темный вихрь передовой идеологии (марксизма) налетел на нас с Запада». «На самом

деле... советское развитие — не продолжение русского, но извращение его, совершенно в новом неестественном направлении, враждебном своему народу». Вот почему «термины „русский" и „советский"... не только... не равнозначны... но — непримиримо противоположны, полностью исключают друг друга». На самом деле «тысячу лет жила Россия с авторитарным строем — к началу XX века еще весьма сохраняла и физическое и духовное здоровье народа».

Людям, которые дышали русским воздухом и немножко читали русских классиков, такой способ мышления знаком до мелочей. «Кто виноват?» — традиционный русский вопрос. Еще в конце семнадцатого века стрельцы бунтовали потому, что «идут к Москве немцы, последуя брадобритию и табаку, во всесовершенное благочестия ниспровержение». Кто читал М. Н. Каткова, знает, что во всем виноваты поляки. Кто читал Шарапова, знает, что евреи виноваты. От Солженицына мы слышим, что виноват Запад (это, впрочем, мы уже слышали и от Чалмаева и от Антонова).

Но даже если принять этот глубоко унизительный для русского народа способ мышления, изображающий его беспомощным слепцом, готовым следовать любому поводырю, то и тогда остается необъясненным самое главное. Каким это образом «темный вихрь» охватил не Запад, который, как мы уже знаем, с шестнадцатого века живет в непрерывном «историческом, психологическом и нравственном кризисе», где «пассивная обреченность большинства», где «слабость правительств и паралич защитных реакций общества», где «духовная растерянность, переходящая в политическую катастрофу», а наоборот, Россию, которая никакого смертоносного Ренессанса никогда не переживала, в кризисе не была и вообще «к началу XX века еще весьма сохраняла и физическое и нравственное здоровье народа»? Почему ни одна прогнившая демократия в мире не поддалась «темному вихрю» (кроме тех, что втянуты были в него силою), и только авторитаризм поддался — и в России, и в Китае, и на Кубе, и во Вьетнаме — всюду?

Казалось бы, это элементарное соображение должно заставить ищущего истину мыслителя, по крайней мере, задуматься. Но ищет ли Солженицын истину? Или только оправдание своей политической концепции? Если так, то ищет он невозможного. Русская история его концепцию не подтверждает. И это доказали, между прочим, те же самые славянофилы, которых он так страстно защищал и так невнимательно читал. Это они, как мы знаем, называли православную империю «правительственной системой, делающей из подданного раба», это они называли ее «типом полицейского государства». Впрочем, критикуя российский «душевредный деспотизм», они тоже считали его результатом «темного вихря» с Запада. Только злодеем русской истории был у них, естественно, не Ленин с его коммунизмом, а Петр Первый с его «полицейским государством», скопированным с европейских образцов. Вот когда, говорит Аксаков, пришел «темный вихрь» на русскую землю, а до Петра она «весьма сохраняла физическое и нравственное здоровье». Так кто же прав — Солженицын или его духовный прародитель? На чьей совести «темный вихрь» — Ленина или Петра?

Однако, если верить Григорию Котошихину, сбежавшему в середине семнадцатого века в Швецию и написавшему книгу об ужасах *допетровской* России, оба не правы. А если обратиться к письмам Андрея Курбского? К письмам, в которых с потрясающей силой описаны произвол и бесчинства первого, выражаясь современным языком, массового террора в России в середине шестнадцатого века? Или к «Временнику Ивана Тимофеева»? Или к «Истории Российской» князя Михаила Щербатова, который именно вторую половину шестнадцатого века назвал временем, когда «любовь к отечеству затухла, а место ее заступили низость, раболепство, старания о своей токмо собственности»? Можно ли будет после этого говорить, что это тогда «нравственно возвышалась Россия»? А если не тогда, то когда?

Таково уж свойство всех русских консервативных утопий, что, говоря о настоящем, достигают они вершин национальной самокритики, а золотой век нации видят в прошлом: одни до Сталина, другие до Ленина, третьи до Николая, четвертые до Петра, неизменно виня во всех российских бедах кого-то стороннего. Но никогда не винят они автократическую природу русской политической системы, тот проклятый антидемократический авторитаризм, который не дает стране вырваться из заколдованного круга реформ и контрреформ, громоздя одну волчью диктатуру на другую: Николая на Петра, Ленина на Николая, Сталина на Ленина. Искать в этой трагической истории обоснования просвещенного авторитаризма все равно, что искать философский камень.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Все это вовсе не академические рассуждения на темы русской истории. Из этого прямо вытекают актуальные политические стратегии. В самом деле, если СССР действительно не имеет ничего общего с Россией, если он «не продолжение ее, а извращение», то есть нечто внешнее для нее, то естественно противопоставить советскому тоталитаризму здоровую национальную традицию просвещенного авторитаризма. Более того, естественно и даже просто необходимо изолироваться от Запада, не дожидаясь нового «темного вихря». Короче говоря, естественно жить по собственным, отдельным от мира законам, ища своего «особого пути в человечестве».

С точки зрения обычного здравого смысла, которым руководился в прошлом веке позитивист Данилевский, возведший изоляционизм в естественный исторический закон, такого обоснования автократическо-изоляционистской стратегии вполне достаточно. И журнал «Вече» уже в наше время был им удовлетворен.

Но для Солженицына и как для христианина, и как для политика этого уже мало. В эпоху «православного возрождения» в России он не может позволить себе роскошь взять в учителя позитивиста. Ему надо еще объяснить, как обстоит дело с точки зрения метафизики, с точки зрения христианского сознания, с точки зрения православия. Ибо как иначе привлечь на сторону авторитарно-изоляционистской стратегии растущие слои православной интеллигенции, как иначе заставить работать на эту стратегию само православное возрождение? Короче говоря, для Солженицына — это политический императив. Он должен ответить на вопрос, может ли авторитарно-изоляционистская стратегия получить не только историческую, но и религиозную санкцию? Оправдана ли она с позиций христианства, которое, что ни говори, по существу своему универсально и для которого «несть ни эллина, ни иудея»? Поэтому нас не должно удивлять присутствие в политическом сборнике «Из-под глыб» молодых друзей Солженицына, чьи страстные метафизические трактаты призваны теоретически обосновать авторитарно-изоляционистскую стратегию в наше время, подобно тому, как в прошлом веке это сделал Данилевский.

В блестящем эссе «Нация-личность» В. Борисов рассказывает драматическую историю о крушении мифа «гуманистического сознания», для которого «свобода человеческой личности и единство мира [были] альфой и омегой». На самом деле для этого, по мнению Борисова, «нет никаких достаточных рациональных оснований», ибо «личность в своем первоначальном значении есть понятие религиозное и даже специфически христианское». Вообще «индивидуум — это раздробление природы, самозамыкание в частности и ее абсолютизация,.. это воплощенное отрицание общей меры в человечестве и потому индивидуумы непроницаемы друг для друга. В противоположность индивиду личность... не дробит единой природы, но содержит в себе всю ее полноту». Не содержа в себе необходимой «полноты», презренный индивид, естественно, не может претендовать на то, что он личность. К счастью, с другой стороны, существует нечто, эту полноту содержащее,— а именно: «нация как личность», «нация как целое», без которой индивид не может иметь ни самостоятельного значения, ни самостоятельной ценности.

Подтверждается это, в частности, «в событиях дня Пятидесятницы, когда Св. Дух снизошел на апостолов, и они получили дар говорения *на разных языках*». Борисов не утверждает, что все это уже осознано человечеством, пока, к несчастью, еще находящимся в плену у секулярного гуманизма. Нет, это «лишь принципиальная установка христианского сознания». Однако он полон оптимизма. Поскольку установка эта «подлежит реализации в человеческой истории». Поскольку «*каждый* народ должен стремиться к осуществлению полноты своей личности». Поскольку он твердо убежден, что «нация есть один из уровней в иерархии христианского Космоса, часть неотменимого Божьего замысла о мире».

Рискуя профанировать метафизический пафос трактата Борисова, скажем попросту, что смысл его таков: человечество квантуется, так сказать, не отдельными индивидами, как наивно полагало до сих пор гуманистическое сознание, а нациями.

К статье Борисова примыкает эссе Ф. Корсакова «Русские судьбы», где разговор о «нации-личности» переносится с метафизических высот иерархии Космоса на грешную русскую землю. В страстном, темпераментном, символическом потоке речи, почти стихотворении, выясняет он несовместимость «Бога Авраама, Исаака и Иакова» с «Богом философов и ученых», ибо «все мудрствования просветительства дали лишь Конвент и гильотину», ибо «за вздором интеллигентского морализма», «за современной гуманистической фразеологией» все тот же «черт с рогами и копытами», все та же «антихристова структура». От необходимости понимания, от свободы думать самостоятельно — которая есть, по Корсакову, гордыня и, следовательно, первый смертный грех,— прежде всего должен отречься интеллигент, чтобы приобщиться к Истине. (Иначе говоря, он должен перестать быть интеллигентом.) Ибо без этого отречения никогда не сможет он поверить, что «именно православие, только оно одно истинно», что «все остальные христиане, а также неверующие... находятся во лжи, прелести и в дьявольском наваждении». Далее из статьи Корсакова узнаем мы, что загадка уникальности православия связана с загадкой уникальности русской нации, которая не только уму непостижима, но и коренным образом отличается от «всего остального мира, существующего в совсем иной — разомкнутой структуре». Кроме того, «все бьющие в глаза преимущества той, якобы свободной, разомкнутой системы, бесконечно

уничтожают себя», «тогда как здесь все остается с нами». Короче говоря, искомая Истина «сливается» с Россией.

При моем безнадежном невежестве в вопросах иерархии Космоса, посмею ли я оспаривать интерпретацию Пятидесятницы, предложенную Борисовым, или измерение мощности дьявольского наваждения, в котором, согласно Корсакову, пребывает девяносто семь процентов человечества? Меня интересует лишь политическая функция изложенных здесь вкратце вполне схоластических произведений. А она, по-моему, очевидна: это — религиозное обоснование изоляционистской стратегии и органической несовместимости интеллигенции с символом веры «новой правой». Пусть развалится Запад («якобы свободные, разомкнутые системы уничтожат себя»), пусть погибнет интеллигенция со своей гуманистической фразеологией («за нею все тот же черт с рогами и копытами»), Истина останется, ибо она с нами, ибо она в нас. Ибо она — Россия.

ОБРАЗОВАНЩИНА

Я историк, а не богослов. Я не могу судить, убедительней ли звучит для молодой России религиозное обоснование изоляционистской стратегии, нежели проанализированное мною историческое ее обоснование. Я могу лишь констатировать, что группа талантливых молодых людей, рискуя свободой, а быть может, и жизнью, посвятила себя такому обоснованию. Страсть и полемический пафос, с которыми они это делают, свидетельствуют, что внутри сложного и совершенно, насколько я знаю, пока не исследованного феномена, называемого «православным возрождением», идет ожесточенная борьба. Борьба за *политическую ориентацию* этого культурного феномена, которому, быть может, в значительной степени предстоит формировать будущее России. В более общем виде можно сказать, что борьба идет за политическую ориентацию следующих поколений русской интеллигенции. Какой она будет? Либерально-эйкуменической или авторитарно-изоляционистской? Западнической или татарско-мессианской? Иными словами — достойным доверия участником мирового политического процесса или вызревающей в изоляции угрозой этому процессу?

И опять, оказывается, зависит это от ответа на основной вопрос, всегда разделявший русскую интеллигенцию: является ли Россия европейской страной или предстоит ей искать «свой, особый путь в человечестве»? Или, говоря словами Солженицына,— была ли Октябрьская катастрофа 1917-го результатом «темного вихря» с Запада?

В 1970 году журнал «Вестник русского христианского движения» опубликовал цикл анонимных эссе (все были подписаны псевдонимами) советских авторов, представлявших либерально-эйкуменическое крыло «православного возрождения». «Большевизм... не варяжское нашествие,— говорилось, между прочим, в статье N. N.,— революцию делали не одни евреи. Поэтому коммунистическая власть есть не внешняя сила, но органическое порождение русской жизни, средоточие всей скверны русской души, всего греховного нароста русской истории, который нельзя механически отрезать и бросить».

Еще более отважно сформулировал эту точку зрения В. Горский: «Преодоление национал-мессианистского сознания — первоочередная задача России. Россия не сможет избавиться от деспотизма до тех пор, пока не откажется от идеи национального величия. Поэтому не „национальное возрождение“, а борьба за Свободу и духовные ценности должна стать центральной творческой идеей нашего будущего».

Не может быть сомнения, что Горский затронул здесь самую затаенную болевую точку современной «русской идеи». На какое-то историческое мгновение все фракции «диссидентской правой» — изоляционистские и мессианистские, и «хорошие», и «плохие» националисты — объединились в негодующем порыве, забыв про свои разногласия, стремясь стереть с лица земли автора кощунственного «антирусского» призыва к «борьбе за свободу». И бывший видный член ВСХСОНа Л. Бородин, и В. Осипов, и его «антоновские» оппоненты из «Вече», и Г. Шиманов, о котором еще будет говориться в этой книге,— и Солженицын. Это был одновременно и шабаш ведьм, и плач на реках Вавилонских, и шквал пророчеств [1].

[1] Чтобы дать читателю представление о методе мышления авторов этих «отпоров», процитирую лишь немногое: «В 13—15 веках Россия, истекая кровью, остановила татаро-монголов. Тогда цивилизованный мир был спасен от завоевателей, явно вдохновлявшихся темными силами... В 17 веке русские люди сокрушили Самозванца, что делает войны эпохи Смутного времени... предызображением конечной борьбы с Антихристом... Пафосом борьбы с Антихристом вдохновлялся русский народ и в войне 1812... На памяти живущего поколения вновь исполнились жертвенные судьбы России... Имеются многочисленные свидетельства, что нашествие фашистов было не только военной, но и мистической интервенцией, сопоставимой с вторжением преемников Чингис-хана... Не призывается ли [Россия] снова к тому, чтобы стать щитом против чингисидов XX века (читай: китайцев.— *А. Я.*), заявивших претензию на средневековые завоевания своих предшественников... Православная Русь есть (и она) исполнит свое религиозное предназначение до конца».

А между тем, что, собственно, случилось? Что такого возмутительного в призыве к отказу от мессианства, к борьбе за свободу и духовные ценности? Разве русскую нацию угнетает какая-либо другая нация, а не ее собственные вожди, такие же русские люди, о которых даже Солженицын предполагает, что они «не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам»? Значит, как будто бы очевидно, что препятствие, мешающее истинному возрождению России, лежит *внутри* самой русской нации, а не между ней и другими народами. Более того, разве не очевидно, что этот самый мессианизм, приняв марксистский псевдоним, является одним из краеугольных камней той самой идеологии, той лжи, борьбе с которой Солженицын посвятил свою жизнь? И тем не менее вся «русская правая», и Солженицын в том числе, восприняли статью Горского как пощечину.

Впрочем, в отличие от других, Солженицын в своей статье «Образованщина» не скорбел, не плакал и не пророчествовал. Солженицын бил. Вложив в этот удар весь свой авторитет и мировую славу, Солженицын бил теперь не по вождям (с ними он согласен был на диалог), бил по своим. По бывшим диссидентским союзникам, по самиздатовским мыслителям, по интеллигентам, мучительно ищущим выхода из российского тупика (в том числе и по тем, кто самоотверженно выступал в его защиту). Он был беспощаден. Он не считался с тем, что, когда писалась эта статья, он, как точно заметила Юлия Вишневская, «слишком хорошо знал, что его авторитет в „образованцической“ среде — огромен, что любая критика его взглядов может быть расценена чуть ли не как сотрудничество с КГБ».

Анализируя Программу ВСХСОНа, я говорил о политической нетерпимости ее авторов, толерантных только к «близким по духу». Но когда был ВСХСОН? На заре туманной юности «русской правой». Только сейчас, когда «новая правая» набрала силу,— становилось совершенно очевидно, что националистическое сознание *органически* не приемлет политического инакомыслия, что, приди эти люди к власти в России, никакой обещанной Солженицыным «колосьбы мыслей» не будет, ибо никакой оппозиции, в особенности «антирусской», они не потерпят. И еще одно становилось очевидно: если в корне всех бед русского прошлого — с точки зрения «правой» — лежал «темный вихрь» с Запада, то в корне всех бед русского будущего лежит европейская, антиизоляционистская, антимессианская ориентация советской интеллигенции. Вот почему на самом деле так дружно и яростно атаковала ее вся «русская правая».

Пустив в оборот презрительный термин «образованщина», Солженицын тем самым, по сути, отрицал само существование современной русской интеллигенции, отказывая ей как в человеческом достоинстве, так и в нравственности миросозерцания, отлучая ее от процесса «духовного возрождения» страны.

Я не хочу подробно останавливаться на несправедливости этого приговора или даже на полном отсутствии в нем логики (сравнивая дореволюционную и современную русскую интеллигенцию, Солженицын высказывает свое отвращение к первой за ее «жертвенность», а к последней — за отсутствие этой самой «жертвенности»). Я хочу обратить внимание читателя на другое, гораздо более зловещее, с моей точки зрения, обстоятельство.

Внимательно читая «Образованщину», просто невозможно не заметить в ней такие сентенции, как «потеря в образовании — не главная потеря в жизни», и такие рекомендации, как создание новой «жертвенной элиты», нового ядра нации, «воспитанного не столько в библиотеках, сколько в нравственных испытаниях». Причем, оказывается, образовательный ценз и число печатных научных работ тут совершенно ни к чему, ибо мы пойдем к народу рядом с «полуграмотными проповедниками религии». Тут уже чувствуется что-то неотразимо чалмаевское, что-то заставляющее предположить, что солженицынская «образованщина» есть лишь прозрачный псевдоним чалмаевского «просвещенного мещанства». Вспомним, по Чалмаеву, все национальные подвиги в русской истории совершены были «проповедниками религии» в союзе с «вождями» России. И совершены притом *против воли* «просвещенного мещанства».

О, разумеется, Чалмаев и Солженицын, «национал-большевики» и «возрожденцы» — противники во всем, что касается сегодняшнего дня России. Но посмотрите, как на наших глазах превращаются они в союзников во всем, что касается ее прошлого. И самое главное — во всем, что касается ее будущего.

Чалмаевские «пустынножители», спасавшие Россию из бездны греха, и солженицынские «полуграмотные проповедники религии» — не близнецы ли они? Чалмаевские «цари» — не положительный ли они пример для солженицынских «вождей»? О сходстве «просвещенного мещанства» и «образованщины» уже говорилось. По какой-то причине и Солженицын, и Чалмаев выделили именно три формообразующих элемента в структуре русского общества. И элементы эти оказались у них одинаковыми.

ИДЕЙНЫЕ ИТОГИ «ИЗ-ПОД ГЛЫБ»

1. Концепция мирового кризиса, «напоминающего переход от средневековья к новому времени», кризиса, порожденного секуляризацией культуры в эпоху Возрождения и ведущего с неизбежностью либо к исправлению этой ошибки, то есть созданию новой религиозной цивилизации, либо к гибели человечества.

2. Концепция демократии как исторического извращения, возникшего из великой ошибки Возрождения и ведущего человечество в тупик безверия и анархии.

3. Концепция «двух свобод» — внутренней и внешней,— ведущая к противопоставлению свободы нравственной (как исторической цели нации) свободе интеллектуальной и политической.

4. Концепция просвещенного авторитаризма как альтернативы, с одной стороны, тоталитаризму, а с другой — демократии.

5. Концепция трехэлементности современного мира, сближающая точки зрения авторов сборника «Из-под глыб» и «Вече», а именно: угрожающий тоталитарный Китай, гибнущий демократический Запад и силящаяся воскреснуть в просвещенном авторитаризме Россия.

6. Концепция «нации-личности» как «неотменимого Божьего замысла о мире», оправдывающая национальный изоляционизм и стратегию невмешательства в дела человечества.

7. Концепция интеллигенции-«образованщины» как вредоносного секулярного нароста на теле общества, симулирующего роль национальной элиты и тем препятствующего образованию действительной элиты.

8. Концепция новой «жертвенной» элиты, воспитанной «не столько в библиотеках, сколько в нравственных испытаниях», призванной в диалоге с вождями и на почве национального возрождения обеспечить продвижение России к спасительному «просвещенному авторитаризму».

ДЬЯВОЛИАДА-1

Читатель имел уже достаточно оснований убедиться, что все доктрины «русской новой правой», даже самые либеральные, пронизаны недоверием к интеллигенции. Все они подозревают ее в склонности к секулярности и европеизму.

Даже допуская в своих проектах будущей России разномыслие в области культуры, они не желают допустить в них политическое инакомыслие. Они игнорируют решающую проблему политической оппозиции.

Так не может ли быть, что чалмаевское проклятие сытости и образованию, и антоновский призыв к новой космополитической кампании, и откровенная тоска «патриотических» масс по погромам, и осиповско-солженицынский «сибирский гамбит», толкующий о деурбанизации и деиндустриализации общества, и проект «идеологической реориентации диктатуры» авторов «Слова нации»,— не может ли быть, что при всем их очевидном различии — порождены они общей целью? А именно: сконструировать такую экономическую и культурную модель России, в которой не было бы места этой слишком податливой к европеизации элите. Модель, которая предполагала бы полное устранение ее от участия в решении судеб страны и замену ее в качестве национальной элиты некой истинно русской комбинацией из «вождей» и «полуграмотных проповедников религии». Тем более, что православие как национальная идеология представляло бы собой в этом случае самый прочный барьер против европейских «еретических» веяний.

Может быть, таким образом пытаются они раз и навсегда обезопасить Россию от новых «темных вихрей с Запада», от его сатанократических тенденций. Ибо пока эти тенденции имеют внутри России столь мощного социального агента, все попытки изолировать ее, сделать иммунной к западной заразе окажутся бесплодными.

Если это предположение верно, мы обнаружим следующий логический ряд в сознании представителей «русской идеи» в советской системе.

1. С момента своей секуляризации Запад оказался легкой добычей для сатаны.

2. За столетия, протекшие со времен Ренессанса, он прочно попал во власть сатанократии.

3. Наличие православной России, счастливо избегшей «мощных ренессансных объятий» Запада, представляет главное предприятие для тотальной секуляризации и, так сказать, сатанократизации мира.

4. Поэтому Запад регулярно насылает на Россию «темные вихри», предназначенные подорвать источник ее внутренней мощи, ее верность православию.

5. Делает он это через секулярных «бесов», называющих себя интеллигенцией.

Хотя общие очертания проблемы ясны, техническая сторона западных сатанократических манипуляций, ее механизм оставался неисследованным, темным — до появления солженицынского памфлета «Ленин в Цюрихе». В нем впервые была сделана гигантская попытка обнажить сатанинскую природу последнего, большевистского «темного вихря», взорвавшего Россию,— с помощью отравленных европеизмом «бесов» русской интеллигенции. Вот почему в историософском смысле «Ленин в Цюрихе» представляет квинтэссенцию современной «русской идеи». В этом отношении он был самым значительным ее произведением, до появления второго издания «Августа 14», о котором речь пойдет в следующей главе.

«ЛЕНИН В ЦЮРИХЕ»

В принципе, я избегаю суждений о политических взглядах Солженицына по его литературным произведениям. Однако то, что пишет он в эмиграции, представляется мне скорее серией политических памфлетов, нежели беллетристикой в прямом смысле этого слова. Именно в этом качестве я и рассматриваю «Ленина в Цюрихе».

Что Ленин рисуется в этой книге полурусским (вернее, на одну четверть — по крови — русским) и притом ненавидящим Россию,— это понятно.[1] Что цель его — по Солженицыну — состояла в том, чтобы «ампутировать Россию кругом»,— это понятно тоже. Но менее понятно, на первый взгляд, почему Солженицын сталкивает Ленина с человеком, который не только равен ему — и в своей силе, и в своей нерусскости, и в своей ненависти к России,— но даже, по собственному ленинскому признанию, превосходит его во всех отношениях. Прирожденный боец, Ленин не знал страха — нигде и ни перед кем, «и только перед этим одним не ощущал уверенности. Не знал, устоял ли бы против него, как против врага». «Всех социал-демократов мира знал Ленин, или каким ключом отомкнуть или на какую полку поставить» — и только этот один «не отмыкался, не ставился, а дорогу загораживал».

Этот человек — чудовищное «скрещение теоретика, политика и дельца» — единственный в мире, был сильнее Ленина во всем. И в изумительной дальновидности, и в не знающей себе равных политической интуиции, и в умении видеть, чего не видел никто. При желании он мог бы лишить Ленина всего, ради чего Ленин жил,— политического лидерства — как он уже сделал это однажды во время первой русской революции 1905-го. Тогда «тот топал всю дорогу впереди и топал верно, не сбиваясь — и отнял всякую волю идти и всякую инициативу». «В ту революцию Ленин был придавлен (этим человеком), как боком слона... Он сидел на заседаниях Совета, слушал героев дня — и висла его голова». Ему даже «не с чем выступить с трибуны самому», ибо «все шло... настолько хорошо» под руководством того, другого, что «вождю большевиков не оставалось места».

Этот человек обладал «бегемотской гениальной головой», каким-то невероятным «сейсмическим чувством недр», «беспощадным нечеловеческим умом», он «25 лет проболтался по Европе Агасфером» и в то же время всегда мог «предсказать раньше всех и дальше всех». Этот человек и теперь, в 1916-м (когда происходит действие в книге Солженицына), видит яснее Ленина, знает больше. Он опять может отнять у него политическое лидерство и тем самым погубить его окончательно. Когда Ленин раздавлен и разочарован, когда он уже ни во что больше не верит, собираясь уехать в Америку, вдруг приходит этот человек и спокойно говорит: «А я — назначаю русскую революцию на 9 января будущего года!» (И ошибся-то всего на месяц.)

Но нет, на этот раз он — «автор... Отец русской революции», он — действительный изобретатель советской власти, который с полным правом говорит у Солженицына: «мои Советы», этот «Бегемот» не только не намерен устранять Ленина, на этот раз он сам приходит к Ленину. Приходит к слабому, поверженному, бессильному сопернику — предлагать сотрудничество.

Почему? Зачем? Вот он, самый важный сейчас, решающий для нас вопрос. Не потому ли, что в первую революцию, в 1905-м, этот Агасфер сделал ошибку, поставив на *еврея* Троцкого как на потенциального лидера *русской* революции? Не потому ли, что тогда он потерпел поражение, и Россия пережила 1905-й год? Новую революцию она не должна пережить. Вот почему сейчас нужен русский (пусть и на четвертушку) Ленин. Вот почему в меморандуме германскому правительству он «прямо назвал Ленина... как свою главную опору. Взять Ленина своей правой рукой, как в ту революцию Троцкого,— был верный успех».

Конечно, этот человек — германский агент. Конечно, он получает миллионы от немцев. Конечно, он хочет всего лишь нанять Ленина как исполнителя своего замысла.

---

[1] «И зачем он родился в этой рогожной стране? Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой четвертушки привязала судьба к дрянной российской колымаге! Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями нисколько не состоял в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной» (А. Солженицын. Ленин в Цюрихе. Париж. Имка-Пресс, 1975, с. 87). Далее ссылки на это издание даны в тексте.

как гениального русского «беса», чтобы разрушить Россию. Это понятно. Это очевидно. Но разве это объясняет автоматически его нечеловеческий ум, его сейсмическое чувство недр, его умение предсказать раньше всех и дальше всех, умение — перед которым терялся, стушевывался, отходил на задний план даже гениальный «бес» Ленин? Так служит ли он германскому генеральному штабу? Или германский генеральный штаб служит ему? Ведь замысел-то принадлежит ему, а не немцам, и играет он свою игру, а не немецкую. Ясно же, что и немцы для него не больше, чем Ленин — исполнители. Он просто использует их для достижения своей дьявольской цели, как использовал когда-то Троцкого, как намерен сейчас использовать Ленина. Нет, он не «бес», он — искуситель бесов («он всегда старался действовать из тени, не попадать на фотографии, не давать пищи биографам»), он — сам Мефистофель «бесовства», он вдохновитель, он — серый кардинал, он — действительный хозяин истории, в руках которого и большевики, и немцы — лишь куклы на ниточках, дергающиеся по его воле. По крайней мере, так рисует его Солженицын. И тут поневоле закрадывается сомнение: да о человеке ли идет речь?

Да, о человеке, который имел имя и существовал реально. Это был Израиль Лазаревич Парвус (настоящая фамилия Гельфанд) — в реальной жизни — социал-демократ, в солженицынской интерпретации — еврей из России, блуждавший по Европе с единственной целью: мобилизовать ее ресурсы для того, чтобы наслать «черный вихрь» на Россию. Войной — так войной, революцией — так революцией, на германские деньги — так на германские, социалистическими идеями — так социалистическими. Какая ему разница? Огромная нечеловеческая цель вдохновляет это существо с нечеловеческим умом. И если у читателя оставались еще какие-то сомнения в том, что это сам сатана (предсказанный Константином Леонтьевым еврей-антихрист, вышедший из недр России), Солженицын рассеивает их следующей замечательной сценой.

ЯВЛЕНИЕ АНТИХРИСТА

Сцена эта происходит в Цюрихе, в маленькой бедной комнатке угнетенного и обессиленного Ленина, когда немецкий еврей Скларц передает ему предложение Парвуса. Предложение, которому предстоит на десятилетия вперед определить судьбу России. На улице сумерки, в лампе нет керосина, но она почему-то продолжает гореть, не светя. В комнате темно, но Ленин каким-то непонятным образом читает. Роскошную шляпу свою Скларц бросил на бедный стол, кожаный баул оставил посередине комнаты. Ленин читает письмо Парвуса — и тут начинают происходить невероятные вещи. «Скосились глаза (Ленина) на Скларцев баул — тяжелый, набитый, как он его таскает?.. зачем?» Потом «шляпа позади лампы — качнулась, показав атласную подкладку. Да нет, лежала спокойно, как оставил ее Скларц». Потому мелькнула у Ленина странная мысль: «Что за баул? Величиной со свинью». Потом вдруг сама по себе «на бауле ручка перекинулась с одной стороны на другую — хляп». Здесь уже читатель начинает ощущать отчетливый запах серы. Тем более, что «керосина в лампе не было — а горела уже час». (Не язык ли адского пламени?) «Тр-ресь!! — расперло, наконец, баул, — и, освобождая локти и выпрямляя спину, разогнулся, поднялся в рост во всю свою тушу, в синей тройке, с брильянтовыми запонками, — и разминая ноги, ступнул, ступнул поближе. Стоял — натуральный, во плоти... удлиненно-купольная голова, мясисто-бульдожья физиономия с эспаньолкой — и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина. Дружелюбно».

Явился Сатана. Израиль Лазаревич — возникший из тьмы — стоял перед Лениным собственной персоной и — хотя его тут не было — говорил. И Ленин отвечал ему. «Хотя горлом речь не выходила... И без языка было все взаимопонятно». И от этого загадочного (хотя и традиционного) возникновения из ничего, и от этой речи «без языка», и от того, что Парвус «дышал болотным дыханием, близко в лицо» — мурашки по коже, не правда ли? Но главное — *что* говорил Ленину Сатана, как дьявольски обольстительна, как разоружающе убедительна была сатанинская логика. Читатель чувствует, «как током билась в горящие руки, вливалась в жилы, сплескивалась с ленинской кровью и боролась с ней бегемотская кровь Парвуса». А потом вдруг все исчезло, «ни стола, ни Скларца — а только кровать железная швейцарская, массивная с ними могучими двумя — плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим революции от них двоих... неслась по темному кругу». «Навязывал, вкачивал свою бегемотскую кровь» в Ленина Сатана.

А теперь, сотворив крестное знамение, давайте подведем итоги. Для нас, естественно, важна здесь не столько реальная роль Парвуса в русской революции, сколько его нереальная роль — в книге Солженицына. А роль эта, как видим, однозначна: поднять поверженного «беса» на сатанинский подвиг разрушения России.

Образ «сатанократии», как, наверное, помнит читатель, преследует «новую праву» с самого начала, еще с ВСХСОНа. В «Письме трех» антоновцев в «Вече» «сатанинские происки» уже превратились в повод для союза с властью. Но все это было бледно, бесплотно, написано бескровным политическим пером. У Солженицына этот образ предстал перед нами во плоти. Вот как она, оказывается, выглядит вживе — сатанократия. Вот как, оказывается, покупал русскую интеллигенцию в лице Ленина на германские деньги Антихрист. Вот как он зарождался, «темный вихрь». Можно ли доверять после этого интеллигенции? Не заслуживает ли она политического уничтожения? Как же не отстранить ее от решения судеб страны? Не изгнать дьявола из больного тела Святой Руси?

В предыдущей главе я говорил о том, как сплелась невольно солженицынская мысль с чалмаевской. Теперь — как сплетается она с антоновской мыслью, как неудержимо гонит его «темный вихрь» борьбы с отечественными «образованцами» в объятия отечественных фашистов.

«АВГУСТ 14»: СОЛЖЕНИЦЫН ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА

Что бросится в глаза всякому, кто попытается охватить одним взглядом политическую эволюцию Солженицына? Непрерывная и драматическая серия отречений от собственных взглядов. Причем в каждом случае процесс отречения осложнялся тем, что любое предыдущее убеждение казалось ему в свое время единственно возможным (*«истина одна»*.— выделяет он курсивом уже в 1982 году). Можно предположить, что догматическому уму, верующему в единственность истины, отречение от очередного абсолюта должно представляться своего рода крушением мира. Солженицын пережил все эти идеологические метаморфозы. За каждую из них приходилось платить, однако.

ОТРЕЧЕНИЯ

В юности, в конце 1930-х годов, когда Солженицын впервые задумал гигантскую эпопею о русской революции, его истина сводилась к достаточно тривиальному в тогдашней России антицаризму. Отсюда, по-видимому, замысел начать эпопею (которая называется теперь «Красное колесо») со страшного разгрома русских войск в Восточной Пруссии в августе 1914 года — замысел, вполне точно отражающий политическое кредо Солженицына тех лет. Роман должен был обнажить безнадежную гнилость православной монархии — ее обреченность. В этом, надо полагать, и виделось тогда Солженицыну высшее оправдание революции — ее неизбежность.

В лагере Солженицын отрекся от антицаризма и стал антисталинистом. Этому первому отречению мы обязаны «Иваном Денисовичем» и «Раковым корпусом». Оно принесло Солженицыну взлет художественного дарования. К концу 1960-х годов, однако, когда писался «ГУЛаг», пришло время второго отречения — от антисталинизма. Солженицын стал антиленинистом и русским националистом.

Так же, как левые диссиденты считали его своим в 1960-е годы, экстремистские антикоммунисты стали считать своим в следующем десятилетии. С точки зрения попутчиков, многие из которых называют себя неолибералами, на этом политическая эволюция Солженицына должна была завершиться. В самом деле, куда двигаться направо дальше неолиберального антикоммунизма? Дальше фашизм.

Неолибералам, однако, предстояло такое же разочарование, какое постигло их предшественников. В исторической эпопее, которую Солженицын пишет сегодня и идеологическим ключом к которой является новая двухтомная редакция «Августа 14», он совершает свое третье отречение. Согласно нынешней истине Солженицына, сам ленинизм оказывается «почти эпизодом» и «во всяком случае, следствием» либерализма. Источник русской катастрофы он видит теперь не в ленинизме, а в либерализме, а источник грядущей мировой катастрофы, соответственно, не столько в коммунизме, сколько в своих неолиберальных попутчиках.

Если читателю нужны еще доказательства идеологического вырождения «хорошего» националиста, ему достаточно познакомиться с новой редакцией «Августа 14» и сопровождающими ее статьями, интервью и письмами. Впрочем, чтение это может оказаться тяжелым испытанием само по себе. Ибо серия идеологических отречений наказала Солженицына самым страшным, что может случиться с писателем,— художественным бесплодием, утратой чувства меры и пропорции, без которых не может быть писателя.

НОВАЯ ИСТИНА

«Шесть лет не читал я ни сборников их, ни памфлетов, ни журналов, хотя редкая там статья не заострялась также и даже особенно против меня. Я работал в отдалении, не обязанный нигде, ни с кем из них встречаться, знакомиться, разговаривать.

Занятый „Узлами", я эти годы продремал все их нападки и всю их полемику. Уже загалдели все печатное пространство, уже измазали меня в две дюжины мазутных кистей... захлебнулись в собственном яде». Так жалуется Солженицын в письме «Наши плюралисты», адресованном на этот раз не вождям СССР, а русскому народу, и направленном не против «черного вихря» с Запада, околдовавшего этот народ в 1917 году, а против его собственной сегодняшней интеллектуальной элиты.

Самому себе представляется он теперь витязем, в одиночку спасающим Россию. Он открывает глаза миру, столько десятилетий прозябавшему во тьме невежества. Даже академические попутчики, даже неолиберальные антикоммунисты не шли до сих пор дальше вчерашней истины Солженицына, согласно которой кучка конспираторов-большевиков разрушила Россию, и коммунистическая Октябрьская революция лежит в основе ее несчастий. Умудренный опытом эмигрантской борьбы с «захлебнувшимися в собственном яде» русскими западниками, Солженицын пошел дальше. Сегодняшняя его истина состоит в том, что, «собственно говоря, революция в России была одна, не пятого года, и не Октябрьская, а Февральская, она и есть решающая революция, которая и *повернула ход нашей истории*, да и всей земли. Октябрьская является почти эпизодом и во всяком случае следствием Февраля». Ибо, как разъясняет Солженицын в «Августе 14», «Россия в обозримое время не могла бы деваться и даже выжить при сломе ее монархического облика и устоя».

Не может быть России без православной монархии — гласит сегодняшняя истина Солженицына (во всяком случае, Россию не самодержавную и не православную он не согласен признать Россией). И каково же ему видеть, что именно свержение царизма стараются увековечить его либеральные западнические критики, именно «февральскую» катастрофу снова развязать в стране: «Вдруг отвались завтра партийная бюрократия — эти *культурные силы* тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымирании мы услышим их тысячекратный рев... а о правах, о правах... и разгрохают наши останки в еще одном Феврале, в еще одном развале». Десять лет борьбы в эмиграции — с либералами, противниками коммунизма убедили Солженицына, что вовсе не в коммунизме корень российских бед, но в губительном «тысячекратном реве» о правах человека.

ЗАВЕРШЕНИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

В своем докладе «Парадокс Солженицына: на полпути к Леонтьеву», я имел в виду лишь опасность, которой чревата была политическая эволюция Солженицына с момента, когда он оказался коренником в упряжке возродившейся «русской идеи». Начав, как Константин Аксаков, с борьбы против политического идолопоклонства, прославившей его в 1960-е годы, он мог — в поисках «истинно русской» альтернативы советскому режиму — соскользнуть к апологии православной монархии, в которой оказался бы неотличим от Константина Леонтьева. Для того, чтобы эта метаморфоза совершилась, нужен был кризис — катализатор идеологического вырождения. Я не мог тогда знать, что именно сыграет роль этого рокового катализатора в мировоззрении Солженицына. Я знал только, что уже в 1975 году он был на полпути к этой метаморфозе. Теперь мы знаем, что случилось: десятилетие эмигрантской борьбы стало этим катализатором. Солженицын действительно превратился в современного Константина Леонтьева. Метаморфоза совершилась.

«Избави Боже, большинству русских дойти до того, до чего, шаг за шагом, дошли уже многие французы, то есть до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить. На что нам Россия не самодержавная и не православная? На что нам такая Россия? Такой России служить можно разве по нужде и дурному страху». Это сказал Константин Леонтьев. Именно потому и предлагал он в свое время «подморозить Россию, чтоб она не гнила». Он не простил бы ей либеральную, западническую революцию. Для него она была бы началом конца России. Но разве не это самое слышим мы сейчас от Солженицына?

Даже если бы Россия свободно проголосовала за республику вместо православной монархии (как она, собственно, и сделала при выборах в Учредительное собрание в 1917 году), Леонтьев отказался бы принять ее выбор. Не Россию он любил, а самодержавие в России. Солженицыну 1980-х годов точно так же, как Леонтьеву 1880-х, не нужна Россия ни самодержавная и ни православная. В «Августе 14» он и сам нашел слова, точно характеризующие то направление русской мысли, к которому он теперь принадлежит: «Нетерпящая правая крайность, которая знать не желает никакого развития общества, никакого движения мысли, никаких, тем более, уступок, а только всемолитвенное поклонение царю да каменную неподвижность страны — еще век, еще век, еще век».

ЖАЛОБА

Так или иначе, сегодняшний Солженицын не сомневается, как не сомневался Леонтьев, что его критики — враги русского народа.

Иначе не может он объяснить, почему замалчивают они его роман-эпопею, где, по его мнению, найдено средство отвратить новую катастрофу России. Этой эпопее безраздельно посвятил он свою жизнь. Ради нее отрекся от мира и, подобно мифическому Атласу, взвалил себе на плечи земную твердь. А критики спорят с ним, как с каким-нибудь заурядным партийным публицистом, судят его по его речам и интервью, делая вид, что гигантского литературного шедевра, где разгаданы все исторические загадки и отвечено на все вопросы, как бы и не существует. «Да ведь вот мой десяток томов, да ведь вот дюжина исторических глав — критикуйте! разносите! раздолье! Тут и целая желанная *программа* есть для разноса — Шипова (пока поглубже, чем все, предложенное нашими плюралистами), петит ли мелок, глаза не берут? Нет! Спорят со мной, как с партийным публицистом. Накидываются со всеми трубами на какой-нибудь один абзац какого-нибудь интервью».

По-человечески жалко Солженицына. В самом деле, в добровольном заточении пишет человек годами том за томом гигантский всеспасающий шедевр литературы — и философии, и истории,— а толпа соотечественников-«образованцев» игнорирует труд, вместивший в себя и новую «Войну и мир», и новых «Бесов», и новых «Отцов и детей». Мало того, еще и измазали автора в «две дюжины мазутных кистей». Еще и самой глубокой *программой* возрождении России пренебрегли, словно и нет ее. Что ж, мы еще поговорим о шиповско-солженицынской программе «сочетания самодержавия и самоуправления». Тем более, что впервые за все эти годы сослался наконец Солженицын на источник своего вдохновения.

Но прежде я бы хотел рассмотреть феномен удивительного равнодушия соотечественников к «Августу 14». Почему так упорно отказываются они не только принять Солженицына в духовные руководители, но даже и признать роман литературным событием? В чем здесь загадка? Тем более, что речь идет о тех самых людях, которые всего несколько лет назад были преданнейшими и восторженными его читателями, которые видели в нем будущее отечественной словесности.

Объяснение Солженицына мы уже знаем: заговор против России. «Разные уровни развития, разные возрасты, разная самостоятельность мысли, а все — в единую оглушающую дуду: против России! Как сговорились». Но ведь это объяснение само нуждается в объяснении. С чего бы, в самом деле, всем этим людям «сговариваться» против своей родины? Зачем отрекаться от новых книг еще недавно столь превозносимого автора «В круге первом» и «Ракового корпуса»? Они и в 1960-е годы могли с ним не соглашаться. Однако это не мешало им видеть тогда в Солженицыне надежду на воскрешение русской литературы. Почему же избегают они касаться новых его книг, не критикуют, не спорят, даже не вспоминают?

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Главный вопрос «Августа 14»: кто погубил русскую армию в лесах и болотах Восточной Пруссии? Кто виноват в самой трагической военной катастрофе России, которая определила и ход всей войны, и ее исход, и вылилась в конечном счете в политическую катастрофу 1917 года? Иначе говоря, это вопрос о судьбе России в XX веке.

Те, кто ответствен за бедствия августа 14-го, ответственны и за ту единственную, по Солженицыну, февральскую революцию, повернувшую ход русской истории. Согласно Солженицыну — партийному пропагандисту, ответ на этот вопрос однозначен: либералы, террористы, большевики, евреи — одним словом, «бесы», вдохновленные декадентским Западом. Другого ответа, с точки зрения императива «русской идеи», и быть не может. Ведь в противном случае окажется, как и думал прежний Солженицын, антимонархист 1930-х годов, что виновата в русской катастрофе гнилость православной монархии, ее вопиющая неспособность справиться с историческим упадком империи. Для Солженицына-пропагандиста такое признание было бы равносильно политическому самоубийству. Он знает свой партийный долг и делает все возможное, чтобы исполнить его в труде, в котором, как он думает, вершится суд истории.

С самого начала возникает на сцене в качестве обвиняемого Запад. Французский посол Палеолог пишет царю: «Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной». Через несколько глав читаем письмо Французского министерства иностранных дел своему послу, а затем и иронический комментарий автора: «Вместо готовности 29 дней от мобилизации назначили наступать на 15-й день, при неготовых тылах,— такая нервная спешка всех охватила спасать Париж». Еще через несколько глав снова возникает тема «спасения Франции» как причина трудностей, испытыва-

мых русской армией в Пруссии. Таким образом, Запад, как и положено ему по партийному канону, занимает свое законное место на скамье подсудимых.

Само собой разумеется, еще через несколько глав там же окажутся и большевики — в лице Ленина, который «действовал волей влекущей его силы» (что это была за сила, читателю уже известно) и захвачен здесь в самый момент зарождения предательского лозунга превращения империалистической войны в гражданскую. Даже если монолог, вложенный в его уста Солженицыным, сомнителен с точки зрения литературного вкуса, он все равно заслуживает воспроизведения: «А-а, попался хищный стервятник с герба! Схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Обкарнать теперь тебя — до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! Только и способен давить других, ни на что больше! Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу — отделение! Чтоб ты подох!»

В этой замечательной тираде только одна маленькая неясность: почему, собственно говоря, отделение Польши, или Финляндии, или Прибалтийского края, или даже Украины и Кавказа квалифицируется здесь как ампутация *России*, а не русской *империи?* Что именно так ненавидит солженицынский Ленин — Россию или империю? Если, как явствует из текста, империю, то в чем, собственно, не согласен с ним Солженицын? За что воюет он сегодня — за Россию или за империю? «Отчего бы нам с Польшей не жить, как вольный с вольными, как равный с равными? Отчего же всех мы должны забирать к себе в крепостное право? Чем мы лучше их?» Это вовсе не Ленин говорил, а Герцен. Или он тоже,по мнению Солженицына, виноват в намерении ампутировать Россию? Опасно иногда проговаривается Солженицын...

Как бы то ни было, большевики тоже занимают свое законное место на скамье подсудимых — в качестве обвиняемых в августовской катастрофе — даже если ничего, кроме безвкусного монолога, им в вину не вменяется.

Интеллигентов-нигилистов, то есть «образованцев», олицетворяет в действующей армии прапорщик Саша Ленартович, который, правда, никакого особенного вклада в августовскую катастрофу не вносит, кроме размышлений о бессмысленности этой войны и попытки сдаться в плен, когда армия уже разбита. Зато обе его тетки показаны Солженицыным пространно и многословно. Впрочем, их вина в катастрофе заключается лишь в попытках убедить племянницу-студентку в том, что монархия — позор для России. Это, конечно, может вызвать негодование у партийных «патриотов», но прямого отношения к военным действиям не имеет.

Что касается террористов, то они представлены на исторической скамье подсудимых впечатляющим многообразием: «народоволки, анархисты, эсерки, максималистки»,— но опять-таки только в воспоминаниях теток Ленартовича, а не на поле боя в Восточной Пруссии.

Сюда же — к обвинению, предъявленному террористам,— входит и рассказанная больше, чем на двухстах страницах, история убийства Мордкой Богровым, чьи «прадед по отцу и дед по матери были винными откупщиками», премьер-министра Петра Столыпина, который был «сыном генерал-адъютанта, правнуком сенатора». История эта, однако, заслуживает специального разговора, и я еще вернусь к ней в следующей главе. Здесь же лишь отмечу, что поскольку произошли эти события за три года до августа 1914-го, то прямого отношения к катастрофе они тоже как будто бы не имеют.

Наконец, в заключительной сцене романа опять возникает тема виновности Запада. Полковник Воротынцев, alter ego автора, произносит перед русским генералитетом яростный монолог — с «той прямотой, какая прощается мертвым».

Как Солженицын в «ГУЛАГе» говорит с вождями советской империи от имени невинно погибших, так Воротынцев говорит от их имени с вождями руссиой империи. Но даже и в этом приступе гнева ясно отдает себе отчет Воротынцев, что не в желании спасти Францию коренилась причина катастрофы русской армии, но в умопомрачительной бездарности этих самых вождей, в их полной, совершенной и безнадежной неспособности вести армию, вести войну, вести Россию. «Мы не умеем водить части крупнее полка — вот вывод».

Вот как Солженицын, забывший в пылу негодования обязанности партийного пропагандиста, характеризует людей, которым доверена была в православной монархии судьба армии, фронта, войны, России. Постовский — «блеклый, нерешительный, но старательный генерал-майор, не бывавший сроду ни на одной войне», «это пресс-папье никогда ничего не понимало и понять не могло». Кондратович — «трус известный». Благовещенский — «мешок с дерьмом. Да жидким, протекает». Клюев — «жбан с квашней, а не генерал!»; «никогда отроду не бывал на войне». Артамонов — «врун», «переодетый в генерала солдат-бегунок... Но почему он был генерал-от-инфантерии? Почему в его неосмотрительной власти оказалось 64 тысячи русских воинов?».

О командующих корпусами действующий армии сказано следующее: «Генералы у нас — дураки и трусы». Жилинский, командующий фронтом — «живой труп», «гробокопатель». Янушкевич, начальник генерального штаба — «бархатная тряпка»: «по каждому его бабьему движению видно, что это — лжегенерал, и как же может состоять начальником штаба Верховного? И нет сил помешать ему погубить хоть и всю воюющую армию всей России». Данилов, главный стратег русской армии — «жвачный»; «а лоб-то был туп!.. а мысли дохлые!» И, наконец, сам верховный главнокомандующий — «августейший Дылда... конечно, рост, вид, голос... а в голове своего ничего».

Никто из этих людей не либерал, не еврей, не террорист — одним словом, не «бес». Поставили их на места, которые они занимают, не тетки Ленартовича, не Ленин и даже не Парвус. Главных из этих «дылд», «жвачных» и «тряпок» назначил лично православный монарх. Они в свою очередь на посты командующих фронтами, армиями и корпусами подобрали себе подобных. Что до «живого трупа» и «гробокопателя», то есть Жилинского, «он близок был ко двору Марии Федоровны», вдовствующей императрицы, той самой, что была единственной опорой Столыпина.

Как же случилось, что все они — от корпусных до верховного — представляют собой, во всяком случае, в изображении Солженицына, сплошную кунсткамеру, коллекцию монстров — один, так сказать, «мешок с дерьмом»? Кто погубил русскую армию в лесах и болотах Восточной Пруссии в августе 14-го — и с ней Россию? «Бесы» со своим «тысячекратным ревом о правах»? Они, кому следовало быть виноватыми, согласно Солженицыну — партийному пропагандисту и императиву «русской идеи»? Или монстры, созданные и поставленные к рулю той самой православной монархией, которую Солженицын и его товарищи по вере в «русскую идею» предлагают сейчас в качестве политического идеала будущей России?

Солженицын-романист отвечает на этот вопрос без колебаний: виноват царизм. И этот ответ Солженицына-романиста превращает текст «Августа 14» в август 14-го для Солженицына — партийного пропагандиста.

РАЗДВОЕНИЕ ИСТИНЫ

Бездарность военного или политического руководства вовсе не монополия православной монархии. Такое может случиться при любом государственном строе, включая и ненавистный Солженицыну «парламентаризм». Немыслимо, однако, представить себе главу государства или правительства в демократической системе, который не был бы устранен со своего поста немедленно после того, как его политика привела к военной катастрофе, предопределившей исход войны. При «парламентаризме» существуют легальные процедуры, делающие такое устранение минимально болезненным для страны в ситуации кризиса. Иначе говоря, при «парламентаризме» военная катастрофа вовсе не обязательно должна превратиться в катастрофу национальную. Роковой порок средневековой православной монархии в том и состоит, что безболезненное исправление ошибок государственной политики в ней невозможно. Вот почему она делает национальную катастрофу *неизбежной.*

Солженицын-писатель демонстрирует это в заключительной сцене романа, кончающейся полной и безусловной победой монархических монстров и крахом Воротынцева, питавшего смутную, утопическую, солженицынскую надежду, что православную монархию еще можно спасти в последнюю минуту — от самой себя. Оказалось, нельзя.

Солженицын превосходно знает, как знал Константин Аксаков, что православная монархия представляла собой общественное устройство, при котором «всеобщее развращение или ослабление нравственных начал дошли до огромных размеров». Знает, что развращение это «сделалось уже не личным грехом, а общественным», что «здесь является безнравственность целого общественного устройства». Солженицын-романист яростно эту безнравственность обличает: «Чем выше штаб... тем резче, непременнее жди там — самолюбов, чинолюбов, окостенелых... Не одиночки, но целая толпа их, кто понимает армию как удобную, до блеска чищенную и ковром выстланную лестницу, на ступеньках которой выдаются звезды и звездочки». «Ковровая лестница возвышений» устроена при православной монархии так, что «лучше продвигаются по ней не волевые, а послушные, не умные, а исполнительные, кто больше сумеет понравиться высшим», что идет это продвижение «по стажу бездарности и по придворным протекциям».

Самое убийственное для православной монархии, однако, согласно Солженицыну-романисту, это то, то «главный тон им всем — задавал государь». И поэтому, если даже чудом в ситуации экстраординарного национального кризиса выдвинется к рулю православной монархии действительно человек государственного ума, такой, как Петр Столыпин, не оценит его монархия, не убережет, предаст. И останется он в истории как вешатель для левых и «предатель» для правых. И будет хоронить «Россия своего лучшего — за сто лет или за двести — главу правительства — при насмешках, презрении, отворачивании левых, полулевых и правых. От эмигрантов-террористов до благочестивого царя».

Для Солженицына-романиста православная монархия — «это омут. Дегтярный. Даже круги не пойдут», что бы ни сделали для ее спасения преданные ей люди. Воротынцев «кинулся в операцию, потому что думал — судьба армии и победа решаются в низах, на деле. Но когда на верхах *так чувствуют* — это уже за пределами тактики и стратегии». Действительно, это в области политики, о которой так безапелляционно судит Солженицын — партийный пропагандист, настойчиво, строка за строкой, слово за слоаом сбиваемый с позиций Солженицыным-романистом.

Вся полемика Солженицына с «нашими плюралистами» основана на утверждении, что «истина одна» (и потому нет надобности в плюрализме, потому что плюрализм — ложь). Но в «Августе 14» мы убеждаемся, что есть по меньшей мере две истины: одной владеет романист Солженицын, другой Солженицын-пропагандист. Которому из этих двух, беспощадно отрицающих друг друга Солженицыных, должны мы верить? В самом конце «Августа 14» у одного из них неожиданно вырывается: «Вот, вдруг тоскливое ощущение за всех нас — не на месте... Заблудились. Не то делаем».

Именно это и говорят «наши плюралисты» Солженицыну: заблудились вы, Александр Исаевич, не то делаете, не туда зовете страну. Уже столкнула однажды в пропасть Россию православная монархия. Неужто вы хотели бы видеть у руля ее в грозный ядерный век еще одного Николая Второго? Еще один «мешок с дерьмом»?

Солженицын-партиец знает, что «применять свои ценности при оценке чужих суждений есть невежество и насилие», но только и делает, что «применяет», повторяя вслед за Леонтьевым: «На что нам Россия не самодержавная и не православная! На что нам такая Россия?»

Право, лучше не закончить мне эту картину противоборства двух Солженицыных, нежели адресовать к обоим заклинание одного из них: «И в последней надежде я все это написал и взываю... господа, товарищи, очнитесь же! Россия — не просто же географическое пространство, колоритный фон для вашего „самовыражения". Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот язык, несите же что-нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько-нибудь любви и попытки понять».

ДЬЯВОЛИАДА-2

Я попытался показать эволюцию «русской идеи» на протяжении полутора столетий. Три поколения ее проповедников жили при православной монархии и одно — в советский период. Полагаю, этого достаточно, чтобы судить о том, как поступают они, когда противоречие между доктриной и реальностью становится очевидным (например, что случилось с Солженицыным в «Августе 14»). Один из стереотипов поведения адептов «русского спора» состоит, как мы видели, в переводе политического спора в плоскость метафизики, в сферу борьбы абсолютного Добра с абсолютным Злом, в область противостояния России Дьяволу. Именно это делали идеологи ВСХСОНа и читатели «Вече», возрождая к жизни «сатанократию». Так поступает и редактор «Континента» В. Максимов,— подменяя современную политику метафизикой, и эмигрантский публицист Б. Парамонов,— подменяя политическую доктрину славянофилов «культурфилософией».

Другой образец состоит в том, чтобы обвинить в русских бедах кого-нибудь нерусского. Для славянофилов второго поколения, например, роль дьявола-искусителя исполняла парламентарная Европа: «Было время, когда русские верхние классы... обольщенные соблазном западной цивилизации... спешили отречься от своей народности. Не имея возможности тотчас *переродиться*, они торопились *перерядиться*. Ложь чужой национальности щеголяла открыто в напудренном парике... Настало другое время... русские люди... верхние классы общества *переродились*... полнейшее духовное лакейство пред Европою». Это Иван Аксаков. В третьем славянофильском поколении роль виновника всех российских бед прочно укрепилась за евреями.

Наконец, еще один — и самый замечательный — образец аргументации проповедников «русской идеи» в экстремальной ситуации: объединение евреев и Дьявола в одну риторическую фигуру всемирного Зла. Так поступил, как помнит читатель, Однизгоев. Так поступил Солженицын в Дьяволиаде-1, где Израиль Парвус счастливо оказался и евреем, и сатаной.

УБИЙЦА МОНАРХИИ

Очередная смена идеологических вех в «Августе 14» поставила Солженицына-партийца перед непримиримым противоречием: либералы, которым, согласно императиву «русской идеи», полагалось быть виновниками катастрофы православной монархии, оказались, согласно Солженицыну-романисту,ни при чем. Вместо доказательства партийного тезиса получился конфуз. «Август 14»

в своей первой редакции был беспощадным, не оставляющим никаких лазеок обличением православной монархии. Как примирить это противоречие?

Повинуясь традиционным образцам поведения проповедников «русской идеи» — и не останавливаясь даже перед разрушением художественной целостности романа,— Солженицын вводит в новую редакцию еврейскую тему.

В центре ее оказывается не имеющая никакого отношения к августовской катастрофе история Петра Столыпина, прозрачно символизирующего Россию, и еврея Мордки Богрова, убивающего Россию, повинуясь «трехтысячелетнему, тонкому, уверенному зову» своей расы. В художественном смысле история эта губительна для «Августа 14», в партийно-политическом — она предназначена его спасти. Ибо никак иначе нельзя доказать, что, несмотря на предсмертный старческий маразм православной монархии, так откровенно продемонстрированный самим Солженицыным, умерла она все-таки не сама по себе, но была сокрушена «бесами».

Солженицын не оставляет у читателя ни малейшего сомнения в том, что только Столыпин способен был обеспечить праaославной монархии счастливое будущее, что в нем заключалась единственная надежда России противостоять «бесам». «В оправданье фамилии, он был действительно *столпом* государства. Он стал центром русской жизни, как ни один из царей. (И вправду, качества его были царские.) Это опять был *Петр* над Россией». Под водительством нового Петра «Россия выздоравливала непоправимо». Что Богров, стреляя в Столыпина, стрелял тем самым в «сердце государства», сомнений опять-таки быть не может. Он убил «не только премьер-министра, но целую государственную программу», повернув таким образом «ход истории 170-миллионного народа».

С другой стороны, читатель не должен оставаться в неведении, что ход этой истории был повернут именно евреем. И Солженицын вводит в текст подлинные слова Богрова: «Позвольте вам напомнить,— говорит Богров,— до сих пор живем мы под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. А где Герценштейн? А где Йоллос? Где тысячи растерзанных евреев [мужчин, женщин и детей с распоротыми животами, с отрезанными носами и ушами]?» (В квадратных скобках часть подлинного высказывания Богрова, опущенная Солженицыным.) Даже критик Л. Лосев, вполне сочувствующий Солженицыну, вынужден отметить: «С самого начала имя Богрова в повести окружено почти исключительно еврейскими именами... Нееврейских имен вокруг Богрова почти нет, тогда как в документах их больше половины... Для Солженицына не так важно, что Богров пошляк, как то, что он еврей». «Я боролся за благо и счастье еврейского народа»,— скажет в день повешения Богров. И Солженицын подтвердит: «Это было — единственное несменённое из его показаний». «Тут — Богров не комбинировал, не изобретал, он оставался верен до конца своему народу».

НОВАЯ ДИЛЕММА

Итак, 2 сентября 1911 года в Киевском городском театре еврей Мордка Богров, повинуясь «трехтысячелетнему тонкому, уверенному зову» своего народа, убил православную русскую монархию. «Этими пулями была убита уже — династия». «Ход истории 170-миллионного народа» был прерван в этот день насильственно и бесповоротно. И виновность «бесов» была доказана. Центральное противоречие «Августа 14» как будто бы устранено: второй метод аргументации проповедников «русской идеи» сработал... Или нет?

В самом деле, не слышали ли мы уже от Солженицына, что «повернула ход нашей истории, да и всей земли» некая «решающая революция», а вовсе не выстрел Мордки Богрова? Речь там, помнится, шла о феврале 1917 года, а не о сентябре 1911-го. И «решающий» характер этой февральской революции как будто бы именно в том и состоял, что либералы со своим «тысячекратным ревом о правах» «разгрохали» православную монархию, свергли трехсотлетнюю династию. Как же в таком случае умудрился убить эту самую династию Богров, повешенный за несколько лет до того? И что на самом деле повернуло «ход нашей истории, да и всей земли» — еврейская террористическая акция или либеральная революция?

Как видим, Солженицын опять оказался перед драматической дилеммой. В процессе устранения одного противоречия родилось новое, еще более глубокое. Неужели десять глав, 230 страниц, безжалостно искалеченная художественная ткань романа — все впустую? Как решить эту дилемму? Как уравнять перед судом истории либеральную революцию и еврейский террористический акт? Стоит представить себе ее масштабы, чтобы увидеть, что Дьяволиада-2 по сути в ней запрограммирована. Только приписав террористическому акту сверхчеловеческое значение, только возвысив его до статуса абсолютного Зла, замыслов которого не можем мы знать, как не знаем мы замысла Божия, способен автор устранить хронологический разрыв, слив воедино сентябрь 1911 года и февраль 1917-го, презренного Богрова и ненавистных либера-

лов,— все они, в конце концов, оказываются орудием единого надмирного Зла, поднявшего меч на Россию.

Короче, мало несчастному Богрову, что он еврей, приходится ему, как и Парвусу, принять на себя роль дьявола. Только если дьявольское естество Израиля Парвуса предстало в облике бегемота, то дьявольская сущность Мордки Богрова появится перед читателем в более традиционном обличье — библейского змия.

Дьяволизация Богрова, если можно так выразиться, происходит постепенно, вводится осторожно, поначалу вполне незаметными штрихами. Вот Богрову удается «проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией». Через несколько страниц собеседник увидит его вдруг «с передлиненными верхними двумя резцами, они выдвигались вперед, когда при разговоре поднималась верхняя губа». Еще через несколько страниц он будет ползти по шесту — «совершенно гладкому, без зазубрины, без сучка... ни за что не держась», «всем телом своим тереться и переползать по неправдоподобиям». Страницей дальше сходство со змием растет: Богров «с удлиненной стиснутой головой, постоянно чуть изогнутой набок, с постоянно несомкнутыми губами». Ни жало, ни яд еще не упоминаются, только «узкая голова чуть на сторону», только «завораживает, как пение редкой птицы, вытянувшей шею, и даже врагам своим в такие минуты он кажется милым», хотя — и тут впервые метафора становится опасно открытой — «он хотел только впустить между ними каплю расслабляющего яда».

Теперь у читателя сомнений нет: перед ним змий. А Богров все полз по роковому шесту, «вился, вился» со своим «привораживающим взглядом, чуть набок плосковатую голову». И — автор даже посочувствовал ему — «как уже устали все мускулы кольца!». Но все это время «те несколько нужных капель для рокового мига должны были накопиться, насочиться — в мозгу? в зобу? в зубу?». Вот как видит Богрова Столыпин, когда наступил наконец «роковой миг» — ужалить: «шел, как извивался, узкий, длинный, во фраке, черный... долголицый молодой еврей». Ужалил, «змеясь черной спиной, убегал». Образ еврея слился с образом змия. Только библейский ли это был змий?

ТРАДИЦИОННЫЙ СИМВОЛ

Едва ли может быть сомнение, что Солженицын прибег к этой новой Дьяволиаде от отчаяния — от невозможности реалистическими художественными средствами примирить безжалостное противоречие между реальностью, отвергающей императив «русской идеи», с партийным каноном. Но не слишком ли часто, не опасно ли часто приходится ему самому «переползать по неправдоподобиям»? Не слишком ли гладок, «без зазубрины, без сучка», оказывается тоненький перешеек, отделяющий антилиберализм от черносотенства, а черносотенство от нацизма?

«Аллегорическая змея,— говорит Уолтер Лакер,— играла огромную роль в русской антисемитской литературе и была импортирована в Германию в 1920-е годы». В следующем десятилетии, уже при нацистах, Григорий Бостунич — «недостающее звено между черносотенством и нацизмом» — отыскал в архивах древнюю карту Европы, переплетенную змеей. Согласно его комментариям, змея символизировала именно то, что символизирует она у Солженицына,— только у образованного Бостунича в глобальном масштабе: историю успешных попыток евреев «разгрохать» государства, стоявшие на их пути к мировому господству. Тут и Афины в 429 году до н. э,. и Рим Августа, и Испания при Карле Пятом, и Франция при Людовике Четырнадцатом, и, конечно же, Россия в 1917 году. Именно за это «открытие» Бостунич и был произведен в почетные профессора СС. Параллель с традиционной символикой черносотенства-нацизма настолько очевидна, что даже благожелательный эмигрантский критик Лосев не смог ее не отметить: «В самом образе змеи, смертельно ужалившей сотворяющего крестное знамение славянского рыцаря, антисемит без труда может усмотреть параллель со своей любимой книгой „Протоколами сионских мудрецов"». Едва ли нужно быть антисемитом, однако, чтобы усмотреть эту прозрачную параллель в новой редакции «Августа 14».

Что же в самом деле «накопляется» у Солженицына «в мозгу? в зобу? в зубу?», что делает его неспособным сопротивляться дьявольскому искушению отождествить еврея с дьяволом?

СТОЛЫПИН ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА

Самое печальное во всей этой истории, однако, заключается в том, что и дьявол не спасает «Август 14». Ибо, как демонстрирует Солженицын-романист, пули Богрова поразили политического мертвеца. К сентябрю 1911 года Столыпина как государственного деятеля уже не существовало.

В политической катастрофе Столыпина, точно так же, как в августовской военной катастрофе, ни Запад, ни либералы, ни евреи, ни дьявол не были повинны. Если, конечно, не считать либералом или западником Григория Распутина, который, как отмечает Солженицын, «предлагал нижегородскому губернатору пост министра внутренних дел» при живом министре внутренних дел Столыпине. За полгода до богровского выстрела «чуткие придворные носы распознали, что Государь бесповоротно охладел и даже овраждебнел к Столыпину. И *в сферах* стала складываться вокруг Столыпина атмосфера конченности», «где-то за кулисами и не проявясь, Государь уже отказался от своего министра-председателя».

В Государственном Совете, где генерал Курлов, которого прочили в преемники Столыпина, имел много сторонников, уже весной 1911 года «откровенно говорили, что тот доживает последние недели, а то и дни, и его переместят на какую-нибудь почетную бесполезную должность». Более того, «значение министра-председателя было настолько явно для всех утеряно... что для Курлова было почти унижение — выбиться из общего тона и серьезно принимать во внимание своего бывшего шефа». «Курлов смотрел и поражался, как бесповоротно пал в своем значении председатель Совета министров. Он попросил у Курлова место в его железнодорожном вагоне в Чернигов.

— Как, разве ваше превосходительство не имеет места на царском пароходе?

— Меня не пригласили.

Последний знак унижения и немилости! Да, в малые дни предстояло ему потерять пост».

Так вправду ли стрелял Богров в «сердце государства»? Правда ли, что убил он «не только премьер-министра, но целую государственную программу»? Правда ли, что выстрел его «повернул ход истории 170-миллионного народа»? Неправда. Ход этой истории был повернут задолго до его выстрела. И Столыпин знал это лучше своего запоздалого апологета. Солженицын утверждает: «Русская жизнь выздоравливала — непоправимо». Столыпин вносит поправку: «Вот еще несколько лет проживут на моих занасах, как верблюды живут на накопленном жиру, а после того — все рухнет». И, в отличие от Солженицына, не винил в этом близком, при дверях («еще несколько лет») крушении ни либералов, ни террористов, ни Запад.

ДВА ПЕТРА

Солженицын пишет о Столыпине так, словно тот был первым русским реформатором, чья смелая программа государственного строительства провалилась. До Столыпина был, однако, Александр Второй, чью программу государственного строительства опрокинула контрреформа другого православного монарха Александра Третьего. А до того был Александр Первый, чьи реформистские попытки сменились сначала политической стагнацией, а затем и «душевредным деспотизмом» еще одного православного монарха Николая Первого. Возникали на русской политической сцене реформистские лидеры и после Столыпина: Керенский, Бухарин, Хрущев. Результаты их попыток нисколько, однако, не отличались от тех, которыми кончались попытки императоров и их премьер-министров, то есть либо контрреформой, либо политической стагнацией.

Но вернемся к Столыпину. Для левых он вошел в историю как царский сатрап, подавивший революцию и разогнавший Государственную Думу. Для правых — как «предатель» и «революционер». Это правда, что его не поняли ни современники, ни потомки. И если бы Солженицын попытался восстановить его истинную роль в русской истории, это была бы благодарная задача. Солженицын, однако, пишет апологию, житие святого Петра. Это оказывает дурную услугу памяти Столыпина. «Как верующему невозможно делать что-либо серьезное, говоря и полагая, что он делает это своей мощью, а не по Божьей милости, так монархисту невозможно браться за большое дело для родины, выйдя из пределов монархопочитания». Таким образом, Солженицын превращает Столыпина в тривиального реставратора православной монархии в то время как он был одним из выдающихся ее разрушителей. И монархия это превосходно понимала — потому и убила его.

Сравнивая Столыпина с Петром Первым, одним из главных столпов «душевредного деспотизма», легализовавшим двойное рабство русского крестьянства — помещикам и общине, Солженицын оскорбляет память Столыпина, смысл деятельности которого состоял в разрушении этого рабства. Они принадлежали не только к различным, но к смертельно враждующим между собой русским политическим традициям. Петр осуществил одну из самых страшных контрреформ в русской истории, приведшую страну, даже по мнению ближайших его сотрудников, «на край конечной гибели», а Столыпин,— несмотря на подавление революции и разгон Думы,— был реформатором.

Как сказать в нескольких словах о том, что различает этих двух Петров, если началось их роковое противостояние еще в те времена, когда ни императоров, ни премьер-министров, ни тем более секретарей центрального комитета не существовало? Началось оно со Столыпина пятнадцатого века — Великого князя Московского Ивана Третьего, затеявшего первую русскую реформу, и с внука его Ивана Четвертого, кото-

рый семь десятилетий спустя ответил на вызов деда сокрушительной контрреформой. В самой сжатой форме различие это сводится к тому, что реформаторы пытались разрушить средневековую политическую систему, а контрреформаторы — ее увековечить.

Главным средством разрушения средневековой системы повсюду в Европе служило создание сильного среднего класса. Предотвратить его разрушение можно было только одним способом: препятствуя возникновению этого классса. А поскольку единственным известным европейской истории способом создать сильный средний класс была свободная дифференциация крестьянстаа, надо было ее насильственно прекратить. Крепостное право, крестьянская община, коллективизация сельского хозяйства — это все сменявшие друг друга в русской истории формы искусственного прекращения крестьянской дифференциации, это — институционализированная контрреформа. Это — традиция православной монархии, где, согласно Солженицыну, «осознанно, неосознанно, весь правящий класс дрожал и корыстно держался за свои земли — дворянские, великокняжеские, удельные: только начнись где-нибудь, какое-нибудь движение земельной собственности — ах, как бы не дошло и до нашей».

На протяжении столетий православная монархия упорно держала форт против среднего класса и дифференциации крестьянства. Политический идеал ее строителей заключался в могущественной военной империи, для которой сильный средний класс был только помехой, потенциальным конкурентом правящего военно-бюрократического слоя. Она была создана для войны, не для процветания общества. Она видела свою цель и славу — в строительстве империи, в подавлении других наций, а не в благоденствии подданных. И поэтому она столетиями цементировала все щели возможной дифференциации крестьянства.

В этом смысле Иосиф Сталин, загнавший крестьян в колхозное рабство, был достойным продолжателем Ивана Четвертого и Петра Первого, которым обязано русское крестьянство своим рабством.

В этом смысле Хрущев с его реформой, открывавшей дорогу автономии и самостоятельности крестьянских артелей, был продолжателем Александра Второго и Петра Столыпина, разрушавших крепостное право и общину, а с ними — «осознанно, неосознанно» — и средневековую империю.

БЕЗ СТРАТЕГИИ

Трагедия России заключается, однако, в том, что ее реформаторы всегда терпели поражения, а ее контрреформаторы — будь то в православной монархии или в ее советском инобытии — всегда торжествовали победу. И поэтому самая фундаментальная проблема русской истории состоит, по-моему, в том, почему Россия оказалась единственной в Европе страной, где все без исключения реформы, ориентированные на расчищение каналов дифференциации и создание сильного среднего класса, провалились. Повинуясь императиву «русской идеи», Солженицын даже не замечает этой проблемы. И все-таки, описывая поражение одного из русских лидеров реформы, он невольно проливает свет на механику постоянных провалов русской реформы.

На десятках страниц сообщает Солженицын читателю все детали «государственной программы» Столыпина, его реформаторские планы. Но нигде, ни единым словом не обмолвились ни автор, ни его герой о том, *как* могли быть эти планы реализованы — посредством каких политических коалиций, при помощи каких инструментов, каких маневров, опираясь на какую политическую базу. И невольно возникает вопрос: да была ли вообще у Столыпина какая бы то ни было политическая стратегия? Какая бы то ни было политическая база? Солженицын убеждает: *не было никакой.*

Здесь он невольно, вопреки собственным намерениям затрагивает роковую слабость всех русских реформаторов. У всех у них были «государственные программы». Ни у кого из них, однако, не было разработанной, реалистичной, серьезной политической стратегии реализации этой программы. Ни один из них — в отличие, скажем, от Бисмарка или Кавура — не знал, *как* ее осуществить. Но даже на фоне этой общей слабости русских реформаторов Столыпин выделяется своей отчаянной политической беспомощностью. Снова и снова повторяет Солженицын, что со Столыпина «мог начаться и начинался коренно-новый период в русской истории», «3 июня было началом великого строительства России...» Однако из фактов, которые он приводит, читатель убеждается в обратном. Столыпин полностью зависел от капризов пустого и ничтожного царя, которому совершенно не было дела до его «государственной программы» и который в любую минуту мог «легко отшатнуться и предать своего министра». А царь этот сам, согласно Солженицыну, был во власти «высшего служилого и придворного слоя», людей, о которых Столыпин думал: «Сколько же десятков — или сотен? — таких карьерных шкур и составляли слой власти в России». А «слой власти», естественно, отвечал ему тем же. Для него Столыпин был «интриган [который] обольстил, обморочил Государя, и передержался на своем посту — но по всем счетам ему пора было убираться!»

НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА

Уже осенью 1908 года, то есть за три года до богровского выстрела, солженицынский Столыпин выглядит скорее, как генерал Ярузельский в недавней Польше. Столыпин разогнал Думу. Ярузельский разогнал «Солидарность». Столыпин был предан анафеме либералами и Западом. Ярузельский — тоже. Столыпин оказался «предателем» и «интриганом» в глазах правых бронтозавров, которых он спас в момент подъема революции. В глазах польских партийных бронтозавров, которых он спас от «Солидарности», Ярузельский такой же интриган и предатель. Но едва непосредственная опасность миновала, «политика Столыпина стала им всем нетерпима и невозможна... им *всем*... придворной камарилье, которой при конституционном строе ничего не остается делать, как только исчезнуть; отставным бюрократам, всем неудавшимся правителям, плотно сжившимся в правом крыле Государственного Совета (он был засижен отставными бездельниками, и в них останавливалось продвижение живого дела, как в старческом организме останавливается кровь); и — той зубровой части дворянства, которая полагала господствовать Россией еще столетья вперед, не поддавшись на вершок».

В политическом отношении вся разница между Ярузельским и Столыпиным в том, что первого держит на плаву Москва, а последнего не держал никто. Вот почему уже с осени 1908 года Столыпин был политическим мертвецом. Вот откуда возникло у него самого «ощущение почти сплошное — разгрома, и не в одном этом законе, а — во всем пятилетии управления, во всех замыслах жизни».

Перед нами все та же кунсткамера, та же коллекция монстров православной монархии, которая привела русскую армию к августовской катастрофе. Только там были генералы, осуществлявшие военную политику России, а здесь — «придворная камарилья», «отставные бездельники» и «зубры»,— осуществлявшие государственную политику православной монархии. Это они убили Столыпина — точно так же, как полстолетия спустя их наследники убили Хрущева. Они привели государственный корабль России на рифы контрреформы так же, как военные монстры и «мешки с дерьмом» привели ее к катастрофе августа 14-го.

Выходит, зря насиловал Солженицын свою музу, повинуясь стопятидесятилетнему тонкому, уверенному зову «русской идеи», зря втискивал в новую редакцию «Августа 14» сотни страниц, посвященных злокозненным либералам и кровавым террористам, ⟨...⟩ зря воскресил библейского (или нацистского?) змия. Точно так же, как предала православная монархия его героев Воротынцева и Столыпина, «русская идея» предала Солженицына.

ПРОГРАММА ШИПОВА

Пора, однако, обратиться в «государственной программе» будущей России, которую Солженицын позаимствовал, по его словам, у Дмитрия Шипова и за невнимание к которой так обиделся он на своих оппонентов. «Петит ли мелок, глаза не берут?» — ядовито спрашивал он «образованцев». Не знаю, как у других, мои глаза «берут» в ней только старую аксаковскую программу «земского государства», оказавшуюся безнадежным анахронизмом уже в 1880-е годы. Правда, в 1881 году Иван Аксаков снова вытащил ее из славянофильских сундуков в отчаянной попытке убедить Александра Третьего созвать Земский Собор, «способный — по словам П. А. Зайончковского — посрамить все конституции в мире». Он не скрывал тогда, что «это *последняя ставка:* пропади она — выйдет фиаско, спасения больше нет». Дело только в том, что «последняя ставка» провалилась в 1880-е годы так же, как за два десятилетия до того. Окончательно обанкротилась она в 1904 году, когда «русская идея» пошла другим путем, оставляя далеко на обочине кучку славянофильских сектантов «неподвижного аксаковского стиля», как говорил о них Леонтьев, «земских меньшевиков», как называает их Солженицын, представлявших, по его же словам, «крохотное меньшинство», «меньшинство утлое» даже среди самых деятелей русского земства XX века.

Вот эту сектантскую кучку хранителей славянофильских древностей и возглавлял Дмитрий Шипов, и ее-то архаическую программу, трижды за полстолетия отвергнутую православной монархией, и предлагает сейчас Солженицын как средство спасения России в ядерном веке.

Для читателя, познакомившегося с исторической драмой «русской идеи», в программе Шипова — Солженицына нет решительно ничего нового. Ядро ее в утверждении, что государство не есть потенциальный враг общества, из чего традиционно исходили западные мыслители и отцы-основатели американской конституции, а, напротив, его потенциальный сотрудник. «Русские искони думали,— пишет Солженицын,— не о борьбе с властью, но о совокупной с ней деятельности для устроения жизни по-божески».

В программе, разумеется, воскрешается славянофильский миф, десятилетия назад опровергнутый классиками русской историографии: «Так же думали и цари Древней

Руси, не отделявшие себя от народа... Прежние государи искали творить не свою волю, но выражать соборную совесть народа — и еще не утеряно восстановить дух того строя». «И такой строй — выше конституционного, ибо предполагает не борьбу между Государем и обществом, не драку между партиями, но согласные поиски добра». Поэтому «должно возродить в новой форме Земские Соборы, установить государственно-земский строй», иначе говоря, самодержавие в сочетании с местным самоуправлением. «Без взаимного доверия (между государством и обществом) нельзя ожидать прочного успеха в устроении государства... Да это и была программа Шипова и его меньшинства!»

Неважно, что никогда такого «государственно-земского строя» в России не существовало. Неважно, что ни Аксаков, ни Шипов, ни Солженицын *никогда* не могли привести *ни одного примера* в подтверждение славянофильского мифа. Неважно, что программа сочетания самодержавия и самоуправления, которую на словах признавали все славянофилы, у большинства представителей их третьего поколения отлично уживалась тем не менее с самым диким шовинизмом и черносотенством, с необузданными имперскими амбициями. Неважно, наконец, что сам этот лозунг — «сочетание самодержавия и самоуправления — историческая дорога наша» — был одним из краеугольных камней имперской утопии выродившегося славянофильства XX века. Важно, что у Солженицына есть программа, на которую «образованцам» нечего ответить. Можно ли, однако, упрекать их за отказ серьезно обсуждать такие обветшавшие пустяки?

Но допустим даже, что это — превосходная программа. Все равно остается старый вопрос: почему ни Александр Второй, ни Александр Третий, ни Николай Второй ее не приняли? Почему убила ее та самая православная монархия, которую воспевает теперь, после очередного политического отречения, Солженицын? И какие есть у нас основания ожидать, что, скажем, Александр Четвертый или Николай Третий окажется не фашистским фюрером новой России, а благолепным древнерусским государем, заимствованным из славянофильской мифологии?

Увы, так же, как «Август 14» оказался художественной катастрофой Солженицына, программа Шипова оказывается его катастрофой политической.

КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНУЛСЯ ФАШИЗМ: ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Читательская почта «Вече» так же, как и «Слово нации», достаточно ясно продемонстрировали пропасть, разверзшуюся между национал-либеральными интеллектуалами и «православно-патриотическими» массами задолго до нового издания «Августа 14». Есть основания полагать, что некоторые лидеры либерального национализма, и в частности Солженицын, были обеспокоены этим растущим разрывом и пытались сократить его, идя, так сказать, навстречу пожеланиям масс.

В одном из читательских писем, например,— задолго до публикации «Архипелага ГУЛага» — Солженицына упрекнули: «В обильных лагерных отступлениях у вас не найдешь упоминания, что Натан Френкель был начальником ГУЛага, Берман — начальником строительства Беломор-канала, Коган — начальником строительства дороги Котлас — Воркута и тому подобное». И Солженицын должным образом вводит все эти имена — и даже фотографии — в текст «Архипелага».

Автор «Критических заметок» о «Вече» протестовал против отсутствия Григория Распутина в «Августе 14». И Распутин появляется на страницах второго издания.

Читатель жаловался в 1971 году: «Я не знаю точно, кто вы — русский или еврей?.. Может быть, вы русский человек, на которого давит окружение, жена-еврейка... Тогда я прошу об одном — подумайте о своем народе. Поймите, что возврата к буржуазно-еврейской республике нет, что советы — это русская форма народоправства, которая еще обретет силу». И к советам будет высказана должная симпатия в «Письме вождям», и крик отчаяния «подумайте о своем народе» будет в это письмо инкорпорирован, и «буржуазно-еврейская» республика февраля 1917-го будет подобающим образом проклята в «Наших плюралистах». А уж что касается арийского происхождения Солженицына, оно будет столь красноречиво продемонстрировано в обеих его «дьяволиадах», что даже у самого скептического патриота не может остаться ни малейших расовых претензий.

При всем том, однако, ни Солженицын, ни его товарищи по либеральному национализму, ни тем более западные его попутчики не оказались в состоянии перескочить пропасть, отделяющую их от «православно-патриотического» читателя. Не могут они, в конце концов, последовать совету «христианского националиста» иеродиакона Варсонофия и приступить к «изысканию способов практического сближения» с коммунистическим государством. Не могут они начать проповедовать «переориентацию» коммунистической диктатуры с тем, чтобы она положила конец «беспорядочной гибридизации» и «исполнила свой долг перед нацией и расой». Их православию, в отличие от антоновского, претит воссоединение с ленинизмом. И так же, как не смог сделать этого Осипов, не в состоянии они посвятить себя пропаганде «процентной нормы» для евреев и уподобиться физику-теоретику Тяпкину, разоблачая Эйнштейна как псевдоученого. Не желают они реабилитировать Сталина даже на том основании, что «он любил беседовать с патриархом». Другими словами, не в силах они переступить через свое отвращение к «душевредному коммунизму» так же, как не мог в свое время Иван Аксаков разделить имперско-черносотенные восторги Сергея Шарапова.

Старая славянофильская драма повторяется снова — на подмостках XX века. Как и славянофилы, эти люди первыми заговорили о православном возрождении. Как и славянофилы, приложили они много стараний к тому, чтобы разбудить православно-патриотического патриархального мужика их утопий. И так же, как славянофилы, разбудили они вместо этого чудовище, которого не ожидали и с которым оказались не в состоянии говорить на одном языке. Разбуженный православно-патриотический читатель потребовал от них не только примирения с ненавистным им «душевредным коммунизмом» — во имя спасения России,— но и доказательства их собственной арийской полноценности.

ПЕРЕХОД

Таким образом, «Слово нации» и «Критические заметки русского человека» показали, что национал-либерализм обречен превратиться в изолированную сектантскую группу хранителей музейных славянофильских древностей, в новых Шиповых, обветшавшие программы которых никого не заинтересовали в начале XX века и уж тем более не интересуют их собственного, забежавшего далеко вперед читателя. Они еще могут создавать, чтобы угодить ему, гигантские иносказательные образы Еврея-Сатаны-Разрушителя России или издавать журнал «Континент», где позволяют себе слегка пофлиртовать и с фашизмом, объявив его «движением эпохи» и «знаком времени». Но признать, что «мировому господству [евреев] препятствует только социалистическая система» или издавать журнал «Смерть сионистским захватчикам!» они не могут. Оказалось, что у современного либерального национализма, как и у классического славянофильства, есть пределы, которых не прейдешь.

Чтобы перепрыгнуть пропасть, отделяющую их от физика-теоретика Тяпкина, нужна своего рода интеллектуальная революция, нужно крушение всех старых «идолов и идеалов» и совершенно иное видение истории. Нужен был, другими словами, переход к черносотенному национализму. Вот почему в 1970-е «русская новая правая» отчаянно нуждалась в новом Сергее Шарапове, в человеке, вышедшем из православно-патриотической массы, разделяющем ее основные верования и в то же время способном организовать ее темную ненависть к инородцам в интеллектуальную альтернативу национал-либерализму. Требовался «инструментальный лидер», как говорят социологи, способный примирить интеллект «русской идеи» с ее почвой, покончить с противоречиями между ними, решительно отбросив в сторону либеральные иллюзии обанкротившихся славянофилов «неподвижного аксаковского стиля».

Первой попытке создать идеологию черносотенного национализма, первому кандидату на роль Сергея Шарапова в «русской новой правой» посвящена следующая глава. Здесь я попытаюсь лишь показать, какой головоломной сложности задача стояла перед таким кандидатом. Я надеюсь, что мой читатель не устал еще от «патриотической» почты «русской новой правой». Обратимся на минуту к ней снова.

«НАГРОМОЖДЕНИЕ ЛЖИ»

У Солженицына-романиста среди причин развала православной монархии находим и «придворную камарилью», и «отставных бездельников» из Государственного совета, и «зубровую часть дворянства», и символического «бегемота» Парвуса, и символического змия Богрова, и даже «тысячелетний тонкий, уверенный зов» еврейского народа. Другими словами, в мышлении Солженицына преобладает смесь причин социологических и демонических. Но православно-патриотическому читателю надоела символика, он объелся метафизическими иносказаниями, а уж социология ему и вовсе ни к чему. Человек он сугубо практический: ему нужны имена и адреса явочных квартир конспираторов, ему нужно то самое, чего добивался он от Солженицына перед выходом «Архипелага ГУЛага»: фотографии действительных виновников крушения православной монархии — евреев-заговорщиков. «Но у вас нет ни слова об истинных причинах поражения и развала. Нет и следа гнусной деятельности банды евреев-капиталистов, которым принадлежала почти вся пресса и большая часть промышленной России. Нет Распутина, выставленного и используемого для разложения страны кликой Винавера и Арона Самуиловича Симановича, нет предательства, нет Митьки

Рубинштейна и других международных банкиров-сионистов, стремившихся сокрушить Россию во что бы то ни стало, нет науськивания друг на друга русского и немецкого народов, на крови которых лондонские, парижские и венские Ротшильды, русские [евреи] Поляковы и Гинцберги выпекали свое золото». (Здесь и далее цитаты из писем в статье М. Агурского «Неонацистская опасность в Советском Союзе». «Новый журнал», 1975, № 118.)

В картине мира, представляющейся единственно адекватной разбуженному православно-патриотическому сознанию, евреи не только развалили русскую православную монархию, но и развязали мировую войну. По сути читатель требует от Солженицына, если тот хочет быть его духовным вождем, как раз того, чего сам Солженицын требует от советских вождей — «жить не по лжи». Поскольку он так же, как Солженицын, убежден, что «истина одна», и он эту истину знает, автор письма просто не может понять, почему человек, разбудивший его мысль, лицемерит. Почему не гремит на весь свет его мощный, набатный голос, не оставляя ни в одной честной душе сомнений, что в евреях — все зло мира? Да православный ли он на самом деле? «Может быть, прозелит... Прозелиты обычно более жестокии, чем коренные иудеи». А может, он просто боится? «Меня уверяют, что вы смелый человек. Легко быть смелым, когда печатаешься в сионистских органах, когда при малейшем ущемлении о тебе начинают вопить всякие „Свободные Европы". И вы прекрасно знаете, что при руководстве этих станций есть специальные сионистские советы. А ну, попробуйте выступить против сионистов! Хватит ли у вас смелости? Вам покровительствуют и у нас в стране... С этим письмом я подвергаюсь большей опасности, чем вы. Его-то ни одно радио не передаст».

Да, Солженицын сам внушил этому читателю «русскую идею», сам добивался его прозрения. Но когда этот читатель прозрел, среди многих других вещей, которые увидал он впервые, было и зрелище учителя, не смеющего сделать последний решительный шаг к «истине». И он усомнился в учителе — и в человеческих его качествах, и даже в его православии,— потом разочаровался в нем. И в конце концов отрекся от него: «Ваше православие — тоже поза и фальшь. Щегольство знанием поговорок, обычаев, праздников, а не вера ведет ваше кощунственное перо по бумаге. Христа, и того вы называете евреем, хотя даже я, человек... не сведущий в богословии, понимаю, что Богу национальность ни к чему».

Так же, как Солженицын, автор письма крепко стоит на почве православия, и он не испытывает к Солженицыну ни малейшей личной неприязни («Не дай Бог, я не желаю вам зла»), но все в Солженицыне ему подозрительно. Вот, например, появляется в «Августе 14» положительный еврей-инженер Илья Исаакович Архангородский, который, оказывается, тоже мечтает о «созидании России». Что может это означать для читателя, разбуженного Солженицыным? Одно: «нагромождение лжи». Ибо «откуда взяться у Ильи Исааковича мыслям о созидании России, если иудейская религия... учит его, что неевреи хуже собак, что еврею вменяется в обязанность обманывать нееврея.. что он принадлежит к избранному народу, предназначение которого — покорить все другие народы, заставить их работать на себя... Да и приходилось ему платить „шекель" — налог золотом (как платят во всем мире и сейчас), чтобы были средства у организации, борющейся за утверждение мирового господства евреев», ибо евреи «всегда ненавидят русских, всегда думают о себе, к этому их приучили с детства».

Но все это, так сказать, литературная критика, разногласия по поводу «Августа 14». Настоящий конфликт «патриотического читателя» с Солженицыным, антикоммунистом и проповедником православной монархии, возникает, понятно, на почве реальной политики.

ЛОЖНЫЙ ВЫБОР

«Патриотический» читатель вовсе не очарован коммунизмом. У него к коммунизму скорее утилитарное отношение. Для него он просто — меньшее зло. «Расшатать (коммунистическую власть) легко! Ну а потом-то что? Ведь если скинуть большевиков, к власти придут сионисты и только сионисты, у них деньги и агентура плюс блестящая организованность — у нас ничего, кроме большевистской партии, которая пусть плохо-бедно, но защищает нас». С другой стороны, как явствует, между прочим, из «Августа 14», при православной монархии русские окажутся беззащитны против сионистов. Так же, как оказались беззащитны их отцы и деды против еврейской банды Рубинштейнов, Винаверов и Симановичей. Православная монархия позволила им не только захватить в свои руки русскую прессу и промышленность, но и втравить Россию в мировую войну — и тем самым совершила политическое самоубийство.

Так какую же форму политической организации России должен предпочесть «патриотический» читатель? Беспомощную православную монархию, позволившую евреям сесть себе на шею? «Еврейско-буржуазную республику», при которой дело шло к буквально порабощению России сионистами («именно так и стоял вопрос — сделать Россию колонией Израиля»)? Или советскую власть — где «большевистская партия плохо-бедно, но все-таки защищает» Россию от всех этих напастей?

Трудно отрицать, что у «патриотического» читателя есть своя логика. Согласно этой логике, *выбор Солженицына ложен.*

Как и все национал-либералы, Солженицын сделал грубую ошибку в своей проповеди «православного возрождения». Он предположил, подобно французским просветителям, что слово его падет на tabula rasa, на девственную, готовую принять любое семя почву. На самом деле обращался он к людям, воспитанным в сети советского политпросвещения и глубоко усвоившим первоначальные истины вульгарного марксизма. Именно в связи с идеями «православного возрождения» впервые в жизни почувствовали эти люди необходимость самостоятельно применить свое «политическое просвещение» к анализу будущего страны. В результате они пришли к тому же, к чему десятилетием раньше пришел Антонов: «патриотические» истины наслоились на первоначальную политпросвещенческую основу, и образовалась зловещая взрывчатая смесь, где соображения о собственности на средства производства переплелись с идеями христианского национализма и «Протоколов сионских мудрецов».

«Советская власть, пришедшая на смену самодержавию, сделала главное — лишила сионистов в нашей стране права частной собственности на орудия и средства производства. Может быть, эта фраза набила кое-кому оскомину, но если бы не это, 2000 год для детей Израиля уже давно бы наступил, и все проблемы русского народа уже давно лежали бы на дне топок сионистских крематориев»,— утверждает один читатель. Другой подхватывает: «Все, что в нашей сети политпросвещения называется капитализмом, империализмом, эксплуатацией, угнетением,— все это относится к богатым евреям».

РЕДУКЦИЯ «МИРОВОГО ЗЛА»

Что произошло в истории «русской идеи», когда славянофилам удалось наконец в 1880-е годы разбудить «патриотическое» сознание в массах? Неожиданно рухнул дуализм «мирового зла», служивший идеологическим фундаментом либерального национализма. Он боролся, как мы помним, на два фронта: против отечественного «душевредного деспотизма» и западного парламентаризма. Но как только «русская идея» вышла за рамки интеллектуальной борьбы, превратившись, говоря словами Маркса, в материальную силу, дуалистическая структура «мирового зла» оказалась неработоспособной. Баланс между двумя ее «дьяволами» нарушился. Ненависть к «душевредному деспотизму» перешла в конструктивную критику и в попытки наладить сотрудничество с этим бывшим «дьяволом» в борьбе против другого, представлявшегося теперь единственной реальной угрозой самому существованию мира. Можно сказать, что в процессе превращения идеологии интеллектуального кружка в массовое идейное движение в «русской идее» произошла редукция «мирового зла». Оно воплотилось в еврействе. Движение превратилось в фашизм.

То же самое происходило на наших глазах с современной «русской идеей». Интеллектуалы национал-либерализма, продолжавшие настаивать на дуализме «мирового зла», отстали от времени. Для них «душевредный коммунизм» (современная метаморфоза славянофильского душевредного деспотизма) по-прежнему «дьявол». И этим они, как в свое время славянофилы, отталкивают «патриотические» массы, в сознании которых уже произошла редукция «мирового зла».

Конец второго христианского тысячелетия представляется этим массам роковой датой, когда евреи пойдут на штурм последнего бастиона национальной независимости на земле — то есть России. Они не хотят стать рабами евреев — и тут их пути с национал-либералами расходятся. Они оказываются по разные стороны баррикады: «Не исключено, что завтра снова польется русская кровь в жертву Иегове... Хотите ли вы быть рабом, Солженицын? Я — нет! Лучше умру с оружием в руках».

Такова была пропасть между национал-либеральными учителями и разбуженным «православно-патриотическим» читателем, мост через которую предстояло перебросить Геннадию Шиманову.

Окончание следует

СОЛОВЕЙ ЕЩЕ ПОЕТ В ТАРТУ?

Яан Каплински —
Йоханнесу Салминену *

Дорогой Йоханнес...

Боюсь, что Твои благожелательные слова насчет того, какие чудеса совершил советский строй в этой «невообразимой полуазиатской среде», особенно в советских республиках Средней Азии, частично основаны на дезинформации. За последний год на русском языке опубликованы столь ужасающие данные об Узбекистане и других среднеазиатских республиках, что легко согласиться с тем социологом, который причисляет женщин, работающих на хлопковых полях по двенадцать и более часов в сутки, без выходных, к самому низшему слою советского общества, который он именует «рабами». Еще одна сказка, подобная тем, какие когда-то рассказывала Анджела Дэвис.

Сомнительно, чтобы большевистская революция вообще принесла что-либо хорошее людям, живущим в пределах Российского государства. Ее наибольшая заслуга, на мой взгляд, заключается в том, что она уничтожила монопольную власть капиталистов и дворян и доказала им, что если они не изменят свои взгляды, то их ожидают поистине апокалиптические события. Большие завоевания социал-демократии и профсоюзов, возникновение развитых стран стало возможным, пожалуй, действительно благодаря Ленину, Троцкому и их революции. Освобождение колоний тоже вряд ли было бы возможно без примера, поданного Россией. И — парадоксально — Эстония и Финляндия тоже не обрели бы независимость, если бы коммунисты не были готовы разрушить Российскую империю. Сине-белый и сине-черно-белый флаги никогда не могли бы быть подняты, если бы не было красного, хотя эстонцы сейчас и не особенно любят об этом вспоминать. Ясно, что под флагом Российской империи мы никогда бы не достигли того, чего достигли.

Кое-что хотелось бы мне уточнить и по поводу твоей статьи «Сталин и Финляндия». Сталину, видимо, нравилось быть загадочным, и это подтверждается многими фактами. Однако, на мой взгляд, нет особой загадки в том, почему Сталин не захватил Финляндию и даже пресловутый Жданов вел себя дружественно.

В 1939 году кремлевские правители явно замышляли превратить Финляндию в одну из союзных республик либо сделать ее сателлитом вроде Монголии. Но это не удалось. Териокское правительство лопнуло, Финляндия осталась независимой. Хрущев пишет в своих мемуарах: надо, мол, честно признать, эту войну мы, товарищи, проиграли. Насчет зимней кампании 39—40 годов среди русских еще в 1960-х годах ходили удивительные легенды. Я сам слышал, как ветераны зимней кампании говорили о линии Маннергейма как о высшем достижении военной техники, о страшных финских женских батальонах (бедные слабые мужчины, видимо, остались в тылу), о бункерах с резиновым потолком, отражавших снаряды назад в то место, откуда были выпущены, о моторных лодках, которые двигались сами собой, без людей, поливая противника пулеметным огнем... Уважение к финскому солдату и финскому военному искусству было велико, да и сейчас, наверно, еще сохранилось, и вполне естественно, что в 1944 году Россия была готова заключить мир с Финляндией вместо того, чтобы держать там огромные военные силы. Учитывали и то, что придется воевать с партизанами, и вполне обоснованно. А кроме того, нужно уже было спешить с захватом Германии, к этому принуждали успехи союзников на западе, иначе слишком мало удалось бы захватить территорий в Германии и Центральной Европе. С точки зрения приоритетов Финляндия стояла, несомненно, на первом месте.

Однако весьма вероятно, что Финляндию (как и Грецию) замышляли без особого шума захватить позднее, что был и такой план. События могли бы развиваться как в Закавказье в 1921 году либо как в Чехословакии в 1948-м. Но план этот провалился еще на более ранней стадии, чем в Эстонии в 1924 году,— к сожалению, и слишком мало знаю обо всем этом.

Дружественность Жданова никого в Эстонии не удивила. Здесь хорошо помнят доброжелательность Сталина в 1939 году. Дядя Джо отличался пониманием и сердечностью: он поднял тост в честь президента Пятса, подарил свою фотографию с автографом министру иностранных дел Пийпу, сумел и на генерала Лайдонера произвести впечатление, будто нужды и устремления Эстонии в Москве понимают и учитывают. Мы знаем, что произошло менее чем через год... Игра в кошки-мышки всегда была излюбленной игрой деспотов, к ней, конечно, относится и по-отечески дружеская улыбка.

Я, видимо, рискую разгневать финских левых либералов, если, зная немножко лучше, какое впечатление оставил в России финский солдат, стану утверждать, что к Сталину и ему подобным и следовало относиться *исключительно* с позиции силы. Первый ответ ему пришлось дать на том языке, которым хорошо владел маршал Маннергейм и его подчиненные (ныне это сумели сделать в Афганистане). Позднейшее «взаимопонимание» стало возможным лишь благодаря неподражаемому военному мастерству финнов. Не было бы его — не было бы и у Паасикиви никакой возможности вступить с русскими в переговоры, и оснащенная колючей проволокой и сторожевыми вышками граница в Хаапарана вместе с рыбацкими лодками тамошних жителей были бы сметены с лица земли, перепилены надвое, как это было сделано с жителями Вормси в 1940 году.

Очень многим невероятно трудно отказаться от своей веры. Я верю, что твоя вера — нечто большее, что она не связана со всяческими сказками, с государством или с революцией, как у большинства коммунистов, для которых «пролетарские идеалы, партия и Советский Союз... были святынями». Верю, что и моя вера обладает иммунитетом против подобных заблуждений.

Что это — мудрость, хитрость или попросту боязнь, что мы не позволяем себя ангажировать? Что касается меня, то это ощущение некой непременной внутренней свободы, подтверждение которой я нашел позднее в буддизме, где истина не лежит ни на каком полюсе, ни слева, ни справа, ни за, ни против, не красная и не белая. Эта истина отнюдь не является удобным предлогом, чтобы держаться в стороне, это скорее то, что заставляет тебя постоянно думать и искать, стимулирует творческий процесс, что, наверно, и является одной из самых чудесных вещей в интеллектуальном мире.

Но это уже отдельная тема. Как оказывается, я писал здесь только о себе, получилось нечто среднее между трактатом и исповедью. Кому-то из читателей это скажет много, кому-то мало.

Из твоих книг я успел прокомментировать меньше, чем задумывал. Но они живут во мне — я ведь не читаю много, но читаю, кажется, очень интенсивно. Прочитанное возбуждает много собственных мыслей, но собирать их и упорядочивать не хватает времени. Да ведь из чужого сразу много и не примешь — нужно сперва все это осмыслить.

Конечно, во многом мне вести с тобой диалог нелегко. Я не так хорошо знаю европейскую культуру, все-таки мало интересовался тем, что лежит в основе западных гуманитарных штудий. Об античности могу судить немножко лучше, но больше всего меня занимают области, лежавшие несколько в стороне от высокой культуры,— кельты, Гильгамеш, фольклор. Словом, те регионы, куда не ступали войска Цезаря и не дотягивалась рука академического знания. В свое время я серьезно занимался культурной антропологией, так что в культуре остяков, например, ориентируюсь лучше, чем в итальянском Возрождении. Все это можно, пожалуй, назвать комплексом Верцингеторига.

Давно уже не выпадало мне столь интересного занятия, как чтение твоих эссе и писание этого письма. Чувствую, надо еще кое о чем написать, может быть, о сходстве и различиях между эстонцами и финнами. Думаю, это сходство мы слегка (романтически) переоцениваем, а различий зачастую не замечаем. Но об этом, видимо, позднее.

Начал письмо еще в 1988 году, в Тарту, среди предновогодней суеты и больших снегопадов. Кончаю 3 января 1989 года, в нашем «летнем домике», куда сбежали с младшими детьми, чтобы немножко отдохнуть от телефона и всяческих обязанностей, которые у нас наваливают на писателя.

Снегу намело невидимо, позавчера ночью мороз достиг 27 градусов, теперь опять оттепель, вовсю светит солнце, отбрасывая на снег синие тени. Синицы щиплют в кормушке маргарин, высоко в небе пролетает ворон, ивы ждут весны, высунув носы из-под снежных заносов. Краткий миг отдыха, просто жизни, вне истории, просто жизни, с которой порой теряем связь.

Надо топить печь, сделать кое-что на дворе. Письмо перепечатаю на машинке и отошлю через неделю, когда снова окажемся в городе.

С самыми лучшими пожеланиями
Твой Яан Каплински

Йоханнес Салминен —
Яану Каплински

Дорогой Яан,

Весна в этом году ранняя, море вокруг Друмсе уже давно освободилось ото льда. Сегодня я много часов бродил по берегу, слушая шорох волн, еще не вполне очнувшись от зимней спячки. Но покой кажется обманчивым (и в этом виновато твое письмо). Остров Друмсе окружен Финским

---

* Яан КАПЛИНСКИ, р. в 1941 в Тарту. Ведущий представитель новой эстонской поэзии шестидесятых годов. Автор детских книг. Эссеист, драматург, переводчик. Литературный дебют Я. Каплински состоялся в 1965. В настоящее время Я. Каплински — авторитетный участник скандинавской эстетической и экологической полемики.

Йоханнес САЛМИНЕН, р. в 1925 г. на Аландских островах. Доктор филологических наук, директор издательства по литературной части. Автор полемических эссе по интерпретации литературы и финской истории. Сб. «Рабы не бросают тень», 1971, «Пограничная земля», 1984, «Память об Александрии», 1988. Письма, публикуемые «Невой», взяты из диалога с Яном Каплински «Соловей еще поет в Тарту?», 1990.

заливом, с нашей горы Кварнберг в ясную погоду можно легко различить эстонский берег.

Что станет с Эстонией? Этот вопрос еще висит надо мной, хотя мартовский вечер давно погасил все горизонты.

Дома на моем столе ты найдешь не только письмо из Тарту, но и привет с утренней мессы, пальмовую ветвь. Возможно, здесь есть внутренняя связь. Я плохой католик, но пасха для меня — самый большой праздник года, к счастью, чистый от коммерческой шелухи, которая теперь так портит нам рождество. Никогда страдание мира не подходит к нам так вплотную, как на Голгофе, как бы обманчиво ни начиналась пасхальная неделя радостным Пальмовым воскресеньем.

И раскормленная, от своих успехов слегка захмелевшая Финляндия, сегодня одна из двенадцати богатейших стран мира, должна, казалось бы, призадуматься у подножия креста.

Но, увы, оставим умильные надежды. Наша действительность — это Суло Аиттониеми, представитель наименьшей правительственной партии в парламенте; при посещении детского сада для вьетнамских детей в Турку — Финляндия пока принимает 200 беженцев в год — он в ответ на рассказ о жестоких буднях Вьетнама, о пытках, о грубом насилии над женщинами и детьми сказал с невозмутимым финским спокойствием: «Пусть возвращаются во Вьетнам и берутся за работу. Ведь им ничто не угрожает, если они не преступники?»

В других западных странах такое высказывание вызвало бы бурю негодования. У нас же — молчание, особенно в правящих кругах, как будто в холодных словах Аиттониеми нет ничего примечательного. На самом же деле он заранее заручился поддержкой советника премьер-министра по иностранным делам, бывшего посла в ООН Кеййо Корхонена, уже не раз предупреждавшего о вреде неуместной мягкости в вопросе о беженцах. Сколько их нам следует принимать, 300 или 1000, так же маловажно для Корхонена, «как вопрос о том, стоит ли заводить в семье домашнее животное».

Развязный тон, ироническое отстранение от мировых бедствий — с этим мы постоянно сталкиваемся у наших ведущих политиков. Когда в прошлом году разгорелись дебаты о финских горнопромышленных интересах в Чили — с южноафриканским вмешательством на заднем плане — министр иностранных дел Калеви Сорса охарактеризовал это кипение страстей как «летний мыльный пузырь». Кто же станет удивляться, что президент Мауно Койвисто отозвался на дело Рашди как на «значительное событие в прессе».

Так что ты, эстонец, напрасно будешь взывать к совести Финляндии. Конечно, здесь, на северном берегу залива, нас до слез трогает подъем старого эстонского флага на башне Длинного Германа. Эстония теперь у всех на устах. Но, как я попытался сказать еще прошлой осенью на встрече публицистов в Вильянди, в мое первое и единственное посещение твоей страны: в случае реальной угрозы Финский залив станет шире океана.

Отдельные энтузиасты всегда найдутся, однако в решающих кругах к развитию событий в Эстонии относятся холодно и выжидающе. Собственно говоря, немногое изменилось с 1939 года, когда наш министр иностранных дел отказался принять посла «братского народа». Бедный Константин Пятс еще в 1940 году мечтал о персональной унии между нашими странами... Сейчас же все направлено к тому, чтобы избежать компрометирующего нас вмешательства в случае провала перестройки.

К сожалению, жизнь должна продолжаться и после Горбачева, и Финляндия не намерена рисковать своими «национальными преимуществами» ради горстки эстонцев.

В глубине души мы считаем себя более опытными и политически ловкими, чем эстонцы: мы встречали и провожали сменяющиеся русские режимы, умея ладить с ними. Если эстонское нетерпение и вызывает ответную реакцию у жителя Финляндии, то это, пожалуй, смесь восхищения и сочувственного раздражения. В памяти финнов еще звучат слова Снелльмана, сказанные по поводу кризиса 1863 года: «Нация не должна стремиться завоевать более того, что сможет удержать».

Как легко подобная прозорливость реального политика может обернуться цинизмом в стиле Корхонена! Но к этому я еще вернусь в следующем письме. А сейчас позволь мне затронуть то, что по-твоему единит нас с тобой, а именно чувство сострадания к проигравшим, к обломкам, выброшенным на задворки истории. Если ты десятилетним мальчиком мечтал открыть новые возможности для американских индейцев, то я был немногим старше, когда день за днем переживал войну в Абиссинии. Помню до сих пор то место у озера, под высокими деревьями, где я горячо молился, чтобы Муссолини как следует дали по шее.

Ты считаешь, что твои симпатии в большой степени определяются тем, что ты эстонец. Сам я как житель Аландских островов вырос под знаком национального меньшинства: 30 000 рыбаков и крестьян на европейской шахматной доске не делают игры. Мальчишкой в 1939 году я участвовал в крестьянской демонстрации в Мариегамне против планов военного укрепления островов, задуманного тогда

«великими державами», Швецией и Финляндией. До сих пор я горжусь этим воспоминанием.

В пример того, как трудно иногда решать, на чьей стороне правда, ты приводишь Израиль. Спору нет, евреи нуждались в национальном прибежище в своем библейском краю. Но при этом забыли, что край этот населен: и все мы стали ошеломленными свидетелями того, как прежние жертвы превратились в господ, и как слабость приобрела все неприглядные привычки силы.

Задолго до интифады [1] я в числе других паломников посетил Иерусалим. Однако, не церковь Святого Надгробия произвела самое сильное впечатление. Нет, больше запомнилась мне тишина арабских кварталов после наступления темноты. Лишь кое-где глухо отдавались шаги военного патруля. И это в тех краях, где жизнь всегда оживляется именно к вечеру! Иерусалим, город, который я так мечтал увидеть, находится в оккупации.

Страшнее всего то, что такой образ действий знаком нам уже по Ветхому Завету. У евреев не было никаких прав на землю Ханаанскую, кроме божественного обета. Хананейцам, сидонийцам, аморейцам — всем этим народам пришлось потесниться, чтобы освободить место для пришельцев из пустыни, для двенадцати родов израильских. Более того, жителей приказано было просто искоренить. Как разгневался Иегова на царя Саула, когда тот после победы над амалекитянами самовольно решил не только помиловать их царя Агага, но и пощадить лучших коров и овец из их стада. А хитрые гибеониты выжили, но дорогой ценой: «И да падет на вас за это проклятие; никогда не перестанете вы быть рабами, дровосеками и водоносцами в доме господнем».

Ничего не поделаешь, современная политика Израиля в Газе и на западном побережье лишила Ветхий Завет его былого очарования в моих глазах. Слова мессы о «народе-избраннике» когда-то имели смысл как метафора героизма. Сейчас они только вызывают неловкость, напоминая, что право берется силой — как на реке Иордан, так и у Финского залива.

Библейский Агаг — родной брат того Верцингеторига, которым ты увлекался в молодости. Оба они провалились в бездну истории — Гегель где-то говорил о мясорубке истории. Их имена названы только в реляциях победителя, и потому они навсегда останутся прикованными к его триумфальной колеснице. Веками западному школьнику давали в руки пособие по уничтожению народов под названием de Bello gallico. Под наши рукоплескания галльская нация сошла с лица земли: чуть ли не полмиллиона галлов попали на рабовладельческие рынки Капуи и Делоса.

Потомки с благоговением упоминают о цивилизаторской миссии Цезаря. Моммзен, постыдно сравнивая галлов с ирландцами, считает, что их милому, но политически незрелому народу выпало счастье войти в состав более высокой государственности. И кто знает, добавляет немецкий историк, возможно, галльская кампания приостановила великое переселение народов, задержав его лет на четыреста.

Pax Romana, Римский мир, стал со временем реальностью. Никто не станет отрицать, что средиземноморским народам он принес немало благ. Возможно ли защитить мир, не обагрив руки кровью? Разве покорение галлов, и даже разрушенный Карфаген, были слишком дорогой ценой за антониев золотой век, увенчавший, согласно Гиббону, вклад Рима в историю?

Все же, мысль о жертвоприношении моралисту внутри нас представляется весьма мучительной. Как вынужден в конце концов признать даже древний египтянин Синухе, герой одноименного романа Мики Валтари, чистосердечность фараона Эхнатона навлекла на Египет одни несчастья, в то время как страна нуждалась в твердой руке Хоремхеба.

Другое дело, что многие из наших «гуманистов» все еще не хотят замечать грязи, приставшей к наследию Рима и античности. Высокопарно разглагольствуя о римском праве, они, к примеру, забывают об одной мелочи: показания рабов были действительны только под пыткой. Считалось, что это единственный способ добиться правды. В темные века средневековья римское право вышло из употребления, а с ним и пытка как инструмент правосудия.

Но когда античность в XI веке стала переживать возрождение, пытка снова привилась в юриспруденции, что в один прекрасный день пришлось испытать на себе еретикам-альбигенсам. Подобным образом Рим способствовал охоте на ведьм.

Тень Рима падает и на Балтику. Когда в 1764 году Екатерина II повелела генерал-губернатору Лифляндии Георгу фон Брауну улучшить условия жизни крестьян, дворянство отклонило его предложения под предлогом, что согласно римскому праву крестьяне являются бесправными рабами. Недаром варвары и рабы всегда исключались из провозглашаемого в гуманитарных штудиях идеала.

«Немецкое» прошлое Прибалтики нисколько не смягчается тем фактом, что сталинский террор намного превзошел деспотизм баронов. По словам Трейтшке,

[1] Интифада — палестинское восстание на оккупированной территории, начавшееся в ноябре 1987 г. *(Прим. перев.)*

Эстония была «классической страной крестьянского угнетения», а Эйно Ютиккала, обычно далекий от преувеличений, свидетельствует, что ход истории привел страны балтийского побережья к «самому страшному рабству, какое знает новая история Европы». Единственное сопоставимое явление следует искать по ту сторону Ирландского моря.

Но как все это могло случиться? И почему мы — спрашиваю я как житель Финляндии — так мало знаем о том, что происходило совсем у нас под боком?

При мысли о фактическом соотношении сил сами пропорции зла уже кажутся абсурдными. По переписи населения 1897 года в Эстонии насчитывалось 33000 немцев и 867000 эстонцев. Даже если немцам пришлось кое в чем и уступить, все же эти 3,4 % были господствующей силой в стране.

Способность прибалтийских немцев к выживанию поистине удивительна; еще при Петре и Екатерине они успешно, настойчиво и искусно умели сопротивляться растущему русскому нажиму, запутывая русских в дебрях параграфов и, в крайнем случае, вытаскивая на свет старые документы, как, например, Ништадтский мирный договор от 1721 года.

Однако решающим было то, что балтийские бароны сумели стать незаменимыми поверенными царя в Санкт-Петербурге. Они наводнили администрацию, создав дворцовую клику, имевшую доступ ко всем государственным тайнам. Сколько «несчастий» было предупреждено срочным вмешательством балтийских агентов на Неве!

Роман о Раквере Яна Кросса содержит непревзойденные описания этих интриг на высоком придворном уровне.

Зато крестьяне в этой борьбе за власть практически были только статистами. Иногда терпение их лопалось, и барские поместья полыхали огнем, как в революцию 1905 года. Но будни снова наваливались безрадостной чередой. Вспомним, что по свидетельству священника в XVIII веке балтийский крестьянин на международной бирже рабов стоил дешевле негра. За батрака давали 30-50 рублей, за девку 10, за ребенка 4 рубля. Бродяг меняли на лошадей и собак, всех прочих продавали и покупали, в одиночку или с семейством.

Крепостное право было отменено в Прибалтике еще в 1816—1819 годах, но крестьянину это не принесло радости. Напротив, он потерял право на землю и был вынужден торговать собой на «свободном» рынке. Только в середине XIX века он вновь обрел возможность покупать землю.

В Эстонии начала века крестьяне отвечали за содержание дорог, почты и приходских школ, в то время как мало обремененный налогами помещик свободно наслаждался правом охоты. Дворянское притеснение имело множество форм: писательница Айно Каллас рассказывает, что мог означать господский «визит на хутор» для деревенских девушек. А остров Сааренмаа она прямо называет островом рабов.

Ты, конечно, считаешь, что я преувеличиваю? Зачем, например, забывать немцев-эстофилов, которые в начале века занялись забытым эстонским языком. Стоит помнить и то, что Эстония и Лифляндия долго оставались наиболее экономически развитыми районами царской империи — что было возможно лишь благодаря немецким усилиям.

Но все же меня интересует, как современный эстонец смотрит на эти следы унизительного иностранного гнета в своем прошлом. Ненавидит ли он немцев за то, что они, по выражению Геллы Вуолийоки, украли у народа его историю? Вуолийоки даже считает, что независимая Эстония изо всех сил старалась позабыть 700 лет рабства.

Может быть, и ты стремишься забыть, и я не хочу напрасно бередить раны. Поэтому не рискую касаться и другой болезненной темы, русской темы. Хотя без посредства русских гнет баронов не смог бы длиться — но и требования социальной справедливости, во всяком случае, в XIX веке, без них не имели бы силы. Заслуга русских, например, в том, что розги как полицейское наказание были отменены. Как это ни парадоксально, но русификация привела к модернизации судопроизводства в Прибалтике.

Но довольно об этом. Позволь лишь в конце затронуть твои возражения против моей картины взаимоотношений Сталина с Финляндией. Ты пишешь, что, не будь «неподражаемого военного мастерства финнов», у Паасикиви не было бы шансов на успех за столом переговоров. Возможно, что это так. Но разве ты, в свою очередь, не идеализируешь Сталина, считая, что он из чистого уважения к финскому героизму простил нам заигрывания с Гитлером и избавил от судьбы, подобной судьбе Прибалтики и Чехословакии? Его действия в Европе не говорят о благородстве; наоборот, мы видим мелочного и мстительного императора, предельно использующего все выгоды своего положения победителя.

Я предпочитаю верить, что Сталин — не считая эпизода с правительством в Териоках — никогда не рассчитывал превратить Финляндию в новую «Монголию». Когда генералы в 1944 году потерпели поражение, он без колебаний вернулся к старой схеме, в основных чертах сложившейся задолго до войны. Так ли уж нелепо считать, что посещение Таммерфорса в 1905 году повлияло на его представление о Финляндии?

Другое дело — Жданов в Хельсинки: тут вся соль в том, как отчетливо видна марионетка в действии. Бывший палач Эстонии послушно надевает маску добродушия по приказу хозяина в Кремле, который тем самым дает понять, что Финляндия и Прибалтика — *не одно и то же*. Этим подтвердился коронный тезис Паасикиви в нашей восточной стратегии.

Сейчас мой взгляд тянется к березе за окном, где на голых ветках блестят пока только капли дождя, но уже скоро должны выглянуть первые ростки. Еще неделя, и прилетят птицы, может быть с приветом о весне и для твоей страны.

Жаль, что я так и не добрался до Тарту в ту мою прошлогоднюю поездку в Эстонию. Гелла Вуолийоки рассказывает о густой зелени и о соловьях, в светлые летние ночи заливающих парки томными звуками. Поет ли еще соловей в Тарту? Об этом я обязательно должен узнать из твоего следующего письма.

С приветом,
Твой Йоханнес Салминен

Яан Каплински — Йоханнесу Салминену

Дорогой Йоханнес,

да, соловьи поют в Тарту. В самом городе их, пожалуй, не так уж и много, а вот в пригороде, где мы живем, их множество, так что даже бездомные кошки, которыми изобилует Арукюла (наш район), не могут с ними справиться. Вообще-то Арукюла оказалась в городской черте всего лишь десяток лет назад, но от этого особенно городским наш район не стал. Наши соседи держат коров, кур, овец, а у одного даже лошадь. Весной на рассвете слышишь крик петуха, а с приходом тепла в дом врываются тучи мух — идиллия, да и только, вместе с теневой ее стороной, о которой в финских городах начинают, пожалуй, уже и забывать.

Было бы прекрасно, если бы я мог ответить на твое письмо раньше, но я не успел. Вслед за политической весной пришла весна настоящая, вместе с ее заботами, так что не осталось уже ни времени, ни покоя, чтобы написать подробно. Носил твое письмо в сумке, порой перечитывал, пока не дождался наконец короткой передышки.

Предыдущее письмо тоже частично написал в родных местах, близ Вескимыйза, примерно в 30 километрах к югу от Тарту, на хуторе, новейшая часть которого отстроена примерно в 1913 году, а старая — наверняка в предыдущем столетии: старые балки вытесаны одним топором, без единого следа пилы.

Немногим более 100 лет назад здесь появился покупатель из другого прихода с намерением купить у владельца мызы этот хутор в собственное владение. Кто здесь прежде жил, я не знаю. В течение по крайней мере двух десятилетий покупатель выплачивал долг владельцу — примерно по 100 рублей в год плюс проценты, это долговое рабство растягивалось на жизнь целого поколения. Часть таких квитанций у нас сохранилось до сих пор. Житье на хуторе, купленном в долг, конечно же, оставляло след в человеческой душе, превращало людей в скаредных трудяг, привыкших буквально все пересчитывать на копейки и рубли, и землю, и время, и человеческие отношения, а самим обходиться самым малым, насколько это было возможно.

Картины такой жизни можно найти в I части «Правды и справедливости» Таммсааре. На нашем хуторе сами постройки говорят о подобной нужде — новая часть дома выстроена плохо, из жалких бревен, фундамент понемногу разваливается. А ведь в Эстонии немало хуторских строений гораздо старше нашего, выстроенных крепко, из хороших бревен, с заботой и тщанием. Они стоят в целости и сохранности уже сто лет и дольше — такие я видел большей частью в Западной Эстонии и на островах, там, где дольше сохранялись старый менталитет и культура постройки, где борьба за существование не принижала так человека, как в других местах. С экономической точки зрения эти уголки были, конечно, наиболее заброшенными, однако новый, утилитаристский склад жизни не сказался там столь разрушительным образом.

Мне неловко, что историю Эстонии я знаю хуже, чем ты, по крайней мере в том, что касается юриспруденции и крепостного права. Ты спрашиваешь, какими глазами смотрит сейчас эстонец на свое унизительное прошлое. Думаю, Хелла Вуолийоки не совсем права: эстонец вовсе не хотел бы все забыть. Выражения вроде «700-летнее рабство», «темная пора крепостничества», что наших предков покупали, продавали, выменивали на собак, не более чем общие места. Стереотип злого барона проник из фольклора в литературу и сохранялся там до наших дней. А коммунистические власти этому, разумеется, способствовали. Например, в 1943 году в советском тылу была торжественно отмечена круглая годовщина эстонского крестьянского восстания, чем надеялись оживить старую вражду эстонцев по отношению к немцам.

Конечно, вряд ли эта акция имела успех. Сталин, Жданов и их подручные сумели за один год, с лета 1940-го по лето 1941 года, существенно изменить психологию эстонцев. В старой эстонской песне поется: «Была б моя воля, я бы знал, что делать: немцев бы по миру пустил...», и вовсе не говорится так уж плохо о русских, хотя, как у соседей водится, и тут

всякое бывало... Но уже с 1941 года тысячи эстонцев были готовы вместе с немцами и финнами воевать против русских, и в 1944 году они с непостижимым упорством держали фронт под Нарвой, и только решение немцев об эвакуации Эстонии сделало дальнейшее сопротивление невозможным. Если бы у эстонцев было тяжелое вооружение и боеприпасы, не исключено, что в 1944 году мог удасться такой же план, какой был у поляков,— вбить клин между двумя противниками и вновь добиться независимости. Не удался этот план у тех и у других лишь благодаря взаимодействию воюющих сторон. Хотя Гитлер и Сталин были с лета 1941 года непримиримыми врагами, они общими усилиями ликвидировали попытки эстонцев и поляков восстановить свою независимость. Русские войска стояли под Варшавой, ожидая, пока СС подавит восстание поляков. От немцев осталась в Таллинне папка, в которой содержались все протоколы заседаний Эстонского Народного Комитета (так называемое «правительство Улуотса») и имена всех участников. Один из них, юрист Арнольд Сузи, рисует в своих воспоминаниях следующую картину. Дело происходит на допросе, допрос ведет генерал-майор НКВД.

«Папка лежала открытой где-то на столе. „Как вы считаете, почему фашисты оставили эти материалы нам, хотя увезли или уничтожили все бумаги и документы?“ — спросил генерал.

„Может быть, для того, чтобы *вы* свели с нами счеты“,— ответил я, не найдя ничего лучшего для ответа. Генерал усмехнулся». (Из воспоминаний А. Сузи, «Лооминг», № 3, 1989).

То есть к нам относились так, как будто пакт Молотова-Риббентропа и советско-германский раздел Прибалтики еще имели силу. Члены эстонского теневого правительства ушли в подполье, погибли или оказались в Сибири. Ирония истории заключается в том, что Арнольд Сузи, который должен был стать скорее всего министром эстонского правительства, оказался в московской тюрьме вместе с бывшим артиллеристом, офицером Красной Армии Александром Солженицыным. Они подружились и позднее, уже на свободе, часто встречались. Солженицын называл Сузи своим учителем. Таким образом, несуществующее Эстонское правительство сделало все-таки великое дело: оно помогло подготовить человека, который нанес Советской империи гораздо более тяжелый удар, чем когда-либо смогли бы сделать эстонцы.

Подсчитано, что сговор России с Германией и война унесли примерно треть народа Эстонии, то есть более 200 тысяч человек из миллиона убитых, умерших в тюрьмах и ссылке, павших на войне и убежавших на Запад. Десятки тысяч прошли сквозь тюрьмы, ссылки, принудительную мобилизацию в чужие войска, так что непосредственно пострадавших насчитывается от трети до половины всего населения. Это не могло не травмировать людей. Думаю, очень многие и теперь еще нуждаются в психиатрической помощи подобно той, какую получили бывшие заключенные концлагерей на Западе. У нас же, как, вероятно, тебе известно, сталинской «первой помощью» сидевшим в немецких лагерях военнопленным и прочим оказалось то, что после освобождения их выслали на восток, в советские лагеря.

Да, первичный шок 1940—1941 годов был настолько силен, что коренным образом изменил сознание эстонцев. Немец из извечного врага превратился в желанного освободителя, и не только в Прибалтике, но и на Украине, где войска вермахта встречали на первых порах цветами и хлебом-солью, где были готовы помогать войскам СС в ликвидации большевиков и евреев. И, как повсюду в Европе, наибольшие страдания обрушились на бездомное и беззащитное еврейское меньшинство.

Если «гениальность» Сталина (задним числом) проявилась в том, что он сумел эстонцев и латышей примирить с немцами, то есть совершить нечто такое, что вряд ли кто прежде считал возможным, то Гитлер смог противопоставить этому не меньшее достижение: немцы снискали наконец ненависть тех народов, которые прежде приветствовали их как освободителей. И этим способствовали, конечно, спасению советской власти, крайне непопулярной в народе из-за коллективизации и голода. Вот как делали эти двое историю, и вот как, хотели того или не хотели, поддерживали их и американцы, и французы, и маленькая Финляндия, которая, на мой взгляд, забыла о своей классической осторожности как раз в тот момент, когда именно осторожность нужна была больше всего. И с которой теперь, кстати, она, кажется, слегка перебарщивает...

Должен признать, кое-что мне было известно о зверствах сталинской эпохи. Еще мальчиком долгие вечера слушал я свежие воспоминания родственников, вернувшихся из лагерей Воркуты и Караганды, но то, что открылось нам сейчас, превосходит всяческие ожидания. Я вырос в сталинские времена. Из прочитанных в детстве книжек о войне следовало, что русские, несмотря ни на что, были все-таки немножко лучше, чем немцы, что массовое уничтожение людей в Советском Союзе не было таким садистским и систематическим, как у немцев. Но теперь мне ясно, что это не так. Сталинское уничтожение людей было столь же обширным и основательным, как и у нацистов. Неделю назад, 7 мая 1989 года, газета «Ноорте Хяэль» писала о кровавых делах истребительного батальона, о муках эстонских сельских жителей, женщин, детей. Людям загоняли кол в глотку, их сжигали живьем, малютку-дитя закололи штыком на материнской груди, подростку-пастуху раздробили пальцы на руках и проткнули его штыком. Перед всем этим бледнеют сказания о том, как когда-то какой-то садист-помещик издевался над деревенскими девушками.

Первый удар по позитивному отношению эстонцев к российским властям в эпоху эстонского национального пробуждения нанесло само царское правительство своей кампанией русификации в конце прошлого века, а последний нанес Сталин и его последователи акциями геноцида, которые они проводили в Эстонии. Еще в начале нынешнего столетия эстонцы не испытывали никакой вражды по отношению к русским, большая часть эстонцев были лояльными подданными царя до самого падения царской власти. И здесь, видимо, заключается огромная разница между эстонцами и финнами. В Финляндии на рубеже веков противоречия между финским и шведским населением были куда слабее, чем между обоими и русским самодержавием. В Эстонии же, напротив, главные трения наблюдались между эстонцами и немецким дворянством, царское правительство обвиняли не столько в политике русификации, сколько в том, что оно выступает заодно с немцами, и это острейшим образом проявилось в подавлении восстания 1905 года, осуществленного силами помещиков и царских казаков.

Начавшуюся в 1880-х годах политику русификации в первую очередь испытала на себе интеллигенция, получившая немецкоязычное образование. Позднее подросло новое поколение интеллигентов, становление которого пришлось на более свободные времена, когда в России произошла либерализация и Петербург стал одним из крупнейших культурных центров Европы. Через Россию и русский язык стала возможна связь с миром, и Туглас и Таммсааре, к примеру, сумели воспользоваться этой возможностью. Быстро развивавшаяся экономика также принесла свои возможности, и их смогли использовать эстонские торговцы, предприниматели и просто образованный люд, многие представители которого служили в России управляющими в поместьях. Многие эстонцы стали военными, выучились на офицеров, среди них, к примеру, будущий командующий вооруженными силами Эстонской Республики Йохан Лайдонер, начальник штаба Колчака Вольдемар Каппель и один из военачальников Красной Армии Аугуст Корк.

Нас, выросших и сформировавшихся во времена Сталина и Брежнева, особенно задевало, пожалуй, то, что в начале века молодые художники и писатели свободно пересекали границы и месяцами, годами учились и работали в Финляндии, Норвегии, Франции, Италии. Европа в те времена была едина, все границы были открыты. В моем сознании это время продолжает жить в виде слышанных от родственников, от матери с теткой, воспоминаний. И выглядит оно довольно привлекательно, даже по сравнению с временем Эстонской Республики, когда экономика испытывала известные трудности, а культура скатывалась понемножку к провинциализму, в школах все меньше изучалось языков, а люди все меньше путешествовали. Правда, об этом сейчас, когда из Эстонской Республики сделали нечто вроде святыни, говорить не особо хотят. Во всяком случае, у нас есть некоторые основания кое в чем рассматривать русские власти в позитивном свете, однако мешают нанесенные травмы, мешает опыт.

Надо сказать, в России в начале века наблюдался интересный прогресс: экономика модернизировалась, общество стало более открытым, в культуре вызревали явления, которые позднее либо погибли, либо стали достоянием мировой культуры посредством русской диаспоры.

Представление о том, что предреволюционная Россия была отсталой страной, не соответствует действительности. Были огромные контрасты, была нищета и духовная темнота, но были и огромные достижения, особенно бросающиеся в глаза сейчас, на фоне эпохи стагнации. В 1880-х годах, задолго до минеральных удобрений и тракторов, Россия экспортировала пшеницы несколько миллионов тонн в год. Сельское хозяйство, верно, было отсталым, архаичным, но уже была создана научная база нового, современного землепользования. Вместе с попытками освоения степных земель возникло почвоведение, один из основоположников которого, Докучаев, стал классиком мировой науки. Возникла геоботаника, важнейшая отрасль в мировой науке, были заложены научные основы селекции, в дальнейшем на мировом уровне разработанные Вавиловым и его сотрудниками. Русские оказались первыми в разработке многих основополагающих направлений в науке, например, в социологии (Сорокин), языкознании и литературоведении (Трубецкой, Якобсон), в физике (Капица, Иоффе), математике (Марков), востоковедении (Алексеев, Крачковский), не говоря об искусстве, музыке и литературе, где достижения русского модернизма являются общепризнанными. И в политике тоже произошли значительные сдвиги к лучшему, выразившиеся прежде всего в парламентаризме и столыпинской земельной реформе. Так что в начале века Россия, на мой взгляд, была полностью готова единым рывком занять место среди ведущих государств мира.

Как известно, этот рывок не удался, наоборот, произошла катастрофа, в результате которой Россия из экспортера зерна превратилась в импортера, погубила или изгнала своих самых предприимчивых и талантливых людей, лишила их всяких стимулов к работе, а потребление алкоголя в обществе довела до таких пределов, что одно это может привести ее на край гибели. Ни в науке, ни в искусстве Россия уже не может сказать миру ничего существенного, отставание в технологии все углубляется. Русская культура, бывшая в начале века движущей силой общества и мощно влиявшая на другие народы, теперь в упадке, она потеряла свою конструктивность и открытость и в определенном смысле стала просто провинциальной. Теперь она уже не представляет такого интереса, не вдохновляет другие народы, которые ищут опору на Западе либо в собственном прошлом. Углубляются националистические тенденции, и государство удерживает от развала только сила и инерция страха. Но такое долго продолжаться не может, и развал государства, на мой взгляд, совершенно очевиден, если только откуда-то не появится какая-то третья сила, способная объединить растущие национальные и демократические движения. Горбачев и перестройка смогли стать такой силой лишь на короткое время, и оно, видимо, подходит к концу.

Советский Союз могло бы спасти возрождение русского народа и русской культуры, однако признаков такого возрождения пока очень мало. Русская культура отступила на позиции, какие занимала в начале века, о чем свидетельствуют, например, такие явления, как идеализация, подобно Гамсуну, деревенского уклада жизни («деревенская проза»), христианское народничество, множество аналогий которому найдется во Франции начала века (Моррас, Клодель), антисемитизм и поэзия символистов. Такая культура не интересует в Эстонии никого, в этом смысле мы больше смотрим на Запад либо занимаемся собственной историей, рассмотрением собственных побед и поражений.

К сожалению, и эстонская культура за те же последние двадцать лет тоже очень много потеряла из того, что было открыто и создано, и в известном смысле стала пятиться назад, по крайней мере в литературе. После модернизма 60-х годов наша поэзия сейчас круто повернула к символизму и постромантике, рифмованный стих снова в чести, а переводят французских парнасцев и символистов. Разумеется, это можно связать с известной усталостью всей мировой культуры, отголоски этой усталости обнаруживаются, например, в постмодернизме, как, впрочем, и многое другое.

Спад нашей культуры шел, таким образом, параллельно со спадом русской культуры, но это нас с русскими отнюдь не сблизило. Скорей наоборот: в современной русской культуре мало найдется такого, чего бы мы не нашли в собственной. Мы были подобны заключенным, помещенным в одну тюрьму, только в разные камеры, а ведь узника, естественно, больше интересует то, что происходит на свободе, чем в соседней камере. Помню, как я был однажды поражен собственными небольшими культурно-географическими изысканиями. Я рассмотрел места рождения, жизни и смерти эстонских писателей. Оказалось, что до революции очень многие представители эстонской культуры жили и работали в России, главным образом, разумеется, в Петербурге, но и в Москве и некоторых других городах. После революции и возникновении Эстонской Республики значительная часть эстонцев репатриировалась в Эстонию, а эстоноязычную культуру в России продолжали нести часть поселенцев и интеллигентов-коммунистов. Большая часть их погибла при Сталине, эстонские школы и газеты были закрыты, и к 1940 году эстоноязычная культура в России, как и финскоязычная, была полностью уничтожена. Были оборваны многие нити, связывавшие эстонскую и русскую духовную жизнь. Сталинский шовинистический тоталитаризм привел к уничтожению культурной общности народов, к их изоляции, как ни парадоксально это звучит.

Положение не изменилось и после аннексии Эстонии и включения ее в «братскую семью советских народов». До сих пор среди эстонской интеллигенции мало найдется тех, кто был бы готов жить и работать в России. Исключение представляют лишь студенты, однако и из них большинство после окончания учебы возвращается на родину. Думаю, немалому количеству эстонцев Эстонская Республика казалась поначалу лишь временным островком порядка и цивилизации, а не государством, имеющим перспективу на будущее. Многим, наверно, было трудно привыкнуть к тесным рамкам маленького государства после интересной и богатой возможностями жизни в Петербурге, в Москве или где-то в Европе. Ведь в Эстонии задавали тон мелкие служащие, буржуа, не больно-то обремененные культурой. Однако Эстония устояла, справилась с переустройством экономики, с земельной реформой, открыла обучение на родном языке повсеместно от начальной школы до университета и постепенно стала культурной, стала открытой — разумеется, по отношению к Западу. И всем, кто в ней вырос, их детям (подобно мне) и внукам Эстонская Республика кажется единственной приемлемой для эстонского

народа формой существования. В государственной независимости есть, видимо, что-то необратимое, во всяком случае, новейшая история эстонцев это подтверждает. Это означает также, что у Советской империи в ее нынешнем виде на отдаленную перспективу нет будущего.

Твои мысли о том, что западная литература, начиная с Ветхого Завета и Цезаря, содержит оправдания геноцида, мне очень близки. Я уже писал о своем комплексе Верцингеторига. Что касается Ветхого Завета, то, при всей моей симпатии к иудаизму, я не могу отрешиться от мысли, что провозглашаемый им монотеизм — это первая в нашем культурном регионе религия нетерпимости. Религия Моисея — это вера в то, что существует лишь один истинный бог. Никаких других нет, либо же они что-то вроде нечистой силы. А значит, религии всех прочих народов, их культура — ложны. У истинного бога особые отношения (special relationship) с одним, избранным народом, которому предначертано подчинить или даже уничтожить все прочие народы. Эти прочие, по учению одной из сект,— все прочие народы мира. Но ведь так же считали и европейцы еще на рубеже нынешнего и прошлого веков.

К упомянутой тобою истории Агага и Саула я бы добавил историю о взятии Иерихона и устроенном там геноциде (Иисус Навин, 6, 20), историю, вдохновившую, видимо, немало завоевателей-христиан. О том, как Илия убил пророков Вааловых, я уже писал. К этому можно было бы добавить резню в святилище Вааловом, что напоминает мне известную «хрустальную ночь». Да плюс к тому теократия Ездры и Неемии.

В защиту евреев и к их чести должен сказать, что они примирились со своей землей Ханаанской, которую обещал им Яхве. Ветхий Завет окончательно сформировался как священное писание малого и униженного народа, которому лестно было вспоминать о давних победах, одержанных при непосредственной поддержке самого Бога. И все-таки в Ветхом Завете есть оправдания и будущих создателей империи, и тех, кто мечом распространял христианскую веру и пушками внедрял западную цивилизацию, а косвенно и экспортеров революции, например, в Афганистане. И как только евреи получат свое государство, они без колебаний повторят то, что сделали их далекие предки с основателями Ханаана. О том, что происходит сейчас в Израиле, ты писал по собственным впечатлениям. Я тоже кое-что слышал от сведущих людей и читал, и все это не может меня не печалить. После всего, что случилось с евреями, у нас нет никакого права судить их слишком строго. Начиная с 1945 года, западный мир доказал, что он не в силах защитить евреев, им осталось лишь одно — защищать самих себя. И все-таки нельзя оправдать все, что сделано ими во имя собственной защиты. Это один из множества парадоксов, не имеющих простого и логического решения. И самое ужасное здесь то, что основание государства Израиль, может быть, посеяло семена еще более страшного геноцида. На Ближнем Востоке могут вызреть еще более катастрофические события, чем последняя мировая война. Борьба с сионизмом, борьба за права палестинцев оказались весьма подходящим фиговым листком для всевозможных фашиствующих лидеров исламского мира от Каддафи до Хомейни.

Самая худшая идеология — это, видимо, сплав иудаизма и цезарианского империализма, именно та, что была столь влиятельна в Европе еще и в этом веке. К этому нередко еще добавляется изрядная доза иранского дуализма и эсхатологии, веры в то, что мир представляет собой поле битвы между Добром и Злом, Ормуздом и Ариманом, Богом и сатаной, между их воинствами. И каждый должен выбирать между ними, иной возможности не дано. Так учили митраисты, ранние христиане и коммунисты, и эта историческая картина борьбы Добра и Зла, запечатленная в их пропагандистской литературе, крепко въелась мне в память. В детстве я прочел множество романов, удостоенных Сталинской премии, где речь главным образом и шла об этой борьбе Добра и Зла. Третьего пути нет — гласили распростраяенный лозунг и названия многих книг. Кстати, на одном партийном собрании речь шла о дурном примере Яна Каплинского, который, как было сказано, и пытается искать какой-то третий путь. Я это, конечно, и делал, вдохновленный махьяна-буддизмом и собственными раздумьями. Всяческая нетерпимость, воинствующий дуализм были мне отвратительны с детских лет. Отсюда и мое амбивалентное отношение к иудаизму, христианству и исламу.

Микаэль Энкель в своей книге («Till sarnadens lov») очень хорошо пишет об иудаизме и антисемитизме. Но меня очень опечалило его утверждение, примерно в том роде, что антисемитизм проистекает из противодействия религии Моисея. Я никак не могу принять Моисея, тем более Иисуса Навина, Саула или Ездру, хотя мне нравятся хасидизм и поэзия Ветхого Завета. Нетерпимый монотеизм Моисея, на мой взгляд, почти то же самое, что и вид коммунизма, овладевший Восточной Европой. Грубо говоря, христианство — это иудаистская секта, коммунизм — христианская секта, и мне очень трудно поверить, чтобы любая из них могла сделать людей счастливыми. Разумеется, у них было свое время и место, но

сейчас, видимо, пришло время для их преодоления. Нужно не разоблачить их и признать лжеучениями (как сделали с другими сектами большевики), а именно преодолеть, как преодолена ньютоновская механика.

В мире сотни тысяч миссионеров, и большая часть из них явно продолжает христианско-империалистический геноцид, в начале которого стоят Илия и Цезарь, и наибольшие достижения в этом деле принадлежат ученику Тбилисской духовной семинарии Иосифу Джугашвили и отпрыску христианской семьи из Линца Адольфу Гитлеру.

Верно, что Рим на несколько столетий установил мир вокруг Средиземного моря. Но какой ценой заплатили за этот мир? Уничтожением всех прочих культур от Геркулесовых столбов до Греции, прозябанием восточных народов — Египет и Сирия. И когда Рим пал, катастрофа оказалась тотальной: те войны и испытания, которые могли бы выпасть на долю малых государств, постепенно, одна за другой, теперь обрушились на них все сразу. Думаю, ни в этическом, ни в культурном смысле Рим не принес ничего значительного, по крайней мере в сравнении с Грецией, Индией, Вавилоном и Китаем.

Где-то я читал, что Рим ничего не производил и не экспортировал, не был и ремесленным центром, как Вавилон, Александрия или любой другой город. Рим был паразитом, он только импортировал и потреблял.

Или я преувеличиваю со своим комплексом Верцингеторига? Да, куда более мягко я отношусь к Византии, чем к Риму. Кстати сказать, у нас есть семейная легенда, по которой один из моих предков относится к роду Ласкарисов, эмигрировавших после падения Константинополя на Запад. Проверить эту легенду я не имел возможности... Во всяком случае, жду Твоих впечатлений от Константинополя.

Несколько слов о Сталине и Жданове. Не знаю, может быть, здесь виной огрехи перевода, но я никогда не думал, чтобы Сталин испытывал к финнам какое-то уважение. Он просто однажды обжег на них руки и не рискнул сунуться во второй раз. Он боялся финнов, а те, одни из немногих, его не боялись. Но я уверен, отступиться он не собирался, а просто, как всегда делал, выжидал подходящего момента. К счастью, он так и не наступил. Что касается военного искусства, то оно самым элементарным образом защитило Финляндию там, где не смогла дипломатия.

На этом буду кончать. Я сейчас в Тарту, березы уже покрылись листвой, и упомянутые выше соловьи вовсю заливаются даже белым днем. По утрам в вентиляционных отверстиях на стене звенят синицы, они там гнездятся уже второй год. Через пару дней я должен быть в Швеции, а до этого надо еще закончить пару статей. О чем бы я хотел написать, так это о Китае, где провел десять дней в середине марта. Но, видно, в другой раз.

С весенними приветствиями
с южной стороны от 58 параллели

15 мая 1989

Твой Ян

Перевели с финского
Светлана СЕМЕНЕНКО
и Елена ХЕЛЛБЕРГ-ХИРН

ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА

Пекка
ТАРККА

ЛИТЕРАТУРА ФИНЛЯНДИИ СЕГОДНЯ

Финская книга редко выходит в широкий мир, а когда это все же происходит, ей, как правило, не везет. Возьмем, например, роман Кристера Чилмана «Дорогой принц» (1975) — он вышел в русском переводе в двух номерах «Иностранной литературы» за 1979 год. Тираж журнала был тогда 680 тысяч. Отдельной книгой роман издан в Англии (издательство «Питер Оуэн»). Не думаю, что разошлось более тысячи экземпляров...

Представитель известного финско-шведского рода, живущего в Финляндии, Чилман пишет по-шведски. Еще совсем молодым (в 50-е годы) он продемонстрировал основательное знание новой англосаксонской литературы, с которой финны знакомились в его переводах. Собственные произведения писателя нарушали многие табу — в его исповедальных романах речь шла о преступлениях и наказаниях, алкоголизме, шизофрении, гомосексуализме. Чем же этот наследник (во всяком случае, тематический) Достоевского привлек в 70-е годы Москву и Лондон?

С Лондоном проще: консультанту издательства «Питер Оуэн» Джоан Тейт, знающей шведский язык, нравятся книги Чилмана. Она рекомендовала роман своей фирме и получила заказ на перевод. Московский феномен объяснить сложнее.

В 1970-е годы студенческий радикализм во многих странах сменился тягой к тоталитаризму. В Скандинавии молодежь стала поклоняться Мао Цзе-дуну, а в Финляндии — в этом была ее особенность — вслед за Москвой возникло неосталинистское движение. Пофлиртовал с ним и Чилман. Его «Дорогой принц» положил в швейцарский банк миллионы финских марок, предназначенных для «финляндской народной армии». Убежденным коммунистом ироничный писатель не был никогда. Своего «красного Гамлета» он заставил покончить с собой. Но, может быть, даже крошечный (и основанный на недоразумении) проблеск надежды на коммунистическое восстание в Финляндии дал московским литературным бюрократам брежневского времени повод для перевода книги?

«Дорогой принц» — роман неровный. Довольно банально описание пути выскочки из «среднего класса» к власти и богатству. Некогда я уже писал, что Чилман, как трагический клоун, балансирует между тривиальным и серьезным, часто — на грани художественного и интеллектуального фиаско, хотя и похвалил сомнамбулическое описание «блеска и нищеты» буржуазии. И все же, когда столь противоречивое произведение покинуло пределы родной культуры и отправилось за границу — результаты оказались почти катастрофическими.

Русскому изданию предпослано предисловие, автор которого, поэт Евгений Долматовский, воевал в Финляндии зимой 1939 года. По его мнению, роман Чилмана «безжалостно разоблачает язвы буржуазного общества». Вероятно, и до сих пор даже буржуазные язвы в Советском Союзе нельзя описать в полной их неприглядности: Бен Хеллман установил, что из русского варианта исчезли впечатления героя от стокгольмских секс-клубов, сцена, где тот, читая «основы марксизма-ленинизма», пользуется пачкой презервативов как закладкой. Однако под редакторский карандаш попали не только секс, но и политика. Отсутствуют, например, упоминания о том, что русские в 1939 году бомбили Хельсинки, ироническое замечание о разделе Рузвельтом и Сталиным в Ялте «сфер влияния». Нет, московская версия «Дорогого принца» — уже не роман Чилмана...

Но если в Москве в судьбу романа вмешалась тайная цензура, то в Лондоне — последовала публичная экзекуция. Распространяющийся во всем мире журнал «Таймс Литерари Супплемент» опубликовал рецензию на «Дорогого принца» известного критика Д. Й. Энраита под названием «Как же ужасна буржуазия». Г-н Энраит демонстрирует виртуозный сарказм. С Москвой он разделяет, пожалуй, только испуг перед сексуальными сценами. Политически критик, ужасающийся наивности «красного Гамлета», представляет, конечно, другой лагерь. Прежде всего его приводит в бешенство «официальный» характер книги. Что она собой представляет? Шведскоязычную финскую литературу? Финскую жизнь? Критик надеется — этого не может быть. Он относит роман к типу книг, раздража-

Пекка ТАРККА родился в 1934 г. в Хельсинки. Доктор наук по финской литературе, литературный критик. Исследования по литературной политике, в частности, по полемике и «книжным войнам» вокруг писателей Ханну Салама и Пааво Ринтала.

ющих мнимой социально-психологической значительностью и сумбурным морализмом. В Финляндии «Дорогой принц» имел своих защитников и противников. Но когда в одном из ведущих литературных изданий мира его обругали в 700-миллиметровых столбцах, положение книги на родине заметно окрепло. Такое внимание к финской литературе в мировых литературных центрах встречается нечасто!

До эпохи современных средств коммуникации изолированность Финляндии от мира была почти полной. В этом северо-западном краю Европы люди говорят на языке, который, кроме них, понимают только живущие на другом берегу Финского залива эстонцы, с прекрасной литературой которых финны имеют оживленные контакты. Но ведь близко — Ленинград, где живет почти столько же людей, сколько во всей Финляндии, за ним — огромный Советский Союз. Связи с его литературой не особенно прочны, хотя и проводятся совместные семинары. Правда, еще в застойный период советской истории русские пытались установить контакты с финскими издательскими фирмами и таким образом освоить рыночные методы книжного Запада. Однако эти шаги — из области дипломатии и торговли, а не литературы, и хотя Дудинцева и Рыбакова на финском напечатали быстрее, чем на других западных языках, писатели Финляндии не особенно интересуются ими.

Культурные связи Финляндии традиционно уходят в Западную Европу. Когда в конце XIX века возникла современная финская литература, страну называли литературной колонией стриндберговской Швеции и ибсеновской Норвегии. А ныне рассказывают о том, что финский издатель резко отверг предложенный норвежским коллегой новый роман: довольно их, они скучны! Правда, финн взял тот же роман немедленно, когда его американский агент предложил это произведение в Нью-Йорке.

Но и сегодня ведущий партнер финской литературы — Швеция. Профессор Юрье Варпио, писавший о восприятии великого финского реалиста Вяйно Линна за границей, доказал, что за рубежами его родной страны только шведские читатели имеют жизненный контекст, обеспечивающий полное понимание философских и культурных реальностей романов этого писателя. В такой ситуации понятно, почему финские литераторы в последние годы пытаются отойти от подчеркнуто местных тем: стремление к «международности» иногда прямо-таки навязчиво.

Для семи процентов жителей Финляндии (около 300 тысяч человек) шведский язык — родной. Многие из них сегодня двуязычны. Хотя роль шведскоязычной литературы постепенно падает, она и сегодня имеет важное значение для Финляндии. Ее авторы вышли из богатой традициями среды служащих, фабрикантов, купцов и ученых, им легче, хотя бы благодаря германской группе своего языка, завязать контакты с другими странами, чем выросшим среди лесов и полей в глубине страны финскоязычным писателям. До самого последнего времени именно шведскоязычные — те, кого описывает Кристер Чилман — занимались экспортом финской бумаги и целлюлозы. Шведскоязычная литература Финляндии более финскоязычной преуспевает за границей, ибо во многих издательствах мира обычно есть знающие шведский язык сотрудники. Живущий в Париже швед С. Г. Бюрстрем долго и удачно «продвигал» переводы из Бу Карпелана. Галлимар издал во Франции роман Карпелана «Аксел» о жизни Сибелиуса. На очереди и другие переводы таких произведений на французский язык.

Финско- и шведскоязычные писатели долго спорили о культурной гегемонии в самой Финляндии. Преуспели первые. После Второй мировой войны в стране достигли «языкового мира», что пошло на пользу литературе. В 1989 году, одновременно с выходом шведского оригинала, на финском языке издали около десяти новинок шведскоязычной литературы, в частности, произведения Бу Карпелана, Йерна Доннера, Туве Янссона, Уллы-Лены Лундберг. Переводы на шведский язык финскоязычных книг одновременно выходят в Стокгольме и двух небольших издательствах в Хельсинки.

Необходимо отметить, что шведскоязычным писателям принадлежат лучшие у нас биографии деятелей финской культуры: «Ян Сибелиус» Эрика Тавастчерна и «Алвар Аалто» Бьерана Шилдта. Вообще историко-биографический жанр в Финляндии не очень развит, и в магазинах Нью-Йорка или Москвы можно увидеть только эти книги.

Шведскоязычная поэзия Финляндии проложила дорогу модернизму во всей Скандинавии, начав эту традицию в 10-е годы нашего века с творчества выросшей в Петербурге Эдит Седергран. Продолжена она Бу Карпеланом, чьи стихи перекликаются со староялонскими лирическими миниатюрами. Это — скорее язык, перешедший в пейзаж, чем пейзаж, ставший стихами. В поэзии Карпелана запечатлены и попытки воплотить подсознательное в сюрреалистическом ключе, что напоминает нам поэтику Бергмана и Бунюэля.

Характерно, что эта поэзия живет и по-фински — в мастерских переводах финскоязычного коллеги Карпелана Туомаса Анхавы. В свою очередь, Карпелан перевел для Стокгольмского издательства Анхаву, Пааво Хаавикко и Ласси Нумми. Подобное сотрудничество — не редкость: Пентти Саарита воссоздал на финском языке стихи Клаеса Андерссона и Ларса Хулдена, а Андерссон на шведском — стихи Саариты.

Когда в 1984 году Бу Карпелан издал в Стокгольме антологию двадцати четырех финских поэтов — «Мудерн финск люрик», появилась редкая возможность рассматривать традицию финского модернизма со стороны. Шведский критик Турстен Экбум отметил богатство и многогранность финской поэзии и — в сравнении с нею — резонерство и кокетство шведской. Финны, по его мнению, выгодно отличаются в своих стихах лаконизмом без оттенка «литературности» и риторики.

Впрочем, литературные связи Финляндии и Швеции столь тесны, что антологии типа составленной Карпеланом появляются примерно раз в десять лет. Гораздо реже поэзия маленькой страны выходит за пределы скандинавского полуострова. Но случается и это. В Финляндии живет немецкий поэт Манфред Петер Хайн, издавший переведенные им на родной язык стихи Пааво Хаавикко еще в 1960-е годы. Французские переводы стихов последнего («Зимний дворец», переводчик Габриэл Ребурсе) сыграли решающую роль в получении Хаавикко в 1984 году американского литературного приза Нойстадт — так называемой «оклахомской нобелевки». Конкурентами финского поэта были, между прочим, Х.— Л. Борхес и З. Херберт. Однако когда член жюри Карпелан читал стихи, переведенные Ребурсе, их воздействие оказалось магическим...

В настоящее время Хаавикко — ведущая фигура пришедшего в литературу 50-х годов «поколения модернистов». Поэта нередко упрекали в «смутности», ибо в его стихах «система мысли думает о себе». Было и другое обвинение: эксперименты Хаавикко и других модернистов лишали поэзию ее патриотического содержания — в раннем сборнике поэта «Родина» под этим понятием имелись в виду Европа и поэзия.

В дальнейшем творчество Хаавикко претерпело существенные изменения. На требования 1960-х годов о политическом (левом) «ангажировании» он ответил историческими стихотворениями с оттенком патриотизма нового типа. Его последний (пока) собственно лирический сборник вышел в 1988 году, а в последние годы Хаавикко был исключительно многогранным писателем: эпические стихи на темы Калевалы, роман о секретном агенте, истории акционерных обществ, афоризмы, оперные либретто («Всадник» и «Король отправляется во Францию», музыка Аулис Саллинен).

Однако нынешний Хаавикко виден уже в ранних произведениях. Его английский переводчик поэт Аиселм Холло пишет, что важным элементом творчества финского поэта является история, входящая в стихи «единством звучания, значений и визуальных ассоциаций». Иногда эпическая поэзия Хаавикко приобретает отчетливый историко-социальный оттенок. Путеводителем, как и для многих поэтов-ровесников, была для него поэтика Эзры Паунда «Мейк ит нью».

Особенно явно экономика и история господствуют в сборнике «По видимому миру» (1985), где поэт соединяет исторические фабулы с парадоксами и афоризмами, негодует, молится и проповедует. Пользуясь словами Паунда, он «переводит добро и зло экономики в словесные выражения не абстрактно, но так, что денежная система — конкретна, как судьба». Однако, в отличие от Паунда, Хаавикко не считает источником зла банки и ренту, а обвиняет в бедах человечества большие государства и их расточительную бюрократию. Противодействующей супервластям силой он считает малые народы и общины, которые в трудный час обязаны смотреть фактам в глаза, быть готовыми к самому худшему, но выжить, так как они необходимы для восполнения урона, нанесенного гигантами.

Хаавикко блестяще проводит параллели между своим лирическим «я», экономикой и историей. В автобиографической прозе он поэтично рассказывает о своем детстве, а затем — о своих сделках на Хельсинкской бирже. Хотя от писателя ожидали чего угодно, но то, что он некогда был биржевиком, все же явилось сюрпризом. Тут своеобразно отразился так называемый «казино-экономический» период интенсификации экономики Финляндии 1980-х годов, когда «левая поэзия» 1960—70-х (Клаес Андерссон, Пентти Саарита) считала консервативного либерала Хаавикко своим противником. И сегодня их политические мнения могут расходиться, но в ситуации социального консенсуса они прежде всего — братья в поэзии.

Материальное положение и условия работы финских писателей в настоящее время хорошие. Государство их поддерживает, издательства — меценатствуют. После Второй мировой войны в Финляндии создана поэтапная система поддержки художников, одна из самых совершенных в мире. Сегодня около ста писателей получают от государства немалую зарплату: начинающие — от одного до трех лет, а примерно сорок признанных авторов — от пяти лет и выше. Есть даже литераторский юмор, именующий такой оклад в течение пятнадцати лет «пожиз-

ненным приговором». А еще в качестве компенсации за то, что многие читатели пользуются плодами писательского труда бесплатно, беря книги в библиотеке, государство поддерживает фонд, выплачивающий стипендии оставшимся почему-либо без зарплаты. И хотя писатель вроде бы оказывается на службе, он не зависим от государства: решения о выплатах принимаются не чиновниками, а специалистами, поощряющими именно таланты (и, как говорят, особенно такие, что критикуют и даже высмеивают официального мецената).

Эта система нужна не только поэтам (которым, сидя в своих кельях, впору было бы питаться лишь чернилами), но и прозаикам-экспериментаторам, чьи книги расходятся плохо. Но есть же у нее и дефекты? Да: говорят, что стипендии поощряют литературу, у которой нет связей с читателями, с жизнью обыкновенных людей. Иногда государство поддерживает писателей, которых не публикуют и, значит, пишущих «в стол» за казенный счет. Но это и понятно: ведь всегда будут литераторы, не оправдавшие надежд меценатов.

Вклад издателей в обеспечение литературного процесса — кроме щедрых стипендий — еще и в том, что они публикуют все путное, независимо от того, смогут продать его или нет. В стране есть два крупных издательства да несколько — поскромнее, которые поддерживают эту добрую традицию, идущую, видимо, с рубежа двух последних столетий, когда Финляндия боролась за независимость и каждая книга была орудием национального движения. Теперь мотивы меценатов более прагматичны. Они берут у молодых и незрелые вещи — а вдруг прорежется талант, приносящий прибыль? Не знаю другой страны, где издатели, соперничая друг с другом, печатают сборники начинающих, художественное мастерство которых сплошь и рядом слабо — клюнувшая на приманку рыбка может в конце концов оказаться очень крупной! Кстати, в таких ситуациях издательства становятся своеобразной писательской школой. Других в Финляндии нет.

Борьба за читателя, особенно молодого, в последние годы обострилась: есть признаки того, что новые поколения все менее интересуются литературой. Количество новинок (около семи тысяч названий в год) пока возрастает, но вот общий объем книжного производства — нет. Вероятно, потому, что адресат литературы — не массы в целом, как ранее неизменно было в Финляндии. Теперь мы имеем дело с литературами разных субкультур, что особенно наблюдается в современной финской прозе.

Еще одно характерное для нее явление, отмеченное венгерским исследователем Лайошем Сопори Наги — многотомные серии романов. Ученый называет их финским субтипом родового романа и удивляется живучести этого жанра — в других странах он редко переживал начало XX века. Если в «Будденброках», что показательно для Европы в целом, Томас Манн запечатлел упадок буржуазного рода, то герои финского романа — крестьяне, рабочие и ремесленники. И речь идет о том, что члены рода постепенно поднимаются социально, приобретая и образование, и имущество.

С точки зрения Наги, авторы финскоязычных родовых романов демонстрируют «осторожный оптимизм», особое финское видение мира, которое «основывается в целом на довольно стабильном социально-экономическом развитии страны в XX веке». Но в конце 1970-х годов во многих романных сериях отразился своеобразный шок, вызванный разрушением старых общественных структур, который пережила страна за два предшествующих десятилетия. В 60 — 70-е многие отошли от традиционного сельского образа жизни, перебравшись в города. Романы заполнялись измученными «великим переселением» людьми, все громче звучит голос тоски по дому.

Многие серии очень популярны. Уникальное в современной мировой литературе событие — Калле Пяатало со своим автобиографическим циклом «Корни на круче Ий-йоки», регулярно выходящим с 1971 года. Прошлой осенью издана девятнадцатая часть, общий объем превысил десять тысяч страниц. Вне Финляндии такие книги никто не в состоянии понять. Владеющий финским языком анонимный критик «Таймс Литерари Супплемент» случайно прочел первую часть серии и довольно метко охарактеризовал медлительность повествования: «Ни одна сигарета не выкуривается без того, чтобы вынуть ее из пачки, вставить в деревянный мундштук, закурить, держа между пальцами и, наконец, вдохнуть, всосать, погасить. Даже в сценах совокупления пуговицы штанов надо сначала расстегнуть — по одной...».

Финским читателям нравится, что их переселение в город описывается основательно. На хуторах зимой работы сравнительно мало — это время Пяатало: каждую книгу серии читают друг за другом. Читают их и новые горожане. За девятнадцать лет разошлось около двух миллионов экземпляров. «Читая, люди чувствуют знакомый домашний быт, будто отец или дедушка рассказывал»,— так объяснил сам писатель причины своего успеха.

Значение книг Пяатало — скорее этнографическое. Но в Финляндии конца 1970-х вышли серии романов, обладающие безусловными литературными достоинствами. Правда, к 1980-м их время постепенно проходило. Значительнейшие — четырехтомный цикл Ээве Йоенпелто и шеститомный — Эйно Сяйся. Они были завершены в 1980 году, после чего прекратились подобные опыты других писателей и не возникали новые. Литературный климат постепенно изменился. «Дорогой принц» Кристера Чилмана в некотором роде — уже пародия на родовой роман. Литературный поиск пошел в новых направлениях.

Потрясшим финскую литературу событием был роман Матти Пулккинена «Смерть романного персонажа» (1985). Он поставил под сомнение почти все, привычное в Финляндии. Место действия — не только родная автору Северная Карелия и финские губернии, но и Варшава, Берлин, Дар-эс-Салам, Малави. Книга испугала доверчиво относящихся к Советскому Союзу финнов — автор отнес действие к концу 80-х, когда страна становится «какой-то Советской Финляндией». Писатель атакует характерный для своих читателей «осторожный оптимизм», описывая будущее Африки безнадежно, а финских специалистов, помогающих развивающимся странам — иронично. Наконец, Пулккинен отнял у финнов доверие к традиционному роману. Он включает в книгу длинные цитаты из американских психоаналитиков и магнитофонных записей польских полицейских. Герой — писатель, лауреат Скандинавского Совета (его роман — один из текстов произведения Пулккинена), преследуемый своим биографом наподобие ситуации в «Бледном огне» Владимира Набокова. Повествования в подлинном смысле слова тут нет: отдельные фрагменты и описания переживаний во многом зависят от субъективных факторов.

Иные писатели, кажется, поколеблют просветленную веру финнов в прогресс общества. Если Пулккинен распространил действие своего романа по всему свету, то другие тем временем проникли в темные омуты человеческого сознания. Этих авторов обобщенно именуют «школой зла». Ее талантливые представители — Анника Идстрем и Эйра Стенберг, по мнению которых, до них женщины боялись достаточно откровенно описывать подавленную сексуальность и ненависть. В марте 1988 года они вели привлекшую многих полемику о том, что господствует в этой литературе страдания и ментальных катастроф: иррационализм или страсть к познанию. Стенберг обвиняла своих коллег в мистификации зла и требовала, ссылаясь на «Искусство романа» Милана Кундеры: больше мысли и игры в литературу! Но самое характерное для новой финской женской прозы все-таки — эмоциональное повествование Идстрем, в «метаморфозную» технику которого она вносит «непосредственное действие, кровь и ярость».

Подобная прямота без «литературного» оттенка свойственна в современной финской прозе не только этим писателям. Тут следует сказать о Ханну Саламе. Это давно уже важнейшая фигура в литературе страны. В 1960-е годы он вступил в конфликт с церковью: персонажи романа «Танцы на Ивана Купалу» издевались над Иисусом, а автор заработал приговор (правда, условный) за богохульство. Потом он вызвал гнев Коммунистической партии Финляндии за то, что писал о финском движении Сопротивления во Второй мировой войне в духе «Дороги свободы» Сартра. Роман «Там зритель, где исполнитель» (1972) — одна из вершин финской литературы последних десятилетий. Потом и Саламу прельстил «длинный» жанр, но его пятитомная серия, вплоть до названия — «Финляндия» — насквозь иронична: семь писателей и их сумбурные отношения характеризуются с помощью их же текстов. А последняя книга Саламы «Амос и островитяне» (1989) отличается краткостью и сжатостью. Образ авторитарного государства будущего напоминает здесь видения ветхозаветных пророков о безумии, похоти и хаосе.

Переход Саламы от «длинной» формы к малой показателен для новейшей финской литературы, в которой популярным жанром стал рассказ (впрочем, не забывавшийся и во времена многотомных романных серий). Большого искусства достиг здесь Антти Туури. Его романы 1980-х годов показывают, как отшлифовывает рассказ писательскую технику. Туури пишет о людях своей родной губернии Похьянмаа, но на роль историка не претендует. Как в «вестерне», но без нарочитой морализации, он описывает вспышки насилия в финляндской «прерии». Писатель рассказывает о мужчинах, которые в войне 1939—1940 годов хладнокровно убивали русских, стремясь убить как можно больше, и с юмором — о придурковатом упрямце, который в бою не отступал перед русскими, но убежал во Флориду от социал-демократического налогообложения 1980-х годов.

Особенно популярны малые жанры у молодых. Вот, например, Роза Ликсом, выросшая в Лапландии и долго жившая в Копенгагене. Начала она с фрагментарных описаний непочтительной к авторитетам молодежи. Затем путешествовала по Советскому Союзу, ознакомившись, в частности, с молодежными субкультурами (металлистами и наркоманами). Свои впечатления о теневых сторонах советской жизни и жертвах этих аномалий от Москвы до Иркутска Ликсом изложила в газете «Хельсингин Саномат». Когда на основе этих материалов вышла книга

«Промежуточная станция Гагарин» (1987), репортер стал автором абсурдных, сказочных историй.

Как новеллист Ликсом сейчас — одна из самых больших надежд Финляндии. Некогда я сравнивал ее с классиком финского рассказа Марией Йотуни (1880—1843), особенно с ранними прозаическими миниатюрами последней о любви и одиночестве. Образцами для Йотуни служили мастера эротических описаний Петер Альтенберг и Артур Шницлер, научившие ее воспроизводить «экстракты жизни. Жизнь души и случайного дня, сжатую в 2—5 страниц, как уплотненный пар, очищенную от излишнего, химически чистую» (Альтенберг). Для Йотуни Вена рубежа двух столетий значила то, что для Ликсом — Копенгаген 1980-х.

У Розы Ликсом и Марии Йотуни есть и еще одна общая черта — хотя обе (каждая — по-своему) связаны с модными течениями европейской интеллектуальной жизни, они неизменно возвращаются в Финляндию. Йотуни, вкусив упадочничества, стала писать о финской деревне (роман «Будничная жизнь», 1909). Источник творчества Ликсом — статистические данные о жизни огромных городов с царящими в ней черствостью и насилием. Однако когда писательница вернулась к своим корням — лапландской периферии, она и здесь находит те же отношения людей, да еще и в более чистом трагическом виде. При описании любви и эротики она предпочитает избирать ситуации безнадежные и исчерпанные.

Фантазия станет иногда для нее страной свободы; плавно и легко повествует Ликсом о номадах нового типа, переходящих из одного города Европы в другой и живущих, по евангельской заповеди, как птицы небесные. О любви здесь говорится в тоне, совмещающем строгость и гротеск. Ликсом описывает мужчин охотнее, чем женщин, и хотя в числе персонажей встречаются даже борцы, ее любимый герой — монах.

Сегодня стала модной тяга к целибату — особенно после того, как стала явью новая страшная болезнь. О СПИДе в произведениях Ликсом говорится лишь единожды — аскетизм лапландцев основан у нее скорее не на страхе перед этой бедой, а на суровости арктического климата. Можно все списать на неумение северных людей любить. Но в конечном счете речь идет не об «арктической истерии», если пользоваться модным в Финляндии определением. Сравнив рассказы Ликсом о Лапландии с описанием ею больших городов, мы можем говорить об абсолютном воздержании, которое культивируется в книгах писательницы на разных уровнях и в разной обстановке как универсальная тема. Рассказы об отшельниках Лапландии — гордые картины великой воздержанности. Ответ провинции на призывы и соблазны городских сирен может быть и таким...

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Дробинская Л. П. Пишите мне на медсанбат. Лениздат, 1990

Танк, лязгая гусеницами, остановился у медсанбата. На его броне девушка-военфельдшер онемевшими пальцами сдерживала кровотечение из раны танкиста. Медсанбатовцы, «перехватив» из-под ее рук артерию, унесли раненого в операционную. Срочно потребовалась кровь, но нужной ее группы не оказалось. И тогда военфельдшер Катюша немедленно отдала свою, чем вторично спасла танкиста...

Это лишь один из эпизодов книги о медиках 55-й армии под Ленинградом в 1941—1944 годы, посвященной «врачам, сестрам, санитарам, живым и павшим».

По-женски проникновенно, уважительно и сострадательно автор пишет о тех, кто, не жалея себя, боролся за жизнь других. О полковниках медицинской службы С. М. Гофмане, М. А. Могучем, военвраче Л. Лицинской, военфельдшере В. Дудиной, медсестрах А. Максимовой, К. Михеевой и многих других тружениках госпиталей, медсанбатов, санитарных частей — добрых, милосердных, мужественных. Они не только спасали раненых, но и рыли землянки, тушили пожары, строили и топили бани, добывали продукты, писали письма за тех, кто не мог это делать сам, участвовали в госпитальной самодеятельности. А если требовала обстановка — защищали своих пациентов с оружием в руках.

Многие из них остались верными профессии медика и после войны. Людмила Петровна до недавнего времени также трудилась. К фронтовым орденам и медалям подполковника в отставке, кандидата медицинских наук прибавились новые награды. Живет, как и до войны, на своем любимом Васильевском острове. На мой вопрос, пишут ли «на медсанбат», она ответила, что пишут, звонят, чаще всего — дети или внуки тех, о ком речь в книге.

Знать, большой след в душах оставили люди большого сердца...

П. ЕВСКИЙ

Виктор Коркия. Свободное время. Стихи и поэмы. М.: Советский писатель, 1989

...Невеликая радость — быть певцом разлада. Но такова природа поэта: что вижу — про то пою. И — престранное дело! — бессмыслица и хаос жизни преобразовываются даже под самым неромантическим пером, энтропия уменьшается, упорядоченная система взгляда, сфокусировавшая лучи внутренним зрением, дает точку отсчета — и надежду!

Виктор Коркия — стихотворец из подспудного поколения семидесятых годов, поколения подтекста, перифраза, отзывающихся искаженным эхом приевшейся цитаты...

Долгое насильственное молчание не проходит для поэта даром: лиричность, напевность, восторженность — не те качества, которыми он может порадовать уважаемую публику, да и себе душу облегчить. Нелепый мир окружает запоздавшего к читателю стихотворца — нелепый мир со скоморошеской улыбкой отражают и его стихи.

Врачевание нравов редко доставляет удовольствие пациентам, да и знахарей появляется все больше и больше, но Коркия был одним из тех, кто первыми в минувшие семидесятые-восьмидесятые возродили и продолжили мучительную терапию внешне бесстрастной насмешки, запатентованную обериутами, а уж оттепель-гласность, соблазняв проторенным путем, вызвала к жизни целый сонм эпигонов этого направления...

Много охотников найдется обвинить книгу Коркия в очернительстве, в нежелании видеть светлые стороны родного бытия, подобно тому, как В. Высоцкому до сих пор ставят в вину неэстетичную хрипоту срывающегося на крик голоса.

Но стоит попытаться понять, что это — поэтика-позиция, где беспомощная боль за отчизну в человека отдает горчайшей иронией.

Я думаю, что если бы Гомера
Ударили разок мотыгой кхмера,
То он не написал бы ни черта!..
А впрочем, и из вашего компота
Такого можно выловить Пол Пота,
Который Пиночету не чета.

Так что, возвращаясь к началу разговора, хочу повторить — укрощение хаоса жесткой уздой слова есть шаг на пути к гармонии...

И. ЗНАМЕНСКАЯ

Юрий Козлов. Ошибка в расчете. «Знамя», 1990, № 2

Почему серьезный журнал прельстился этим рассказом — собранием штампов, которые поднакопились в прессе двух последних лет? Некий «суперизобретатель» Митя, теоретически обосновавший «закон единого и неделимого пространства» — закон, интересующий военных, ибо позволяет осуществлять мгновенную транспортировку на громадное расстояние; древняя бабушка, память о которой есть для Мити живительная *связь с корнями*; западный миллионер-изобретатель, занятый той же, что и Митя (которого деньги не интересуют), проблемой, но имеющей целых четыре «Яшиды»; КГБ, охотящееся за компьютером «Яшида»; краткое описание Митиной рефлексии на тему православия; путана, становящаяся Митиной наложницей; могущественный цекист Сергей Андреевич; его помощник, плут и казнокрад, управляющий государством в личных интересах; наконец, некий городок в тридцать восьмом году, куда Митя из любопытства переносит себя с помощью своего изобретения и где его выстрелом в затылок деловито убивает сотрудник НКВД как шпиона... И все это спрессовано в удобочитаемое, динамичное повествование.

Две гипотезы: перед нами или пародия, или симптом кризиса журнальной прозы, который можно назвать *феноменом рекуррентности* («возвращенности») — не умея открыть новое (в реальности, стиле, языке), автор (а он уже не одинок) замыкается в «едином и неделимом пространстве», нещадно эксплуатируя все, что введено в литературу заново. Если эта комбинаторика не намеренно пародийна, то является типичным масскультом: «чтивом», удобным для восприятия «на бегу», сочетающим занятность со знаками актуальности. Самое сложное — настойчиво внедряемая в сознание читателя мысль о том, что длится вечно «тридцать проклятый год», что пространство — то и наше — *едино*. Рассказ несет печать конъюнктурного расчета автора (тут ошибки нет) и напоминает о том, что все крамольные мысли израсходовали запас своей крамольности, что они уже снижены до бульварного примитива и что проза — после Солженицына и Шаламо-

ва — нуждается в том, чтобы на ней заново нарос слой литературной условности, содранный лагерным «гиперреализмом». «Ошибка в расчете» — один из вариантов «неусловности», но еще самой примитивной (фантастический сюжет, упражнения со штампами, имитация «философем»). Очевидно, что нужно другое: эксперименты со стилем, языком, способами самовыражения автора, которого в этом сочинении просто нет. Здесь — скорее продукция легендарной «Яшиды», обладающей уникальными комбинаторными способностями.

М. ЗОЛОТОНОСОВ

Записки императрицы Екатерины II. Издание Искандера, Лондон, 1859. Репринтное воспроизведение.— М.: Книга — СП «Внешиберика», 1990

«Взяв в руки эту книгу,— пишет в предисловии к ней доктор исторических наук Е. Анисимов,— читатель вправе считать себя счастливчиком, ибо к нему попал один из ценнейших источников по истории императорской России XVIII века». Но почему за два с лишним века этот ценнейший источник так и не стал доступным?

Вероятно, русская поговорка «близь власти — близь смерти» дает ключ к пониманию судеб не только людей, но и документов. Не так уж сложно понять то тщание, с которым тайная полиция охотилась за копиями «Записок» во времена Николая I или Александра II. Но кто мешал издать их после 17-го года, когда права последних Романовых на престол, казалось бы, мало кого волновали? Только ли «ученые-профессионалы, претендующие на роль жрецов в храме»? Не думаю...

Мемуары таких лиц, как Екатерина II, не пишутся «просто так». Соглашаясь с автором предисловия и в этом, принимая его, сделанные на основе тщательного сопоставления различных редакций «Записок», выводы о целях мемуаристки, я только хотел бы напомнить, сколь «опасно» само по себе писание мемуаров. Как ни правь их текст, как ни уточняй в нем формулировки, а все равно скажется и нечто такое, чего совсем не предполагал вам сообщить автор. Обязательно!

Екатерина намеревалась поведать о том, как умнела, укрепляла характер, набиралась политической мудрости, но... Чем дальше читаешь ее «Записки», тем чаще испытываешь не сочувствие к автору, а некую отстраняющую от него, полубрезгливую жалость. Ибо догадываешься — не неумолимостью обстоятельств, но этим вот собственным стремлением во что бы то ни стало удержаться на вершине власти (а оно присуще мемуаристке столь органично, что ею почти и не замечается) оказывается она напрочь отсечена от всякого достойного выбора. Талант к политической интриге растет в ней, лишь пожирая последние ее человеческие способности — к сочувствию, привязанности, сердечному увлечению... По «Запискам» мы можем проследить этот процесс омертвления и расчеловечивания шаг за шагом, все явственней ощущая мертвящее дыхание «заоблачных вершин» деспотизма, оказывающихся вблизи лишь грязною политической кухней.

Именно в этом и состоит, по-моему, главный сюжет «Записок». И именно в этом — та, самая глубокая и стыдная, тайна любой деспотической власти, нечаянное разоблачение которой столь долго мешало замечательнейшим «Запискам императрицы Екатерины II» выйти к широкой публике.

В. КАВТОРИН



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

От России в двух шагах...

Л. ВИЛЬЧЕК

ЗНАМЕНИТАЯ SLAVICA

Знаменитую Славянскую библиотеку в Хельсинки можно и не заметить. Это не то, что вознесенный над голубой водой и зелеными островами современный билдинг нефтяной компании «Несте» или массивный торговый дом Стокман на перекрестке главных улиц. Их видно издалека.

А здесь, на тихой, сбегающей к морю улице Нейтсютполку, ничто не зазывает и не кричит; можно просто пройти мимо обыкновенного дома, вдвинутого в анфиладу таких же построек, в котором находится уникальная библиотека.

Чем же замечательна Славика (как часто называют ее), в которой даже самые разные люди испытывают одно и то же чувство; «Библиотека такая, что возникает почти неудержимое желание остаться в ней и поработать»,— записал Константин Симонов в 1978 году, а два года спустя Юрий Трифонов почти повторил в той же книге посетителей: «...Завидую тем, кто имеет возможность тут работать».

Конечно, в первую очередь привлекает книжная коллекция библиотеки. Общепризнано, что это самое большое собрание русских книг, равного которому нет нигде за пределами России. Здесь много редких изданий. Самая старинная книга — у всех на виду, на столике под стеклом в читальном зале. Это Острожская Библия 1581 года работы первопечатника Ивана Федорова. Можно полюбоваться трудами предков и одновременно подивиться прекрасной сохранности книги. Другие редкие книги минувших веков хранятся внизу, в сейфах. По мнению ученых-библиографов, наиболее уникальными являются проповеди знаменитого деятеля православия Леонтия Карповича (1615 год); известно упоминание всего лишь четырех экземпляров этой книги, ревностно уничтожавшейся иезуитами.

Книг XVIII столетия в библиотеке насчитывается до 1500, среди них первый в России закон о векселях, богатое издание к коронации Елизаветы с именным вензелем на крышке — из тех экземпляров, что были розданы высшим лицам государства. Всего замечательного не назовешь. Но в богатом собрании старых словарей стоит задержаться на Словаре Палласа екатерининской эпохи. Его полное название: «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы, ч. 1—2, 1787—89 гг.». Основу словаря составили материалы, поступившие от русских губернаторов, русских посланников при императорских дворах, а также иностранных ученых. Своего рода документ успешного международного сотрудничества. Поразительна быстрота работы наших далеких предшественников. Программу словаря П. Паллас подготовил в 1785 году, затем ее перевели на французский и разослали, а через два года два толстых тома были напечатаны. Однако Екатерина не вполне была довольна словарем, и спустя два года выходит дополненное словами 4 европейских, 22 азиатских, а также 30 африканскими и 23 американскими языками — всего 4 тома по 400—600 страниц каждый. Наверное, нынешнему НИИ этой работы хватило бы на две пятилетки.

Именно здесь, в старинной коллекции Славики, была обнаружена часть давно разыскивавшейся библиотеки Ломоносова, отсюда 52 книги с его пометками были переданы в дар Академии наук СССР.

Однако главная ценность библиотеки заключается не в большом количестве редкостей, а в той абсолютной полноте, с которой представлена русская наука и литература за XIX век.

Кто же позаботился об этом? Закон Государства Российского. В 3 томе Полного собрания законов на стр. 466, § 52, сказано: «„Ценсурные Комитеты и отдельные Ценсоры, получая сверх означенных в § 42 двух, еще по три экземпля-

ра каждой, вновь отпечатанной книги, отправляют немедленно из оных: один в Имп. Публичную Библиотеку, один — в Гельзингфорский Александровский Университет и один — в Главное Управление Ценсуры". Распоряжение Николая I, 1828 год». Тут ничего не остается, как только присоединиться к словам Евгения Евтушенко, записавшего: «Первый раз в жизни неожиданно испытал чувство благодарности к Николаю I, узнав, что именно он отдал указание...»

Но важно и другое — что выполнялся этот закон вечно ругаемыми царскими чиновниками неукоснительно. В течение почти 90 лет, практически без перебоев, из России в библиотеку стекались книжные реки, наподобие того, как течет ныне газ и перебрасывается сюда нефть при посредничестве той самой компании, чья роскошная контора торчит над безмятежным озером с певучим названием Лаутасаари.

Известно, что ни одна богатая библиотека не существовала без пожертвований. Поступали дары и сюда — поделились своими дубликатами Московский университет, Петербургская академия. Но были и персональные пожертвования, именные. Особо ценный за всю историю библиотеки — уникальная коллекция книг — около 24 000 томов русской и иностранной литературы, в которую входили книги из так называемой Гатчинской Большой библиотеки и библиотеки Мраморного дворца. Книги Большой библиотеки были собраны Президентом Российской Академии бароном Корфом. Еще в 1764 году Екатерина Великая купила у барона эту библиотеку, передала ее наследнику трона Павлу I, от Павла книги перешли его сыну Константину Павловичу и, наконец, к П. К. Александрову. И вот в 1832 году ротмистр, конногвардеец П. К. Александров (побочный сын великого князя Константина) передал отцовское наследие библиотеке университета.

Другой военный, уже нашего времени, не конногвардеец, а конармеец, тоже вручил библиотеке свой именной дар — 3500 книг со штампом: «Из книг, подаренных Председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошиловым», 6 августа 1956 года. Редкостей в этой коллекции я не увидела — в основном, книги 1953—1955 годов, много юношеского чтения. Но кто знает, может быть, через несколько столетий и в ней обнаружатся раритеты, которые выведут из небытия имя дарителя.

Но это еще не вся история. Издать хороший закон, пожертвовать книги — еще не значит создать библиотеку. Нам хорошо известно, сколько уникальных даров рассыпалось в прах, разлетелось по миру множеством осколков. Надо уметь сохранять и приумножать собранное. Богатством Славики, в не меньшей мере, чем книги, являлись ее библиотекари.

Создателем Русского отдела был знаменитый Я. К. Грот, в ту пору молодой профессор русской истории, статистики и литературы Хельсинкского университета. После отъезда Грота в Петербург библиотека пришла в запустение, пока не появился другой подвижник В. Семенов. В течение 25 лет во главе библиотеки стоял А. Игельстром, журналист, автор многих работ о Финляндии, составитель большого шведско-русского словаря. Он много сделал для пополнения библиотеки, когда практически прекратилось право на обязательный экземпляр. Полвека трудился здесь превосходный знаток русских книг Э. Бекман, а затем два десятилетия ей посвятил С. Халтсонен. Знаменательный факт: почти все трудились здесь подолгу: ибо серьезный библиотечный труд — это не служба, которую можно поменять, а служение — дело всей жизни человека.

Преемником этих замечательных людей сегодня является Ярмо Суонсюрья, занимающийся библиотечным делом с 1967 года. Когда Ярмо Суонсюрья рассказывал мне историю Славянской библиотеки и раскрывал ее книжные богатства, мне показалось, что с особой любовью он относится к словарям, о них он говорил больше и с множеством смешных подробностей. Показывая 3-е издание Словаря Грота под редакцией И. А. Бодуэна-де-Куртене, сменсь, сказал, что оно наиболее полное, даже с такими неприличными словами, как «жопа», выбрасываемыми позднее моралистами. Тогда я подумала, что тень Грота витает и над моим современником Ярмо. И не ошиблась — позже, в его кабинете, я увидела рукопись финско-русского словаря библиотечных терминов, подготовленный совместно с Ритой Сиунела и сотрудниками нашей Библиотеки имени Ленина.

У Славянской библиотеки есть и другие совместные планы с Ленинской библиотекой и со Щедринской. Сотрудники хорошо знают друг друга, заимствуют опыт, обмениваются выставками. Я поняла, что здесь есть и общие с нашими проблемы: переводить на более современную систему каталоги, делать множество микрофильмов, чтобы спасти хрупкие от времени старые газетные листы. Для всего нужны немалые средства и, конечно, заботливые руки.

А рук в библиотеке, где 400 тысяч томов и 12 тысяч посетителей в год, немного. Под началом Ярмо Суонсюрья работает одиннадцать человек, все женщины, все финки, кроме хакаски Татьяны Нарылковой родом из г. Абакана. Все они одинаковы только в одном — в доброжелательности и невиданном трудолюбии. Впрочем, как я успела заметить, прожив здесь три года, это финская черта, ставшая фундаментом национального благосостояния.

Все эти женщины хранят не только книги, они сохраняют еще одно уникальное свойство Славянской библиотеки — ее атмосферу, завещанный ушедшими поколениями дух. Зав. библиотекой Игельстром писал, обращаясь к читателю, в начале века: «Наше книгохранилище — учреждение общедоступное: книгами его могут пользоваться не только лица, принадлежащие к составу университета, но и посторонние, без всякого при этом залога и без стеснительных формальностей». Учтивость и доверие к людям, которые звучат в одной этой фразе, живут и поныне в этом библиотечном доме.

Атмосфера рождается здесь, в большой служебной комнате с выгороженными для каждой рабочим углом и круглым столом для всех посередине с традиционной кофеваркой, с шутливыми надписями и рисунками. Хорошее свойство — шутят и над собой: карикатура на современную библиотекаршу, нелепую, обезумевшую от читателей; или объявление о том, что перерыв на кофе — с 9 до 5 часов. Здесь часто слышится смех, и за три года я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь рявкнул на переступившего порог этой комнаты читателя. У вас вопрос — ответят охотно, а зайдешь в удачный момент — угостят чашечкой кофе.

Само устройство читального зала напоминает обстановку домашней библиотеки, и в этом тоже секрет ее притягательности. В зале 33 места, прямо рядом со столами стеллажи с периодикой трех веков — сам бери журналы с полки и ставь обратно на место — так и гуляешь ежедневно в коридорах столетий. Можно обложиться книгами по уши и уйти в них на год — это тоже не возбраняется. «Империя!» — шутливо кивает на подобный стол Ричард Стайтс, старожил Славики. Историк, профессор Джорджтаунского университета, он прилетает сюда из-за океана ежегодно в течение более 20 лет. Видевший все библиотеки мира, он совершенно уверен в том, что это лучшее место для работы. И ему нельзя не поверить — здесь написаны три его последние книги — о женском движении в России, о русской утопии, о советской массовой культуре.

Славянская библиотека не удивляет сверхтехникой, компьютерами с банками данных, отвечающих на ваши вопросы. Есть два служебных компьютера, два ксерокса, один из них — для читателей. Поэтому Стайтс прихватывает технику с собой — портативный компьютер, бесшумный, с дьявольской, на мой отсталый взгляд, памятью, из которой владелец довольно охотно извлекает полезную информацию и для коллег-славистов.

В свободные минуты я расспрашиваю сотрудниц о жизни, о том, какие недостатки у библиотечной работы. «Один недостаток,— говорит мне поддерживаемая другими Леена-Рийтта Пелтола, у которой пятеро сыновей,— маленькая зарплата».— «Но на нее можно нормально жить?» — «Да, конечно, можно, если есть квартира». После работы Леена уносится домой... не на лимузине, а на велосипеде, который больше подходит по средствам и полезнее для здоровья.

У этих же своих анакомых я выведываю тайны массового читателя. Оказывается, самыми читаемыми книгами последних лет были «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева, «Архипелаг ГУЛаг» А. Солженицына — уже несколько раз меняли́сь на них переплеты. Затем идут «Загадка смерти Сталина» Авторханова и... Думаете Пикуль? Нет, он здесь давно затоварился. В последнее время люди часто стали обращаться сюда в поисках родословных, интересуются геральдикой, возникло своего рода повальное желание рыться «в генеалогической пыли». Приезжают из других городов, пишут из других стран — на столе Эйлы Терякко множество запросов — потомки Толстого из Англии, наследники Дзержинского... Ни один не остается без ответа — после ее тщательных разысканий в Родословных книгах, в том числе в знаменитой Бархатной книге.

«Все хотят стать Рюриковичами!» — прекрасно шутит Саара Таласниеми. Что ж, можно стать Рюриковичами или Романовыми, или Шуйскими — выбор в книгах богатый. Гораздо труднее оставаться просто людьми, которые умеют достойно работать для будущих поколений.

Хельсинки — Москва

Елена ХЕЛЛБЕРГ

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЮБИЛЕЙ В ХЕЛЬСИНКИ

Собравшиеся около здания университета зрители в первый день июня стали очевидцами необычайно длинной академической процессии. Она медленно двигалась из университетского актового зала к собору на Сенатской площади. Под звон колоколов по красной ковровой дорожке парами шествовали профессора,

доценты и преподаватели университета и приглашенные гости: мужчины во фраках, женщины в длинных черных платьях. Новоиспеченные магистры философии шли в зеленых лавровых венках, сплетенных накануне под руководством избранной для этой почетной роли юной студентки, которая вместе с университетским канцлером возглавляла процессию.

В отличие от подобных шествий, проходящих в Хельсинки ежегодно в связи с началом учебного года и весной после присуждения докторских степеней, академическая процессия на этот раз была отмечена участием президента Финляндии Мауно Койвисто. В этот день ему было присвоено звание почетного доктора философии и вручены традиционные знаки докторского звания: черный цилиндр и шпага.

По случаю 350-летия университета церемония вручения академических отличий (так называемая «промоция») собрала небывалое число участников и зрителей. Огромный актовый зал не смог вместить всех желающих, и часть зрителей смотрела трехчасовой торжественный акт по внутреннему телевидению в главной университетской аудитории.

Юбилейные торжества растянулись на весь этот год.

Честь отмечать 350-летие со дня основания университета Хельсинки разделяет со столицей город Турку: именно там в 1640 году шведская королева Кристина основала первый в Финляндии университет. Но после городского пожара в 1828 году университет со всеми профессорами и частично спасенной от огня библиотекой был переведен из Турку в главный город Финляндского княжества — Гельсингфорс. Тогда он стал называться Императорским Александровским университетом. Царь Александр I и вслед за ним все Романовы, от Николая I до Николая II, значились университетскими канцлерами.

Сейчас Хельсинкский университет — самое крупное учебное заведение Финляндии. На восьми его факультетах учатся 28 тысяч студентов. Преподавание ведется на двух официальных языках — финском и шведском. Шведам как национальному меньшинству обеспечено право слушать лекции и сдавать экзамены на родном языке. Для этой цели в университете имеется 27 шведскоязычных профессур. В юбилейный год Хельсинкский университет вступил под знаком европеизации. Уже сейчас здесь учатся 600 иностранных студентов. По программе «Нордплюс» начинается постоянный обмен студентами и преподавателями между университетами северных стран. Сделаны первые шаги по проведению в жизнь европейской межуниверситетской программы «Эразмус», согласно которой все университеты Европы смогут обмениваться студентами. Договоры о научном сотрудничестве и обмене учеными заключены с десятком университетов Европы, Азии, Америки. В их числе — заключенный несколько лет назад договор с Тартуским университетом, уже принесший плоды в виде совместных конференций и научных сборников.

Хельсинкский университет выделяется не только количеством студентов, но и огромным разнообразием преподаваемых дисциплин. Развитие идет в сторону создания междисциплинарных и сверхдисциплинарных научных центров, посвященных разностороннему изучению какой-либо крупной темы. Из числа уже созданных в Хельсинки следует упомянуть такие актуальные темы, как охрана окружающей среды, феминизм, языки и культура Африки и Азии, историко-культурное изучение России и СССР, тема северных стран.

По словам декана историко-филологического факультета, профессора-слависта Арто Мустайоки, университет живет в состоянии перманентного кризиса. Он вызван постоянной конкуренцией несовместимых принципов: с одной стороны, это конфликт европеизации и интернационализации с национальной традицией и потребностями общества; с другой стороны, принцип свободы научных исследований и суверенности просвещения и образования вступает в противоречие с растущими требованиями «эффективности» в подготовке специалистов и научных работников.

Университетский принцип свободного посещения и индивидуального планирования занятий, в сочетании с тем, что многие студенты параллельно учатся и работают, отражается на сроках обучения. В среднем по университету срок обучения колеблется от 6 до 8 лет. Порой студентам выгоднее продлевать обучение, живя в общежитии и отдаляя начало выплаты льготного государственного займа на образование, которым наряду со стипендиями пользуются почти все студенты. Особенно долго учатся девушки, ибо их студенческая пора часто совпадает с замужеством и рождением ребенка. Женщины составляют более половины общего числа студентов университета.

С Хельсинкским университетом связаны имена шведско-финского поэта Рунеберга, воссоздателя эпоса Калевала Лённрота, общественного деятеля Снелльмана, историка Портана, путешественника Норденшельда, чьи имена носят университетские здания и улицы города. Главное здание университета строгим классическим фасадом выходит на Сенатскую площадь с памятником Александру II. Напротив возвышается собор, где окончание академических процессий завершается

богослужением и органной музыкой. Такое сочетание нередко вызывает удивление гостей, но для ревнителей традиций это важная часть культурного наследия, бережно хранимого университетом.

Время от времени студенты протестуют против академических традиций и «засилья профессоров». Весной этого года на студенческих митингах было произнесено много речей за расширенное участие студентов в делах факультета и в защиту свободы доцентов, которые находятся в Финляндии на особом положении. Они ведут научную работу и преподают в среднем два часа в неделю, выбирая свободные темы в пределах профиля кафедры или факультета.

Для подкрепления своих аргументов студенческий союз занял здание администрации и выставил в окне черный анархистский флаг. Осада была снята, когда после переговоров с министром просвещения было достигнуто некоторое взаимопонимание. Предыдущая большая волна студенческих волнений прокатилась по Финляндии, как и по всей Европе, в конце 60-х — начале 70-х годов. Теперешние преподаватели, доценты и профессора, то есть тогдашние студенты, относятся к нигилизму молодежи достаточно терпимо.

У студентов существуют собственные традиции. В канун Первого мая все нынешние и бывшие студенты надевают фуражки с белым верхом. Точно такой же фуражкой они украшают статую Аманды на рыночной площади. Выбранная по жребию группа студентов одного из вузов Хельсинки перед этим любовно моет с мылом обнаженную Аманду, готовя ее к началу летнего сезона. Процедура сопровождается музыкой, шампанским и карнавальным шествием по улицам города.

Любовь к старомодным традициям нисколько не препятствует непрерывному обновлению и модернизации университета. Все кафедры оснащены компьютерами, что позволяет студентам и преподавателям вести работу и исследования на уровне современной научной техники.

В трехтомной истории Хельсинкского университета, подготовленной к юбилею группой историков под руководством профессора Матти Клинге, отражены три периода существования Финляндии. Бывшая шведская, а позднее русская провинция на окраине Европы, обретя независимость в 1917 году, стоит сейчас на пороге широкого сотрудничества со всеми европейскими странами. Университет — один из гарантов ее самосознания.

Инна РОГАЧИЙ

РУССКИЕ НА ФИНСКОЙ СЦЕНЕ

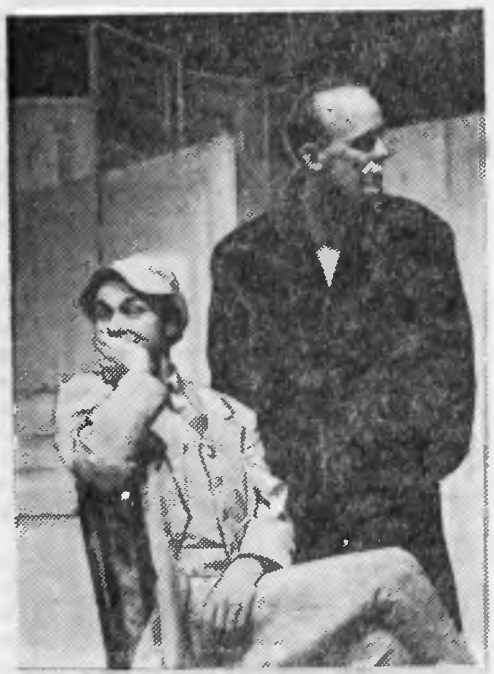
Сотрудничество советского и финского театра нельзя назвать очень тесным, зато вполне можно говорить о нем, как о постоянном творческом процессе, который начался с постановок Георгия Александровича Товстоногова в Национальном театре Финляндии в 1960—1970 годах, продолжился постановками Льва Додина и Олега Табакова (соответственно в том же Национальном и в городском театре Лахти) и сегодня пришел к сотрудничеству Камы Гинкаса с хельсинкским Лилла-театром.

Точка зрения Гинкаса на жизнь и на театр оказалась близка известному в Финляндии театральному коллективу совсем не случайно. Этот театр имеет давние традиции интеллектуального театра. Подобная структура обеспечивает полную творческую и общественную независимость Лилла-театру, что, как я поняла из встреч и бесед с актером и режиссером Аско Сарколой, является для этого коллектива главным.

Спектакль «Преступление и наказание», поставленный советским режиссером Камой Гинкасом в Лилла-театре весной 1990 года, смело можно назвать одной из самых ярких удач нынешнего театрального сезона. Такого Достоевского не только финские и шведские зрители, но и многоопытные советские любители театра не видели никогда.

Художник Давид Боровский создал на сцене симфонию белых дверей. Его сценография в финском спектакле — это одновременно многозначительный философский образ и многовариантное, функциональное игровое пространство. А натолкнул художника на это решение сам Достоевский — Боровский с видимым удовольствием говорил мне, что слово «дверь» встречается на страницах «Преступления и наказания» 194 раза.

Создав собственную, очень интересную и современную интерпретацию романа (в спектакле два главных героя — Раскольникова и Порфирий Петрович, которые, кроме того, что они — персонажи Достоевского, еще и современные люди, читатели, обсуждающие великий роман, еще и актеры хельсинкского Лилла-театра,



Аско Саркола (слева) и Маркус Грот в спектакле Лилла-театра «Преступление и наказание»

играющие этот роман на сцене), Кама Гинкас долгое время был занят поисками и отбором актеров. Не было проблем только с Порфирием Петровичем — Аско Саркола такой неожиданный актер, что его участие украсит любой спектакль любой труппы мира. После долгих поисков Гинкас «откопал» Раскольникова — финская критика единодушно называет Родиона лучшей ролью Маркуса Грота.

А Сонечку Мармеладову Гинкас привез из Москвы. Актриса МХАТа Ирина Юревич говорит в спектакле Лилла-театра по-русски... Представьте... Это создает непривычную, но совершенно «достоевскую» атмосферу. И осмысленной метафорой звучит в напряженном и мучительном сквозном диалоге Сонечки и Раскольникова ключевая в этих сценических обстоятельствах фраза Достоевского: «Я тебя не по-ни-маю!..»

На сцене маленького финского театра Кама Гинкас и Давид Боровский вместе с финскими актерами-единомышленниками создали жесткий, предельно откровенный и очень современный спектакль. Этот плод совместного творчества принес Лилла-театру заслуженный и серьезный успех у финской публики (на всех прошедших спектаклях зал был полон до отказа) и на крупном международном театральном фестивале в Италии в апреле 1990 года. Художественное руководство Лилла-театра решило в следующем сезоне снова играть «Преступление и наказание» (случай нечастый в западном театре), теперь уже по-фински (первая постановка шла по-шведски: театр, как и вся страна, двуязычен). В этой связи Аско Саркола с большой теплотой и признательностью говорил об Олеге Ефремове, который отнесся к Лилла-театру и его «производственному процессу» с пониманием и готов снова отпустить Ирину Юревич на краткий ангажемент в Хельсинки.

Советско-финское театральное сотрудничество продолжается и развивается — в момент написания этих заметок шла сдача макета художественного оформления Давидом Боровским нового спектакля Олега Табакова в городском театре города Лахти. Осенью финские зрители увидят булгаковского «Мольера».

Хельсинки

Дело прошлое

ГЛАЗАМИ ПЕТРОГРАДСКОГО ЧИНОВНИКА

Пятница, 5 января 1918 г.

Сегодня открытие Учредительного Собрания. В честь Учредилки собралась манифестация социалистов-революционеров, социал-демократов и проч. На Кирочной и Пантелеймоновской красногвардейцы стреляли в толпу. Надо было видеть, как все кинулись врассыпную, побросали стяги и красные плакаты. Большевики ликуют, и я тоже.

Довольно много убитых.

Суббота, 6 января 1918 г.

Учредительное Собрание в большинстве состоит из социалистов-революционеров, и поэтому, с точки зрения большевиков, контрреволюционно.

Учредительное Собрание не подчинилось Совету Народных Комиссаров. Вчерашняя манифестация состояла, главным образом, из саботажников, что неудивительно, так как Союз Союзов, несомненно, эсеровская организация, а весь шум вокруг Учредилки главным образом создают именно эсеры.

Воскресенье, 7 января 1918 г.

С.-р. газеты захлебываются от негодования по поводу разгона Учредительного Собрания. В Москве тоже обстреляны манифестации.

Учредилка фактически разогнана. На Украине выпущены собственные деньги — карбованцы, в Пятигорске тоже свои кредитные билеты.

Плата за телефон повышена до 250 рублей + 35 рублей дополнительно за 1917 г. + перенос 60 рублей. Итого мой телефон обойдется мне в 345 рублей.

В частных банках продолжаются ревизии сейфов. Кто не явится — рискует, что его ящик будет вскрыт и все содержимое конфисковано.

8 января 1918 г.

Союз Союзов собирается ликвидировать чиновничью забастовку. Как хорошо, что Учредилка разогнана. Чернов обо всех большевистских декретах говорил так, точно в него была вставлена напетая большевиками граммофонная пластинка. И что получилось бы в результате: перманентное зло, называемое эсеровским Учредительным Собранием. На углубление революции был бы надет тормоз благоразумия, и никогда не докатилась бы революция с ее завоеваниями до «революционного дна». А теперь... qui vivra verra [1].

Вторник, 9 января 1918 г.

Введена всеобщая трудовая повинность по очистке и приведению в надлежащий вид улиц Петрограда. По случаю смерти Кокошкина и Шингарева [2] «Наш век» облекся в глубокий траур и вышел сегодня с черными каемками.

Все негодуют по поводу смерти Шингарева, совершенно забывая, что полгода тому назад хотели его чуть ли не повесить за зловредную деятельность его как министра финансов.

Четверг, 11 января

Введена государственная монополия на золото и платину. Золотые вещи, свыше 16 золотников, конфискуются.

Суббота, 13 января

В № 15 Собрания Узаконений опубликована Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Об обязанностях она умалчивает.

Пятница, 19 января

Служащие государственных учреждений все еще бастуют. Союз Союзов собирается вести переговоры с СНК. Все это, я уверен, кончится похабным миром, половина чиновников останется за бортом. Из банков прекращены выдачи 150 рублей в неделю до 1 февраля. Все, конечно, сидят без денег.

19-1-18

Хлебный паек все еще $^1/_4$ фунта на человека в день. Красногвардейцы ворвались в Александро-Невскую Лавру. Начинается борьба с церковью.

Понедельник, 22 января

Керенский добрался до Христиании.[1]

Вторник, 23-1-1918

На Вознесенском проспекте стрельба. Громят винный погреб в церковном доме.

Вчера вечером в 11 часов на Фонтанке у Симеоновского моста меня ограбили. Трое приличного вида молодых людей быстро меня окружили, приставили к голове три нагана, всего обыскали, сняли зимнее пальто и пиджак и, грозя убить, велели бежать. В ближайшем подъезде у знакомого, сердобольного швейцара взял пальто, в котором добрался до дому. По счастью вещи были старые...

Умер А. С. Танеев [2]. Давно пора.

Четверг, 25 января 1918 г.

С 1 февраля в России вводится грегорианский календарь (новый стиль). Наконец-то мы дожили до разумной меры. Первый день после 31 января будет считаться не 1-м, а 14-м февраля.

Понедельник, 29 января 1918 г.

Дороговизна увеличивается большими скачками, а голод усиливается. Хлеба дают $^3/_4$ фунта на 2 дня. Обесценение рубля полное. В субботу я добровольно отбывал трудовую повинность и счищал снег на Французской набережной у Литейного моста.

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 8—10.

[1] Поживем — увидим.
[2] Министры Временного правительства Кокошкин и Шингарев были убиты в больнице, куда их перевели из тюрьмы.

[1] Осло.
[2] А. С. Танеев, статс-секретарь, входил в окружение последней царицы, отец фрейлины А. Вырубовой, близкой к Г. Распутину.

Воскресенье, 3 марта (18 февраля) 1918 г.

Мне неприятно сознаться, но я чувствую, как постепенно во мне нарастает недружелюбие по отношению к союзникам. Из-за их упорства, нежелания начать переговоры с Германией, увеличиваются наши страдания, наша гибель. Ведь с января стало совершенно очевидно, что пока продолжается на Западном фронте война, до тех пор продолжится наша разруха: немцы заняты борьбой и им не до введения у нас порядка, но не в кавычках, как пишут большевистские газеты, но разумного порядка. Мне решительно все равно, какое будет правительство, какую политику оно будет вести, лишь бы можно было спокойно жить и работать. Какая теперь может быть производительная работа, когда сидишь дома и дрожишь за свое имущество, идешь по улице и ждешь, что тебя ограбят или разденут, работаешь в правлении [1] и ожидаешь, что тебя такими налогами обложат, что пропадет цель работы. И для чего только союзники продолжают войну, я вовсе не уверен в их succès final [2] и даже сомневаюсь в нем. Получив из России всякие материалы, орудия, снаряды, продовольствие, немцы станут непобедимы, и победе союзников не поможет весь «бум», который устраивают американцы, рекламируя свои военные приготовления и прославляя свою новорожденную армию.

Это недружелюбное чувство в миг возрастает с момента отъезда посольств. Они, как крысы на корабле, поспешили покинуть нас до кораблекрушения. Положим, и им очень было нелегко, но, тем не менее, они обязаны были своим присутствием поддержать всех тех, кто им остался верен. Таких, положим, немного.

Будет день, когда английское правительство наплачется, что оно не вступило в серьезные мирные переговоры теперь же, не ожидая разгрома. Что мир был бы заключен за наш счет — не все ли нам равно: быть эксплуатируемыми одними немцами или вкупе с нашими «союзниками», которых я склонен ставить в кавычки по примеру «Правды» и «Известий». Бедным французам много еще придется dufil à retarde.[3]

Воскресенье, 3 марта 1918 г.[4]

Играл в бридж у Пребенсен [5]. Нейтральные дипломаты считают, что немцы не возьмут Петрограда. Я лично в этом далеко не уверен. Быть может, они не возьмут его сейчас, когда здесь много войск, много красногвардейцев, обуреваемых революционным жаром. Но без Петрограда трудно установить прочные торговые отношения. Военная оккупация, по-моему, неизбежна.

В буржуазные квартиры будут вселяться жены безработных и красногвардейцев.

3 марта 1918 г.

Занят я очень мало, но жизнь стала такой несносной, каждый день столько очередных неприятностей, что не остается времени для спокойной умственной работы, нет возможности сосредоточиться на одном деле, на каком-нибудь серьезном, интересном чтении. Все точно чего-то ждешь. Просто душа томится. Прочтешь утром новый большевистский декрет — приходится потом чуть ли не целый день обдумывать, как бы его обезвредить, по крайней мере, по отношению к себе...

Я совершенно не согласен с бессмысленными мечтаниями буржуев, которые воображают, что в приходе немцев — все их спасение. Это вздор. Прежде всего, немцы придут лишь тогда, когда это им выгодно будет, и, явившись сюда, не будут ублажать интеллигенцию, которая этого, в сущности, и не стоит и в свое время поголовно была заражена шовинизмом, а будут опять-таки заботиться только о себе, о точном соблюдении мирного договора. Пока город не будет очищен от демобилизованных солдат и пьяных красногвардейцев, до тех пор немцам слишком рискованно являться сюда.

Понедельник, 4 марта 1918 г.

Утром ходил в районный Совет Солдатских и рабочих депутатов, чтобы получить разрешение на освобождение от окопных работ. Стояла огромная толпа, никто ничего не знал, порядка никакого. Удалось проникнуть с черного хода. Свидетельство, выданное мне комитетом служащих Правления Русского Торгово-Промышленного акционерного общества, признано недостаточным. Предложили представить разрешение комиссара Охтенского завода, на который наше общество работает. Не совсем уясняю себе, для чего я хлопочу, когда мир уже вчера подписан и, казалось бы, ни о каких окопных работах не может быть речи.

Весь день сижу дома, так как болит горло. Настроение скверное и нервное. Не знаешь, какие сюрпризы можно ждать в ближайшие дни. В полном смысле слова живешь au jour de jour [1]. Со всем можно

---

[1] Имеется, видимо, в виду работа автора в правлении Русского торгово-промышленного акционерного общества — см. его запись от 6.12.1917 г.

[2] Успешный конец.

[3] Иметь трудностей.

[4] Нового стиля.

[5] Николай Х. Г. Пребенсен — норвежский посол в Петрограде (1906—1920).

[1] Со дня на день.

было бы помириться, лишь бы была какая-нибудь гарантия неприкосновенности личности и жилища.

Вводится нормировка мыла по $1/4$ фунта на человека в месяц: производство туалетного мыла прекращается.

СНК предполагает перенести столицу в Москву, а Петроград объявить вольным городом.

Вторник, 5 марта 1918 г.

На Невском у № 46 хвост в несколько тысяч для получения разрешения на выезд из Петрограда.

Расстреляно шесть офицеров, захваченных на Миллионной, 34, за составление противосоветских прокламаций (?).

Среда, 6 марта

Вот уже третий день сижу совершенно без голоса, могу только шептать. Сижу в одиночном заключении, никого не вижу, ничего не знаю. В газетах трудно разобраться, все врут.

Пятница, 8 марта

Троцкий и Крыленко (Лейба Бронштейн и тов. Абрам) [1], говорят, уже покинули ряды правительства...

Понедельник, 11 марта

Был у меня Сох. Он больше не служит в Комиссариате по Иностранным делам, откуда был уволен вместе с Т. и Я. за политическую неблагонадежность. По-прежнему там действует полковник Эксе, женатый на дочери Дедюлина [2].

Мир будет подписан. Даже разум большевиков говорит, что воевать мы не можем...

Вторник, 12 марта

Сегодня годовщина революции. Год тому назад чуть ли не все стали революционерами, а теперь — контрреволюционерами. Ежедневно 20—35 случаев сыпного тифа.

Понедельник, 18-3-18

Московский съезд Советов одобрил *временно* перенести столицу в Москву.

Я положительно начинаю тяготиться одиночеством, эгоистической жизнью старого холостяка; иногда противно и стыдно становится, когда думаешь, что живешь только для себя и заботишься исключительно о себе. Во-вторых, я очень одинок. Товарищи все разбрелись, сослуживцев нет, да и близких и в то же время интересных для меня знакомых мало. Мне не хватает определенных, ежедневных служебных занятий. Я как-то не могу освоиться с тем, что с утра до вечера я не должен быть на службе. В правлениях работа что-то не клеится. С Государственной службой окончательно покончил. На этих днях большинство штатных чинов Кредитной Канцелярии поступило обратно, вернее сказать было принято снова на службу. Нештатные остались за флагом — я в том числе.

Впрочем, я и не собирался возвращаться в Министерство и поэтому не брал во время нашего чиновничьего саботажа жалования из-под полы, из какого-то таинственного источника [1], не считая себя вправе получить деньги за забастовку, которую не собирался прекращать. С другой стороны, мне противны до глубины души все эсеровские организации, всякие стачечные комитеты и прочие орудия организованного шантажа. Сюда я отношу Союз Союзов служащих в правительственных учреждениях, который, первое время забастовки, провозглашал громкие лозунги, давал директивы, а закончил «всепохабным миром с большевиками», на головы которых в начале посылал громы и молнии. Результат такого мира: приняты обратно не все, за забастовочное время жалование не выдали, вновь поступившие поклялись признавать и чтить Советскую власть и работать совместно с штрейкбрехерами.

Под влиянием текущих событий невольно изменяется настроение и отношение к тем или другим революционным явлениям. Несколько месяцев тому назад, при Керенском, все представлялось в отчаянном виде, а разве это не была счастливая Аркадия по сравнению с анархией? Без злобы нельзя было смотреть на революционных солдат, походивших более на арестантов, чем на русских «чудо-богатырей» и «серых героев»; а все же они были привлекательнее оборванных красногвардейцев, в изобилии появившихся с винтовками на петроградских улицах после Октябрьских событий. Буржуев, забитых жестокими большевистскими декретами, было жалко; нельзя было без боли смотреть на офицеров с содранными погонами, нуждающихся в средствах существования. А теперь? Офицерство ухитряется завтракать у Донона, обедать у Контана, ужинать в Паласе. Днем, положим, некоторые скалывают

---

[1] «Абрам» — партийная кличка Николая Крыленко.

[2] В. А. Дедюлин — генерал, дворцовый комендант при Николае II.

[1] Деньги забастовщикам выдавались «подпольным Временным правительством», которое формально, но «нелегально» продолжало существовать в начале 1918 года.

лед, но вечером, в тот же день, баллотируются в Новый Клуб и вносят 300 рублей вступительно. Буржуи с 7 час. утра мерзнут у врат банков, чтобы получить 500 рублей на целый месяц с текущего счета; это не мешает им же вечером держать банк в Little Palace или пить Monopole в 150 рублей. Великого князя Михаила Александровича ссылают на поселение в Пермские тундры, а Борис Владимирович с Манташевым пьянствует в Кисловодском Казино. Вот и разберись в этом сумасшедшем доме, в этих крайностях.

На многих петроградских улицах валяются сдохшие лошади с отъеденными голодными собаками частями. Ужас, какая гадость!

Публикация
Б. ВАЙЛЯ и Е.-П. НИЛЬСЕНА

Окончание в следующем номере

Совсем недавно. Совсем давно

Владимир ФЕДОРОВ,
мастер спорта

ИГРА ПОД ОГНЕМ

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть как тень тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.

Ольга Берггольц

Мчался поезд. В двенадцати его вагонах спасались от надвигавшейся блокады триста ленинградских детей. Вывезла их Людмила Владимировна Руденко, будущая первая советская чемпионка мира по шахматам. Это был один из последних эвакопоездов; через несколько дней, 30 августа 1941 года, железнодорожная связь Ленинграда со страной прекратилась. Кольцо замкнулось.

Голод, холод, бомбежки, обстрелы — до шахмат ли? Выяснилось, однако, что для измученного, голодного блокадника пища духовная не обесценилась, а ствла значить даже больше. чем в былые «сытые» времена. Шахматы отогревали замерзшие души, приносили радость, надежду, вселяли оптимизм. Оставшиеся в городе шахматисты выступали с лекциями и сеансами одновременной игры на заводах и фабриках, в воинских частях, госпиталях.

Двукратный чемпион страны, замечательный педагог, автор шахматных книг Петр Арсеньевич Романовский, в течение двадцати блокадных дней похоронивший жену и четырех дочерей, погибших от голода, писал: «Жить! Как это просто звучит, и как это мне кажется трудным...». И он находил в себе силы, мужество выступать перед защитниками города. Позднее Романовский был вывезен в Иваново в состоянии тяжелой дистрофии...

С особым нетерпением ждали шахматистов в госпиталях, причем не только раненые, но и врачи. Доски с фигурами расставлялись прямо на койках, а сеансер обходил их, делая очередные ходы и беседуя с партнерами.

Однажды, когда сеанс мастера Г. Лисицына уже закончился, врач попросил его сыграть один на один с раненым, потерявшим обе ноги на «Невском пятачке». Этот офицер очень любил шахматы, до войны имел вторую категорию.

— Георгий Михайлович, нам не удается вывести его из подавленного состояния,— сказал доктор мастеру и тихо, почти шепотом, добавил: — Может, вы сумеете?

Лисицын вошел в палату и увидел изможденное лицо и огромные печальные глаза. Началась игра, офицер боролся самозабвенно. Постепенно вся палата заполнилась болельщиками, сочувствие явно было на стороне раненого. Лисицын решил, что он должен доставить радость всем: не выиграть, а проиграть эту партию, но проиграть умело, чтобы никто не заподозрил умысла.

На доске, между тем, завязалась напряженная тактическая схватка, закружились красивые комбинации. В острой борьбе мастер как бы просмотрел далеко не очевидный, эффектный удар.

— Вам мат, маэстро! — срывающимся голосом объявил раненый.

Мастер первым поздравил победителя...

Часто выступал в госпиталях А. Модель — сильный шахматист, чьи аналитические способности высоко оценивал М. Ботвинник.

Кстати, именно с Ботвинником и еще девятью сильнейшими ленинградскими шахматистами сыграл Модель свою знаменитую шутку. В декабре 1929 года в газете «Смена» появилось объявление: «Организуется матч прибывшего в наш город неизвестного шахматиста (Икса), желающего сыграть по телефону против десяти молодых мастеров и чемпионов профсоюзов». Все партии Икс играл белыми, каждый участник сеанса ежедневно до 19 часов сообщал свой ход в редакцию, а ответный ход Икса следовал в тот же день не позднее 22 часов. Икс обязан был снять маску после трех поражений. После почти двух месяцев напряженных шахматных баталий сеанс завершился триумфом Икса, выигравшего семь партий при трех (с М. Ботвинником, Я. Рохлиным и Л. Куббелем) ничьих. Загадочным «мистером Иксом» оказался Модель...

Выступая перед ранеными, Модель так хотел их развеселить, что обычно после шахматного сеанса показывал забавные фокусы, коих знал великое множество, причем использовал самые разные предметы: карты, монеты, шахматные фигуры. Там, где оказывался рояль, он выступал еще и как превосходный музыкант-исполнитель, с блеском играл сложнейшие произведения, совершенно не зная нот, исключительно по слуху. Его феномен отмечал Шостакович, часто просивший Моделя импровизировать. Однажды в присутствии Улановой и Софроницкого Модель технически точно, с поразительной легкостью исполнил на рояле Седьмой вальс Шопена, предварительно прикрыв клавиши длинным полотенцем. Умел Модель и сочинять экспромтом дружеские эпиграммы.

Конечно же, раненые с восторгом принимали этого человека, помогавшего хоть на время забыть о боли...

В конце 1941 года у нескольких мастеров, истосковавшихся по любимой игре, возникла идея: собрать оставшихся в городе сильных шахматистов и провести очередной 16-й чемпионат Ленинграда. Но кто бы мог сыграть в этом турнире? Гроссмейстеры М. Ботвинник и Г. Левенфиш эвакуированы, мастера А. Толуш, В. Рагозин, В. Васильев, Г. Гольдберг, Л. Шамаев ушли в армию. При переправе через Ладогу, во время налета вражеской авиации осколком бомбы убит мастер А. Ф. Ильин-Женевский, победивший в 1925 году в первом Московском международном турнире чемпиона мира Капабланку. Шахматы, однако, не были главным делом в жизни Ильина-Женевского: Александр Федорович был известным революционером, соратником Ленина, активным участником Великой Октябрьской революции, как и его старший брат Ф. Ф. Раскольников (Ильин). Погиб от голода одержимый фанатик шахматного анализа мастер Всеволод Раузер, всегда твердо веривший, что при правильной игре с обеих сторон ход 1 (e2-e4) приведет к победе белых...

И все-таки 16-й чемпионат Ленинграда собрал сильный состав участников: И. Рабинович и Г. Лисицын, Н. Новотельнов и В. Чеховер, Г. Равинский и А. Модель, другие известные шахматисты.

В тот декабрь по обледенелым, заснеженным улицам из разных районов города то в одно, то в другое место (каждый тур играли в разных госпиталях) двигались изможденные, с трудом передвигавшие ноги люди: шахматисты шли на очередной тур чемпионата.

Один из его участников — Е. Столяр, впоследствии мастер, заслуженный тренер РСФСР — вспоминал: «Во время одного из туров выдающийся шахматный организатор, главный судья турнира С. О. Вайнштейн заметил, что лишь в госпитале он немного отогревается, а дома у него температура минусовая: уже сожжено все, кроме неприкосновенной замечательной шахматной библиотеки. Перед войной я занимался у Самуила Осиповича во Дворце пионеров, он и пригласил меня сыграть в блокадном турнире. У меня дома было немного дров. Я взял несколько поленьев, положил на саночки и отвез на улицу Жуковского — любимому учителю, который благодарил меня со слезами на глазах. Выглядел он уже очень плохо. В следующем году С. О. Вайнштейн умер от голода».

Играли иногда при керосиновых лампах — свет давали редко и ненадолго. С интересом следили раненые за поединком мастеров, отдававших игре последние силы. Случалось, шахматистов подкармливали жиденьким супом и кашей из муки...

«Ленинградская правда», выходившая уменьшенным объемом, и «Смена», выпускавшаяся через день, находили место для освещения шахматного турнира. Вот одна из заметок: «Доигрывание неоконченных партий состоялось в шахматном чемпионате Ленинграда. Перед пятым туром впереди Новотельнов, имеющий $2^1/_2$ очка из трех сыгранных партий. Сегодня в Н-ском госпитале состоится очередной тур».

Первый блокадный чемпионат Ленинграда довести до конца не удалось, физических сил участников не хватило, многие страдали дистрофией. Сыграли всего восемь ту-

ров, лидировал Н. Новотельнов, имевший пять с половиной очков из семи. (После войны Николай Александрович стал международным мастером, известным шахматным журналистом.) В 1942 году во время эвакуации скончался от дистрофических расстройств один из сильнейших советских мастеров Илья Леонтьевич Рабинович; жертвами голода стали основоположник современного художественного этюда Алексей Алексеевич Троицкий, известный шахматный композитор Леонид Иванович Куббель...

Шахматная игра не прекращалась и на фронте. В короткие минуты затишья бойцы доставали из вещмешков доски с фигурами, и начинались бесконечные легкие партии, устраивались небольшие турниры. Более пятисот воинов Ленинградского фронта получили разряды по шахматам.

18 января 1943 года кольцо блокады было прорвано, возникла узкая полоса сухопутной связи с Большой землей. Когда по распоряжению Государственного комитета обороны началась эвакуация из Ленинграда всех детей школьного и дошкольного возрастов, Модель, назначенный начальником эшелонов, переправил через Ладогу тысячи ребятишек. И хотя враг оставался у стен Ленинграда и даже усилил артиллерийский обстрел, настроение улучшилось, росла вера в близость победы. Жить стало легче: увеличился хлебный паек, наладили водопровод, очищали улицы, начали восстанавливать транспорт.

С невероятной остротой воспринимались простые радости: солнце и небо над головой, зелень деревьев. Казалось, никогда еще природа не расцветала так пышно, как в эту весну...

Состоялись весьма своеобразные командные шахматные соревнования бойцов МПВО: при артиллерийских обстрелах встречи прерывались, и партнеры наперегонки бежали ликвидировать пожары и разрушения. В этих первых за время блокады массовых состязаниях участвовали восемь команд различных районов города по восьми человек в каждой. Победили представители Куйбышевского района во главе с помначштаба батальона шахматистом второго разряда Н. Коршуновым, ставшим после войны судьей всесоюзной категории.

Любили шахматную игру и в пожарной охране штаба Ленинградского фронта, размещавшейся на Невском проспекте, рядом с Дворцовой площадью. Высоко над аркой Главного штаба на специальной наблюдательной вышке дежурили ее бойцы, а на командном пункте стоял шахматный столик, пустовавший лишь во время налетов фашистской авиации или обстрелов улиц из дальнобойных орудий, когда все дежурили на крышах.

Солдат пожарной охраны, ставший впоследствии известным шашечным мастером, автором многих книг, Б. Герцензон вспоминает: «Бойцы нашего подразделения отчаянно любили шахматы и шашки. От желающих участвовать в турнире отбою не было, а кто не умел — просил научить играть. Всегда около нас собирались болельщики — стояли молча и тихо наблюдали за ходом борьбы. Шахматы и шашки были недолгим отдыхом от нашей нелегкой службы, ведь воздушные тревоги следовали одна за другой. В напряженной тишине монотонно стучал по радио метроном; тревожное ожидание раскалывалось неожиданным взрывом фугасной бомбы, рушились дома, возникали пожары. Однажды на командном пункте шахматный столик засыпало осколками стекла... В нашем подразделении служил рядовым чемпион СССР по шашкам Василий Соков. В последние предвоенные годы он принял участие в 24 крупных соревнованиях, в двадцати — занял первое место, в четыре поделил I—II-е места. Любил Соков и шахматы, имел звание кандидата в мастера. Среднего роста, очень подвижный, общительный и душевный человек — таким он мне запомнился. Любопытно, что скромный, спокойный и уравновешенный в жизни, за игрой он совершенно преображался: глаза его загорались, Соков весь был во власти вдохновения, творил...»

Начальник пожарной охраны штаба Ленфронта капитан В. Домбровский, настоящий шахматный энтузиаст. Впоследствии он собрал коллекцию редких шахматных фигур, книг, картин и сервизов на шахматные темы. (Большая часть этого уникального собрания теперь хранится в Таллинне, в Доме шахмат имени П. Кереса.) Вот он-то и решил подготовить и организовать 17-й шахматный чемпионат Ленинграда. Политуправление Ленинградского фронта поддержало инициативу Вячеслава Александровича, а городской комитет по делам физкультуры и спорта наметил состав участников и отправил повестки с вызовом на соревнование. Проводить чемпионат решили в Доме физкультуры — на улице Халтурина, 22. Однако случилось непредвиденное: за несколько дней до начала турнира в дом попал снаряд. Домбровский и тут не отступил: послал солдат для расчистки и ремонта помещения, затем туда были доставлены с трудом найденные комплекты шахмат и часов.

20 июня 1943 года на втором этаже, там, где сейчас кабинет председателя горспорткомитета, состоялось открытие этого чемпионата, ставшего легендарным. Б. Герцензон и В. Домбровский были судьями.

Главным же судьей Политуправление Ленинградского фронта назначило опытного шахматного организатора М. Волковысского. Михаил Николаевич перед войной был директором городского клуба, судил ответственные соревнования, потом служил в морской бригаде на Невской Дубровке — крохотном «пятачке», где советские воины стояли насмерть, сковывая ударную гитлеровскую группировку из восьми дивизий, нацеленных на Ленинград, а после войны стал международным арбитром.

Однажды моряка вызвал командир и спросил:

— Главстаршина Волковысский, хотите судить шахматный чемпионат Ленинграда? На вас пришел вызов.

Удивленный Волковысский, конечно, с радостью согласился. Он и не предполагал, что в осажденном городе думают и о шахматных соревнованиях...

И вот он проводит жеребьевку.

— Василий Соков!

Худощавый, со смуглым, слегка вытянутым лицом солдат направляется к судейскому столику. Вслед за Соковым один за другим тянут жребий старший матрос П. Кондратьев, майор медицинской службы, начальник хирургического отделения эвакогоспиталя Л. Шапиро, младший лейтенант Н. Мичурин, курсант А. Левин, шестнадцатилетний школьник А. Решко, через два года поделивший 1—3 места в чемпионате СССР среди юношей, инженер А. Несслер, главный врач одного из медицинских учреждений города Ф. Скляров, Н. Арефьев, старший лейтенант В. Сергеев, артист балета Театра музыкальной комедии В. Бессонов.

После первого тура осталось десять участников (три кандидата в мастера и семь перворазрядников) — Николай Мичурин и ушел в море.

Дворами, переулками шли на игру шахматисты: приходилось считаться не только с вражескими снарядами, но и с... нарядами милиции и военными патрулями, направлявшими пешеходов во время обстрелов в бомбоубежища.

Главный судья каждую среду и воскресенье в назначенное время (выбиралось такое, чтобы участники успели до начала комендантского часа вернуться домой или в часть) пускал шахматные часы. Уважительной причиной неявки на игру он считал только выполнение боевых заданий, но и в этом случае требовал бумагу от командования. Такая строгость и позволила довести 17-й чемпионат Ленинграда до конца. И все же все пять столиков редко бывали заняты, поэтому турнир и продолжался почти два месяца, до 15 августа.

Приходилось иногда пропускать туры девятнадцатилетнему старшему матросу Павлу Кондратьеву, всегда подтянутому, приветливому и доброжелательному, ставшему после войны шахматным мастером, государственным тренером по Ленинграду, учителем неоднократной чемпионки СССР И. Левитиной: обезвреживал вражеские мины. Не всегда мог прийти и Леонид Иосифович Шапиро, впоследствии полковник, заслуженный врач РСФСР, главный хирург Ленинградского военного округа и международный арбитр по шахматам. Вот что он мне рассказал: «Наш эвакогоспиталь располагался на территории Военно-медицинской академии. Как-то во второй половине нашего турнира во время известной синявинской операции Ленинградского и Волховского фронтов поступило очень много раненых. Мне с помощниками пришлось оперировать бессменно несколько суток, причем иногда даже переходить от одного операционного стола к другому. Я в шутку называл это «сеансом одновременной игры». В те дни через мои руки прошло несколько сотен раненых. Наконец, я зашел передохнуть в свой кабинет, хотел закурить, но спичек не нашел. Вышел за спичками в коридор, и тут раздался страшный взрыв. Я бросился в кабинет и увидел, что рама со стеклом выбита, мое кресло разбито вдребезги, а на столе дымятся осколки снаряда. Я сосчитал их: двенадцать, а ведь хватило бы одного... Хочу еще сказать о том, что многие блокадники увлекались шахматами. Например, мой двоюродный брат, известный дирижер Карл Ильич Элиасберг был поклонником древней игры, интересовался шахматной жизнью города».

Чемпионом Ленинграда по шахматам стал Скляров, игравший в остро атакующем стиле. Второе и третье места поделили А. Несслер, впоследствии профессор Технологического института, и В. Соков, а на четвертом оказался Л. Шапиро.

8 января 1944 года возобновил работу городской шахматный клуб, там состоялось открытие 18-го чемпионата Ленинграда, затем блицтурнир. Чемпион Ленинграда прошлого года Скляров провел сеанс одновременной игры на двенадцати досках, причем победил всех участников. Этот чемпионат стал последним для Сокова: 3 марта Василий Александрович пал смертью храбрых в боях под Нарвой.

Турнир был в разгаре, когда 27 января в 8 часов вечера ленинградское небо озарилось фейерверком, прогремел салют в честь великой победы...

Есть такой анекдот...

«ТАК ЧТО ЖЕ ОНИ ТАМ ПЕРЕСТРАИВАЮТ?!»

— К вам не залетал мой попугай? Если он что-нибудь говорил, имейте в виду — и его политических взглядов не разделяю!

Пьяный сидит около радио. Там сообщают:

— Сейчас в Москве 12 часов дня, в Караганде — 14 часов, в Новосибирске — 16, в Омске — 17 часов, в Магадане — 21 ...

— Боже мой! Какой бардак!

Англичане захватили Фолклендские острова. А что с ними делать — не знают. Обратились за советом к Рейгану.

— Не знаю,— сказал Рейган,— спросите у Брежнева — он специалист по малым землям.

Два студента. Кончилась у них стипендия. Пошел один к Кремлю. Возвращается — сытый, веселый. Второй интересуется, как было дело.

— А пришел я к Кремлевской стене, начал траву есть. Увидел меня Косыгин, спросил, почему я траву ем. Я объяснил. Он дал мне десятку, я пошел, пообедал.

На следующий день отправился второй. Вернулся злой, голодный. Первый спрашивает, как все было.

— А я встретил Брежнева. Он расспросил меня, дал пять копеек на метро и объяснил, куда надо поехать, где растет сочная трава.

Более старый вариант этого анекдота относился к Хрущеву. Хрущев, выспросив студента, сказал ему назидательно: не по-хозяйски ты поступаешь — съешь всю траву летом, а сена не наготовишь! А зимой-то как без сена проживешь?

Заморозили на сто лет русского и американца. Через сто лет они очнулись, но тут же снова умерли. От чего же?

Американец умер после того, как услышал по радио:

— Колхозники Оклахомщины и Канзасщины досрочно засыпали в закрома родины зерно нового урожая.

Русский умер, когда услышал:

— Передаем последние известия. Сегодня на очередном, сто сорок шестом съезде КПСС с большой речью выступил Леонид Ильич Брежнев. Он сказал...

— Какая разница между словами «горе» и «беда»?

— Если Леонид Ильич пойдет по Кремлевской стене и упадет — это горе. А беда — это если он не пойдет.

В Кремль приходит гражданин.

— Вам не нужен генсек?

— Вы что — больной или ничего не соображаете?

— А это что — обязательное условие?

Воевали красные и белые, а победили серые.

Брежнев звонит в Америку. Кто-то снял трубку.

— Алло! Алло! — говорит Брежнев.— Рокфеллер, это ты? Не узнал я тебя, богатым будешь!

— Что такое: хвост длинный, глаза горят, а шерсти мало?

— Очередь за шерстью.

Загадка 2000 года:

— Что такое свиная отбивная?

— Картошка, отбитая у свиньи.

Петька изучает древнюю историю.

— Василий Иванович,— спрашивает он,— как понимать «патриции пригласили гетер и устроили оргию»? Что такое оргия?

— Да пьянка.

— Кто такие гетеры?

— Проститутки.

— Ну, а патриции кто такие?

— А здесь, Петька, опечатка — не «патриции», а «партийцы».

Сидела ворона на высокой елке. Бежал мимо заяц, увидел ворону и спрашивает:

— Ворона! Чё делаешь?

— Ничего не делаю. Сижу себе!

— А можно, я тоже сяду и буду ничего не делать?

— Да садись!

Заяц сел. Сидит, лапки сложил, ничего не делает. Лиса мимо бежала. Видит — сидит заяц, взяла да и съела его.

А ворона сверху все это наблюдала. И подумала: «Эх, забыла зайца предупредить: ничего не делать может лишь тот, кто высоко сидит».

Из собрания
Владимира БАХТИНА

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 2, 5, 6.